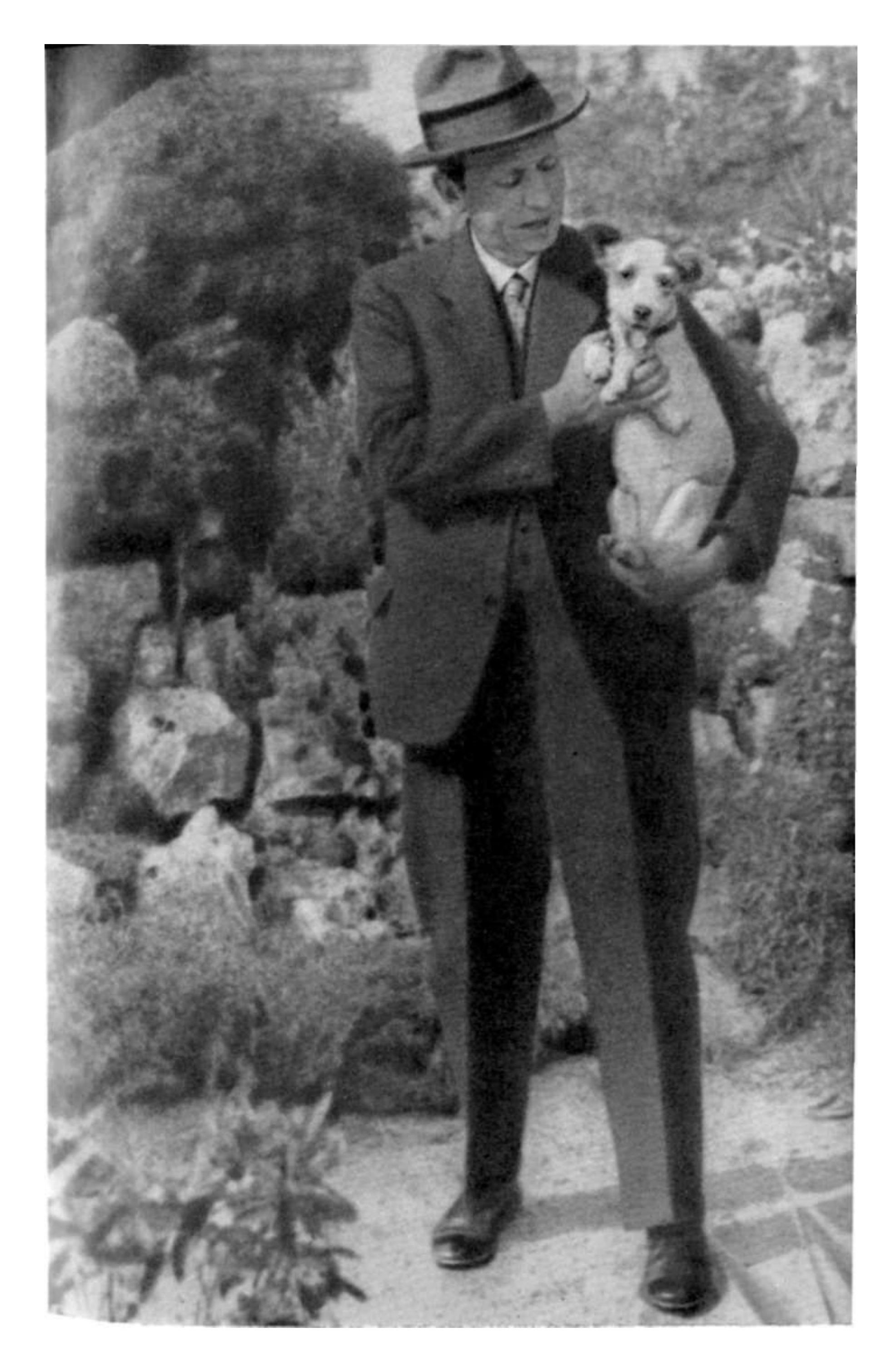
Карел Чапек






МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1977

Карел Чапек

Собрание сочинений
в семи томах

С иллюстрациями
Карела и Иозефа Чапеков

Москва «Художественная литература» 1977

Карел Чапек

Собрание сочинений

Том шестой

Рассказы, очерки, сказки

Перевод с чешского

Москва «Художественная литература» 1977

И (Чехосл)
Ч 19

Составление
С. Никольского

Комментарии
О. Малевича

Оформление художников
В. Шумилиной и Л. Рабичева

Ч $\frac{70304-128}{028(01)-77}$ подписное

Год садовода

РИСУНКИ ИОЗЕФА ЧАПЕКА

Перевод
Д. ГОРБОВА



Как разбивать сады

Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них — поручить это дело садовнику. Садовник насажает вам всяких там жердей, прутьев и веников, называя их кленами, боярышником, сиренью, — древесными, кустарниковыми и прочими растительными видами. Потом станет рыться в земле, перевернет ее всю вверх тормашками и опять утрамбует, наделает из шлака дорожек, понатыкает в землю какой-то вялой ботвы, объявив ее многолетниками, посеет на месте будущего газона семян, называя их английским райграсом, полевицей, лисохвостом, гребенником, тимофеевкой, а потом уйдет, оставив сад бурым и голым, как в первый день творения. Только напомнит вам, чтобы вы каждый день всю эту глину тщательно поливали, а когда взойдет трава — велели привезти песку для дорожек. Ну, ладно.

Некоторые думают, что поливать сад очень просто, — особенно если есть шланг. Но скоро обнаруживается, что шланг — существо необычайно коварное и опасное, пока не приручен: он крутится, прыгает, изгибается, пускает под себя пропасть воды и с наслаждением полощется в грязи, которую сам развел: потом бросается на человека, который собрался поливать, и обвивается вокруг его ноги; приходится наступить на него; тогда он становится на дыбы и обвивается человеку вокруг поясницы и шеи; и пока схваченный его кольцами вступает с ним в единоборство, как со змеей, чудовище подымает кверху свое медное рыло, извергая мощную струю воды — прямо в окна, на свежевыстиранные занавески. Тут надо энергично схватить его за голову и потянуть что есть силы; бестия рассвирепеет и начнет струить воду уже не из рыла, а возле гидранта и откуда-то прямо из тела. На первый случай нужны трое, чтобы кое-как с ним справиться; все они покидают поле сражения мокрые, по уши в грязи. Что же касается сада, то местами он превратился в топкие лужи, а в других местах трескается от жажды.



Если вы будете совершать эту операцию каждый день, то через две недели вместо травы покажутся сорняки. Это — одна из тайн природы: отчего из самого лучшего семенного материала вместо травы вырастает какое-то буйное, колючее былье? Может быть, для того чтобы получился хороший газон, нужно сеять сорняки? Через три недели газон густо зарос чертополохом и всякой нечистью, ползучей либо уходящей корнями в землю на целый локоть. Станешь ее вырывать — она обламывается у самого корешка либо захватывает с собой целую груду земли. Выходит так: чем гаже поросль, тем она сильней цепляется за жизнь.

Между тем в результате некоего таинственного химического процесса шлак дорожек превратился в самую мазкую, липкую глину, какую только можно себе представить.

Но так или иначе, сорняки из газонов нужно выпалывать. Полешь, полешь, оставляя позади будущий газон в виде голой желтой глины, какой она была в первый день творения. Только в двух-трех местечках проступает что-то вроде зеленоватой плесени, что-то зыбкое, реденькое, похожее на пушок. Сомнений нет, это травка. Ты ходишь вокруг нее на цыпочках, отгоняешь воробьев. А пока таращишь глаза на землю, уже распустились первые листочки на кустах крыжовника и смородины: весна всегда подкрадывается незаметно.

И твое отношение к окружающему изменилось. Идет дождь — ты говоришь, что он поливает сад; светит солнце — оно это делает не просто так, а освещает сад; наступает ночь, ты радуешься, что наступил отдых для сада.

Придет день, когда ты откроешь глаза и увидишь: сад стоит зеленый, высокая трава сверкает росой, из гущи розового куста выглядывают тяжелые темно-красные бутоны. А деревья разрослись, стоят развесистые, тенистые, с пышными кронами, дыша ароматной прелью в сыром полумраке. И ты уже не вспомнишь о нежном, голом, буром садике тех дней, о робком пушке первой травки, о скудном проклевывании первых листочков, обо всей этой глинистой, бедной, трогательной красоте только что разбитого сада...

Ну, ладно; теперь надо поливать, полоть, выбирать из земли камни...

Как получается садовод

Вопреки ожиданиям садовод получается не из семени, черенка, луковицы, клубня или путем прививки, а в результате опыта, под влиянием среды и природных условий.

В детстве я относился к отцовскому саду недоброжелательно, даже вредительски, так как мне запрещалось ходить по клумбам и рвать незрелые плоды. Ну вот как Адаму в раю было запрещено ходить по грядкам и срывать плоды с древа познания добра и зла, оттого что они были еще незрелые; но Адам — совсем как мы, дети, — нарвал себе незрелых плодов, за что и был изгнан из рая. И с тех пор плоды древа познания остаются и останутся впредь незрелыми.

Пока человек в цвете молодости, он думает, что цветы — это что-то такое, что вдевают себе в петлицу и преподносят девушкам. Он не имеет ни малейшего представления о том, что цветы — нечто зимующее, требующее окапывания, унавоживания, поливки, пересаживания, подрезки, подстрижки, подвязывания, удаления сорняков и плодников, засохших листьев, тлей и грибка. Вместо того чтобы перекапывать клумбы, он бегает за девушками, тешит свое тщеславие, пользуется благами жизни, которые созданы не им, — вообще ведет себя как разрушитель. Для того чтобы стать садоводом-любителем, нужно достичь известной зрелости, так сказать, отцовского возраста. Кроме того, нужно иметь свой сад. Разбить его обычно поручают садовнику-профессионалу, с тем чтобы ходить туда после работы — любоваться цветочками и слушать

пенье птичек. Но в один прекрасный день захочется и самому посадить цветок: у меня так было раз с заячьей лапкой. При этом — через какую-нибудь царапину или еще как — в кровь тебе попадет немножко земли, а с ней — нечто вроде инфекции, или отравы, — и стал человек отчаянным садоводом. Коготок увяз — всей птичке пропасть.

А иногда садовод получается в результате заразы, занесенной от соседей. Увидел ты, скажем, что у них смолка зацвела. «Черт возьми! — думаешь. — А почему бы ей не цвести и у меня? Еще лучше расцветет!» С этого момента садовод становится все больше и больше рабом своей страсти, питаемой дальнейшими успехами и подстегиваемой дальнейшими неудачами. В нем зарождается коллекционерский азарт, побуждающий его выращивать все растения по алфавиту — от Acaen'ы до Zauschneri'и; а впоследствии развивается фанатизм специалиста, превращающий человека, до тех пор вполне вменяемого, в розомана, георгиномана или какого-нибудь другого исступленного маньяка...

А иные, став жертвой страсти к декорированию, беспрестанно перестраивают, перепланируют свой сад, подбирают оттенки, перегруппировывают кусты, и подстрекаемые так называемым творческим беспокойством, не дают ничему стоять и расти на своем месте. Пусть никто не думает, будто садоводство — занятие буколическое и располагающее к размышлениям. Это — ненасытная страсть, как все, за что ни возьмется человек обстоятельный.

Скажу еще, как узнать настоящего садовода.

— Обязательно приходите ко мне, — говорит он. — Я хочу показать вам свой сад.

Вы пришли к нему, чтобы сделать ему приятное, и обнаруживаете его заднюю часть, воздвигающуюся где-то между многолетниками.

— Иду, — кидает он через плечо. — Только посажу вот.

— Ради бога, не беспокойтесь — любезно отвечаете вы.

Через какое-то время он, видимо, кончил сажать, во всяком случае, выпрямился, испачкал вам руку и, весь сияя гостеприимством, говорит:

— Пойдемте, я покажу вам. Садик небольшой, но... Минуту! — прерывает он сам себя и, наклонившись над куртиной, выдергивает несколько травинок. — Идем.

Я покажу вам Dianthus Musalae [1]. Что-то особенное... Господи, забыл здесь разрыхлить!

Спохватившись, он опять начинает рыться в земле. Через четверть часа выпрямляется снова.

— Да, да, — говорит он. — Я хотел показать вам свои колокольчики, Campanula Wilsonae [2]. Это самые лучшие, какие только... Погодите, только подвяжу вот этот Delphinium [3]...

Подвязав, он вспоминает:

— Ах да, вы хотите посмотреть на Erodium [4]. Минутку, — уже снова ворчит он. — Надо пересадить эту астру: ей тут тесно.

Тут вы уходите на цыпочках, предоставляя его задней части возвышаться среди многолетников.

Встретив вас еще раз, он опять скажет вам:

— *Обязательно* приходите посмотреть: у меня расцвела пернецианская роза. Бесподобно! Придете? Только без обмана!

Что ж, ладно. Давайте навещать его: посмотрим, как протекает его год.

Январь садовода

«Даже в январе нельзя сидеть сложа руки», — говорится в пособиях по садоводству. И это на самом деле так, потому что в январе садовод главным образом

ухаживает за погодой.

Погода вообще — дело хитрое: она никогда не бывает такой, как надо. У нее всегда — то перелет, то недолет. Уровень температуры никогда не соответствует среднему за сто лет: обязательно хоть на пять градусов, да выше или ниже. Осадки — то на десять миллиметров ниже нормального, то на двадцать миллиметров выше; коли не сушь, так сырость.

И если даже люди, которым, в общем, до всего этого дела нет, имеют столько оснований жаловаться на погоду,

---

[1] гвоздику Мусаля (*лат.*).
[2] колокольчик Вильсона (*лат.*).
[3] шпорник, дельфиниум (*лат.*).
[4] журавельник (*лат.*).



то как же должен чувствовать себя садовод! Выпадет мало снегу, садовод с полным правом сетует на его недостаток; навалит много — становится страшно, как бы он не обломил ветви у стальника и рододендронов. Совсем нет снега — опять беда: губительны сухие морозы. Настанет оттепель — садовод проклинает сопровождающие ее безумные ветры, у которых скверная привычка раскидывать хвойные и другие покрытия по саду; да еще, того гляди, — чтоб им пусто было! — какое-нибудь деревце ему поломают. Начнет вдруг в январе светить солнце, садовод хватается за голову: кусты раньше времени нальются соком. Дождь пойдет — тревога за альпийские растения; сухо — сердце сжимается при мысли о рододендронах и андромедах. А ведь ему так мало надо: просто — с первого до тридцать первого января ноль целых девять десятых градуса ниже нуля, сто двадцать семь миллиметров снежного покрова (легкого и по возможности свежего), преобладание облачности, штиль либо умеренный ветер с запада; и все в порядке. Но не тут-то было: о нас, садоводах, никто не думает, никто не спрашивает, как нам надо. Оттого и идет все вкривь и вкось на этом свете.

Хуже всего садоводу в морозы без снега. Тогда земля затвердевает и сохнет с каждым днем, с каждой ночью все глубже и глубже. Садовод думает о корешках, замерзающих в земле, мертвой и твердой, как камень; о ветках, пронизываемых насквозь сухим ледяным ветром; о мерзнущих почках, в которые растение упаковало осенью все свои пожитки. Если бы садовод знал, что это поможет, он надел бы на свой падуб собственный пиджак, а на можжевельник — брюки. Ради тебя я с удовольствием сниму свою рубашку, понтийская азалийка; тебя, хейхера,

я накрою своей шляпой; а для тебя красноглазка, остаются только мои носки; вот возьми, пожалуйста.

Существуют разные уловки, как поладить с погодой и повлиять на нее. Например, как только я решусь надеть на себя все, что у меня есть самого теплого из одежды, так сейчас же становится тепло. Точно так же наступает оттепель, если соберется компания для лыжной экскурсии в горы. И когда кто-нибудь напишет газетную статью, где говорится о морозе, о здоровом румянце на лицах, о хороводах конькобежцев на катках и других явлениях такого рода, то едва эту статью начнут набирать в типографии — опять-таки сразу наступает оттепель, и люди читают статью, а на дворе снова мокреть, дождь и термометр показывает восемь выше нуля. И читатель говорит, что в газетах все врут, морочат голову; ну вас с вашими газетами!

Наоборот, проклятия, упреки, заклинания, воздевание рук, восклицания «брр!» и прочие магические действия на погоду влияния не оказывают.

Что касается январской растительности, то самой примечательной ее разновидностью являются так называемые цветы на стеклах.

Для пышного их расцвета требуется, чтобы у вас в комнате надышали хоть немного водяных паров; если же воздух совершенно сух, вы не выведете на окнах самой жалкой елочки, не говоря уже о цветах. Далее, необходимо, чтобы в окне была где-нибудь щель, откуда дует: именно тут и распускаются цветы из льда. Лучше всего они цветут у бедняков: у богатых окна закрываются слишком плотно.



В ботаническом отношении цветы из льда отличаются тем, что это, собственно говоря, не цветы, а просто ботва. Ботва, напоминающая цикорий, петрушку и листья сельдерея; затем — всевозможные лопухи из семейства Cynarocephalae,

Carduaceae, Dipsaceae, Acanthaceae, Umbelliferae и проч., ее можно также сравнить с такими видами, как остропестр или волчец, скерда, осот, нотабазис, синеголовник, мордовник, чертополох, ворсянка, репейник, дикий шафран, борщевик и еще некоторыми колючими растениями, с перистыми, зубчатыми, раздвоенными, кружевными, фестончатыми и бахромчатыми листьями; иногда она похожа на ветви папоротника или листья пальм, иногда на иглы можжевельника; но цветов не имеет.

Итак, пособия по садоводству утверждают, — видимо, для утешения, — что «даже в январе садоводу нельзя сидеть сложа руки». Прежде всего будто бы можно обрабатывать почву, которая будто бы крошится от мороза. И вот уже на Новый год садовод кидается в сад — обрабатывать почву. Он набрасывается на нее с заступом; после напряженных усилий ему удается сломать заступ, потому что земля тверда, как корунд. Он продолжает свои попытки, вооружившись мотыгой; в результате его упорства у мотыги переламывается рукоять. Он хватает кирку и при помощи ее повреждает луковицы тюльпанов, которые сам посадил осенью. Остается одно средство: пустить в ход молоток и долото; но этот способ обработки почвы очень медленный и скоро надоедает. Неплохо бы, пожалуй, разрыхлять ее динамитом, но у садоводов редко бывает динамит. Ладно, предоставим это дело оттепели.



Да вот и она. И садовод спешит в сад, чтобы завершить

обработку почвы. Через некоторое время он тащит ее к себе в дом, налипшую на сапоги, так как сверху она оттаяла. Тем не менее он делает радостное лицо и твердит, что земля уже раскрывается. Нужно только «произвести коекакие подготовительные работы к наступающему сезону».

«Если у тебя в подвале сухо, приготовь цветочной земли, хорошенько смешай ее с прелыми листьями, компостом, перегнившим коровьим навозом и добавь немного песку». Превосходно! Только вот беда: в подвале — кокс и уголь; всюду эти женщины насуют своей домашней дребедени!.. Разве что в спальне чернозему навалить...

«Используй зимнее время для ремонта бельведерчика, павильончика, беседки». Правильно; только нет у меня ни бельведерчика, ни павильончика, ни беседки. «И в январе можно класть дерн...» Было бы куда; может, в прихожей или на чердаке? «Главное, следи за температурой в оранжерее». И рад бы следить, да оранжереи нету... От всех этих пособий по садоводству мало толку.

Так что выходит: ждать и ждать. Господи, какой январь длинный! Поскорей бы февраль...

— Думаешь, в феврале уже можно что-нибудь делать в саду?

— Ну, не в феврале, так хоть в марте.

И вдруг, совершенно неожиданно для садовода, без того, чтобы он пальцем пошевелил, у него в саду распускаются крокусы и подснежники.

Семена

По мнению одних, в землю надо вносить древесный уголь, тогда как другие это оспаривают; некоторые рекомендуют немного желтого песку — на том основании, будто бы в нем содержится железо; но другие от этого предостерегают — и как раз из тех соображений, что в нем содержится железо. Одни считают необходимым чистый речной песок, другие — обыкновенный торф, третьи — древесные опилки. Короче говоря, подготовка почвы к посеву представляет собой великую тайну и колдовской обряд. К почве надо подбавлять мраморной пыли (но где ее взять?), трехлетнего коровьего навоза

(причем неясно, идет ли речь о навозе коров-трехлеток или о навозе, пролежавшем три года), щепотку свежей кротовины, толченной в порошок, необожженного кирпича, лабского (ни в коем случае не влтавского) песка, трехлетней парниковой земли, да еще, пожалуй, перегноя золотого папоротника и горсть земли с могилы повешенной девушки. Все это надо хорошенько смешать (в новолуние, полнолуние или в ночь под Филиппа и Иакова, на это в садоводческой литературе нет указаний), и когда вы насыплете этой чудодейственной земли в цветочные горшки (вымоченные в воде, простоявшей три лета на солнце, причем на дно каждого надо положить вываренный черепок и кусок древесного угля, против чего, впрочем, некоторые авторитеты возражают), когда вы все это проделаете, соблюдая при этом сотню предписаний, в корне друг другу противоречащих, чем весь этот обряд до крайности осложняется, можете приступить к делу, то есть к посеву.

Что касается семян, то некоторые из них похожи на нюхательный табак, другие на светленькие, бледные гниды, третьи на блестящих темно-коричневых блох без ножек. Есть среди них плоские, как монетки, круглые, будто налитые, тонкие, как иголки; есть крылатые, колючие, пушистые, голые и волосатые; крупные, как прусаки, и мелкие, как пылинки в солнечном луче. Могу засвидетельствовать, что каждый вид отличается от другого и все вызывают удивление: жизнь сложна. Из того вон большого хохлатого страшилища должна появиться низенькая, сухая колючка, а из этой желтой гниды будто бы подымется огромный толстый котиледон. Что тут скажешь? Просто не верится.

Ладно, вы посеяли? Поставили горшки в тепловатую воду и накрыли их стеклом? Занавесили окна, чтобы не било солнце, и закрыли их, чтобы в комнате установилась парниковая сорокаградусная температура? Все в порядке. Теперь для каждого посеявшего наступает пора энергичной напряженной деятельности, то есть ожидания. Обливаясь п*о*том, без пиджака и жилетки, затаив дыхание, склоняется ожидающий над своими цветочными горшками, словно вытягивая взглядом ростки, которые вот-вот должны пробиться.

Первый день нет ни малейших признаков всходов; и ожидающий всю ночь ворочается с боку па бок на постели, томясь в ожидании утра.

На другой день таинственная почва порождает пятнышко плесени. И ожидающий уже радуется, видя в этом пятнышке первый след жизни.

На третий день вылезает что-то на длинной белой ножке и начинает расти как сумасшедшее. Ожидающий начинает чуть не громко ликовать — дескать, вот оно! — и беречь этот первый маленький побег как зеницу ока.

На четвертый день, когда росточек невероятно вытянулся вверх, в душу ожидающего закрадывается тревога: уж не сорняк ли какой? Вскоре обнаруживается, что опасение не лишено оснований. Это первое, появившееся в горшке, длинное, тонкое растение неизменно оказывается сорняком. Тут, видимо, какой-то закон природы.

Но вот примерно на восьмой день, а то и позже, вдруг ни с того ни с сего, в какой-то не поддающийся учету, таинственный момент (так как никто никогда этого не видел и не наблюдал), тихонько раздвигается земля и появляется на свет первый росток. Я всегда думал, что былинки прорастают из семени либо вниз корешком, либо вверх, как картофельная ботва. Оказывается, ничего подобного. Почти каждая былинка растет кверху под своим семенем, приподнимая его своей верхушкой, как шапочку на голове. Представьте себе, если бы ребенок рос, держа на голове родную мать. Это просто чудо природы; и такой атлетический трюк производит почти каждый росток: подымает семя вверх все смелее и смелее, до тех пор пока в один прекрасный день не уронит или не отбросит его и не станет после этого голый и хрупкий, коренастый или тщедушный, и на макушке у него два этаких смешных листочка; а между двух этих листочков показывается потом...

Что? Этого я вам сейчас не скажу. Рано. Пока — только два листочка на бледном стебельке, но это так удивительно, и столько в этом разнообразия: у каждого растеньица по-своему... Так что я хотел сказать? Ах да, ничего особенного: только то, что жизнь гораздо сложней, чем это можно себе представить.

Февраль садовода

В феврале садовод продолжает работы, начатые в январе, — а именно, главным образом ухаживает за погодой. Дело в том, что февраль — время опасное, угрожающее



садоводу бесснежными морозами, солнцем, сыростью, сушью и ветрами. Этот самый короткий месяц в году — какой-то заморыш среди других месяцев, недоношенный, високосный, вообще не солидный — выделяется среди них своими коварными проделками. С ним держи ухо востро! Днем выманит на свет божий почки на кустах, а ночью сожжет их морозом; одной рукой гладит нас, а другой — щелкает по носу. Черт его знает, почему в високосные года именно этому вертлявому, катаральному, лукавому месяцу-коротышке прибавляют один день; уж лучше прибавлять день чудному месяцу маю: пускай будет тридцать два. Вот это дело! С какой стати нам, садоводам, страдать?

Следующей сезонной работой в феврале является *подстерегание первых признаков весны.* Садовод ни во что не ставит ни первых майских жуков, ни первых бабочек, которые обычно возвещают весну на страницах газет: во-первых, майские жуки ему вообще ни к чему, а во-вторых, первой бабочкой обычно является последняя, прошлогодняя, забывшая умереть. Первые признаки весны, взыскуемые садоводом, более надежны. Они — следующие:

1. *Крокусы,* появляющиеся у него в траве в виде крепких, упругих остроконечных шишечек; в один прекрасный день такая шишечка вдруг лопнет (при этом еще никто никогда не присутствовал) и превратится в пучок красивых зеленых листиков. Это и есть первый признак весны. Затем:

2. *Садоводческие прейскуранты,* которые приносит ему почтальон. Хотя садовод знает их наизусть (подобно тому

как «Илиада» начинается словами: «Менин аэйде, теа» [1], так и эти каталоги начинаются всегда одинаково: «Acaena, Acantholimon, Acanthus, Achillea, Aconitum, Adenophora, Adonis» и т. д., так что любой садовод отбарабанит вам, как из пулемета), тем не менее, он снова внимательно прочитывает их — от Acaen'ы до Yucc'и — в мучительном раздумье, что бы еще заказать.

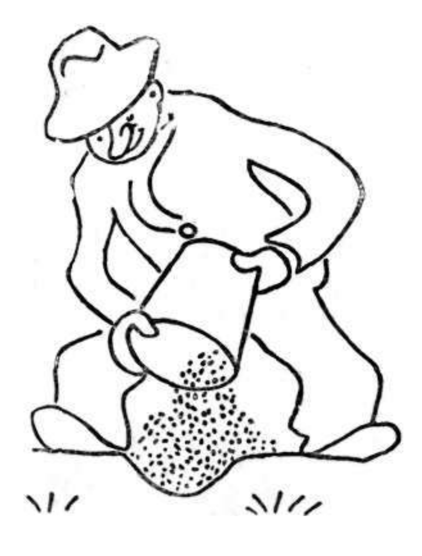
3. Следующий вестник весны — *подснежники;* сперва это выглядывающие из-под земли бледно-зеленые острия, которые затем расщепляются на два толстых листка-семядоли, — и готово. Затем, иной раз уже в начале февраля, это превращается в цветок, и уверяю вас: никакая пальма первенства, никакое древо познания, никакие лавры победные не превосходят красотой своей этой хрупкой белой чашечки на бледном стебельке, качающейся на холодном ветру.



4. Верным признаком весны являются также *соседи.* Как только они высыпают на свои участки с заступами и мотыгами, ножницами и лыком, краской для деревьев и всякими порошками для грунта, опытному садоводу сразу понятно: близко весна. Он надевает старые брюки и, в свою очередь, устремляется в сад с заступом и мотыгой, чтобы его соседи тоже узнали о приближении весны и сообщили эту радостную новость дальше, через забор.

Земля уже раскрывается, но еще не пускает зеленого листка, можно еще брать ее такою, как она есть: голой,

[1] «Гнев, о богиня, воспой» (*древнегреч.*).



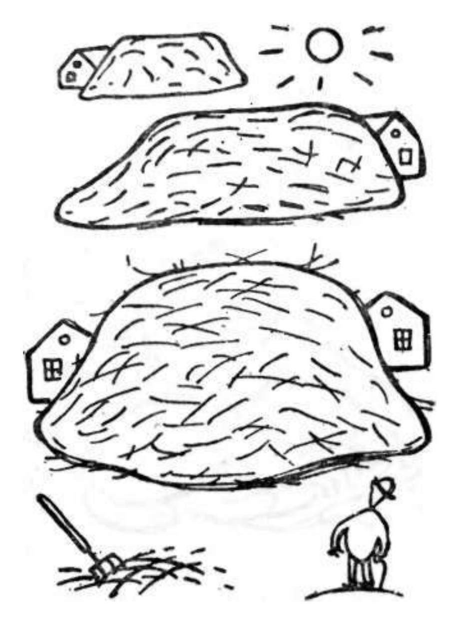
полной ожидания. Это еще пора унавоживания и копки, планирования и дренирования, рыхления и внесения смесей.

В это время садовод замечает, что почва у него слишком плотная, слишком вязкая или слишком песчаная, слишком кислая или слишком сухая, — короче говоря, в нем просыпается страстное желание как-то ее улучшить. Почву можно улучшать тысячью способами; к несчастью, большинство их недоступно садоводу. В городе не так-то легко иметь у себя дома голубиный помет, прелые листья бука, истлевший коровий навоз, старую штукатурку, старый торф, лежалую дерновину, сухую кротовину, лесной перегной, речной песок, прудовой ил, землю из-под зарослей вереска, древесный уголь, древесную золу, костную муку, роговые опилки, старую навозную жижу, лошадиный помет, известь, торфяной мох, труху от гнилого пня и прочие питательные, разрыхляющие, благотворные вещества, не считая еще доброй тысячи азотистых, магнезийных, фосфатных и всяких других удобрений.

Иной садовод готов хранить, перебирать и компостировать все эти облагороженные почвочки, примеси, навозики, да беда в том, что у него в саду не останется тогда места для цветов. Так что он улучшает почву как может: собирает дома яичную скорлупу, жжет кости, остающиеся от обеда, прячет свои состриженные ногти, выметает из печки сажу, выбирает из лохани песок, на улице натыкает на палку прекрасное лошадиное яблоко и заботливо зарывает все это в землю у себя в саду; потому что это — субстанции рыхлые, повышающие температуру и утучняющие. Все на свете либо годится для почвы, либо нет. Только малодушный стыд мешает садоводу пойти на улицу собирать оставленное лошадьми; но при виде

славной кучки навоза на мостовой он непременно вздохнет по этой божьей благодати.

Представить себе только, какие горы навоза громоздятся на крестьянских дворах!.. Я знаю, есть всякие порошки в жестяных банках; ты можешь купить себе каких только вздумаешь солей, экстрактов, шлаков, всякой муки. Можешь прививать почве разные бактерии; можешь обрабатывать ее в белом халате, будто какой-нибудь доцент университета либо фармацевт. Все это ты можешь делать, городской садовод. Но как представишь себе этакую коричневую гору жирного навоза на крестьянском дворе!..



Однако, к вашему сведенью, подснежники уже цветут; цветет и гамамелис желтыми звездочками, и на чемерице набухли бутоны. А если вы всмотритесь как следует (затаив при этом дыхание), так найдете почки и ростки на всем. Тысячекратным тоненьким пульсированием проступает жизнь из земли. Мы, садоводы, уже не пропадем: уже наливаемся новым соком.

Об искусстве садовода

Пока я был далеким, рассеянным обозревателем готовых результатов садоводства, то есть самих садов, я считал садоводов людьми мягкими, характера поэтического, которые только и делают, что наслаждаются благоуханием цветов и внимают пенью птиц. Теперь, глядя на все это дело с более близкого расстояния, вижу, что настоящий садовод хлопочет не столько о цветах, сколько о почве.

Это — существо, зарывшееся в землю и предоставляющее любоваться тем, что над ней, нам — бездельничающим ротозеям. Он так и живет, уйдя в землю и воздвигнув себе памятник в виде кучи компоста. Попав в райский сад, он понюхал бы, чем там пахнет, и объявил бы:

— Вот это, милые, перегной!

По-моему, он забыл бы даже отведать плод с древа познания добра и зла: все норовил бы увезти у господа бога тачку райского гумуса. Или заметил бы, что древо познания добра и зла плохо окатано, и принялся бы устраивать вокруг него правильный земляной вал, даже не подозревая, какие плоды висят у него над головой.



— Адам, где ты? — позвал бы господь.

— Погоди, — ответил бы садовод, не оборачиваясь. — Мне сейчас некогда.

И продолжал бы окапывать дерево.

Если бы человек породы садоводов развивался с самого начала по законам естественного отбора, он превратился бы в некое беспозвоночное. В самом деле, для чего ему спина? Кажется, только для того, чтобы время от времени расправлять ее со словами:

— Так и ломит, проклятую!

Ноги — те складываются на все лады, так что можно сесть на трех точках, встать на колени, тем или иным манером подложить ногу под себя или даже закинуть ее себе за шею. Пальцы — удобные колышки: ими хорошо делать ямки; ладони разминают комья или разбрасывают перегной. А голова нужна, чтобы было к чему подвешивать трубку. Только со спиной ничего не сделаешь: садовник не в состоянии согнуть ее как надо. У земляных червей совсем нет спины. Обычно самая верхняя часть садовника — зад; ноги у него раскорячены, руки растопырены, голова — где-то между колен; он напоминает пасущуюся кобылу. Ему чуждо желание стать хоть на одну пядь выше ростом. Наоборот, он складывается пополам, садится

на корточки, старается всячески сократить свои размеры. Как видите, в таком положении он редко превышает метр в высоту.



Уход за почвой состоит, с одной стороны, во всевозможном рытье, окапывании, переворачивании, приглаживании, выравнивании, а с другой — в добавлении примесей. Ни один пудинг не требует такого сложного приготовления, как почва для сада: насколько мне удалось проследить, тут участвуют навоз, помет, гуано, прелый лист, дерновина, чернозем, песок, солома, известь, томасова мука, детская мука, селитра, роговое вещество, фосфаты, кал, вода крондорфская, зола, торф, компост, обыкновенная вода, пиво, остатки курева из трубок, жженые спички, дохлые кошки и много других веществ. Все это тщательно смешивается, зарывается и присаливается. Как уже сказано, садоводу совсем не до того, чтобы наслаждаться ароматом роз; его неотступно преследует мысль, что этой «земле нужно еще немножко извести» или что она слишком тяжелая (как свинец, по его выражению) и «ей надо побольше песку». Садоводство стало своего рода наукой. Теперь девушка не должна петь: «У нас под окошком роза цветет». Ей следует петь о том, что, дескать, у нас под окошком надо насыпать селитры и буковой золы пополам с мелкорубленой соломой. Розы цветут, так сказать, для дилетантов; источник радости садовода расположен глубже — в лоне земном. После





смерти садовод превращается не в упивающегося цветочным ароматом мотылька, а в земляного червя, вкушающего темные, азотистые, пряные наслаждения, доставляемые землей.

С наступлением весны садоводами овладевает, можно сказать, неодолимая тяга в сад. Не успели положить ложку на стол, как, глядишь, уже подняли на своих клумбочках зады к лазурному небосклону; тут разомнут пальцами теплый комочек, там пододвинут поближе к корню драгоценный кусок прошлогоднего сухого помета; тут вырвут сорняк, там подымут камешек; сейчас рыхлят землю вокруг клубники, а через минуту преклоняются, чуть не роя землю носом, перед саженцами салата, любовно лаская хрупкий пучок корней. В таком положении они проводят весну, между тем как над их бедрами солнце совершает свой торжественный круговорот, плывут облака, парят птицы небесные. Вот уже лопаются почки черешен, распускаются нежные, милые молодые листья, кричат как ошалелые черные дрозды. Тут настоящий садовод разогнет спину, потянется и задумчиво промолвит:

— Осенью унавожу как следует и песочку подсыплю.

Но есть такое мгновение, когда садовод подымается и встает во весь рост: это происходит в предвечерний час, когда он совершает над своим садом обряд поливки. Тут он стоит, прямой, почти величественный, управляя водяной струей, вырывающейся из носика гидранта; вода шумит,



рассыпаясь звонким серебристым дождиком; от рыхлой земли подымается влажное благоухание, каждый листок сверкает неистовой зеленью и сияет так радостно, так аппетитно, словно просит скушать его.

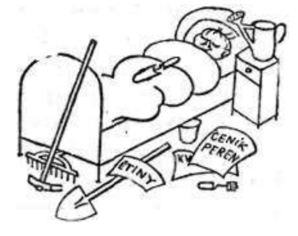
— Ну, теперь в самый раз, — шепчет садовод, блаженно улыбаясь, но имея при этом в виду не покрытую кипенью бутонов черешню и не пурпур крыжовника, а устилающий землю коричневый слой перегноя.

И, глядя на закат, с глубоким удовлетворением говорит:

— Нынче я поработал на славу!

Март садовода

Чтобы изобразить в соответствии с истиной и древними традициями март садовода, следует прежде всего отчетливо различать две вещи: а) что садовод должен и хочет делать и б) что он действительно делает, не имея возможности сделать больше.



а) Чего он страстно и жадно хочет, это ясно само собой: он хочет удалить хвою и открыть клумбы, рыть, унавоживать, дренировать, копать, перекапывать, рыхлить, сгребать, выравнивать, поливать, делать отводки, подрезывать, сажать, пересаживать, подвязывать, опрыскивать, производить подкормку, полоть, подсаживать, сеять, чистить, подстригать, отгонять воробьев и дроздов, принюхиваться к земле, выковыривать пальцем ростки сорняков, восхищаться расцветшими подснежниками, отирать пот с лица, расправлять поясницу, есть и пить за десятерых, валиться в постель с заступом и вставать с жаворонком, славить солнце и влагу небесную, ощупывать упругие бутоны, наживать первые весенние волдыри и мозоли, вообще жить полной, кипучей весенней садоводческой жизнью.

б) Вместо этого он ругается, что земля — до сих пор еще или опять уже — мерзлая, мечется у себя в доме, как пойманный лев в клетке, если сад снова завалило снегом, сидит с насморком у печки, ходит нехотя к зубному врачу, заседает в суде, принимает у себя в гостях тетю, правнука,



чертову бабушку — вообще смотрит, как уплывают дорогие деньки, преследуемый всевозможными невзгодами, ударами судьбы, делами, помехами, которые, будто назло, так и валятся на него не раньше и не позже, а именно в марте. Потому что — имейте в виду: «Март — лучший месяц для подготовки сада к приходу весны».

Да, только садовод способен понять подлинный смысл таких, ставших шаблонными выражений, как «суровая зима», «бешеный северный ветер», «свирепый мороз» и прочие поэтические попреки в этом духе. Он даже сам прибегает к выражениям еще более поэтическим, говоря, что нынче зима сумасшедшая, проклятая, окаянная, чертовская, адская, дьявольская, сатанинская. В отличие от поэтов, он не ограничивается облаиванием одного только северного ветра, но распространяет свои выпады и на злостные ветры с востока; и бранит не столько мокрую метелицу, сколько коварную втирушу — сухой мороз. Он склонен к образным выражениям, вроде того что, мол, «зима сопротивляется атакам весны», и чувствует себя страшно униженным невозможностью оказать какую бы то ни было помощь весне в деле уничтожения ненавистной зимы. Если б можно было пустить в ход против нее мотыгу или заступ, ружье или алебарду, он, подпоясавшись потуже, ринулся бы с победным кличем в бой. Но вместо этого он вынужден каждый вечер ждать у радиоприемника военной сводки государственной службы погоды, ругая на чем свет стоит область высокого давления над Скандинавией или глубокий антициклон над Исландией. Потому что мы-то, садоводы, хорошо знаем, откуда ветер дует.

Для нас, садоводов, имеют также большое значение народные прогнозы; мы еще верим, что «святой Матей ломает лед», а если он медлит, ждем, что это сделает за него

небесный ледоруб святой Иосиф. Знаем, что «март пришел — на печь полезай», и верим в трех ледяных царей, в весеннее равноденствие, дождь на Медарда и другие такие же приметы, ясно говорящие о том, что люди уже в давние времена имели неприятности с погодой. Нет ничего удивительного в таких выражениях, как «первого мая снег на крыше тает», что «на святого Непомука отморозишь нос и руки», «на святого Петра и Павла я вся до костей прозябла», «на Кирилла-Мефодия не осталось даже разводья», «на святого Вацлава одна зима отстала, да на смену другую прислала». Словом, народные прогнозы сулят нам в большинстве своем скверные, мрачные вещи. Так что имейте в виду: существование садовода, который наперекор вышеозначенным неприятностям с погодой из года в год приветствует приход весны и делает ей почин, является ярким доказательством свойственного человеческому роду чудесного, неистощимого оптимизма.

Став садоводом, человек начинает всюду выискивать старожилов. Это люди преклонного возраста, притом — довольно рассеянные, каждую весну утверждающие, что такой весны не запомнят. Если на дворе холодно, они заявляют, что не запомнят такой холодной весны: «Когда-то, лет шестьдесят тому назад, стояла такая теплынь, что на сретенье фиалки цвели». Наоборот, если на дворе немножко теплей, старожилы твердят, что не запомнят такой теплой: «Было время, лет шестьдесят тому назад, на святого Иосифа в санях ездили». Словом, и по свидетельству старожилов выходит, что относительно погоды в нашем климате царит безудержный произвол и тут решительно ничего не поделаешь.



Да, ничего не поделаешь: вот уже середина марта, а замерзший сад еще весь в снегу. Боже, смилуйся над клумбочками садоводов!

Я не открою вам тайны того, как садоводы узнают друг друга: при помощи чутья, какого-нибудь пароля или тайного знака. Но факт тот, что они узнают друг друга при



первой же встрече, в театральном ли фойе, за чайным столом или в приемной у зубного врача. Первое, что они произносят, как только откроют рот, относится к обмену впечатлениями о погоде («Нет, сударь, такой весны я просто не запомню»), после чего переходят к проблеме влаги, к георгинам, к искусственным удобрениям, к некоей голландской лилии («Черт побери, забыл, как она по-настоящему называется, — да все равно! Я дам вам луковочку»), к клубнике, к американским прейскурантам, к вреду, причиненному нынешними холодами, к щитовке, к астрам и другим таким же темам. На поверхностный взгляд, в фойе театра стоят три господина в смокингах, но ежели взглянуть глубже, так это, в сущности, три садовода с заступом или лейкой в руках.

Если у вас остановились часы, вы их разберете, а потом отнесете к часовщику; если у кого-нибудь заглохнет мотор автомобиля, владелец откинет капот и полезет туда руками, после чего позовет механика. Со всем на свете можно справиться, все можно починить, отремонтировать, но против погоды предпринять абсолютно ничего невозможно. Тут не помогут ни усердие, ни самоуверенность, ни изобретательность, ни нахальство, ни ругань. Бутон раскроется, и стрелка покажется, когда пробьет ее час. И ты со смирением познаешь бессилие человека; поймешь, что терпение — источник мудрости...

Тут больше ничего не сделаешь.

Почки

Нынче, 30 марта, в десять часов утра, у меня за спиной распустился первый цветок форзиции. Три дня следил я за самым крупным бутоном, похожим на маленький золотой стручок, боясь пропустить это историческое событие. А произошло оно в тот момент, когда я взглянул на небо — не пойдет ли дождь? Завтра прутья форзиции будут осыпаны золотыми звездами. За этим дело не станет. Больше всех, конечно, торопится сирень; я оглянуться не успел, как она уже пустила узенькие хрупкие листочки; за сиренью не уследишь, мой милый! И ribes aureum [1] развернула уже свои рубчатые и сборчатые кружевные воротнички. Но остальные кустарники и деревца ждут еще некоей команды «пора!», которая должна прозвучать не то с земли, не то с неба. В это мгновение раскроются все почки — и поехало!

Образование почек относится к числу тех явлений, которые мы, люди, называем «процессами природы»; но образование почек — в полном смысле слова процесс, так как похож на торжественную процессию. Вот, например, тление — тоже естественный процесс, а оно нисколько не похоже на церемониальный марш; я не хотел бы сочинять какой-нибудь «tempo di marcia» [2] к процессу тления. Но, будь я композитор, я сочинил бы музыку на тему: «Процессия почек». Сперва прозвучал бы легкий марш сиреневых батальонов; потом в процессию вступили бы отряды красной смородины, потом послышалась бы тяжкая поступь грушевых и яблоневых почек, сопровождаемая многострунным бряцанием и звоном молодой травы. И под этот оркестровый аккомпанемент промаршировали бы полки строго дисциплинированных бутонов, стремящихся неуклонно вперед — «стройными рядами», как говорят о военных парадах. Раз, два, раз, два. Господи, какое великолепие!

Считается, что весной вся природа зеленеет; это не совсем верно, так как она в то же время и краснеет благодаря коричневым и розовым почкам. Бывают почки темно-пурпурные и рдеющие, будто с мороза; бурые и липкие, как смола; беловатые, как шерсть на брюхе у зайчихи;

---

[1] золотистая смородина (*лат.*).
[2] марш (*итал.*).

бывают и фиолетовые, и светлые, и темные, как старая кожа. Из некоторых высовывается зубчатая бахромка, другие похожи на пальцы или языки, третьи — на бородавки. Одни разбухли, подернутые пушком, мясистые и плотные, как щенята; другие сжаты в узкий, тугой торчок; третьи раскрываются в виде пучка ощетиненных хрупких хвостиков. Говорю вам: почки не менее удивительны и разнообразны, чем листья или цветы. Человек никогда не исчерпает возможность открывать все новые и новые различия. Но чтобы обнаружить их, надо выбрать маленький участок земли. Если бы я дошел пешком до самого Бенешова, я меньше узнал бы весну, чем сидя на корточках в саду. Нужно остановиться, и тогда увидишь открытые рты и взгляды, кидаемые украдкой, нежные пальцы и поднятое вверх оружие, младенческую хрупкость и мятежный порыв воли к жизни; и тогда уловишь чуть слышную поступь бесконечной процессии почек...

Так. Видимо, пока я это писал, таинственное «пора!» было произнесено: почки, еще утром повитые тугими свивальниками, теперь высунули хрупкие острия листочков, прутья форзиции засияли золотыми звездами, налитые бутоны грушевого дерева приотворились, а на торчках не знаю каких там пупырышков загорелись золотисто-зеленые глаза. Из смолистых чешуй проглянула молодая зелень, толстые почки лопнули, и из них пробилась филигрань зубчиков и сборочек. Не робей, румяный листочек; раскройся, сложенный веерок; потянись, пушистый соня. Уже дан приказ: в путь! Раздайтесь, фанфары ненаписанного марша! Заблистайте на солнце, золотые трубы, загремите, бубны, засвистите, флейты, пролейте ливень свой, бесчисленные скрипки. Тихий, коричневый и зеленый сад двинулся победным маршем вперед.

Апрель садовода

Апрель — вот подлинный, благодатный месяц садовода. Пускай влюбленные помалкивают насчет своего пресловутого мая. В мае деревья и цветы просто цветут, а в апреле они *распускаются.* Знайте: это прорастание, этот расцвет, эти почки, ростки и побеги — величайшее чудо природы, — и больше о них ни слова; сядьте сами

на корточки, сами поройтесь пальцем в рыхлой земле, затаив дыхание, потому что палец ваш коснется хрупкого и налитого ростка. Этого нельзя описать — так же, как нельзя описать словами поцелуя и некоторых других, хотя и немногих, вещей.



Но раз уж мы заговорили об этом хрупком ростке, то тут — каким образом, этого никто не знает — довольно часто происходит следующее: стоит вам шагнуть на клумбу, чтобы снять с нее сухую веточку или вырвать подлый одуванчик, вы почти всегда наступите на подземный росток лилии либо купальницы; он хрустнет у вас под ногой, и вы замрете в ужасе и отчаянии; в эту минуту вы считаете себя каким-то чудовищем, которое все вытаптывает своими копытами. Или, со всяческими предосторожностями разрыхляя почву клумбы, обязательно рассечете мотыжкой проросшую луковку либо срежете заступом под *самый* корень росток анемона и, попятившись в ис-



пуге, расплющите каблуком зацветшую маленькую примулу или обломите молодой хвост дельфиниума. Чем с большей осторожностью вы действуете, тем больше наделаете вреда; только многолетняя практика научит вас мистической и суровой уверенности подлинного садовода, который шагает куда попало, но ничего не раздавит. А если и раздавит — не приходит в ужас. Но это я — так, мимоходом.

Помимо прорастания, апрель — также месяц посадок. С восторгом, да, с диким восторгом и нетерпением, заказали вы садовникам саженцы, без которых вам жизнь не мила; обещали всем своим приятелям-садоводам, что придете к ним за отводками, потому что вам всегда мало того, что есть. И вот в один прекрасный день у вас в доме собралось каких-нибудь сто семьдесят саженцев, жаждущих посадки. Тут вы окидываете взглядом свой сад и с удручающей ясностью убеждаетесь в том, что сажать некуда.

Таким образом, садовод в апреле — это человек, двадцать раз обегающий сад свой с вянущим саженцем в руке, отыскивая хоть пядь земли, где еще ничего не растет.

— Нет, сюда нельзя, — ворчит он себе под нос. — Тут у меня эти проклятые хризантемы. А здесь его задушит флокс. А там — смолка, черт бы ее побрал! Гм, тут расползлись колокольчики. И возле той лесенки тоже нет места. Куда же его девать? Стой, вот сюда!.. Нет, тут уже борец. Может, сюда? Тут лапчатка. Хорошо бы сюда, да тут полно традесканции. А там? Хотел бы я знать, что у меня там посажено? Ага, тут вот есть еще местечко. Погоди, мой маленький, сейчас я тебя устрою. Ну, вот. Расти с богом.

Но через два дня садовод обнаруживает, что посадил своего нового питомца прямо посреди раскрывшихся алых бутонов энотеры.

Человек породы садоводов выведен искусственно, а вовсе не является результатом естественного развития. Если бы он был продуктом природы, то выглядел бы иначе: у него были бы ноги, как у жука, чтобы ему не

садиться на корточки, и крылья, чтоб он мог варить над своими грядками. Кто с этим не сталкивался, тот никогда не поймет, как мешают ноги, когда их не на что поставить; до чего они непомерно длинны, если их нужно поджать под себя, чтобы поковырять пальцем в земле; и до чего невозможно коротки, если нужно перешагнуть на другую сторону



клумбы, не наступив на подушку ромашек или распустившихся орликов. Хорошо бы подвеситься на чем-нибудь и качаться себе над своими посадками; или иметь, по крайней мере, четыре руки плюс голову в фуражке, и ровно ничего больше; а то еще — чтобы наши руки и ноги могли выдвигаться, как штатив у фотоаппарата. Но, поскольку физическая организация садовода внешне ничем не отличается от несовершенной организации остальных смертных, ему остается только как можно искусней балан-





сировать, стоя на цыпочках, на одной ноге, взлетать в воздух, подобно балерине императорских театров, раскорячиваться на четыре метра вширь, ступать легко, как бабочка или трясогузка, умещаться на одном квадратном дюйме, сохранять равновесие вопреки всем законам о наклонных телах, всюду доставать, от всего уклоняться, да еще при всем том по возможности соблюдать полное достоинство, чтобы над ним не смеялись.

Впрочем, при беглом взгляде на садовода издали, вы не увидите ничего, кроме его зада; все остальное, как-то: голова, руки и ноги, находится попросту под последним.

Благодарю за внимание; да, всего пропасть: нарциссы, гиацинты и тацеты, viola cornuta [1] и пупавка, камнеломка, драба, и арабис, и гутчинсия, и баранчик, и весенний вереск. А сколько еще расцветет завтра или послезавтра — вот посмотрите!

Смотреть, понятное дело, может каждый.

— Ах, какой хорошенький лиловый цветочек! — воскликнет какой-нибудь непосвященный, на что садовод с некоторой обидой возразит:

— Это — Petrocallis pyrenaica!

Потому что садовод помешан на названиях; цветок без названия — это, выражаясь языком Платона, цветок

[1] рогатая фиалка (*лат.*).

без метафизической идеи; он просто лишен истинной полноценной реальности. Безымянный цветок — сорняк; цветок с латинским названием находится уже на некоем профессиональном уровне. Скажем, выросла у вас на клумбе крапива; вы взяли и прикрепили табличку с надписью: «Urtica dioica» — и невольно стали относиться к ней с уважением: даже землю ей рыхлите и удобряете чилийской селитрой.

Беседуя с садоводом, обязательно спросите его:

— Как называется эта роза?

— Это «Бурмистер ван Толле», — польщенный, ответит он. — А вон там — «Мадам Клер Мордье».

И подумает о вас ласково: «Какой учтивый, благовоспитанный человек».

Но сами остерегайтесь прибегать к названиям. Не говорите, например: «Какой у вас там расцвел отличный Arabis», — а то как бы садовод не обозлился и не загремел: «Что вы! Да *ведь* это Шивереккия Борнмюллери!!!»

В сущности, это одно и то же, разницы никакой, по — название есть название. А мы, садоводы, дорожим хорошим названием. По той же причине мы терпеть не можем детей и дроздов: они вытаскивают из земли и перепутывают таблички; и бывает, что мы говорим с удивлением:

— Поглядите, этот ракитник цветет совсем как эдельвейс... Видимо, местная разновидность. А ведь определенно — ракитник: вот моя собственная табличка!

Праздник

...Но я сознательно буду воспевать не праздник труда, а праздник частной собственности; и если не пойдет дождь, отпраздную его, сидя на корточках и приговаривая:

— Дай, я тебе подсыплю немножко торфу, а вот этот отросток обрежу... Хочешь поглубже в почву, а?

И торица ответит: да, ей хотелось бы. И я посажу ее поглубже. Потому что это моя земля, орошенная потом и кровью; притом в буквальном смысле слова: ведь, подрезая веточку либо какой-нибудь отросток, почти всегда обрежешь себе палец, который тоже — не что иное, как веточка или отросток. Имея сад, неизбежно становишься частным собственником: если у тебя выросла роза, так это не просто роза, а — *твоя* роза. Видишь и отмечаешь не

расцвет черешен, а расцвет *твоих* черешен. У человека, ставшего собственником, появляются конкретные точки соприкосновения с ближними, — например, в связи с погодой, он говорит: «Лучше бы у нас не было дождя» — или: «Славно нас смочило». Кроме того, у него появляются столь же определенные отталкивания; он отмечает, что у соседа деревца-то — все больше хворост да метелки, не как у *него,* или что вон та айва лучше принялась бы в *его* собственном саду, чем в соседском, и т. д. Таким образом, не может быть спора о том, что частная собственность вызывает определенные классовые и коллективные интересы, — например, в отношении к погоде; но бесспорно также и то, что она пробуждает страшно сильные эгоистические, предпринимательские, частнособственнические инстинкты. Несомненно, человек пойдет в бой за свою правду, но еще охотней и отчаянней кинется он в бой за свой сад. Владея земельным участком в несколько сажен и что-то на нем выращивая, действительно становишься существом в какой-то мере консервативным, ибо подчиняешься тысячелетним законам природы: как-никак ни одна революция не приблизит пору вегетации и не заставит сирень распуститься раньше мая; это учит человека мудрости и покорности законам и обычаям.

А тебе, альпийский колокольчик, я выкопаю ямку поглубже. Труд! Да, это копанье в земле — тоже труд, потому что, как я уже сказал, от него здорово болят спина и колени. Но дело не в труде, а в колокольчике: ты это делаешь не потому, что труд прекрасен, что он облагораживает или полезен для здоровья, а для того чтобы колокольчик цвел и камнеломка разрослась подушкой. Если же что славословить, так не свой труд, а колокольчик или камнеломку, ради которых ты все это делаешь. И если бы, вместо того чтобы писать статьи и книги, ты встал к ткацкому или токарному станку, то и тут трудился бы не ради труда, а ради того, чтобы получить за это ветчину с горошком, или потому, что у тебя куча детей и ты хочешь прокормиться. Так что тебе надлежало бы славить ветчину с горошком, детей и жизнь — все, что ты покупаешь ценой своего труда и за что платишь трудом. Или же надо славить то, что своим трудом создаешь. Дорожные рабочие должны славить не столько свой труд, сколько шоссейные дороги, ими проведенные; текстильщики на празднике труда должны славить главным обра-

зом километры тика и канифаса, которые им удалось вымотать из машин. Говорят «праздник труда», а не «праздник выработки», но ведь следовало бы гордиться скорее своей выработкой, нежели тем, что ты вообще работал.

Я спросил у одного человека, который побывал у покойного Толстого, какие получились сапоги, которые Толстой сам себе шил. Оказывается, очень плохие. Если человек что-нибудь работает, так он должен делать это либо для собственного удовольствия, либо оттого, что умеет делать именно это дело, либо наконец, ради куска хлеба; но шить сапоги из принципа, работать из принципа и из моральных соображений — значит попросту портить материал. Я хотел бы, чтобы на празднике труда превозносились и возвеличивались человеческие способности и сноровка тех, кто умеет по-настоящему браться за дело. Если бы мы сегодня чествовали искусников и умельцев всей земли, этот день прошел бы особенно весело; это был бы настоящий праздник, день торжества жизни, день, когда все молодцы-ребята — именинники.

Ладно. Но теперешний праздник труда — день важный и строгий. Однако ты не обращай на это внимания, маленький цветочек весеннего флокса, — раскрывай первую свою розовую чашечку!

Май садовода

Ну вот мы так захлопотались с копкой и рыхлением, высаживанием и подстрижкой, что до сих пор все никак не доберемся до предмета, составляющего величайшую радость и тайную гордость садовода: до его горки, или альпиниума. Альпиниумом эта часть сада называется, видимо, потому, что дает возможность своему владельцу совершать головокружительные альпинистские трюки: задумает ли он, к примеру, высадить вот тут, между двумя камнями, крохотный проломник, ему приходится легонько встать одной ногой на тот чуть-чуть шатающийся камень и, подняв другую, изящно балансировать ею в воздухе, чтобы не раздавить подушечку желтушника либо цветущей торицы; он вынужден прибегать к самым смелым разножкам, приседаниям, оборотам, прогибам, стойкам, скокам, выпадам, наклонам, захватам и прочим гимнастическим упражнениям, чтобы сажать, рыхлить,



копать и полоть среди живописно скомбинированных, но не слишком надежно пригнанных камней своей горки.

Уход за горкой является, таким образом, захватывающим и благородным видом спорта. Но, помимо того, он заставляет вас пережить тысячу волнующих неожиданностей, когда, скажем, вы на головокружительной высоте одного локтя обнаружите среди камней цветущий кустик белого эдельвейса, или ледовой гвоздики, или других, так сказать, деток высокогорной флоры. Да, что говорить: кто не выращивал всех этих миниатюрных колокольчиков, камнеломок, смолевок, вероник, песчанок, крупок, иберисов, и ториц, и римских ромашек, и дриадок, и желтушника, и заячьих лапок, и лаванды, и гусиной травки, и ветрениц, и флоксов, и резухи, и качима, и эдраянта, и всяких богородицыных травок, и ириса пумилы, и олимпийского зверобоя, и оранжевой ястребинки, и девятильника, и горечавки, и роговика, и армерии, и льнянок (не забывая также альпийской астры, ползучей полыни, эринуса, молочая, и мыльнянки, и журавельника, и гутчинсии, и приноготовника, и ярутки, и этионемы, а равно львиного зева, бесчисленного количества других прекрасных цветов, как например, петрокалис, воробейник, астрагал и прочих, не менее важных, таких, как первоцвет, горные фиалки и т. д.), — кто не выращивал, говорю я, всех этих цветочков, не считая многих

других (упомяну хотя бы оносму, ацену, герань, багию, и мшанку, и херлерию), тот пусть лучше не говорит о красоте мира: он не видел самого прелестного, что эта суровая земля создала в минуту разнеженноста (длившуюся всего каких-нибудь несколько сот тысяч лет). Если бы вы увидели этакую славную подушечку гвоздики Musalae, усеянную самыми розовыми цветочками, какие когда-либо...



Да разве объяснишь? Только тому, кто ухаживает за альпиниумом, ведомы эти наслаждения, доступные одним посвященным.

Дело в том, что владелец альпиниума — это не просто садовод, это коллекционер, что ставит его в один ряд с самыми безнадежными маньяками. Скажите ему, что у вас принялась, допустим, кампанула Мореттиана; вооруженный до зубов, он залезает к вам ночью, чтобы украсть ее, готовый ради этого на смертоубийство, потому что без нее ему не жить. Если робость или тучность не позволяет ему пойти на воровство, он начнет приставать, выклянчивая у вас со слезами хоть малюсенький отводок. Вот вам за то, что вы перед ним хвастали и кичились своими сокровищами!



Или найдет вдруг в питомнике растеньице без названия,



с каким-то зеленоватым торчком.

— Что это у вас тут? — встрепенется он.

— Это? — нерешительно ответит хозяин питомника. — Колокольчик какой-то... Сам не знаю, что такое...

— Дайте мне, — произносит маньяк с притворным равнодушием.

— Нет, — отвечает хозяин питомника. — Это не продается.

— Ну послушайте, — умоляюще настаивает маньяк. — Я ведь такой давнишний ваш покупатель... Неужели вам жалко?

В результате продолжительных уговоров, бесконечных уходов и возвращений к загадочному безымянному созданьицу, ясно дав понять, что без него он вообще не уйдет, хоть пришлось бы топтаться вокруг девять недель, применив все коллекционерские подходы и наскоки, владелец альпиниума в конце концов уносит таинственный колокольчик домой, выбирает для него самое лучшее местечко на своей горке, с бесконечной нежностью сажает его туда и каждый день ходит поливать и опрыскивать — со всею тщательностью, которой эта драгоценность заслуживает. И колокольчик в самом деле растет не по дням, а по часам.

— Посмотрите, — говорит гордый его обладатель своим гостям, — вот особенный вид колокольчика. Никто еще не сумел его определить. Интересно, какие он даст цветы.

— Это колокольчик? — переспрашивает гость. — Листья у него скорей как у хрена.

— Какой хрен! — возражает владелец. — У хрена листья гораздо больше и не такие блестящие. Это, безу-

словно, колокольчик... Но, кажется, species nova[1], — скромно добавляет он.

Благодаря обильному поливанию означенный колокольчик растет с ужасающей быстротой.

— Поглядите, — говорит его обладатель. — Вот вы говорили, что у него листья как у хрена. Но разве вы видели хрен с такими огромными листьями? Это, милый, какой-то campanula gigantea;[2] у него будут цветы с тарелку.

И вот этот единственный в своем роде колокольчик выбрасывает покрытый цветами стебелек... Да, это всего-навсего хрен. Черт его знает, как он попал в питомник.

— Послушайте, — осведомляется гость через некоторое время. — Где у вас этот огромный колокольчик? Как он? Еще не цветет?

— Увы! Он погиб. Знаете, эти редкие сорта так прихотливы. Это был какой-то гибрид.

Вообще с покупкой посадочного материала — сущее наказание. В марте владелец питомника вашего заказа обычно не выполняет из-за того, что еще холодно и культуры не высажены; в апреле тоже не выполняет, так как у него слишком много заказов, а в мае — потому, что почти все уже продано. Примулы больше нет; возьмите вместо нее коровяк: у него тоже цветы желтые.

Но бывает и так, что почта вдруг доставит вам корзину с заказанными культурами — ура! А мне как раз требуется на куртину что-нибудь повыше — между борцом и шпорником. Посажу-ка туда диптамнус — ну да, который еще называется диктамнус,[3] или неопалимая купина. Присланный саженец, правда, какой-то крохотный, но ничего, вырастет — не успеешь оглянуться!

Проходит месяц — саженец не хочет расти; так, что-то вроде низенькой травки: не будь это диктамнус, можно подумать — диантус[4]. Нужно его как следует поливать, чтоб лучше рос. И цветы какие-то розовые...

— Посмотрите, — говорит садовод опытному человеку, пришедшему к нему в гости. — Какой низкий диктамнус.

---

[1] новый вид (*лат.*).
[2] гигантский колокольчик (*лат.*).
[3] ясенец (*лат.*).
[4] гвоздика (*лат.*).



— Вы хотите сказать — диантус, — поправляет гость.

— Ну да, диантус, — подхватывает хозяин. — Я оговорился. Мне подумалось, что между этими двумя высокими многолетниками лучше было бы посадить диктамнус. Как по-вашему?..

В любом пособии по садоводству сказано, что «выращивать культуры лучше всего из семян». Но ни одно из них не говорит о том, что в отношении семян у природы есть свои правила. Например, существует закон, по которому у вас либо ни одно семя не прорастет, либо прорастут сразу все. Человек говорит себе:

— Хорошо бы посадить что-нибудь декоративное, колючее, — скажем, цирзиум или онопордом.

И покупает по мешочку семян того и другого, высевает их и любуется дружными всходами. Приходит время их рассадить, и садовод радуется, что у него сто шестьдесят горшочков с буйными ростками. «Самое лучшее дело — из семян выводить», — думает он.

И вот уже пора высаживать в грунт. Но куда их девать — целых сто шестьдесят колючих саженцев? Каждый свободный клочок земли уже утыкан ими, и все-таки остается сто тридцать с лишним. Неужто после стольких трудов — в мусорную яму кидать?

— Не надо ли вам саженчиков цирзиумов, сосед? Они ведь такие декоративные.

— Что ж, пожалуй.

Слава богу, сосед взял тридцать штук и начинает метаться с ними по саду, не зная, куда воткнуть. Есть еще сосед по другую руку и напротив...

Да поможет им бог, когда у них вырастут этакие двухметровые декоративные колючки!

Благодатный дождь

Почти в каждом из нас таится некая наследственная частица сельского хозяина, — пусть даже на окне нашем не растет ни пеларгонии, ни морского лука; если целую неделю светило солнце, мы уже начинаем озабоченно поглядывать на небо и при встрече вести такие разговоры:

— Пора бы быть дождю, — говорит один горожанин.

— Пора бы, — отвечает другой. — На днях я был на Летной. Там такая сушь, что земля трескается.

— А я на днях ездил по железной дороге в Колин, — продолжает первый. — Страшно сухо.

— Нужен хороший дождь, — вздыхает второй.

— Чтоб хоть три дня лил, — подтверждает первый.

Но солнце палит, и Прага мало-помалу пропитывается жарким запахом пота, в трамваях уныло преют человечьи тела, все раздражены друг на друга, во всем разлад.

— Наверно, будет дождь, — говорит одно взмокшее существо.

— Хорошо бы, — вздыхает другое.

— Хоть бы недельку на травку полило и вообще, — продолжает первое.

— Ужасно сухо, — подтверждает второе.

Между тем начинает парить, в воздухе нависла гнетущая тяжесть, по небу перекатываются громовые раскаты, не принося облегчения ни земле, ни людям. Но вот опять на горизонте прокатился гром, пахнуло влажным ветром и — началось: жгуты дождя упали на мостовую, земля почти внятно для слуха вздохнула, вода бурлит, журчит, плещет, звонко стучит в окна, барабанит тысячью пальцев по желобам, бежит в канавах, звенит в лужах, и тебе хочется кричать от радости, высунуть голову в окно, чтоб охладить ее влагой небесной, хочется свистеть, орать, встать босыми ногами в стремящиеся по улицам желтые ручьи. Благодатный дождь, прохладная ласка воды! Обдай мою душу, омой мое сердце, сверкающая студеная роса! Я был злым от жары, злым и ленивым; был ленивым и тяжелым, тупым, грубым, эгоистичным; высох от зноя и внутренне задыхался от неподвижности и отвращения. Звените, серебристые поцелуи, которыми жаждущая земля отвечает на удары капель. Шумите, летучие водяные

вихри, смывая все. Ни одно из чудес солнца не сравнится с чудом благодатного дождя. Беги по канавам в землю, мутная водица. Напои и смягчи жаждущую материю, у которой мы в плену. Все вздохнули с облегчением: трава, я, земля — мы все. Так нам хорошо!

Шумный ливень перестал, будто по команде. Земля засияла серебристыми испарениями, в кустах запел дрозд: заливается как сумасшедший. Нам тоже хочется петь, но пока что мы выходим без шляпы на улицу — подышать свежей искрящейся влагой воздуха и земли.

— Славно спрыснуло, — говорим мы.

— Славно, да мало. Надо бы еще.

— Надо бы, — отвечаем мы. — Но и это была благодать.

Через полчаса — опять дождь; падает длинными тонкими нитями. Настоящий, тихий, добрый дождь. Беззвучный, широкий, урожайный. Уже не стремительный, хлещущий ливень, а чуть шелестящий, воздушный мирный дождик. Из твоих капель, тихая роса, ни одна не пропадет зря. Но тучи разошлись, и тонких нитей коснулись лучи солнца; нити разрываются, дождь проходит, и земля дышит теплой влагой.

— Вот это был настоящий майский дождь, — восторгаемся мы. — Теперь зелень славно распустится.

— Еще чуть-чуть попрыскало бы — и довольно...

Солнце совсем овладело землей; от мокрой почвы подымаются знойные пары; тяжело дышать; душно, как в парнике. В одном углу небосклона снова темнеет, зной сильней, несколько тяжелых капель падает на землю, и откуда-то с другой стороны повеял ветер, напоенный дождевым холодком. В проволглом воздухе размаривает, как в горячей ванне. Вдыхаешь капли воды, шлепаешь по лужам, смотришь, как на небе собираются белые и серые клубы паров. Словно весь мир хочет тепло и мягко растаять в майском дожде.

— Надо бы еще дождичка, — говорим мы.

Июнь садовода

Июнь — главная пора сенокоса. Но, поскольку речь идет о нас, городских садоводах, пожалуйста, не воображайте, что мы в одно росистое утро, наклепав косу и

расстегнувши на груди рубаху, пошли косить могучими свистящими взмахами искристую траву, распевая при этом народные песни. У нас это выглядит не совсем так. Прежде всего мы, садоводы, желаем иметь английский газон, зеленый, как бильярд, и густой, будто плотный ковер, газон безупречный, ничем не запятнанный, дерн мягкий, как бархат, лужок ровный, как стол. И вот еще весной мы замечаем, что этот английский газон состоит весь из каких-то лысин, одуванчиков, головок клевера, глины, мха да нескольких сухих, пожелтелых кустиков травы. Сначала надо это выполоть; мы садимся на корточки и выдергиваем весь негодный сорняк, оставляя за спиной землю, пустую, вытоптанную и до того голую, словно на ней плясали каменщики или целое стадо зебр. Потом заливаем все это водой и предоставляем ему трескаться на солнце; затем решаем, что надо бы все-таки выкосить.



Неопытный садовод, приняв такое решение, отправляется на ближайшую окраину и на общипанной, голой меже находит там старуху с тощей козой, объедающей куст боярышника или сетку вокруг теннисной площадки.

— Бабушка, — приветливо говорит садовод, — не надо ли вам отличной травки для вашей козочки? У меня можно накосить сколько угодно.

— А сколько заплатите? — спрашивает старушка после некоторого раздумья.

— Двадцать крон, — отвечает садовод и возвращается домой — ждать старушку с козой и серпом. Но старушка не приходит.

Тогда садовод покупает серп, брусок и объявляет, что больше не станет никого просить, а сожнет всю траву сам. Но то ли серп слишком тупой, то ли трава в городе слишком жесткая, то ли еще что — только серп ее не берет. Приходится взять каждую травинку за кончик и, потянув изо всех сил, полоснуть внизу серпом, причем по большей части вырываешь ее с корешком. С помощью обыкновенных ножниц дело идет гораздо быстрей. Когда садовод наконец по мере сил выстриг, обкорнал и выщипал место, предназначенное для газона, у него набралась небольшая копенка сена. И вот он опять идет искать старушку с козой.

— Бабушка, — говорит он медовым голосом, — не возьмете ли вы у меня корзину сена для вашей козочки? Сено очень хорошее, чистое...

— А сколько вы мне заплатите? — спрашивает старушка после долгого размышления.

— Десять крон, — объявляет садовод и бежит домой — ждать, когда старушка придет за сеном. Просто жалко ведь выбрасывать такое прекрасное сено!

В конце концов сено соглашается вывезти мусорщик, но требует за это крону.

— Понимаете, хозяин: не имеем мы права такие вещи на телегу брать...

Более опытный садовод сразу покупает себе косилку. Это такая штука на колесиках, тарахтит, как пулемет, и когда водишь ею по траве, стебелечки так и летят. Доложу вам: ну, просто одно удовольствие. Стоит такой машинке появиться в доме, как все члены семьи — от деда до внука — начинают спорить, кому косить. Ведь как славно! Знай себе стрекочет да режет буйную траву...



— Погодите, — говорит садовод, — я вам покажу, как это делается.

И давай возить ею по газону с торжественным видом механика и пахаря — одновременно.



— Дай теперь мне, — пристает другой член семьи.

— Еще раз пройдусь, — отстаивает свои права садовод и двигается дальше, стрекочет и косит так, что трава летит во все стороны.

Это — первый торжественный сенокос!

— Послушай, — говорит через некоторое время садовод другому члену семьи. — Ты не хочешь взять машинку и немножко покосить? Очень приятная работа.

— Я знаю, — отвечает тот без энтузиазма. — Да мне сегодня некогда.

Как известно, пора сенокоса — период гроз. Вот уже несколько дней, как многие признаки на небе и на земле говорят о надвигающейся грозе! Жара нестерпимая, какая-то яростная, земля трескается, собаки пахнут псиной; хозяин озабоченно поглядывает на небо и думает: «Пора быть дождю!» После этого появляются так называемые



зловещие тучи, и бешеный вихрь, поднявшись, гонит перед собой пыль, шляпы, сорванные листья. Тут садовод с развевающимися волосами кидается в сад — не для того, чтобы, подобно романтическому поэту, вступить в единоборство со стихиями, а для того, чтобы привязать все, что треплет ветер, убрать инструменты, стулья и вообще принять меры предосторожности против стихийного бедствия. Пока он безуспешно пытается подвязать стебли дельфиниума, падают первые крупные жаркие капли, на минуту спирает дыхание и — трах! Вслед за ударом грома хлынул проливень. Садовод бежит к дому и, остановившись на крыльце, с огорчением наблюдает, как мечется сад под ударами вихря и дождя. И в самую страшную минуту кидается, как герой, спасающий тонущего ребенка, — подвязать надломленную лилию. Господи, сколько воды! А тут еще зашуршали градины: прыгают по земле, уносятся мутными водяными потоками. И в сердце садовода тревога о клумбах вступает в борьбу с тем тайным восторгом, который вызывают в нас великие стихийные явления. Но вот гром становится глуше, бурный ливень сменяется холодным дождем, который тоже постепенно редеет. Садовод выбегает в прохладный сад, с отчаянием смотрит на занесенный песком газон, на поломанные ирисы и смятые куртины и, услышав первый свист дрозда, кричит через забор соседу:

— Хелло! Как жалко, что дождь перестал. Деревьям этого мало.

На другой день газеты сообщают о катастрофической грозе, нанесшей страшный вред посевам, но ничего не пишут об ущербе, причиненном, в частности, лилиям, или о том, что Papaver orientale [1] особенно пострадал. Нас, садоводов, всегда затирают.

Если б от этого был какой-нибудь прок, садовод ежедневно молился бы, став на колени:

[1] мак азиатский (*лат.*).

«Господи боже, сделай так, чтобы каждую ночь — примерно с полуночи до трех часов утра — шел дождь, но только, знаешь, тихий, теплый чтобы влага хорошо впитывалась. Но да не падает он на смолку, торицу, язвенник, лаванду и прочие, которые тебе в бесконечной твоей премудрости известны как растения сухолюбивые ... если нужно, могу составить списочек. И да светит солнце целый день, но не на все, например, не на таволгу или, скажем, на горечавку, богулку и рододендрон, — и слишком сильно. И да будет вдоволь росы и мало ветру, много дождевых червей, а тлей и улиток да не будет совсем, так же как росы мучнистой. И да прольется раз в неделю с небес разбавленная навозная жижа и просыплется помет голубиный. Аминь».



Ибо знайте: именно так было в райском саду. Иначе там ничего бы не выросло, что вы!

Но раз я уж заговорил о тлях, прибавлю, что именно в июне их и надо истреблять. Для этого существуют разные порошки, препараты, настойки, экстракты, отвары и окуривания, мышьяк, табак, деготь и другие яды, которые садовод испытывает поочередно, как только заметит, что на его розочках не на шутку расплодились жирные зеленые тли. Если вы будете применять эти средства с надлежащей осторожностью и в соответствующих количествах, то

увидите, что ваши розы от этой травли не пострадают, разве что вы нечаянно сожжете листок или бутон. Что же касается тлей, то они во время этой операции прямо благоденствуют, густо покрывая, словно бисером, все веточки роз. Тогда можно с громкими криками отвращения давить их на ветках одну за другой. Вот каким способом истребляют тлей. Но от садовода долго еще после этого разит табачным настоем и дегтем.

Об огородниках

Конечно, найдутся люди, которые, читая эти поучительные заметки, раздраженно скажут:

— Что же это такое! Он распространяется о каждом несъедобном кустике, а ни словом не обмолвится ни о моркови, огурцах, кольраби, ни о брауншвейгской или цветной капусте, ни о луке репчатом и порее, ни о редисе или хоть сельдерее, зеленом луке и петрушке, не говоря уже о славной кочанной капусте. Какой же он садовод, если из высокомерия или по невежеству обходит молчанием самое замечательное, что только можно вырастить, — например, вот такую чудесную грядку салата?

На этот упрек отвечу, что на одном из многочисленных этапов своего жизненного пути я тоже завел несколько грядок моркови, капусты, салата и кольраби; сделал я это, в сущности, под влиянием романтических побуждений, желая испытать иллюзию фермерской жизни. Вскоре обнаружилось, что я обязан каждый день съедать по сто двадцать редисок, так как больше никто в доме их есть не хотел. Через неделю я утопал в капусте, а затем наступила оргия кольраби, твердой, как дерево. Бывали такие недели, когда я вынужден был по три раза в день жевать салат, только чтоб его не выбрасывать. Я ни в какой мере не хочу портить удовольствие огородникам; но пускай они сами едят то, что наплодили. Если б меня заставили пожирать свои розы или закусывать ландышами, то я, наверно, потерял бы к ним подлинное уважение. Козел может стать садоводом, но садоводу трудно стать козлом, чтобы общипывать свой сад.

К тому же у нас, садоводов, и без того много врагов: воробьи и дрозды, дети, улитки, уховертки и тли. Спрашивается, с какой стати затевать нам еще войну с гу-

сеницами? Или натравливать на себя бабочек-боярышниц?

Каждый обыватель хоть раз в жизни мечтает о том, что он сделал бы, если бы стал на один день повелителем. Что касается меня, я наладил бы, организовал и отменил за один день тысячу вещей. В частности, издал бы, так сказать, Малиновый Эдикт. Это был бы запрет всем садоводам, под угрозой отсечения правой руки, сажать малину возле изгородей. Ну скажите, пожалуйста, почему ваш сосед должен мириться с тем, что посреди его рододендронов вдруг вылезут неистребимые побеги малинника из вашего сада? Малина расползается под землей на целые метры во все стороны; ни забор, ни стена, ни канава, ни даже колючая проволока, ни запретительная надпись — для нее не помеха. Выставит свой прут посреди ваших гвоздик или энотеры — и подите разговаривайте с ней! Чтоб все ваши малиновые плодники побила тля! Чтобы малиновым побегам прорасти в вашей постели! Чтоб у вас бородавки выросли с крупную малину! Во всяком случае, если вы честный, порядочный садовод, не сажайте у изгородей малины, горца, подсолнечников и прочих растений, попирающих, если можно так выразиться, частнособственнические права вашего соседа.

А уж если вы хотите его порадовать, посадите у своей изгороди тыкву. В моей практике был случай, когда ко мне в сад пробралась из соседнего сада такая огромная, такая циклопическая, рекордная тыква, что множество журналистов, поэтов и даже университетских профессоров просто руками разводили, не понимая, как этот гигантский плод сумел протиснуться между жердями изгороди. Через некоторое время означенная тыква приобрела такой бесстыдный вид, что мы в наказание срезали ее и съели.

Июль садовода

Согласно каноническому правилу, в июле садовод производит *прививку роз.* Обычно это делается так: берут шиповник, дичок, то есть подвой, к которому будут делать прививку.

Потом — огромное количество лыка; наконец, садовый нож. Приготовив все это, садовод пробует пальцем остроту ножа: если нож достаточно остер, он порежет палец,

оставив на нем кровоточащую ранку, похожую на разинутый красный рот. Палец обвязывается многометровым бинтом, благодаря чему превращается в крупный, толстый бутон. Это и есть прививка розы. Если нет под рукой шиповника, можно вышеописанный разрез пальца производить по иным поводам, как-то: приготовление отводков, срезание лишних побегов либо увядших стеблей, подстригание кустов и т. п.

Покончив таким манером с прививкой роз, садовод уже думает о необходимости нового рыхления слежавшейся и спекшейся земли клумб. Это делается шесть раз в год, причем каждый раз садовод удаляет невероятное количество камней и всякого мусора. Очевидно, камни эти вылупляются из каких-то семян или яичек либо непрерывно выступают из таинственных недр земных; может быть, они представляют собой нечто вроде



выпота земли. Садовая или культурная почва, так называемый гумус или перегной, состоит, как правило, из определенных ингредиентов, а именно: земли, навоза, прелых листьев, торфа, камней, осколков пол-литровых бутылок, разбитых мисок, гвоздей, проволоки, костей, гуситских стрел, станиоля от шоколада, кирпичей, старых монет, старых курительных трубок, битого оконного стекла, зеркал, старых табличек с названиями растений, алюминиевой посуды, веревок, пуговиц, подметок, собачьего помета, углей, горшечных ручек, рукомойников, тряпок, пузырьков, скрипичных грифов, бидонов, пряжек, подков, консервных банок, изоляторов, обрывков газет и бесчисленного множества других элементов, добываемых озадаченным садоводом при каждом рыхлении его собствен-

ных клумб. Может случиться, что он как-нибудь вытащит из-под своих тюльпанов американскую печку, гробницу Атиллы или Сивиллины книги: в культурном слое можно найти что угодно.



Но главная июльская забота — это поливка и опрыскивание сада. Если садовод пользуется при этом лейкой, он отсчитывает лейки, как автомобилист — километры.

— Уф! — восклицает он с гордостью рекордсмена. — Сегодня перетаскал сорок пять леек.

Если бы вы знали, какое это наслаждение, когда холодная вода, журча, струится на сухую, как порох, землю, когда она искрится в вечерних сумерках на прибитых цветах и листьях; когда весь сад тихо, с облегчением вздыхает, словно истомленный жаждой путник...

— А-а-ах! — говорит путник, отирая пену с усов. — Как страшно хотелось пить. Еще кружечку, хозяин!

И садовод бежит наполнить еще лейку, чтоб утолить эту июльскую жажду.

Но при помощи колонки и шланга поливка производится быстрей и, так сказать, в крупном масштабе. За сравнительно короткий срок мы опрыскиваем не только клумбы, но и газон, прихватив семью соседа, которая пьет чай у себя в саду, прохожих на улице,



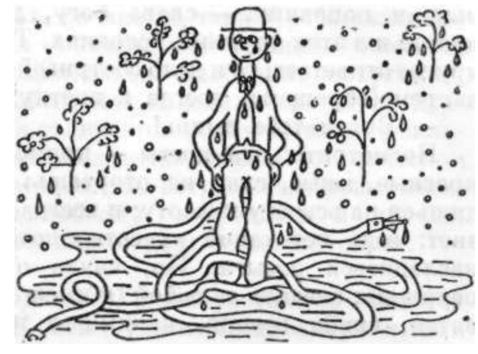


внутренность дома, всех своих домочадцев, а больше всего — самих себя. Струя из шланга бьет с удивительной силой, почти как пулемет; ею можно в одну минуту сделать в земле вымоину, скосить многолетники и сбить листву с деревьев. А направив струю против ветра, вы примите великолепный душ: вас промочит насквозь, как в настоящей водолечебнице. Для шланга первое удовольствие — продырявиться где-нибудь посредине, где вы меньше всего ожидаете; и вы стоите, словно какой-то водяной бог, в окружении прыскающих фонтанчиков, с длинной водяной змеей, свернувшейся у ваших ног. Внушительное зрелище! Вымокнув как следует, вы с удовлетворением объявляете, что сад получил свою порцию, и отправляетесь сушиться.

Но не успел ваш сад сказать «уф!», как в мгновение ока уже выпил все ваши водометы и опять сух, опять жаждет, как прежде.

Немецкая философия утверждает, что грубая действительность — это всего-навсего то, что есть, тогда как высший, нравственный мир представляет собой «das Sein-Sollende», то есть то, что должно быть. Так вот, садовод, особенно в июле, всецело признает существование этого высшего мира, поскольку прекрасно знает, чт*о* должно быть.

«Должно бы дождику быть», — формулирует он эту мысль доступными ему средствами выражения.



Обычно происходит следующее: когда так называемые животворные солнечные лучи догонят ртутный столб до пятидесяти с лишним по Цельсию; когда трава сгорит, листья на куртинах высохнут и ветви деревьев вяло поникнут от зноя и жажды; когда земля потрескается, спечется в камень или рассыплется горячей пылью, тут, как правило —

1) лопается шланг и поливать невозможно;

2) что-то происходит с насосом, вода совсем перестает течь, и вам как говорится, — труба; горячая, раскаленная труба!

В такое время напрасно поливает садовод землю своим потом. Представьте себе, как бы ему пришлось потеть для того чтобы полить, скажем, небольшой газон. Не помогут также ни ругань, ни брань, ни богохульства, ни яростное сплевывание, даже если с каждым плевком бежать в сад (дорога каждая капля влаги). Тогда садовод обращает свои помыслы к высшему миру, фаталистически говоря:

— Должно бы дождику быть.

— Вы куда летом на дачу?

— Да сам не знаю, но дождику бы должно быть.

— А что вы скажете об отставке Энглиша?

— Говорю: должно бы дождю быть.

Господи, и ведь представить себе только, какие чудесные дожди бывают в ноябре; четыре дня, пять, шесть дней подряд шумят холодные дождевые струи; сыро, пасмурно; башмаки промокли, под ногами чавкает грязь, чувствуешь, что прозяб до костей...

— Говорю вам: должно бы быть дождю.

Розы и флоксы, гелиниум и кореопсис, красоднев, гладиолусы, колокольчики, и борец, и девясил, и багуль-

ник, и поповник, — слава богу, довольно еще всяких цветов и в этих трудных условиях. То и дело одно цветет, другое отцветает; то и дело обстригай увядшие стебли с ворчаньем (обращаясь всегда к цветку, не к себе):

— Вот и тебе аминь!

Посмотрите: эти цветы — прямо как женщины. Прекрасные, юные, глаз не оторвешь; глядишь — не наглядишься на всю эту красоту; и всегда что-нибудь да ускользнет: ведь нет такой красоты, которой можно было бы насладиться досыта. Но, начав отцветать, они как-то перестают следить за собой (я имею в виду цветы) и становятся, грубо говоря, какими-то неряхами. Как жаль, моя красавица (я имею в виду цветок), как жаль, что время так бежит... Красота исчезает, только садовод остается.

Осень садовода начинается уже в марте: первыми отцветают подснежники.

Глава ботаническая

Как известно, существует флора ледниковая и степная, арктическая, черноморская, средиземноморская, субтропическая, болотная и т. д., и т. п., причем все эти виды растительности различаются либо по своему происхождению, либо но области распространения и буйного произрастания.

Так вот, начав в той или иной мере заниматься ботаникой, вы замечаете, что для кафе характерна одна растительность, а, скажем, для колбасных — другая; что одни виды и роды лучше растут на железнодорожных вокзалах, другие — у обходчиков. Быть может, тщательный сравнительный анализ обнаружил бы, что на окнах у католиков успешно культивируется не та растительность, что у людей неверующих и прогрессистов, что в витринах галантерейных лавчонок пышно цветут одни лишь искусственные цветы и т. д. Но поскольку ботаническая топография пока что, как говорится, в пеленках, назовем несколько наиболее резко обозначившихся характерных ботанических групп:

1. *Флора вокзальная* включает два подкласса: насаждения перронные и сад начальника. На перронах, обычно

подвешенные в корзинах, но иногда также расставленные на карнизах и окнах вокзального здания, особенно хорошо удаются настурция, затем — лобелия, пеларгония, петуния и бегония; на больших вокзалах иногда и драцена. Вокзальная флора отличается исключительно обильным и ярким цветением. Сад начальника в ботаническом отношении менее интересен: там встречаются розы, незабудки, анютины глазки, лобелии, жимолость и другие, социологически мало отличные друг от друга сорта.

2. *Флора железнодорожная* произрастает в садиках путевых обходчиков. К ней относится просвирник, или мальва, подсолнечник, затем настурция, вьющиеся розы, георгины, иногда также астры. Как мы видим, это по большей части растения, выглядывающие из-за забора, возможно с той целью, чтобы доставить удовольствие проезжающему машинисту... Дикая железнодорожная флора растет на железнодорожных насыпях, состоит она главным образом из язвенника, львиного зева, коровяка, ромашки, медуницы, богородицыной травки и некоторых других железнодорожных видов.

3. *Флора Мясниковская* растет в витринах мясных лавок, среди мясных вырезок, окороков, бараньих туш и колбас. Охватывает небольшое количество видов, — в первую очередь, аукубу, аспарагус Шпренгера; из кактусовых — цереус и эхинопсис. У колбасников в цветочных горшках встречается также араукария, а иногда и первоцвет.

4. *Флора гостиничная* насчитывает два олеандра у входа и аспидистры на окнах; гостиницы, отпускающие так называемые домашние обеды, имеют на окнах также цинерарии; в ресторанах растут даже драцены, филодендроны, крупнолистная бегония, пестрые колеусы, латании, фикусы и вообще та растительность, которая в газетных заметках о балах иногда выразительно обозначается словами: «Эстрада утопала в пышной зелени тропических растений». В кафе хорошо принимаются только аспидистры. Зато на террасах кафе в изобилии произрастают лобелии, петунии, традесканции, а также лавр и плющ.

Насколько мне известно, никакие растения не прививаются у булочников, оружейников, в магазинах авто-

мобилей и сельскохозяйственных машин, у торговцев скобяными изделиями, мехом, писчебумажными товарами, шляпами и у многих других мелких предпринимателей.

На окнах учреждений либо вовсе нет никакой растительности, либо одни красные и белые пеларгонии; вообще характер учрежденческой растительности зависит от вкусов и желания либо сторожа, либо начальника учреждения. Кроме того, решающую роль тут играет определенная традиция: в то время как полоса вдоль железных дорог отличается пышной и пестрой растительностью, близ почтовых и телеграфных станций не растет ровно ничего; муниципальные учреждения в смысле растительности богаче учреждений государственных, а среди последних налоговые представляют собой совершенную пустыню.

Особый ботанический класс составляет флора кладбищенская, а затем, разумеется, флора юбилейная, венчающая гипсовый бюст виновника торжества: к ней относятся олеандр, лавр, пальма и, на худой конец, аспидистра.

Что касается флоры оконной, то их две: бедная и богатая. Которая у бедных, та, обычно, лучше; кроме того, у богатых, она, как правило, гибнет, пока хозяева на даче.

Мы далеко не исчерпали всего ботанического богатства разных зон растительности. Желательно было бы установить, какая категория людей культивирует фуксии и какая — страстоцвет; к какой профессии принадлежат любители кактусов и т. д. Возможно, что существует — либо возникнет — особая флора коммунистическая или флора лидовой партии. Богатства мира неисчерпаемы: каждое ремесло, — да что я говорю, — каждая политическая партия могла бы иметь свою собственную флору.

Август садовода

Обычно август — такое время, когда любитель-садовод покидает свой сад чудес и *уезжает в отпуск.* Круглый год он, правда, настойчиво твердил, что никуда не поедет, что у него сад лучше всякой дачи и что он, садовод, не такой дурак и болван, чтобы трястись в поезде черт знает куда; но только наступило лето, как он срывается с места,

оттого ли, что в нем проснулся инстинкт перелетных птиц, или из-за соседей: как бы чего не сказали. Едет он, конечно, с тяжелым сердцем, полный опасений и тревог за свой сад. И уезжает только после того, как найдет приятеля или родственника, которому на время можно доверить свое сокровище.



— Знаете, — говорит он, — теперь в саду все равно ничего делать не надо. Просто заглядывайте в него раз в три дня и, коли что не так, черкните мне открыточку: я приеду... Значит, буду на вас надеяться... Как я уже сказал, довольно пяти минут. Только взгляните одним глазом, и все.

И уезжает, препоручив свой сад доброму сердцу ближнего. На другой день ближний получает от него письмо:

«Забыл вам сказать, что сад нужно поливать каждый день, лучше всего в пять утра или в семь вечера. Это совсем просто: только привинтить шланг к колонке да попрыскать часок. Хвойные прошу поливать целиком и как можно обильней, также и газон. Если где увидите сорняк, выдергивайте. Это все».



На следующий день:

«Теперь страшно сухо: поэтому прошу вас, уделите каждому рододендрону лейки по две воды, дав ей предварительно согреться, каждому хвойному — пять, а остальным деревьям — по четыре лейки. Те многолетники,



которые цветут, требуют усиленной поливки; напишите мне, что именно зацвело. Отцветшие стебли надо обрезать! Было бы хорошо, если бы вы взрыхлили все клумбочки мотыгой: земле стало бы легче дышать. Если на розах появились тли, купите табачного настоя и опрыскивайте им эти розы по росе или после дождя. Больше пока ничего не надо делать».

На третий день:

«Я забыл вам сказать, что нужно выкосить газон. Машинкой вы это сделаете шутя, а где она не возьмет, там подстригите ножницами. Но имейте в виду! После этой операции надо всю траву *хорошенько* прочесать граблями и пройтись по ней *метлой!* Иначе газон облысеет! И поливать его, как следует поливать!»

На четвертый день:

«Если бы вдруг разразилась гроза, прошу вас, сбегайте, посмотрите на мой сад. Сильный ливень может причинить иногда большой ущерб, и в таких случаях хорошо быть на месте. Если б на розах появился грибок, посыпайте их рано утром, по росе, серным цветом. Подвяжите высокие многолетники к подпоркам, чтобы ветер не поломал. Здесь великолепно, много грибов, отличное купанье. Не забывайте каждый день поливать ампелопсис возле дома: там сухое место. Соберите в мешочек семена Papaver nudicaule [1]. Траву вы, наверно, уже скосили. Больше ничего не требуется. Только уничтожайте уховерток».

На пятый день:

«Посылаю вам ящик с растениями, которые я выкопал здесь в лесу. Это ятрышник, дикие лилии, прострел, грушанка, медуница, анемоны и др. Как только получите ящик, сейчас же откройте его, спрысните саженцы водой

[1] мака голостебельчатого (*лат.*).

и посадите их куда-нибудь в тенистое место сада! Подложите им торфу и прелой листвы. Сейчас же посадить и три раза в день поливать! Пожалуйста, обрежьте лишние побеги на розах!»

На шестой день:

«Посылаю вам экспрессом корзину с полевыми цветами... Сейчас же высаживайте в грунт. Ночью вам надо бы сходить с фонариком в сад и уничтожить улиток. Хорошо бы выполоть дорожки. Надеюсь, надзор за моим садом не занимает у вас много времени и доставляет вам приятные минуты».



А в это время любезный ближний, в полном сознании своей ответственности, поливает, стрижет, рыхлит, полет и расхаживает по саду с присланными саженцами — в поисках, куда бы, черт побери, посадить их; весь в поту, облитый водой с головы до ног, он с ужасом видит: тут вянет куст, там поломались стебли, а здесь порыжел газон и вообще весь сад словно обожженный. И он проклинает мгновенье, когда взял на себя этот крест, и молит бога, чтоб уж скорей наступила осень.

Между тем владелец сада с тревогой думает о своих куртинах и газонах, плохо спит, сердится, что любезный ближний не присылает ежедневного рапорта о состоянии сада, считает дни, оставшиеся до конца отпуска, через день отправляет домой ящики с полевыми цветами и письма с дюжиной настойчивых указаний.

Вот наконец он вернулся. С чемоданами в руках кидается он прямо в сад и обводит его увлажненными глазами.

«Бездельник, болван, свинья! — с горечью думает он. — Во что он мне сад превратил».

— Спасибо, — сухо благодарит он ближнего.

Затем — воплощенный укор! — берет шланг и начинает поливать заброшенные куртины.

«Ну не идиот ли? — думает он. — Доверь что-нибудь подобному субъекту! Больше никогда в жизни не буду таким дураком и простофилей, чтобы уезжать на лето».

Что там полевые цветы! Фанатик садоводства уж как-нибудь выроет их из земли, чтоб внедрить в свой сад. Вот с другими объектами природы — беда.

«Черт возьми! — думает садовод, поглядывая на Маттерхорн или Герлаховку. — Как бы хорошо эту гору да ко мне в сад. И вот этот уголок девственного леса с лесными великанами, и эту просеку, и этот горный ручей или, лучше, вон то озеро. Этот мягкий луг тоже неплохо выглядел бы в моем саду. И еще бы кусочек морского берега! И те развалины готического монастыря недурно бы ко мне перенести. И еще бы вон ту тысячелетнюю липу. А этот античный фонтанчик как пришелся бы ко двору! Потом хорошо бы стадо оленей, или какую-нибудь там серну, или хоть вот такую аллею вековых тополей, и вон ту скалу, и ту реку, и ту дубовую рощу, или этот голубовато-белый водопад, или хоть вон ту тихую зеленую долину...»



Если бы можно было заключать договора с дьяволом, чтобы тот исполнял все желания садовода, последний продал бы ему свою душу. Только дьяволу, бедняге, дорого бы это обошлось.

«Негодяй, — сказал бы он в конце концов, — чем мне так с тобой мучиться, отправляйся-ка лучше на небо... Только там тебе и место...»

И, злобно махая хвостом, сбивая головки ромашек, ушел бы восвояси, покинув садовода с его бесконечными, непомерными требованиями.

Прошу иметь в виду, что я говорю о подлинных любителях садоводства, а не о каких-нибудь плодоводах и огородниках. Пускай плодовод восторгается своими яблочками да грушками, пускай огородник радуется сверхъестественным размерам своих кольраби, тыкв и сельдереев: настоящий садовод всем существом своим чувствует, что август, как ни говори, — время поворотное. Что ни цветет, то вот-вот станет отцветать. Будет еще период осенних астр и хризантем, а затем прости-прощай! Нет, нет, еще ты, свежий флокс, цветок, излюбленный священниками, ты, золотой крестовник и золотарник, золотая рудбекия, золотой гарпалиум, золотой солнцецвет: мы с вами еще не сдаемся — какое там! Весна — круглый год, вся жизнь — молодость. Всегда чему-нибудь да время цвести. Только так говорится: «Осень!» А мы в это время цветем на иной лад, растем под землей, зачинаем новые побеги. И все время есть дело. Только те, кто сидит сложа руки, говорят, будто повернуло на плохое. Но все, что цветет и плодоносит, даже в ноябре знать ничего не хочет об осени: для него есть только красное лето; осень — не время упадка: это пора распускания почек. Осенняя астра, милый человек! Год такой длинный, что конца ему нету.

О любителях кактусов

Я называю их сектантами; не из-за того пыла, с каким они ухаживают за кактусами: этот образ действий можно назвать страстью, чудачеством, манией. Но суть сектантства не в пылкой деятельности, а в пылкой вере. Есть любители кактусов, верящие в толченый мрамор; есть другие, верящие в толченый кирпич; наконец, третьи, верящие в древесный уголь. Одни признают поливку, тогда как другие ее отвергают. Существуют некие глубочайшие тайны Настоящего Кактусового Грунта, которых ни один любитель кактусов вам не выдаст, хоть четвертуйте. Все эти секты, организации, ордена, согласия, школы, ложи, так же как одиночные, дикие любители кактусов или отшельники, будут вам клясться, что только с помощью своего Метода они достигли столь замечательных результатов. Видите вот этот Echinocactus Miriostigma? Так я скажу вам по секрету: его нельзя поливать, надо только опрыскивать. Да-с.

— Как так? — воскликнет другой любитель. — Где это слыхано, чтобы Echinocactus Miriostigma вдруг опрыскивать? Чтобы застудить ему макушку? Нет, сударь. Если вы не хотите, чтобы Echinocactus попросту сгнил, вы должны увлажнять его только одним способом: раз в неделю ставить его прямо в горшке в тепловатую воду — 23,789° Цельсия. И будет он у вас расти, как капуста.

— Господи боже! — всплеснет руками третий кактусовод. — Послушайте только этого убийцу! Если вы станете мочить цветочный горшок, сударь, он у вас покроется зеленой плесенью, земля в нем закиснет, и вы сядете в лужу, да в преогромную. Кроме того, у вашего Echinocactus'a Miriostigma начнется загнивание корней. Если вы не хотите, чтоб у вас земля закисала, надо поливать ее через день дистиллированной водой, с таким расчетом, чтобы на кубический сантиметр земли приходилось 0,111111 граммов воды, ровно на полградуса более теплой, чем воздух.

Тут все трое начинают кричать одновременно, убеждая друг друга кулаками, зубами, копытами и когтями. Но, как уж повелось, истину даже таким способом установить не удается.

Нужно, однако, признать, что столь горячее отношение к кактусам вполне понятно — хотя бы потому, что они таинственны. Роза прекрасна, но не таинственна. К таинственным растениям принадлежат лилия, горечавка, золотой папоротник, древо познания, вообще все первобытные деревья, некоторые грибы, мандрагора, ятрышник, ледниковые цветы, ядовитые и лекарственные травы, кувшинки, мезембриантемум и кактусы. В чем их таинственность заключается, не сумею вам объяснить: чтобы эту таинственность обнаружить и преклониться перед ней, надо просто признать ее фактом. Кактусы имеют форму морского ежа, огурца, тыквы, подсвечника, кувшина, квадратной шапочки священника, змеиного гнезда; они бывают покрыты чешуей, сосками, вихрами, когтями, бородавками, штыками, ятаганами и звездами; бывают приземистые и вытянутые вверх, ощетиненные, как полк копейщиков, колючие, как эскадрон с саблями наголо, тугие, одеревеневшие и сморщенные, покрытые сыпью, бородатые, мрачные, хмурые, усеянные пеньками, как просека, плетеные, как корзинка, похожие на опухоли,

на зверей, на оружие; это самые мужеподобные из всех трав, сеющих семя по роду своему и созданных в день третий. («Какую я сделал глупость!» — воскликнул потом создатель, удивившись своему созданию.) Вы можете любить их, но не прикасайтесь к ним бесцеремонно, не целуйте их и не прижимайте к груди: они не терпят фамильярности и какого бы то ни было панибратства. Они тверды, как камень, вооружены до зубов, полны решимости не даваться в руки: проходи, бледнолицый, а то буду стрелять! Небольшая коллекция кактусов похожа на лагерь воинственных эльфов. Отрубите любому из этих воинов голову или руку, из нее вырастет новый, грозящий мечом и кинжалом боец. Жизнь — сражение.

Но бывают таинственные периоды, когда этот строптивый упрямец и недотрога как бы впадает в забытье и мечтательность. Тогда из него вырывается среди поднятого оружия большой, сияющий, молитвенно воздетый ввысь цветок. Это — великая милость, событие небывалое, совершающееся далеко не с каждым. Уверяю вас, материнская гордость — ничто в сравнении с высокомерием и кичливостью кактусовода, у которого зацвел кактус.

Сентябрь садовода

По-своему — с садоводческой точки зрения — сентябрь благодарный, замечательный месяц. И не только потому, что в сентябре цветут золотарник, астры осенние и хризантема индийская, не только благодаря вам, тяжелые, ошеломляющие георгины. Знайте, неверные: сентябрь — золотая пора для всего, что цветет дважды: это месяц вторичного цветения; месяц созревания винограда. Вот таинственные преимущества сентября, полные глубокого смысла. Но самое главное — это тот месяц, когда снова раскрывается земля, так что *можно опять сажать!* Пора укладывать в землю то, что должна застать в ней весна. Опять для любителей-садоводов основание бегать по питомникам, осматривать их культуры и выбирать себе сокровища для новой весны. Кроме того, это — возможность задержаться на минутку в годовом круговороте у ваших постоянных наставников и отдать им дань восхищения.



Крупный садовод или владелец питомника — обычно человек непьющий, некурящий, — словом, добродетельный. История не числит за ним ни чудовищных злодейств, ни военных или политических заслуг. Имя его иногда увековечивается каким-нибудь новым сортом роз, георгин или яблок; этой славой — по большей части анонимной или скрытой другим именем — он и довольствуется. Благодаря капризу природы это, как правило, человек дородный, можно сказать, массивный; может быть, природа имеет при этом в виду создать контраст к нежной, филигранной прелести цветов; или же берет за образец фигуру Кибелы, чтобы подчеркнуть его плодовитость. В самом деле, когда он роется пальцем в горшочках, кажется, будто он дает своим маленьким питомцам грудь. Он относится с презрением к садовникам-архитекторам, которые, в свою очередь, считают владельцев питомника огородниками. Имейте в виду: владельцы питомников считают свою работу не ремеслом, а наукой и искусством. И когда они называют конкурента хорошим коммерсантом, это звучит прямо убийственно. К владельцу питомника не заходят, как к торговцу воротничками или скобяным товаром: сказал, что хочешь купить, заплатил и пошел. К владельцу питомника ходят потолковать: осведомиться,

как называется то-то и то-то; сообщить, что Hutchinsia, которую вы у него прошлый год купили, выросла на диво; посетовать, что в нынешнем году у вас пострадала мертенсия; и клянчить, чтоб он показал свои новинки. Надо еще продискутировать с ним вопрос о том, что лучше — «Рудольф Гете» или «Эмма Бедау» (это такие астрочки), а также выяснить, что предпочитает «Генциана Клузии» — ил или торф.

Исчерпав эти и многие другие темы, вы выбираете один новый Alyssum (господи, куда же я его посажу?), один шпорник взамен того, который у вас побил грибок, и один горшочек, относительно которого вы никак не сойдетесь с хозяином питомника: что же в нем такое? Потратив, таким образом, несколько часов на полезную и благородную беседу, вы уплачиваете хозяину, хоть он и не коммерсант, пять-шесть крон — и дело с концом. И все же, о мучитель, вас садовод встречает куда с большим удовольствием, чем тех господ, что, примчавшись па машине и навоняв бензином, велят отобрать для них шестьдесят сортов «самых лучших цветов, но только чтоб высшей марки!».



Каждый владелец питомника божится, что у него в саду почва очень плохая, что он ее не удобряет, не поливает и даже не укрывает на зиму; видимо, он хочет этим сказать, что цветы его так хорошо растут просто из симпатии к нему. И в этом есть доля истины: занимаясь питомником, надо иметь легкую руку или как бы благодать свыше. Ему, садоводу-профессионалу, достаточно воткнуть в землю палку — у него вырастет любой цветок, в то время



как мы, непосвященные, возимся с семенами, размачиваем их, дышим на них, подкармливаем их костной либо детской мучкой — и в конце концов все это у нас каким-то образом засыхает и гибнет. Мне кажется, тут какое-то колдовство, все равно как в охоте и в медицине.

Заветная мечта каждого страстного садовода — вывести новый вид. Господи, если б у меня вдруг выросла желтая незабудка, или голубой, как незабудка, мак, или белая горечавка... Что из того, что голубая красивей? Все равно: ведь белой-то еще не было. И потом, видите ли, даже в цветах человек немножко шовинист: если бы какая-нибудь чешская роза одержала в мировом масштабе верх над американской «Индепенденс-дэй» или французской «Эррио», мы лопнули бы от гордости и сошли бы с ума от радости.

От души советую вам: если у вас в саду есть неровность или уступ, устройте горку. Прежде всего, очень красиво, когда такая горка покроется подушками камнеломки, торички, торицы, резухи и других великолепных горных цветов. Во-вторых, самое сооружение горки — превосходное увлекательное занятие. Человек, устраивая горку, чувствует себя циклопом, громоздящим, так сказать, со стихийной силой глыбу на глыбу, создающим вершины и долины, переносящим с места на место горы и утверждающим утесы. Когда же он, с ломотой в пояснице, завершит свое гигантское предприятие, то обнаружит, что дело

рук его не совсем похоже на ту романтическую горную страну, которая возникла в его воображении, а скорей напоминает кучку щебня и камней. Но не огорчайтесь: через год весь этот камень превратится в великолепнейшую клумбу, сверкающую мелкими цветочками и покрытую чудеснейшими подушками цветов. И велика будет радость ваша. Говорю вам, устраивайте горку.



Да, отрицать не приходится: наступила осень. Об этом говорят астры и хризантемы: эти осенние цветы цветут сейчас с исключительной силой и пышностью. Без особенных претензий, цветы как цветы, но зато сколько их! Уверяю вас, этот поздний расцвет — более пылок и могуч, чем суетливые, легкомысленные проказы молодой весны. В нем — разум и солидность зрелого человека: уж если цвести, так основательно; иметь вдоволь меду, чтобы прилетели пчелки. Что значит какой-то опавший лист перед этим богатым осенним расцветом? Разве вы не видите, что нет никакой усталости?

Почва

Моя покойная матушка в молодости, раскладывая карты, шептала: «Так... что у меня на сердце? А что в ногах?»

Тогда я никак не мог постичь ее интереса к тому, что у нее под ногами. И только через много-много лет сам заинтересовался этим, обнаружив, что под ногами у меня земля.

Человек, в сущности, совершенно не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится как бешеный, и самое большее — взглянет, как прекрасны облака у него над головой, или горизонт вдали, или чудесные синие горы И ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: какая прекрасная почва! Надо иметь садик величиной с ладонь, надо иметь хоть одну клумбочку, чтобы познать, что у тебя под ногами. Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засоренную. Тогда узнал бы, что персть бывает воздушная, как пирог, теплая, легкая, вкусная, как хлеб, и назвал бы ее прекрасной, как называешь женщин или облака. Тогда испытал бы особенное чувственное наслажденье, видя, как твоя трость уходит на целый локоть в рыхлую, рассыпчатую почву, или сжимая в горсти комок, чтоб ощутить ее воздушное и влажное тепло.

А если ты не поймешь этой своеобразной красоты, — пускай судьба в наказание подарит тебе несколько квадратных сажен глины, твердой, как олово, глины, лежащей толстым слоем, глины материковой, от которой несет холодом, которая прогибается под заступом, будто жевательная резинка, спекается на солнце и закисает в тени; глины злой, неуступчивой, мазкой, печной глины, скользкой, как змея, и сухой, как кирпич, плотной, как жесть, и тяжелой, как свинец. Вот и рви ее киркой, режь заступом, бей молотком, переворачивай, обрабатывай, изрыгая проклятия и жалуясь на судьбу. Тогда поймешь, что такое вражда и коварство бесплодной, мертвой материи, нипочем не желающей стать почвой для всходов жизни. Уяснишь, в какой страшной борьбе, пядь за пядью, отвоевывала себе место под солнцем жизнь, в любой ее форме — от растительности до человека.

И еще ты узнаешь, что земле надо давать больше, чем берешь у нее; нужно обработать ее щелочью, насытить известью, согреть теплым навозом, пересыпать легкой золой, напоить воздухом и солнцем. Тогда начнет распадаться и дробиться спекшаяся глина, словно тихонько дыша; начнет с удивительной готовностью мягко поддаваться она заступу; станет на ощупь теплой, благодарной. Она укрощена. Уверяю вас, укротить несколько квадратных сажен земли — огромная победа. Вот она лежит, трудо-

любивая, рассыпчатая, влажная; хочется всю ее раскрошить, размять пальцами, чтобы удостовериться в своей победе. И уж не думаешь о том, что на ней сеять. Разве само по себе не прекрасное зрелище — эта темная, воздушная земля? Не прекрасней ли она, чем какая-то клумба с анютиными глазками или грядка с морковью? Ты почти ревнуешь к растительности, завладевающей благородным плодом человеческих усилий, который носит название персти.

Теперь ты уже не будешь ходить по земле, не зная, что у тебя под ногами. Будешь ощупывать рукой и тростью каждую кучку праха, каждый участок поля, как другие рассматривают звезды, людей, фиалки. Будешь таять от восторга над черной перстью, влюбленно сжимать нежное лесное листье, взвешивать в руке плотную дернину и легкий торф. Будешь восклицать, мой милый: «Ах, вот этого бы мне хоть вагон! И еще, черт возьми, возик такого бы листья тоже неплохо; а сверху присыпать бы таким вот перегноем да прихватить этих коровьих лепешек; и чуточку вот этого речного песку; и несколько тачек гнилья от этого трухлявого пня; и потом немного ила из ручья; да и эта дорожная грязь тоже но повредила бы. И еще какого-нибудь фосфату и роговых опилок. А как подошла бы мне эта прекрасная пахотная земля, господи!» Бывают почвы жирные, как свиное сало, легкие, как пух, рассыпчатые, как торт, светлые и темные, сухие и сочные; это все — многообразные и благородные разновидности красоты. Напротив, гнусно и противно все липкое, комковатое, мокрое, вязкое, холодное, бесплодное, данное человеку для того, чтобы он проклинал мертвую материю; все это так же противно, как холод, черствость и злоба человеческих душ.

Октябрь садовода

Говорят — октябрь; говорят — в это время природа укладывается спать. Но садовод лучше знает; садовод скажет вам, что октябрь — очень хороший месяц, не хуже апреля. К вашему сведению, октябрь — первый весенний месяц, месяц подземного зарождения и прорастания, скрытого набухания почек; попробуйте запустите пятерню в землю: вы найдете проклюнувшиеся ростки толщиной



в палец, и хрупкие побеги, и жаждущие корни — да, да, *уже весна.* Выходи, садовод, начинай посадки (только будь осторожен, не повреди заступом проросшую луковицу нарцисса).

Итак, из всех месяцев именно октябрь — месяц посадок и пересадок. Ранней весной стоит садовод над своей клумбой, где там и сям уже начинают высовываться острия почек, и размышляет:

«Тут у меня немного голо и пусто: надо будет чего-нибудь посадить».

Примерно через месяц опять стоит он над этой самой клумбой, где успели уже взойти двухметровые хвосты дельфиниума, джунгли девичьей ромашки, дебри колокольчиков и черт его знает чего еще, и размышляет:

«Тут у меня немножко чересчур разрослось. Гущина какая! Придется малость того... сделать прореживание и рассадить».

В октябре он стоит над той же клумбой, из которой там и сям торчит желтый лист или голый стебель, и размышляет:

«Тут у меня немножко голо и пусто. Подсажу-ка я чего-нибудь: ну, скажем, шесть флоксов или какую-нибудь астру покрупней».

Сказано — сделано. Жизнь садовода полна перемен и активной деятельности.

Ворча, но втайне довольный, обнаруживает в октябре садовод в своем саду голые места.

«Черт возьми, — говорит он себе, — тут у меня, скорей всего, что-то завяло. Постой, надо это пустое место засадить. Например, золотарником или лучше цимицифу-

гой. Правда, ее у меня еще нет. Но лучше всего — астильбе. А на осень хорошо бы сюда pyrethrum uliginosum [1]. Да и крестовник на весну был бы неплох. Стоп, я посажу сюда монарду — Senset либо «Кембридж Скарлет». Да и красоднев тоже подошел бы». После чего он в глубокой задумчивости идет в дом, вспоминая по дороге, что и морина — славная былинка, не говоря о кореопсисе; да и буквицей не следует пренебрегать. Потом он поспешно выписывает в каком-нибудь цветоводстве золотарник, цимицифугу, астильбе, pyrethrum uliginosum, крестовник, монарду, красоднев, морину, кореопсис, буквицу и сверх того еще анхузу и шалфей. Потом несколько дней неистовствует, что посылка не приходит и не приходит. Потом рассыльный приносит ему огромную корзину, и он мчится с заступом на *голое место*. Не успел копнуть, как выворотил целый клубок корней с гроздью толстых ростков.



«Господи Иисусе, — ахает садовод, — ведь у меня тут была посажена купальница!»

Да, есть на свете безумцы, которые хотят иметь в своем саду все шестьдесят восемь родов растений двудомных, пятнадцать однодомных, два голосеменных, а из тайнобрачных, — по крайней мере, все папоротниковые, поскольку с плаунами и мхами пропадешь.

---

[1] пиретрум болотистый (*лат.*).



Но есть еще более безумные безумцы, посвятившие всю свою жизнь какому-нибудь одному виду, но желающие во что бы то ни стало иметь его во всех до сих пор выведенных и зарегистрированных разновидностях. Так, например, есть «луковичники», верные культу тюльпанов, гиацинтов, лилий, хионодоксов, нарциссов, тацет и других луковичных диковин. Затем «примуломаны» и «аурикулисты», преданные исключительно первоцветам, а также «анемониаки», посвятившие себя анемонам. Затем «ирисники», или «косаточники», которые погибли бы с горя, если б упустили хоть что-нибудь из группы, куда входят Apogon, Pogoniris, Regelia, Onocyclus, Juno и Xiphium, не считая гибридов. Существуют «дельфинисты», разводящие исключительно этот вид лютиковых. Существуют розоманы или розариане, не признающие ничего, кроме «Мадам Друшки», «Мадам Эррио», «Мадам Каролины Тесту», «Господина Вильгельма Кордеса», «Господина Перне» и многочисленных других особ, перевоплотившихся в розу. Существуют фанатики-«флоксисты», или «флоксофилы», которые в августе, когда у них цветут флоксы, не скрывают своего презрения к «хризантемоманам», а последние платят им тем же в октябре, когда цветет Chrysanthemum indicum! Существуют меланхолические «астровики», предпочитающие всем жизненным наслаждениям поздние астры. Но самые отчаянные из всех безумцев (не считая, конечно, любителей кактусов) — это «георгианцы», готовые заплатить за какую-нибудь новую американскую далию бешеные деньги: хоть двадцать крон!

Из всех них только «луковичпики» имеют за собой некоторую историческую традицию и даже собственного патрона — именно святого Иосифа, который, как известно, держит в руке Lilium Candidum, хотя теперь мог бы уже достать себе Lilium Brownii leucanthum, которая гораздо белей.



Наоборот, нет святого, который имел бы при себе цветок флокса или георгин: таким образом, люди, предающиеся культу этих цветов, являются еретиками, иногда же основывают свою собственную церковь.

А почему бы этим культам не иметь свои жития святых? Попробуем набросать, допустим, житие святого Георгинуса Далийского. Георгинус был добродетельный и благочестивый садовник, которому после долгих молитв удалось вывести первые георгины. Узнав об этом, языческий император Флоксиниан воспылал гневом и послал стражу — ввергнуть благочестивого Георгинуса в темницу.

— Слушай, огородник! — обрушился на него император Флоксиниан. — Ты будешь теперь поклоняться отцветшим флоксам.

— Не буду, — мужественно возразил Георгинус, — ибо георгины это георгины, а флоксы — только флоксы.

— Четвертуйте его, — взревел жестокий Флоксиниан.

И разрубили святого Георгинуса Далийского на части, и разорили сад его, посыпав зеленым купоросом и серой. Но части рассеченного тела святого Георгинуса превратились в клубни, давшие жизнь всем будущим георгинам, а именно — пионовым, анемоновым, обыкно-



венным, кактусовым, звездчатым, миньонам, помпонным, или лилипутам, розетковым, коллеретовым и гибридным.

Осень — самое щедрое время года; я сказал бы, что весна по сравнению с ней скуповата. Осень действует в крупном масштабе. Бывало у вас когда-нибудь, чтобы весенняя фиалочка вдруг выросла в три метра высотой или тюльпан рос бы, рос и в конце концов перерос деревья? Вот видите. А ведь бывает, что вы весной посадите какую-нибудь осеннюю астру, и она к октябрю даст вам двухметровый девственный лес, в который вы боитесь вступить, так как не уверены, что найдете дорогу обратно.

Или в апреле вы ввели в землю корешок гелениума либо солнцецвета, а теперь вам иронически кивают сверху золотые цветы, до которых, даже став на цыпочки, не дотянуться рукой.

Такие истории происходят с садоводом на каждом шагу, стоит ему чуть пренебречь чувством меры. Поэтому осенью он устраивает переселение своих питомцев: каждый год переносит свои многолетники, как кошка котят! Каждый год с удовлетворением говорит:

— Так. Теперь все у меня посажено и в порядке.

А через год опять вот так же облегченно вздыхает. Сад никогда не бывает окончательно устроен. В этом отношении он подобен человеческому обществу и всем людским делам.

О красотах осени

Я мог бы написать о буйных красках осени, о тоскливых туманах, о душах умерших и небесных явлениях, о последних астрах и маленькой красной розе, которая еще старается расцвести. Или об огоньках в сумраке, о запахе кладбищенских свечей, о сухой листве и прочих элегических предметах. Но мне хочется воздать честь и хвалу другому украшению нашей чешской осени: просто сахарной свекле.

Ни одно из произведений земли не живет так кучно, как сахарная свекла. Зерно ссыпают в амбары, картошку — в подвалы. А сахарную свеклу ссыпают в кучи; складывают в холмы; нагромождают свекловичными горами возле полустанков. Бесконечной вереницей тянутся телеги, груженные белыми корнеплодами; с утра до вечера вооруженные мотыгами мужчины наваливают высокие громады, придавая им правильную геометрическую форму пирамид. Все плоды земные так или иначе, всевозможными путями растекаются по отдельным хозяйствам. А свекла течет сплошным потоком — прямо к ближайшей железной дороге или к ближайшему сахарному заводу. Это произведение оптовое: оно наступает en masse[1], как на военных маневрах. Тут — бригады, дивизии, армейские корпуса, подтягивающиеся к железнодорожным путям. Поэтому они и построены в боевой порядок: геометрия — красота масс. Свекловоды сооружают бурты в виде монументальных приземистых зданий; это — почти зодчество. Куча картошки — не здание. Но груда свеклы — это уже не куча: это строение. Горожанин — не любитель свекловодческих пейзажей; но как раз осенью они представляют довольно величественный вид. В аккуратно сложенной пирамиде свеклы есть что-то захватывающее. Это — монумент плодородной земле.

---

[1] массой (*франц.*).

Но позвольте мне восславить самую бесспорную из всех красот осени. Я знаю, у вас нет свекловичного поля, и вы не сваливаете свеклу в груды; но приходилось ли вам когда-нибудь удобрять сад? Когда вам привезут полную телегу и выворотят теплую дымящуюся кучу, вы ходите вокруг, впиваясь в нее глазами и нюхом, и говорите признательно:

— Ей-богу, хороший навоз.

Потом добавляете:

— Хороший, но легковатый.

Потом — уже недовольно:

— Помету мало. Одна солома.

Ступайте прочь, вы, затыкающие себе нос, старающиеся обойти подальше эту великолепную, горячую груду: вы не знаете, что такое хорошее удобрение... А когда клумбы получат все, что им полагается, — человек испытывает слегка мистическое чувство: он сделал земле добро.

Голые деревья — не такое уж унылое зрелище: они похожи отчасти па веники или метлы, отчасти па леса для будущей стройки. Но если на таком голом деревце дрожит под ветром последний лист, это — как последнее знамя, развевающееся на поле боя, как флаг, сжимаемый рукой одного из убитых. Мы пали, по не сдались. Наши цветы еще реют в воздухе.

И хризантемы еще не сдались. Они хрупки и воздушны, лишь слегка обозначенные белой или розовой пеной, зябнущие, словно молоденькие барышни в бальных платьях. Что? Солнышка слишком мало? И нас душит седой туман? И мочат холодные дожди? Не беда. Самое главное — цвести. Только люди надуются на плохие условия. Хризантемы этого никогда не делают.

У богов тоже свои сезоны. Летом человек может бить пантеистом, может считать себя частью природы. Но осенью он может считать себя только человеком. И даже если мы не крестим себе лба, то мало-помалу все возвращаются к истоку жизни. Каждый домашний очаг пылает в честь домашних богов. Любовь к родине, к дому — такая же религия, как поклонение какому-нибудь звездному божеству.

Ноябрь садовода

Я знаю, есть много замечательных занятий: например, писать в газеты, голосовать в парламенте, заседать в административном совете, подписывать казенные бумаги. Но как бы все это ни было прекрасно и почтенно, занимающийся этим не выглядит так внушительно, нет у него той монументальной, пластичной, можно сказать, скульптурной осанки, какой отличается *человек с заступом.* Господи, когда вы стоите так на своей клумбе, упершись одной ногой в железо заступа, стирая пот с лица и произнося: «уф!» — вы производите впечатление прямо аллегорической статуи. Остается только осторожно вырыть вас, вынуть из земли со всеми корнями и поставить на постамент с надписью *«Триумф труда»,* или *«Властелин земли»,* или еще как-нибудь в этом роде. Говорю так потому, что теперь как раз пришла пора для этого, то есть для рытья.



Да, в ноябре надо вскапывать и рыхлить почву; наберешь ее полный заступ и испытываешь такое аппетитное, лакомое ощущение, будто набрал полный половник, полную ложку еды. Хорошая почва, как и хорошая еда, не должна быть ни слишком жирной, тяжелой и холодной, ни слишком влажной или слишком сухой, ни мягкой, ни твердой, ни порошкообразной, ни сырой: она должна быть как хлеб, как пряник, как сдобная булка, как поднявшееся тесто; должна рассыпаться, но не крошиться; должна хрустеть под заступом, но не чавкать; при переворачивании не должна превращаться в скамьи, головы, пласты, клецки, а должна, облегченно вздыхая, распадаться в комки и крупитчатую пыль. Вот это и есть почва съедобная и вкусная, культурная и благородная, почва глубокая и влажная, пористая, дышащая, мягкая, — словом, хорошая почва, как бывают хорошие люди; а известно, что в этой юдоли слез лучше ничего нету.



Знай, садовод милый, что в эти осенние дни можно еще *пересаживать.* Надо сперва окопать куст или деревце как можно глубже; потом подхватить снизу заступом, причем заступ обычно ломается пополам. Есть люди — главным образом критики и публичные ораторы, — которые любят толковать о корнях; они твердят, например, что, дескать, надо глядеть в корень, что то или иное зло надо вырвать с корнем, что надо добираться до корней явления. Хотел бы я посмотреть, как бы они стали выкапывать (вместе с корнями), окажем, трехлетнюю айву. Хотел бы понаблюдать, как Арне Новак склоняется к корням какого-нибудь маленького кустика, скажем, Ruscus'a. Или как Зденек Неедлы выворачивает с корнями, допустим, солидный тополь. Думаю, что в конце концов оба они махнули бы рукой, произнеся только одно словечко, — и бьюсь об заклад, что этим словечком было бы: «Ну его к черту!» Я сам испытал это с цидониями; могу засвидетельствовать, что иметь дело с корнями очень трудно; лучше не трогать их: они сами знают, зачем сидят так глубоко; и нашего внимания им не требуется. Так что лучше оставить их в покое и утучнять почву.

Да, утучнять почву. Что может быть лучше телеги навоза, доставленного вам в морозный день и дымящегося, как жертвенный костер. Когда дым его доходит до небес, всеведущий, там, наверху, почуяв запах, промолвит:

— Эге, славный какой-то навозик!

Тут необходимо сказать два слова о таинственном круговращении естества: наестся лошадка овса и передаст его дальше — гвоздикам либо розам, а те на будущий год восславят за это творца таким чудным ароматом, что пером не описать. Так вот — садовод улавливает этот чудный

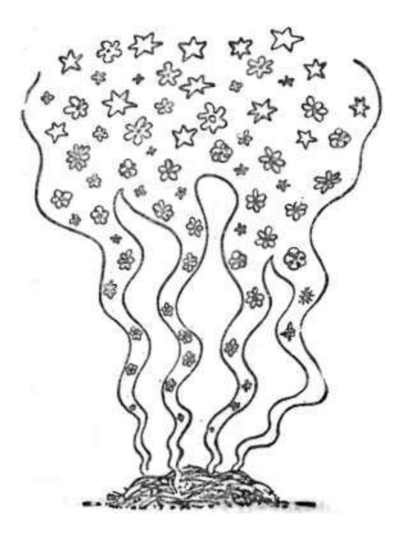
аромат уже в дымящейся куче навоза с соломой. И жадно нюхает и заботливо раскидывает этот божий дар по всему саду, будто намазывает для своего ребенка ломтик хлеба вареньем. Вот тебе, галчонок, кушай на здоровье! Вот вам, «Мадам Эррио», за ваши красивые бронзовые цветы, — целая кучка. Ты, ромашка, не ворчи — получай лепешку. А тебе, усердный флокс, постелю бурой соломы.

Что нос воротите, люди добрые?

Или не нравится?

Еще немножко — и окажем своему саду последнюю услугу: переждав один-другой осенний заморозок, устелем его зеленой хвоей; нагнем розы, подгребем к их шейкам земли, наложим сверху душистых еловых ветвей и — покойной ночи! Обычно этой хвоей накрываешь и что-нибудь другое, — скажем, перочинный ножик или курительную трубку; а весной, сняв хвою, опять все это находишь.

Но до этого еще далеко; мы еще продолжаем цвести. Еще номинальные астры мерцают своими сиреневыми глазами; еще распускаются баранчик и фиалка в знак того, что ноябрь — весна; еще хризантеме индийской (которую называют так потому, что она не из Индии, а из Китая) ни метеорологическое, ни политическое ненастье не мешает расточать хрупкое и неисчерпаемое богатство своих цветов — рыжих и белоснежных, золотых и темных; еще доцветают последние розы. Ты цвела шесть месяцев, королева; видно, положение обязывает.



А потом еще расцветают листья — осенние листья, желтые и багряные, рыжие, оранжевые, красные, как перец, кровавобурые. А красные, оранжевые, черные, покрытые голубым налетом ягоды? А желтое, красноватое, светлое дерево голых вет-

вей? Нет, мы еще не кончили. Даже когда все завалит снегом, будут еще темно-зеленые падубы с огненно-алыми плодами, и черные сосны, и кипарисы, и тиссы. Этому никогда не бывает конца.

Говорю вам, смерти не существует. И сна тоже. Просто мы перерастаем из одного периода в другой. К жизни необходимо относиться с терпением: ведь она вечная.

Но и вы, не имеющие ни единой собственной грядки во всей вселенной, можете тоже в осенний период поклониться природе, посадив в горшки луковички гиацинтов и тюльпанов, чтоб они у вас за зиму либо замерзли, либо расцвели. Это делается так: вы покупаете подходящие луковицы и в ближайшем цветоводстве — мешок хорошо компостированной земли; затем отыскиваете у себя в подвале или на чердаке все старые цветочные горшки и в каждый



сажается по луковице. К концу операции вы обнаруживаете, что для нескольких луковиц не хватает горшков. Вы подкупаете горшков, после чего оказывается, что не хватает луковиц, а остались лишние горшки и земля. Вы подкупаете луковиц и, так как опять не хватает земли, приобретаете еще мешочек компоста. У вас опять остается лишняя земля, которую жалко выбрасывать: уж лучше еще прикупить горшков и луковиц. Это продолжается до тех пор, пока ваши домашние не взбунтуются. После чего вы, заставив горшками окна, столы, шкафы, буфет, подвал и чердак, принимаетесь с доверием ждать наступления зимы.

Приготовления

Как ни толкуй, а все признаки говорят о том, что природа, так сказать, ложится в зимнюю спячку. Лист за листом опадает с моих березок — движением прекрасным и в то же время печальным; все, что цвело, клонится к земле; от всего, что буйно зеленело, остались голая метелка да осклизлая кочерыжка, сморщенный лопух и сухой стебель. Сама земля издает сладкий запах тления. Как ни толкуй, а на нынешний год — кончено. Хризантема, не фантазируй больше о богатстве жизни. Лапчатка, не принимай этого последнего солнца за яркое солнце марта. Ничего не поделаешь, дети: занавес опущен; смирно ложитесь на всю зиму — спать.

Да нет же, нет! С чего вы взяли? Молчите лучше! При чем тут сон? Каждый год говорим мы, что природа на всю зиму ложится спать, а ни разу не видели этого сна вблизи; точнее сказать, не видели снизу. Перевернем же все вверх ногами, чтобы лучше разобраться; перевернем природу вверх ногами, чтобы заглянуть в глубь ее: перевернем ее вверх корнями. Господи, какой же это сон? И это вы называете отдыхом? Можно подумать, что растительность перестала тянуться вверх — по недостатку времени, — а, засучив рукава, ринулась вниз: поплевала себе на ладони и пошла закапываться в землю. Посмотрите: эти светлые щупальца в земле — это корни. Видите, куда лезут? Хруп, хруп! Слышите, как земля трещит под их неистовым могучим натиском? «Честь имею доложить, генерал, что передовые части корней проник-

ли глубоко в район расположения противника. Патрули флоксов вошли в соприкосновение с патрулями колокольчиков. Отлично. Пускай теперь окапываются, закрепляя завоеванное пространство: боевое задание выполнено».

А вот эти толстые, белые, хрупкие — это новые ростки и побеги. Смотрите, сколько их появилось! Как ты незримо раскинулся, увядший, высохший многолетник, как весь кипишь жизнью! А вы говорите — сон. Черт ли в цветах и листьях — нам не до красования. Внизу, под землей, идет теперь настоящая работа. Вот здесь, здесь и здесь расти новым стеблям. Отсюда досюда, в этих ноябрьских границах, забьет ключом мартовская жизнь. Под землей уже начертана великая программа весны. Еще не было ни минуты отдыха; вот план строительства, здесь выкопаны рвы для фундамента и проложены трубы. Мы прокопаем еще дальше, прежде чем землю скует мороз. Пусть весна раскинет зеленые свои своды над трудом зачинательницы-осени. Мы, силы осенние, свое дело сделали.

Твердый, плотный торчок под землей, желвак на темени клубня, странный отросток, скрытый сухой листвой: это бомба, из которой вырвется весенний цветок. Весну называют порой прорастания; на самом деле пора прорастания — осень. Если судить по внешнему виду природы, получается, что осень — конец года. Но едва ли не больше правды в том, что она — начало года. На обычный взгляд, осенью листья осыпаются, и против этого трудно спорить; и все же я утверждаю, что в подлинном, глубоком смысле слова осень — как раз такая пора, когда пробиваются листки. Листья сохнут потому, что близится зима; но еще и потому, что уже близится весна, что уже образуются новые почки, маленькие, как капсюль, который, взорвавшись, выпустит на волю весну. Это обман зрения, будто деревья и кустарники осенью голы: они усеяны всем, что на них появится и развернется весной. Это обман зрения, что осенью цветы погибают: они тогда как раз нарождаются. Мы твердим, будто природа отдыхает, в то время как она рвется очертя голову вперед. Она только заперла магазин и закрыла ставни; но за ними уже идет распаковка нового товара, и полки гнутся от тяжести. Друзья мои, да ведь это настоящая весна! Что не заготовлено сейчас, того не будет и в апреле. Будущее — не впереди; оно уже

сейчас налицо, в виде ростка, уже среди нас. А чего среди нас нет, того не будет и в будущем. Мы не видим ростков, потому что они под землей; и не знаем будущего, потому что оно в нас. Иногда нам кажется, что мы пахнем тлением, заваленные сухими остатками прошлого. Но если б мы могли видеть, сколько толстых белых побегов пробивается в этом старом культурном слое, что носит название «сегодня», сколько семян незримо пустило ростки; сколько старых саженцев собирает и сосредоточивает всю свою силу в живой почке, которая однажды прорвется цветущей жизнью! Если бы мы могли наблюдать тайное клокотанье будущего среди нас, мы, наверно, сказали бы: какая чепуха — все наши скорби и сомнения! Поняли бы, что лучше всего на свете — быть живым человеком: то есть человеком, который растет.

Декабрь садовода

Ну вот, теперь все кончено. До сих пор он рыл, копал и рыхлил, переворачивал, известковал и унавоживал, пересыпал землю торфом, золой и сажей, подстригал, сеял, сажал, пересаживал, делал отводки, опускал в землю луковицы и вынимал на зиму клубни, поливал и опрыскивал, косил траву, полол, укрывал посадки хвоей или окучивал их. Все это он делал с февраля по декабрь, — и только теперь, когда весь сад завален снегом, вдруг вспомнил, что забыл одно: полюбоваться им. Некогда было. Летом бежишь взглянуть на цветущий энциан — по дороге остановишься, из травы





сорняк вырвешь. Только думал насладиться красотой расцветающих дельфиниумов — видишь: надо устраивать им подпорки. Расцвели астры, побежал за лейкой — поливать. Расцвел флокс, выдергивай пырей; зацвели розы, смотри, где им надо обрезать дикие побеги либо уничтожить колонии мучнистой росы. Расцвели хризантемы, кидайся на них с мотыгой — взрыхлять слежавшуюся землю. Да что вы хотите: дела было все время по горло. Когда же тут, засунувши руки в карманы, смотреть, как все это выглядит?

Но теперь, слава богу, кончено. Правда, кое-что еще надо бы сделать.

Там, сзади, земля как свинец, и я все собирался пересадить эту центаврию... ну да уж ладно. Снегом завалило. Что ж, садовод, пойди наконец *полюбуйся* на свой сад!

Вот это черное, что выглядывает из-под снега, — вискария; этот сухой стебель — голубые орлики; этот ком опаленных листьев — астильбе. А та метелка — астра ericoides, а здесь, где сейчас пусто, — тут оранжевая ку-

пальница, а та кучка снега — диантус, ну, конечно, диантус. А вот тот стебелек — красная ахилея.

Бррр, как мороз пробирает! И зимой-то нельзя полюбоваться своим садом.

Ну, ладно, затопите мне печь. Пускай сад спит под снежной периной. Нужно подумать и о другом. У меня полон стол непрочитанных книг; примемся за чтение; а сколько планов и забот! Пора заняться и ими. Только хорошо ли мы все укрыли хвоей? Достаточно ли утеплили тритому, не забыли ли прикрыть плумбаго? А кальмию надо бы затенить какой-нибудь веточкой! И как бы не замерзла паша азалия! А вдруг не прорастут луковички азиатского лютика? Тогда высадим на это место... что бы такое? Посмотрим-ка прейскуранты.

Итак, в декабре сад воплотился в огромное количество садоводческих каталогов. Сам садовод проводит зиму за стеклом, в натопленном помещении, заваленный по горло отнюдь не навозом или хвоей, а садоводческими прейскурантами и проспектами, книгами и брошюрами, из которых он узнает, что:

1) самыми ценными, благородными и прямо-таки необходимыми сортами являются как раз те, которых у него в саду нет;

2) все, у него имеющееся, — «слишком нежно» и «легко вымерзает»; к тому же он посадил на одной и той же клумбе, рядом, растения «влаголюбивые» и «боящиеся сырости», а то, что он постарался высадить на самое солнце, требует как раз «полной тени» — и наоборот;

3) существует триста семьдесят, а то и больше, видов растений, «заслуживающих особого внимания», которые «должны быть в каждом саду», или, во всяком случае, представляют собой «совершенно новую разновидность, по своим качествам далеко превосходящую прежде выведенные».



Обычно в декабре все это сильно портит садоводу на-

строение. Его берет страх, что под влиянием мороза или сильного припека, сырости, сухости, обилия солнца или недостатка его ничто из посаженного им не примется. И он начинает ломать себе голову, как бы возместить страшный ущерб.

Кроме того, он видит, что, даже если эту беду как-нибудь пронесет мимо, у него в саду не будет почти ни одного из тех «ценнейших, пышноцветущих, совершенно новых, непревзойденных» сортов, о которых он прочел в шестидесяти каталогах; вот это уж действительно недопустимый минус, который необходимо так или иначе устранить. Тут зимующий садовод совсем перестает думать о том, что у него в саду имеется, и отдается мыслям о том, чего там нету; а этого — гораздо больше. Он набрасывается на каталоги и отчеркивает в них то, что необходимо заказать, что нужно завести во что бы то ни стало. С наскоку оп намечает к приобретению четыреста девяносто видов многолетников, которые надо заказать непременно. Пересчитав их и несколько умерив свой пыл, он с болью в сердце начинает вычеркивать те, от которых пока придется отказаться. Эту мучительную ампутацию приходится проделать еще пять раз, так что в конце концов остается каких-нибудь сто двадцать «самых ценных, благородных и необходимых» многолетников, которые он, охваченный восторгом, тотчас и заказывает. «Господи, поскорей бы март!» — думает он при этом с лихорадочным нетерпением.

Но господь помутил его разум: в марте он обнаруживает, что в саду у него с великим трудом найдешь разве два-три места, куда еще можно что-то посадить, да и то у самой изгороди, за кустами японской айвы.

Покончив с этой главной и — как мы видим — немного преждевременной зимней работой, садовод начинает нестерпимо скучать. Поскольку «в марте начнется», он считает дни, остающиеся до марта; а так как их слишком много, отнимает две недели, исходя из того, что «иной раз начинается уже в феврале». Ничего не поделаешь, надо ждать. Тогда садовод бросается на что-нибудь другое — например, па софу, на диван или на шезлонг — и пробует погрузиться в зимнюю спячку, следуя примеру природы.



Однако через полчаса он неожиданно вскакивает из этого горизонтального положения, загоревшись новой мыслью. Горшки! Ведь можно выращивать цветы в горшках! Перед ним тотчас возникают заросли пальм и латаний, драцен и традесканций, аспарагусов, кливий, аспидистр, мимоз и бегоний — во всей их тропической красе. И между ними, конечно, расцветет какая-нибудь скороспелая примула, какой-нибудь гиацинт или цикламен. В прихожей устроим экваториальные джунгли, по лестнице будут сбегать лианы, а на окнах поставим цветы, которые будут цвести как сумасшедшие. Тут садовод озирается по сторонам: он уже не видит комнаты, в которой живет; вокруг него райский девственный лес, который он создаст. И он бежит в цветоводство — здесь же, за углом, — чтобы принести оттуда охапку растительных драгоценностей.

Принеся домой свою добычу, он обнаруживает: что, если высадить все это, получится отнюдь не экваториальный девственный лес, а скорей небольшая горшечная лавка;



что на окна ничего ставить нельзя, так как женщины с пеной у рта доказывают ему, будто окна существуют для проветривания помещения, что на лестнице тоже ничего нельзя ставить, потому что он там разведет свинушник и надрызгает водой;

что прихожую нельзя превращать в тропические заросли, так как, несмотря на его слезные просьбы и ругань, женщины не желают отказываться от привычки отворять там окна на мороз.

Кончается тем, что садовод уносит свои сокровища в подвал, утешая себя тем, что там они, по крайней мере, не замерзнут. А весной, копаясь в теплой почве сада, он начисто о них забывает. Но эти неудачи нисколько не помешают ему через год, в декабре, опять попытаться, при помощи новых цветочных горшков, превратить свою квартиру в зимний сад. Перед вами — еще одно проявление вечной жизни природы.

О жизни садовода

Говорят, розы знают свое время. Это верно: роз нельзя ждать раньше июня, а то и июля, кроме того — три года уходит у них на рост: раньше этого они не дадут вам порядочного венчика. Но гораздо правильней будет сказать, что знают свое время дубы. Или березы. Посадил я несколько березок и думаю: «Здесь будет березовая роща; а вот в том углу подымется могучий столетний дуб». И посадил дубок. Но прошло вот уже два года, а нет еще ни столетнего дуба, ни столетней березовой рощи, приюта нимф. Несколько лет я, понятное дело, еще подожду: у нас, садовников, адское терпение.

У меня на лужайке стоит ливанский кедр, почти с меня ростом; согласно научным данным, кедр должен превысить сто метров, при толщине в шестнадцать метров. Хотелось бы мне дождаться, когда он достигнет предусмотренной вышины и охвата. Право, было бы очень подходяще, если б я дожил в добром здоровье до этого момента и, так сказать, пожал плоды своих трудов. Пока он вырос у меня на целых двадцать шесть сантиметров. Что ж, подождем еще.

Или возьмем какую-нибудь травку. Она, правда, — если вы ее посеяли как следует и воробьи ее не поклевали, — через две недели взойдет, а через шесть ее уже можно косить. Но до английского газона тут еще далеко. У меня для английского газона есть замечательный рецепт, принадлежащий, подобно рецепту на устерский соус, одному «английскому сквайру». Некий американский миллиардер сказал этому сквайру:

— Сэр, я заплачу вам любую сумму, если вы мне откроете, каким способом можно получить такой совершенный,

безукоризненный, зеленый, густой, бархатный, ровный, свежий, не поддающийся порче, — короче говоря, такой английский газон, как у вас.

— Это очень просто, — ответил английский сквайр. — Надо тщательно обработать почву на большую глубину. Она должна быть тучной и довольно рыхлой; но не кислой, не жирной, не тяжелой и не скудной. Потом нужно ее хорошенько выровнять, чтоб была как столешница. Посеяв траву, тщательно пробороните землю. Потом каждый день поливайте и, когда трава вырастет, раз в неделю косите ее; скошенное выметайте метлой, а газон бороздите. Каждый день нужно поливать его, опрыскивать, увлажнять, сбрызгивать или дождевать. После трехсот лет такой обработки вы получите точно такой же замечательный газон, как у меня.

Прибавьте к этому, что каждый садовод хотел бы, да и на самом деле должен испытать на практике все сорта роз в отношении бутонов и цветов, стебля и листьев, кроны и других особенностей; а равно все виды тюльпанов и лилий, ирисов, дельфиниумов, гвоздик, колокольчиков, астильбе, фиалок, флоксов, хризантем, георгин, гладиолусов, пионов, астр, примул, анемонов, орликов, камнеломок, горечавок, подсолнечников, желтых лилий, маков, золотарника, купальниц, вероники, — из которых каждый имеет по меньшей мере дюжину первоклассных, необходимых пород, разновидностей и гибридов. К этому нужно добавить несколько сот родов и видов, имеющих только от трех до двенадцати разновидностей. Далее, необходимо уделить особое внимание растениям горным, водяным, вересковым, луковичным, папоротниковым, тенелюбивым, древовидным и вечнозеленым. Если сложить время, требующееся на все это, то, по самым скромным подсчетам, так сказать, «на брата» выйдет по одиннадцати столетий. Садоводу нужно бы одиннадцать столетий на то, чтобы испытать, изучить и оценить на практике все, что ему полагается. Дешевле уступить не могу, самое большее — скину пять процентов, только для вас, поскольку вам нет надобности разводить все, хоть и стоило бы! Но вы должны поторопиться, не теряя дня даром, если хотите поспеть к указанному сроку. Начатое надо доводить до конца — это ваш долг перед вашим садом. И рецепта я вам не дам. Вы должны сами пробовать и добиваться.

Мы, садоводы, можно сказать, живем будущим. Расцвели у нас розы, мы уже думаем о том, что через год они зацветут еще пышней. А вот эта елочка через каких-нибудь десять лет станет настоящим деревцем, — поскорей бы только эти десять лет проходили! Так хочется видеть, какими будут эти березки лет через пятьдесят. Настоящее, лучшее — еще впереди. С каждым годом все разрастается и хорошеет. Слава богу, и мы продвинулись на целый год дальше!

Сказки

РИСУНКИ ИОЗЕФА ЧАПЕКА



БОЛЬШАЯ КОШАЧЬЯ СКАЗКА

Как король покупал Неведому Зверушку

Правил в стране Жуляндии один король, и правил он, можно сказать, счастливо, потому что, когда надо, — все подданные его слушались с любовью и охотой. Один только человек порой его не слушался, и был это не кто иной, как его собственная дочь, маленькая принцесса.

Король ей строго-настрого запретил играть в мяч на дворцовой лестнице. Но не тут-то было! Едва только ее нянька задремала на минутку, принцесса прыг на лестницу — и давай играть в мячик. И — то ли ее, как говорится, бог наказал, то ли ей черт ножку подставил — шлепнулась она и разбила себе коленку. Тут она села на ступеньку и заревела. Не будь она принцессой, смело можно было бы сказать: завизжала, как поросенок. Ну, само собой, набежали тут все ее фрейлины с хрустальными тазами и шелковыми бинтами, десять придворных лейбмедиков и три дворцовых капеллана, — только никто из них не мог ее ни унять, ни утешить.

А в это время шла мимо одна старушка. Увидела она, что принцесса сидит на лестнице и плачет, присела рядом и сказала ласково:

— Не плачь, деточка, не плачь, принцессочка! Хочешь, принесу я тебе Неведому Зверушку? Глаза у нее изумрудные, да никому их не украсть; лапки бархатные, да не стопчутся; сама невеличка, а усы богатырские; шерстка искры мечет, да не сгорит; и есть у нее шестнадцать карманов, в тех карманах шестнадцать ножей, да она ими не обрежется! Уж если я тебе ее принесу — ты плакать не будешь. Верно?

Поглядела принцесса на старушку своими голубыми глазками — из левого еще слезы текли, а правый уже смеялся от радости.

— Что ты, бабушка! — говорит. — Наверно, такой Зверушки на всем белом свете нет!

— А вот увидишь, — говорит старушка. — Коли мне король-батюшка даст, что я пожелаю, — я тебе эту Зверушку мигом доставлю!

И с этими словами побрела-поковыляла потихоньку прочь.

А принцесса так и осталась сидеть на ступеньке и больше не плакала. Стала она думать, что же это за Неведома Зверушка такая. И до того ей стало грустно, что у нее этой Неведомой Зверушки нет, и до того страшно, что вдруг старушка ее обманет, — что у нее снова тихие слезы на глаза навернулись.

А король-то все видел и слышал: он как раз в ту пору из окошка выглянул — узнать, о чем дочка плачет. И когда он услышал, как старушка дочку его утешила, сел он снова на свой трон и стал держать совет со своими министрами и советниками. Но Неведома Зверушка так и не шла у него из головы. «Глаза изумрудные, да никому их не украсть, — повторял он про себя, — сама невеличка, а усы богатырские, шерстка искры мечет, да не сгорит, и есть у нее шестнадцать карманов, в них шестнадцать ножей, да она ими не обрежется... Что же это за Зверушка?»

Видят министры: король все что-то про себя бормочет, головой качает да руками у себя под носом водит — здоровенные усы показывает, — и в толк никак не возьмут, к чему бы это?! Наконец государственный канцлер духу набрался и напрямик короля спросил, что это с ним.

— А я, — говорит король, — вот над чем задумался: что это за Неведома Зверушка: глаза у нее изумрудные, да никому их не украсть, лапки бархатные, да не стопчутся, сама невеличка, а усы богатырские, и есть у нее шестнадцать карманов, в тех карманах шестнадцать ножей, да она ими не обрежется. Ну что же это за Зверушка?

Тут уж министры и советники принялись головой качать да руками под носом у себя богатырские усы показывать; но никто ничего отгадать не мог. Наконец старший советник то же самое сказал, что принцесса раньше старушке сказала:

— Король-батюшка, такой Зверушки на всем белом свете нет!

Но король на том не успокоился. Послал он своего гонца, самого скорого, с наказом: старушку сыскать и во дворец представить. Пришпорил гонец коня — только

искры из-под копыт посыпались, — и никто и ахнуть не успел, как он перед старушкиным домом очутился.

— Эй, бабка! — крикнул гонец, наклонясь в седле. — Король твою Зверушку требует!

— Получит он, что желает, — говорит старушка, — если он мне столько талеров пожалует, сколько чистейшего на свете серебра чепчик его матушки прикрывает!

Гонец обратно во дворец полетел — только пыль до неба заклубилась.

— Король-батюшка, — доложил он, — старуха Зверушку представит, если ей ваша милость столько талеров пожалует, сколько чистейшего па свете серебра чепчик вашей матушки прикрывает!

— Ну что ж, это не дорого, — сказал король и дал свое королевское слово пожаловать старушке ровно столько талеров, сколько она требует.

А сам тут же отправился к своей матушке.

— Матушка, — сказал он, — у нас сейчас гости будут. Надень же ты свой хорошенький маленький чепец — самый маленький, какой у тебя есть, чтобы только макушку прикрыть!

И старая матушка его послушалась.

Вот старушка вошла во дворец, а на спине у нее была корзина, хорошенечко завязанная большим чистым платком.

В тронном зале ее ожидали уже и король, и его матушка, и принцесса; да и все министры, генералы, тайные и явные советники тоже стояли тут, затаив дыхание от волнения и любопытства.

Не спеша, не торопясь, стала старушка свой платок развязывать. Сам король вскочил с трона — до того не терпелось ему поскорее увидеть Неведому Зверушку.

Наконец сняла старушка платок. Из корзины выскочила черная кошка и одним прыжком взлетела прямо на королевский трон.

— Вот так так! — закричал король. — Да ведь это всего-навсего кошка! Выходит, ты нас обманула, старая?

Старушка уперла руки в бока.

— Я вас обманула? Ну-ка гляньте, — сказала она, указывая на кошку.

Смотрят — глаза у кошки загорелись, точь-в-точь как драгоценнейшие изумруды.

— Ну-ка, ну-ка, — повторяла старушка, — разве у нее не изумрудные глаза, и уж их-то у нее, король-батюшка,

никто не украдет! А усы у нее богатырские, хоть сама она и невеличка!

— Да-а, — сказал король, — а зато шерстка у нее черная, и никаких искр с нее не сыплется, бабушка!

— Погодите-ка, — сказала старушка и погладила кошечку против шерсти. И тут все услышали, как затрещали электрические искры.

— А лапки, — продолжала старушка, — у нее бархатные, сама принцесса не пробежит тише нее, даже босиком и на цыпочках!

— Ну ладно, — согласился король, — но все-таки у нее нет ни одного кармана и тем более никаких шестнадцати ножиков!

— Карманы, — сказала старушка, — у нее на лапках, и в каждом спрятан острый-преострый кривой ножик-коготок. Сосчитайте-ка, выйдет ли ровно шестнадцать?

Тут король подал знак своему старшему советнику, чтобы он сосчитал у кошки коготки. Советник наклонился и схватил кошку за лапку, а кошечка как фыркнет, и глядь — уже отпечатала свои коготки у него на щеке, как раз под глазом!

Подскочил советник, прижал руку к щеке и говорит:

— Слабоват я стал глазами, король-батюшка, но сдается мне — когтей у нее очень много, никак не меньше четырех!

Тогда король подал знак своему первому камергеру, чтобы и тот сосчитал у кошки когти. Взял было камергер кошечку за лапку, но тут же и отскочил, весь красный, схватившись за нос, а сам и говорит:

— Король-батюшка, их тут никак не меньше дюжины! Я собственнолично еще восемь штук насчитал, по четыре с каждой стороны!

Тогда король кивнул самому государственному канцлеру, чтобы тот посчитал когти, но не успел важный вельможа нагнуться над кошкой, как отпрянул, словно ужаленный. А потом, потрогав свой расцарапанный подбородок, сказал:

— Ровно шестнадцать штук, король-батюшка, собственноподбородочно сосчитал я последние четыре!

— Что ж, тогда ничего не попишешь, — вздохнул король, — придется мне кошку купить. Ну и хитра же ты, бабушка, нечего сказать!

Стал король выкладывать денежки. Взял он у своей матушки маленький чепец — самый маленький, какой у нее был, — с головы, высыпал талеры на стол и накрыл их чепцом. Но чепец был такой крошечный, что под ним поместилось всего лишь пять серебряных талеров.

— Вот твои пять талеров, бабушка, бери и иди с богом, — сказал король, очень довольный, что так дешево отделался.

Но старушка покачала головой и сказала:

— У нас не такой уговор был, король-батюшка. Должен ты мне столько талеров пожаловать, сколько чистейшего на свете серебра чепец твоей матушки прикрывает.

— Да ведь ты сама видишь, что прикрывает этот чепец ровно пять талеров чистого серебра!

Взяла старушка чепец, разгладила его, повертела в руке и тихо, раздумчиво сказала:

— А я думаю, король-батюшка, что нет на свете серебра чище, чем серебряные седины твоей матушки.

Поглядел король на старушку, поглядел на свою матушку и сказал тихонько:

— Права ты, бабушка.

Тут старушка надела матушке короля чепец на голову, погладила ласково ее по волосам и сказала:

— Вот и выходит, король-батюшка, что должен ты мне столько талеров пожаловать, сколько серебряных волосков твоей матушки под чепцом уместилось.

Удивился король; сперва он было насупился, а потом рассмеялся и сказал:

— Ну и жулябия же ты, бабушка! Во всей Жуляндии второй такой хитрой жулябии не найти!

Но слово, ребятки, есть слово, и пришлось королю отдавать старушке то, что ей причиталось.

Попросил он свою матушку сесть поудобнее и приказал своему главнейшему лейб-бухгалтеру сосчитать, сколько серебряных волосков умещается под чепцом.

Принялся лейб-бухгалтер считать, а королевская матушка сидела тихо-тихо, не шевелясь; старушки, сами знаете, не прочь порой вздремнуть — вот и старая королева заснула.

Она спит, а лейб-бухгалтер считает; но когда он досчитал как раз до тысячи, — видно, он чуточку потянул за волосок, и старая королева проснулась.

— Ай! — крикнула она. — Зачем вы меня разбудили? Мне такой чудный сон привиделся! Приснилось мне, что сейчас будущий наш король в пределы нашей державы вступает!

Старушка так и вздрогнула.

— Вот чудеса-то, — вырвалось у нее. — Ведь как раз сегодня должен мой внучек из соседней державы ко мне приехать!

Но король ее не слушал.

— Откуда, матушка? Из какой державы будущий король нашей страны идет? Из какого королевского дома?

— Не знаю, — отвечает ему матушка. — На этом самом месте вы меня разбудили!

А лейб-бухгалтер все считает и считает; старая королева снова задремала.

Считал-считал бухгалтер, и вновь — как раз на двухтысячном волоске — рука у него дрогнула, и он опять волосок дернул.

— Дураки! — закричала старая королева. — Опять вы меня разбудили! Мне как раз снилось, что не кто иной, как эта черная кошечка привела к нам будущего короля!

— Вот так так, матушка, — удивился король, — слыханное ли это дело, чтобы кошка приводила будущих королей?

— Придет время — сам увидишь, — сказала старая королева, — а теперь дайте же мне наконец доспать!

И вновь заснула королевская матушка, и вновь принялся считать лейб-бухгалтер. И когда он дошел до трехтысячного — и последнего — волоска, вновь дрогнула у него рука, и снова он за волосок потянул сильнее, чем надо.

— Ах вы бездельники! — закричала старая королева. — Ни минуты покоя старухе не даете! А мне как раз спилось, что будущий король приехал к нам со всем своим домом!

— Ну, нет, простите меня, матушка, — сказал король, — но этого уж никак не может быть! Нет такого человека, чтобы мог привезти с собой целый королевский дворец!

— Не суди о вещах, в которых ничего не смыслишь! — строго сказала старая королева.

— Да, да, — кивнула старушка, — матушка твоя права, ваша королевская милость! Моему покойному му-

женьку одна цыганка нагадала: «Петух когда-нибудь все твое добро пожрет!» Покойник, бедняжка, только посмеялся: «Слыханное ли это дело, мол, этого, цыганочка, никак не может быть!» Точь-в-точь как ты, король-батюшка!

— Ну и что же, — нетерпеливо спросил король, — ведь ничего такого и не было, верно?

Старушка начала утирать слезы.

— А вот прилетел однажды красный петух — проще сказать, пожар, и все-все у нас пожрал! Муженек мой чуть рассудка не лишился, все одно и то же твердил: «Цыганка правду сказала! Цыганка правду сказала!» Теперь он вот уже двадцать лет как в могиле, бедняжка!

И старушка горько-прегорько заплакала.

Старая королева обняла ее, погладила по щеке и сказала:

— Не плачь, бабушка, не то и я с тобой заплачу!

Тут король испугался и поскорее выложил деньги на стол. Живехонько отсчитал он монета в монету три тысячи талеров — ровно столько, сколько серебряных волосков умещалось под чепцом его матушки.

— Вот, бабушка, — сказал он, — получай, и с богом. Что говорить — ты любого вокруг пальца обведешь!

Старушка рассмеялась, и все кругом засмеялись. Попробовала она талеры убрать в кошелек, но кошелек оказался мал. Пришлось ей котомку свою развязать, и котомка эта быстро наполнилась. Старушка ее и поднять не смогла. Два генерала и сам король помогли ей взвалить котомку на спину. Тут старушка всем низко поклонилась, обнялась со старой королевой и поискала глазами свою черную кошечку Мурку. Но Мурки нигде не было. Старушка огляделась на все стороны, позвала: «Кисонька, кис-кис-кис!» — но кошечки и след простыл. Только из-под трона, сзади, выглядывали чьи-то ножки. Тихонечко, на цыпочках подошла туда старушка, и что же она увидела? В уголке за троном спала маленькая принцесса, а славная Мурка забралась к ней за пазуху и преуютно мурлыкала. Тут старушка достала из кармана новенький талер и сунула его принцессе в кулачок. Но если старушка думала, что принцесса сохранит его на память, то она жестоко ошиблась, потому что, как только принцесса проснулась и нашла у себя за пазухой кошку, а в кулачке

талер, она взяла кошку под мышку и пошла с ней на улицу поскорее проесть свой талер.

Пожалуй, старушка все-таки знала об этом заранее.

Правда, принцесса еще спала, когда старушка уже давно добралась домой, очень довольная и тем, что принесла столько денег, и тем, что Мурка попала в хорошие руки, а больше всего тем, что возчик уже привез к ней из соседней державы ее внучка, маленького Вашека.

Что кошка умела

Как вы уже слышали, кошку звали, собственно говоря, Мурка; но принцесса надавала ей еще целую кучу всяческих имен: Киса, Кисонька, Кисочка и Кисюра, Кошенька, Кошечка, Коташка и Котуська, Мурмашонок, Мурлышка и Мурзилка, Кисёнок, Чернушка, Пушок и даже Пусенька. Теперь вам понятно, как принцесса ее полюбила. Поутру, едва открыв глаза, она первым делом искала свою Кисоньку и находила ее у себя в постели; Мурка, лентяйка, нежилась на одеяле и только мурлыкала, чтобы сделать вид, будто она что-то делает. Потом они обе умывались, Мурка, врать не стану, гораздо чище, хоть и без мыла, просто лапкой и язычком; чистенькой оставалась она и тогда, когда принцесса уже вымажется с ног до головы, как это удается только ребятам.

В сущности, Мурка была кошка, как все кошки. Одно отличало ее от обычных кошек: она любила дремать, сидя на королевском троне, а этого обычные кошки, как правило, не делают. Может быть, она при этом вспоминала, что ее дальний родственник Лев — не кто иной, как царь зверей. Но ручаться за это нельзя. Умела Мурка мурлыкать; отлично умела ловить мышей; умела видеть в темноте; умела шипеть так страшно, что и у змей стыла кровь в жилах; умела лазить по деревьям и залезать на крыши и оттуда на всех свысока поглядывать.

С придворным псом, по имени Буфка, она сначала поссорилась, а потом подружилась. Они так подружились, что даже начали друг другу во многом подражать: Мурка научилась бегать за принцессой, как собачонка, а Буфка, подсмотрев, как Мурка приносит к подножию трона пойманных мышей, приволок к ногам короля здоровенную

кость, найденную им где-то на свалке. Правда, его никто за это не похвалил.

А однажды они вдвоем даже поймали жулика, который забрался в сад.

Много еще чего умела Мурка, но если обо всем рассказывать, то нашей сказке не будет конца. Поэтому я вам только скоро-наскоро расскажу, что она умела ловить лапкой рыбу в речке, любила есть салат из огурцов, ловила птичек, хотя это ей строго запрещалось, и при этом выглядела словно ангел без крыльев, и еще она умела так мило играть, что можно было весь день ею любоваться.

А тот, кто хочет еще что-нибудь узнать про Мурку, пусть внимательно и с любовью понаблюдает за какой-нибудь кошкой, — ведь в каждой кошке есть кусочек Мурки, и каждая умеет делать тысячи забавных и милых штучек и охотно показывает их всем, кто ее не мучает.

Как сыщики ловили Волшебника

Раз уж мы заговорили обо всем, что умеет делать кошка, надо сказать еще вот о чем.

Принцесса где-то от кого-то слышала, что кошка, даже если падает с большой высоты, всегда упадет па ноги и при этом с ней ничего плохого не случится.

Вот она и решила это проверить: схватила Мурку, залезла на чердак, выбросила кошку из слухового окна и поскорее высунулась наружу — посмотреть, действительно ли ее кошка упадет на ноги.

Но Мурка упала не на ноги, а на голову какому-то прохожему, который случайно оказался как раз под окном. И — то ли Мурка слишком крепко уцепилась когтями за его голову, то ли ему еще что-нибудь не понравилось — кто его знает, только он не дал кошечке спокойно посидеть у себя на голове, на что, вероятно, надеялась принцесса, а, наоборот, снял Мурку оттуда, сунул ее за пазуху и поспешно удалился в неизвестном направлении.

С громким ревом принцесса помчалась с чердака вниз прямо к королю-батюшке.

— У-ху-ху-хух-у! — рыдала она. — Там внизу какой-то чужой дядька украл нашу Му-у-урочку!

Король изрядно перепугался.

«Кошка — невидаль небольшая, — подумал он, — но ведь эта кошка должна привести к нам будущего короля. Нет, нет, я не хотел бы ее лишиться!»

И он приказал позвать начальника полиции.

— Так и так, — сказал ему король. — Кто-то похитил нашу черную кошку Мурку. Сунул ее себе за пазуху и — поминай обоих как звали!

Начальник полиции наморщил лоб, сначала подумал — целых полчаса! — а потом сказал:

— Ваше величество, я найду упомянутую кошку, если мне поможет бог, а также явная и тайная полиция, пехотные войска, артиллерия, кавалерия, военно-морской флот, пожарные части, подводные лодки и авиация, предсказатели, гадалки, звездочеты и... все остальное население!

И начальник полиции немедленно вызвал своих лучших детективов. Детектив, ребята, это человек, который служит в тайной полиции. Ходит он одетый, как все люди, только постоянно переодевается кем-нибудь, чтобы его никто не узнал. Детектив за всем следит, все находит, всех ловит, все может и ничего не боится. Как вы видите, ребята, быть детективом или сыщиком не так-то легко.

Итак, начальник полиции срочно вызвал своих лучших детективов, они же сыщики. Это были, во-первых, три брата — Ловичек, Хватачек и Держичек, — а кроме них, хитрый итальянец синьор Плутелло, веселый француз мосье Антраша, славянский великан господин Тигровский и, наконец, мрачный, молчаливый шотландец мистер Ворчли.

Два слова — и им все стало ясно: кто поймает похитителя, тот получит крупное вознаграждение.

— Си! — закричал Плутелло.

— Уй! — радостно сказал Антраша.

— Мммм! — проворчал Тигровский.

— Уэлл! — коротко добавил Ворчли.

А Ловичек, Хватачек и Держичек только перемигнулись.

Уже через четверть часа Ловичек установил, что человек с черной кошкой за пазухой проходил по Спаленой улице.

Через час Хватачек принес известие о том, что человек с черной кошкой за пазухой проходил по направлению Виноградов.

Еще спустя полчаса примчался, запыхавшись, Держичек и доложил, что человек с черной кошкой за пазухой сидит в районе Страшнице в трактире и пьет пиво.

Плутелло, Антраша, Тигровский и Ворчли вскочили в стоявший наготове автомобиль и помчались в направлении Страшнице.

— Знаете, ребята, — сказал Плутелло, когда сыщики прибыли на место, — такого отпетого преступника можно взять только хитростью. Предоставьте действовать мне.

Он немедленно переоделся продавцом канатов и явился в трактир. Там он увидел за столом Незнакомца в черном костюме, с черными волосами и черной бородой, бледным лицом и прекрасными, хотя и грустными глазами.

«Это он», — немедленно сообразил сыщик.

— Господине синьоро кавалеро, — затараторил он на ломаном языке, — моя продавать канатто и шпагатто: крепчиссимо канатто, — толстиссимо шпагатто прима классо, невозможно развязандо, невозможно оборватто!

И он размахивал перед Незнакомцем своими веревками, свертывал их и развертывал, скатывал, сматывал и разматывал, растягивал и мял, перебрасывал из одной руки в другую, а сам в это время зорко следил за Незнакомцем, подстерегая благоприятный момент для того, чтобы набросить ему на руки петлю и быстро затянуть ее и завязать ее узлом.

— Мне не нужно, спасибо, — сказал Незнакомец и написал что-то пальцем на столе.

— Да вы только взгляните, синьоро! — тараторил Плутелло, еще бойче размахивая своими веревками. — Только взгляните, уно моменто, что за тонини, что за толстини, что за крепчиссимо, что за белиссимо, что за... Что-что-что? Диаволо! — воскликнул он вдруг в ужасе. — Что же это такое?

Веревки, которые он только что вертел, натягивал и растягивал, свертывал и развертывал, внезапно начали как-то странно извиваться в его руках, принялись сами собой переплетаться, путаться, завязываться, шнуроваться, стягиваться, и вот — Плутелло не верил своим глазам — он оказался крепко-накрепко связанным! Плутелло вспотел от страха, но все еще надеялся, что как-нибудь выпутается. И он начал вертеться и извиваться, выгибаться и корчиться, дергаться и рваться; он вилял и петлял, выкручивался и вывертывался; он сгибался в три

погибели и вертелся ужом, чтобы как-нибудь освободиться.

Но веревки только затягивались все крепче, крепче и крепче, новые петли стягивали его по рукам и по ногам, прямо-таки бинтовали и упаковывали его, и наконец синьор Плутелло, весь опутанный и закутанный, завязанный и совершенно замотанный, запыхавшись, рухнул на пол.

А Незнакомец спокойно сидел на месте. Он даже ни разу не поднял своих грустных глаз.

Между том сыщикам стало казаться странным, что Плутелло так долго не выходит.

— Ммммммм! — сказал Тигровский решительно и ринулся в трактир.

Как он выпучил глаза! Плутелло лежал связанный на полу, а за столом сидел, опустив голову, Незнакомец и писал что-то пальцем на скатерти.

— Ммммммм! — проревел великан Тигровский.

— Простите, — сказал Незнакомец, — что вы этим хотите сказать?

— Что вы арестованы! — рявкнул сыщик Тигровский.

Незнакомец только поднял свои сказочно прекрасные глаза. Тигровский протянул было к нему свою лапищу, но под взглядом этих глаз ему стало как-то не по себе. Тогда он сунул руки в карманы и сказал:

— Стало быть, лучше всего будет, если вы пойдете со мной добровольно. А то, если я кого сцапаю, у него ни одной живой косточки не остается.

— Да? — спросил Незнакомец.

— Будьте покойны, — продолжал сыщик. — А кого я ударю по плечу — тот остается на всю жизнь калекой.

— Милый мой, — удивленно сказал Незнакомец, — все это, конечно, дивно и прелестно, но сила — это еще не все. И кстати, разговаривая со мной, будьте любезны вынуть свои лапы из карманов.

Озадаченный Тигровский машинально послушался. Но что же это такое? Он никакими силами не мог вынуть руки из карманов! Попробовал тащить правую — она словно приросла. Попытался вынуть левую — на ней словно десять пудов повисло. Добро бы десять пудов — с ними он бы сумел управиться! Но руки он из карманов вытащить не мог, как ни старался, как ни дергал, как ни тянул, как ни рвал и как ни метал!

— Скверные шутки, — прорычал Тигровский беспомощно.

— Не такие уж скверные, как кажется вам, — тихо сказал Незнакомец, спокойно продолжая чертить пальцем по столу.

Долго Тигровский кряхтел, потел и рвался, чтобы вытащить руки из карманов. Наконец остальным сыщикам, ожидавшим на дворе, показалось странным, что он так долго не возвращается.

— Теперь иду я, — смело сказал мосье Антраша и, сделав несколько изящнейших антраша, влетел в трактир.

Ну и вытаращил он глаза!

Плутелло лежал связанный на полу, Тигровский с руками в карманах выплясывал по комнате, как медведь, а за столом, опустив голову, сидел Незнакомец и чертил пальцем по столу.

— Вы хотите меня арестовать? — спросил Незнакомец, прежде чем Антраша открыл рот.

— К вашим услугам, — живо отвечал Антраша и достал из кармана стальные наручники. — Будьте столь любезны протянуть ваши ручки, высокоуважаемый мосье, мы наденем на них браслеты, прошу вас, прекрасные, прохладные браслеты, новехонькие браслеты из наилучшей стали, с прелестнейшей стальной цепочкой, все — первейшего качества!

При этом Антраша, игриво пощелкивая наручниками, перебрасывал их из одной руки в другую, словно приказчик, расхваливающий свой товар.

— Соблаговолите только решиться, — трещал он без остановки, — мы никого не принуждаем, разве только самую малость, когда клиент колеблется; шикарные браслеты, милостивый государь, плотно облегают, нигде не жмут, нигде не трут... — И внезапно Антраша весь покраснел, вспотел и начал все быстрее и быстрее перебрасывать наручники из руки в руку. — Прелестные на-наручники, словно специально для вас — ай, ай-яй-яй, из нержавеющей стали, сударь, в-в-в-высшего качества, закалены в в-в-в-в-в огне, отличной ф-ф-ф-ф-формы и-и-и-и-и-и... ой, ой, ой, проклятье! — завопил Антраша и швырнул наручники на пол.

Да и как было их не швырнуть! Как было не перебрасывать их из руки в руку! Наручники раскалились добела;

едва коснувшись пола, они прожгли в нем здоровенную дырку. Просто чудо, что пол не загорелся!

Между тем и Ворчли начал беспокоиться, почему это никто не возвращается.

— Уэлл! — крикнул он решительно, вытащил свой револьвер и ворвался в трактир.

Зал был полон чада, Антраша прыгал от боли и дул себе на руки, Тигровский с руками в карманах вертелся и дергался, Плутелло лежал на полу, совершенно замотавшись, а за столом сидел, опустив голову, Незнакомец и что-то рисовал пальцем на скатерти.

— Уэлл! — заявил Ворчли и пошел с револьвером прямо на Незнакомца. Тот поднял свой задумчивый ласковый взгляд. Ворчли почувствовал, что у него под этим взглядом задрожала рука, но он овладел собой и выпустил из своего револьвера все шесть пуль в Незнакомца. Прямо в лоб!

— Вы кончили? — спросил Незнакомец.

— Нет еще, — возразил Ворчли, выхватил второй револьвер и выпустил в лоб Незнакомца еще шесть пуль.

— Готово? — спросил Незнакомец.

— Да, — отвечал Ворчли, повернулся на каблуках и, скрестив руки, уселся в угол на скамейку.

— Тогда я расплачусь, — сказал Незнакомец и постучал монетой по кружке. Но никто к нему не подошел. Услыхав выстрелы, трактирщик и все официанты попрятались на чердаке.

Незнакомец положил монету на стол, попрощался с детективами и преспокойно направился к выходу.

В этот самый миг в одно окно заглянул Ловичек, в другое Хватачек, в третье — Держичек. Первым в зал вскочил — прямо в окно — Ловичек.

— Ребята, куда вы его дели? — крикнул он и расхохотался.

Во второе окно вскочил Хватачек.

— По-моему, — сказал он и захохотал, — Плутелло делает антраша на полу!

В третье окно вскочил Держичек.

— А мне кажется, — сказал он, — что мосье Антраша несколько ворчлив!

— Я нахожу, — сказал Ловичек, — что у Ворчли вид не очень тигровский!

— А по моему мнению, — продолжал Хватачек, — у Тигровского руки в карманах заплутеллись.

Плутелло приподнялся.

— Ребята, — сказал он, — тут не до смеху! Преступник связал меня, не прикоснувшись ко мне и пальцем.

— А мне, — проворчал Тигровский, — он приковал руки к карманам!

— А у меня, — простонал Антраша, — он раскалил в руках наручники.

— Уэлл, — добавил Ворчли, — все это пустяки. А вот я выпустил ему в лоб двенадцать пуль из револьвера, а он не получил и царапины.

Ловичек, Хватачек и Держичек переглянулись.

— Мне кажется... — начал Ловичек.

— ... что этот преступник... — продолжал Хватачек.

— ...на самом деле — волшебник! — закончил Держичек.

— Но не падайте духом, ребята, — начал снова Ловичек. — Он у нас в ловушке. Мы привели тысячу солдат...

— ... и приказали окружить трактир, — продолжал Хватачек.

— ...так, чтобы и мышь не ускользнула! — заключил Держичек.

В этот момент прогремел залп тысячи винтовок.

— С ним покончено! — закричали все сыщики в один голос.

Тут дверь распахнулась, и в зал влетел генерал — командир части, окружившей трактир.

— Разрешите доложить, — забарабанил он, — что мы окружили трактир. Я дал приказ, чтобы и мышь отсюда не улизнула. И вдруг вылетает белый голубь с ласковыми глазками и кружится у меня над головой!

— Ох! — закричали все. Только Ворчли сказал «уэлл».

— Я рассек голубя саблей пополам, — продолжал генерал, — и в то же время все солдаты выстрелили в него. Голубь разлетелся на тысячу кусков, но каждый кусок превратился в белую бабочку и упорхнул. Разрешите доложить, что же теперь делать?

Глаза Ловичека сверкнули.

— Хорошо, — приказал он, — вы мобилизуете все войско, весь резерв и вдобавок все ополчение и пошлете их во все страны ловить бабочек!

Так и было сделано, и — не буду от вас скрывать — так и была собрана прекраснейшая коллекция бабочек, которую и сейчас показывают в Национальном музее. Кто приедет в Прагу, должен обязательно ее осмотреть.

А Ловичек между тем сказал остальным детективам:

— Ребята, вы здесь больше не нужны, мы одни с этим делом управимся.

И все они — Плутелло, Антраша, Ворчли и Тигровский — отправились по домам, печальные и не солоно хлебавши.

Ловичек, Хватачек и Держичек долго совещались, как им изловить волшебника. Они выкурили целый центнер табаку, съели и выпили все, что нашлось в Страшнице, но им так ничего и не пришло в голову.

Наконец Держичек сказал:

— Ребята, так дело не пойдет. Надо немного проветриться.

Все отправились на улицу, но едва они ступили за порог, кого же они увидели? Волшебника собственной персоной! Он сидел и с любопытством смотрел, что они будут делать.

— Вот он! — радостно завопил Ловичек.

Одним прыжком кинулся он на Волшебника и схватил его за плечо. Но в тот же самый миг Волшебник превратился в серебристую змейку, и Ловичек в ужасе отбросил ее от себя.

Тут подоспел Хватачек и набросил свой пиджак на змейку. Тогда змея превратилась в золотую муху и в рукав вылетела на волю.

Живо подскочил Держичек и поймал золотую мушку своей кепкой. Но муха сделалась серебристым ручейком, который пустился наутек, а убегая, захватил с собой и кепку!

Сыщики кинулись в трактир за кружками, чтобы вычерпать ручей. Но он тем временем добежал до Влтавы и влился в нее. Потому-то и сейчас Влтава порой, когда она в хорошем настроении, вся серебрится; она нежится под солнцем, солнечно шумит и, вспоминая Волшебника, сверкает так, что голова может закружиться.

Вот стоят Ловичек, Хватачек и Держичек на берегу Влтавы и размышляют. И что же? Вдруг серебристая рыбка высунула из воды голову и поглядела на них чудес-

ными черными глазами — сказочно прекрасными глазами Волшебника.

Все три сыщика моментально купили себе удочки и принялись удить рыбу во Влтаве. И сейчас их можно там встретить: целыми днями сидят они в лодках со своими удочками над рекой и молчат. Ведь они никак не могут успокоиться, пока не поймают серебряной рыбки с черными глазами...

Немало еще сыщиков пыталось изловить Волшебника, но все безуспешно.

Порой, когда они мчались в погоню за ним на автомобиле, из придорожных кустов вдруг выглядывал молодой олень и провожал их своими кроткими, черными, любопытными глазами; когда они преследовали Волшебника на самолете, за ними следом летел орел, не сводя с них гордого, пламенного взора, а когда они отправлялись на поиски пароходом, — из глубины морской выплывал дельфин и рассматривал их в упор умным взглядом; а порой даже цветы на столе сыщика начинали светиться и ласково, любопытно глядели на него, или собака-ищейка вдруг поднимала голову и обращала к хозяину такие чудесные человеческие глаза, каких у нее отродясь не бывало.

Отовсюду, казалось, наблюдал за сыщиками Волшебник — посмотрит и исчезнет...

Да, где уж им было его поймать!

Как знаменитый Сидни Холл поймал Волшебника

Обо всем этом Сидни Холл, знаменитый американский сыщик, прочитал в газете. Он решил сам попытать счастья. Сидни Холл переоделся миллионером, сунул в карман револьвер и отправился в Европу. Прибыв туда, он немедленно представился начальнику полиции, который во всех подробностях рассказал ему об охоте на Волшебника.

— Как вы видите, — закончил начальник полиции, — действительно совершенно невозможно представить этого злодея в суд.

Сидни Холл только улыбнулся.

— Самое большее через сорок дней он будет сидеть у вас в тюрьме!

— Не может быть! — закричал начальник.

— Держу пари на блюдо груш! — сказал Сидни Холл.

Дело в том, что он больше всего на свете любил есть груши и держать пари.

— Идет! — воскликнул начальник полиции. — Но скажите, ради бога, как вы думаете взяться за дело?

— Прежде всего, — сказал Сидни Холл, — я должен совершить кругосветное путешествие. Для этого мне понадобится куча денег.

Тут начальник полиции выдал ему кучу денег и, чтобы показать, какой он умный, сказал:

— Ага, ага, я догадываюсь, какой у вас план, но мы должны держать дело в секрете, чтобы Волшебник не узнал, что мы его преследуем.

— Наоборот, — возразил сыщик, — велите завтра утром напечатать во всех газетах мира, что знаменитый Сидни Холл обязался арестовать Волшебника в течение сорока дней. А пока честь имею кланяться.

Затем Сидни Холл пошел к одному всемирно известному путешественнику, который однажды объехал весь свет за пятьдесят дней, и сказал ему:

— Хотите держать пари, что я объеду вокруг света в сорок дней?

— Это невозможно, — сказал путешественник. — Филеас Фогг объехал вокруг света за восемьдесят дней, я сам — за пятьдесят. Быстрее это сделать нельзя!

— Держу пари на тысячу талеров, — сказал Сидни Холл, — что я это сделаю!

И они заключили пари.

В ту же ночь Сидни Холл уехал. Через неделю из Александрии в Египте от него пришла телеграмма: «Напал на след. *Сидни Холл*».

Спустя еще семь дней последовала новая телеграмма — из Бомбея в Индии: «Петля затягивается. Все отлично. Подробности письмом. *Сидни Холл*».

Несколько позже пришло из Бомбея и письмо, но оно было написано шифром, которого никто не понял.

Еще через восемь дней из Нагасаки, Япония, прилетел почтовый голубь с записочкой на шее. В записочке значилось: «Приближаюсь к цели. Ждите. *Сидни Холл*».

Затем последовала депеша из Сан-Франциско, в Америке: «Поймал насморк. В остальном все в порядке. Запасайтесь грушами. *Сидни Холл*».

И, наконец, на тридцать девятый день после отъезда пришла телеграмма из города Амстердама, Голландия: «Прибуду завтра вечером в семь пятнадцать. Приготовьте груши, желательно дюшес. *Сидни Холл»*.

На сороковой день в семь часов пятнадцать минут поезд загромыхал у платформы. Из вагона выскочил Сидни Холл, а за ним Волшебник — грустный, бледный, с опущенными глазами. Все сыщики ждали на перроне и удивились, что Волшебник был без наручников. Но Сидни Холл только помахал им рукой и сказал:

— Ожидайте меня сегодня вечером в трактире «Синяя собака». Сначала я должен доставить этого господина в тюрьму.

И оп сел вместе с Волшебником на извозчика, но в последний момент вспомнил еще что-то. Он высунулся из экипажа и крикнул:

— Не забудьте захватить груши!

Вечером сыщика Сидни Холла ожидало блюдо превосходнейших груш, окруженное всеми детективами. Они уже думали, что он вообще не придет, когда дверь трактира отворилась и вошел старенький, сгорбленный человечек, один из тех, что разносят по трактирам селедки и соленые огурцы.

— Дедушка, — сказали сыщики, — мы у тебя вряд ли что-нибудь купим.

— Жаль, жаль, — сказал старичок и вдруг задрожал, зашатался, закашлялся, запыхтел, заикал и, поперхнувшись и чуть не подавившись, рухнул на стул.

— Господи! — закричал один из сыщиков. — Чего доброго, старичок еще отдаст тут богу душу!

— Нет, нет, — простонал старик, задыхаясь и продолжая извиваться и корчиться, — но я прямо не могу больше выдержать!

И тут все заметили, что он просто-напросто ужасно хохочет и не может остановиться. Слезы текли у него из глаз, голос прерывался, лицо побагровело, и наконец он простонал:

— Ой, ребята, ребята, м*о*чи моей нет!

— Дедушка, — сказали сыщики, — что вам надо?

Тут старичок встал, проковылял к столу, выбрал на блюде лучшую грушу, очистил ее и в одно мгновение съел. И только потом он сорвал с себя фальшивую бороду, фальшивый нос, фальшивые седые волосы и синие очки,

и на свет появился гладко выбритый, смеющийся Сидни Холл.

— Ребята, — сказал Сидни Холл, — не обижайтесь на меня, но ведь я сорок дней не мог ни разу громко засмеяться!

— Когда же вы поймали Волшебника? — в один голос спросили все сыщики.

— Только вчера, — сказал знаменитый Сидни Холл,— но с самого начала я мог бы лопнуть со смеху при мысли о том, как я его ловко околпачу.

— А как же, — налегали сыщики, — как же вы его сцапали?

— Это длинная история, — сказал Сидни Холл. — Я вам ее расскажу, ребята, но сперва я должен съесть еще вот эту грушу.

Когда он ее съел, он начал свой рассказ приблизительно так:

— Итак, внимание, дорогие коллеги. Прежде всего — самое главное. Вот что я вам скажу: приличный детектив, он же сыщик, не должен быть ослом.

При этом он обвел взглядом круг собравшихся, словно мог между ними найти осла.

— А дальше? — спросили сыщики.

— Дальше? — сказал Сидни Холл. — Во-вторых, он должен быть себе на уме. И в-третьих, — продолжал он, очищая третью грушу, — он должен быть семи пядей во лбу. Вы знаете, на что ловят мышей?

— На сало, — ответили детективы.

— А знаете вы, на что ловят рыбу?

— На мух или червей.

— А знаете вы, на что ловят волшебников?

— Этого мы не знаем, — признались сыщики.

— Волшебника, — поучительно сказал Сидни Холл, — ловят точно так же, как и всякого другого человека: на его собственные слабости. Прежде всего надо обязательно выведать, какие это слабости. А знаете ли вы, ребята, какая слабость у нашего Волшебника?

— Нет, и этого мы не знаем.

— Любопытство, — объявил Сидни Холл. — Волшебник может сделать все, буквально все на свете, но он любопытен, ужасно любопытен... А теперь я должен съесть вот эту грушу.

Съев ее, он продолжал:

— Вы все думали, что гоняетесь за Волшебником. А на самом деле это Волшебник гонялся за вами, преследовал вас по пятам и не спускал с вас глаз, потому что он был страшно любопытен и хотел знать все, что вы против него задумали. Вот потому-то он от вас и не отставал. И на его любопытстве я построил свой план.

— Какой же план? — нетерпеливо закричали сыщики.

— Очень простой. Путешествие вокруг света, ребята, это была, в сущности, просто увеселительная прогулка. Мне уже давно хотелось как-нибудь совершить кругосветное путешествие. А возможности у меня такой не было. Но, приехав сюда, я сразу смекнул, что Волшебник последует за мной куда угодно, лишь бы поглядеть, что я такое придумал, чтобы его поймать. Отлично, говорю я себе, потащу-ка я его за собой вокруг света! И сам погляжу на белый свет, и его из виду не упущу. Вернее — он меня из виду не упустит. А чтобы разжечь его любопытство, я заключил пари, что сделаю все это в сорок дней. Но теперь я сперва съем эту чудесную грушу.

Сидни Холл съел ее и продолжал:

— Нет ничего на свете лучше груш! Итак, я сунул в карман револьвер и деньги, переоделся шведским купцом и отправился в путь.

Сначала в Геную. Это, ребята, как вы знаете, в Италии, а по дороге ты видишь все Альпы. Ну и высокие эти Альпы! Неслыханно высокие! Если с вершины оторвется камень, он падает так долго, что, пока он вниз упадет, на нем мох вырастет. Из Генуи я решил ехать пароходом в Александрию, в Египет.

Генуя поразительно красивый порт; такой красивый, что уже издали все корабли сами туда бегут. За сотню миль от Генуи в топках пароходов гасят огонь, винты перестают вертеться, паруса убирают, потому что суда до того радуются при виде Генуи, что бегут туда сами собой.

Мой пароход отходил точно в четыре часа дня. В три часа пятьдесят минут я спешу в порт и вдруг по дороге вижу маленькую девчонку, которая плачет горькими слезами.

«Лапочка, — говорю я ей, — почему ты плачешь?»

«Да-а-а-а, — хнычет девчонка, — я потерялась».

«Если ты потерялась, пойди поищи себя», — говорю я.

«Да ведь я маму потеряла, — всхлипывает Лапочка, — и я не знаю, где она».

«Это другое дело», — говорю я. Беру девчушку за руку и отправляюсь искать ее мамочку.

Целый час носился я по Генуе, пока мы эту мамочку нашли. Ну и что же? Было уже четыре часа пятьдесят минут. Мой пароход давно должен был отчалить.

«Из-за этой Лапочки, — думаю я, — ты потерял целый день». Грустный, иду я в порт, и глядь — не верю своим глазам: мой пароход еще в порту. Я живехонько туда.

«Ну, ну, швед, — говорит капитан, — вы, однако, не торопитесь! Мы бы давно уже ушли в плавание, да, на ваше счастье, у нас якорь так неудачно зацепился за грунт, что мы целый час его вытащить не могли».

Ну, я, конечно, обрадовался... А теперь я могу опять съесть грушу.

Когда с грушей было покончено, Сидни Холл сказал:

— Батюшки, какая вкусная!.. Стало быть, вышли мы в Средиземное море. Средиземное море такое синее, что нельзя понять, где начинается небо и где кончается море. Поэтому там везде — на кораблях и на берегу — стоят плакаты-указатели, и на них написано, где верх, а где низ, а то можно было бы и спутать.

Кстати, как рассказал нам капитан, однажды один пароход действительно заблудился и поплыл не по морю, а по небу; а так как небу нет конца, он до сих пор не возвратился. Никто не знает, где он теперь.

И вот по этому морю мы приплыли в Александрию. Александрия — это большой, великий город, потому что его основал Александр Великий.

Оттуда я отправил телеграмму, чтобы убедить Волшебника, что я его выслеживаю. На самом деле я о нем ни капельки не заботился, я знал, что сам он всюду меня преследует.

Ну, раз уж я оказался в Александрии, я заодно поплыл по священным водам Нила в Каир. Каир — огромный город. Он бы сам в себе никогда не разобрался, и все дома и улицы в нем могли заблудиться, не будь там понаставлено высоченных мечетей и минаретов. Они видны из такой дали, что самые окраинные домишки могут понять, где находятся.

Под Каиром я искупался в Ниле, потому что там страшно жарко. На мне были только плавки и револьвер. Остальные вещи лежали на берегу. И тут на берег вылез огромный крокодил и сожрал мою одежду со всем, что там

было, включая часы и деньги. Я, значит, бросаюсь на крокодила и пускаю в него шесть пуль из револьвера, но все пули отлетели от его панциря, словно он был из стали, а крокодил громко расхохотался надо мной... А теперь я съем еще одну грушу.

Разделавшись с грушей, Сидни Холл продолжал свой рассказ:

— Как известно, крокодил умеет рыдать и плакать, как малый ребенок. Так-то он и заманивает людей в воду. Они думают — ребенок тонет, спешат ему на помощь, а крокодил хватает их и пожирает. Но этот крокодил был так стар и умен, что он научился не только плакать, как ребенок, но и ругаться, как матрос, петь, как оперная певица, и вообще говорить, как человек. Говорят даже, что он принял мусульманскую веру.

На душе у меня было как-то грустно. Что же я теперь буду делать без одежды и без денег? И вдруг рядом со мной оказался какой-то араб и говорит чудовищу:

«Эй, крокодил, ты что же — проглотил одежду вместе с часами?»

«Само собой», — отвечает крокодил.

«Ну и дурак, — говорит араб, — часы-то были не заведены. А зачем тебе часы, которые не идут?»

Крокодил немного подумал, а потом говорит мне:

«Эй, ты, я сейчас немного открою пасть, ты полезай ко мне в брюхо и достань оттуда часы, заведи их и положи опять на место».

А я ему:

«Ну что ж, это можно, да как бы ты мне руку не откусил. Знаешь что? Я тебе поставлю эту палку между челюстями, чтобы ты не мог закрыть свою мерзкую пасть».

«Пасть у меня вовсе не мерзкая, — говорит крокодил, — но если ты иначе не можешь, тогда ладно. Втыкай свою палку между моих почтенных челюстей, но поживее!»

Я, понятно, так и сделал и достал из его брюха не только свои часы, но и костюм, ботинки и шляпу, а потом говорю:

«Палку, старина, я тебе оставляю на память».

Крокодил хотел выругаться, но не мог, потому что пасть у него была разинута и там торчала палка. Он хотел меня сожрать, но тоже не мог; хотел попросить прощения, но и этого не мог. Я тем временем спокойно оделся и сказал ему:

«И да будет тебе известно, у тебя мерзкая, отвратительная, дурацкая пасть». И плюнул в нее. Тут он от ярости заплакал крокодиловыми слезами.

Ищу я араба, который меня так ловко выручил, а его и след простыл. А крокодил так и плавает с разинутой пастью в Ниле...

Из Александрии я поехал в Бомбей переодетый индийским раджей. До чего мне этот костюм был к лицу, ребята, — удивительно! Сперва мы поплыли по Красному морю. Оно называется Красным, потому что все время краснеет от стыда, что оно такое маленькое. История такая: когда все моря были молодые, совсем маленькие, и только собирались расти, Красное море играло на берегу с арабскими ребятишками и так заигралось, что совершенно позабыло расти, хотя ему создатель кругом в пустынях настелил чудеснейшего песочка, из которого оно должно было себе сделать дно. Только в самый последний момент море спохватилось, но тут ему оставалось расти только в длину, да и то между ним и Средиземным морем, с которым ему нужно было соединиться, осталась полоска сухой земли. Это его так огорчало, что люди наконец сжалились над ним и соединили оба эти моря каналом. С тех пор Красное море уже не так краснеет.

Когда мы прошли Красное море, я заснул у себя в каюте. Вдруг кто-то тихонечко стучится в мою дверь. Открываю. В коридоре пусто. Я подождал немного и тут слышу, что к моей каюте приближаются двое матросов.

«Убьем этого раджу, — шепчет один, — и украдем все жемчуга и алмазы, которыми у него обшито платье».

А все эти алмазы и жемчуга, ребята, не знаю, поверите вы мне или нет, были стеклянные.

«Подожди здесь, — шепчет второй, — я забыл нож наверху».

Пока он бегал за ножом, я схватил первого матроса за шиворот, сунул ему кляп в рот, одел его раджей и уложил, связанного, на свою койку. А сам я надел его костюм и встал на его место у двери. Когда второй матрос пришел с ножом я говорю:

«Убивать раджу тебе не придется, я его уже задушил. Ты иди, забери его жемчуга и алмазы, а я тут покараулю».

Едва он вошел в мою каюту, я запер за ним дверь и пошел к капитану.

«Господин капитан, — говорю я, — у меня интересные гости».

Когда капитан увидел, что случилось, он велел отодрать обоих матросов. А я собрал всех остальных, показал им свои бриллианты и жемчуга и говорю:

«Я хочу, ребята, чтобы вы поняли: для умного человека жемчуга и алмазы — тьфу!» И с этими словами швырнул все мои стеклянные драгоценности в море.

Тут они все поклонились мне до земли и воскликнули:

«Мудр и велик раджа!»

Но кто стучал в мою каюту и спас мне жизнь, этого я не знаю по нынешний день... А теперь я съем вот эту большую грушу.

Сидни Холл еще не доел ее и заговорил с полным ртом:

— Так мы счастливо прибыли в Бомбей — в Индию. Индия, ребята, великая и удивительная страна. Иногда там бывает так жарко, что вода совершенно высыхает и надо поливать, чтобы она совсем не испарилась. Леса там такие густые, что даже для деревьев места не хватает. Недаром они называются джунгли. Когда идет дождь, там все изумительно растет. Целые храмы вырастают из земли, как у нас грибы, — поэтому там, например в Бенаресе, так много храмов. Обезьян там — что у нас воробьев. Они такие ручные, что заходят даже в комнаты и разгуливают по ним; частенько просыпается человек утром и вдруг находит вместо самого себя в кровати обезьяну. До того они ручные. А змеи там такие длиннющие, что, если этакая змея оглянется на свой хвост, она даже не поймет, что это ее собственный хвост, а думает, что это за ней гонится другая, еще бóльшая змея. Тогда она пускается наутек и в конце концов подыхает от усталости. О слонах и говорить нечего — они там как дома. Вообще, ребята, Индия — это величайшая страна.

Из Бомбея я опять послал телеграмму и шифрованное письмо, чтобы Волшебник подумал, что я бог знает что против него затеял.

— Что же было в письме? — спросили детективы.

— А я, — похвастался один из них, — уже наполовину расшифровал ваше письмо.

— Тогда вы умнее меня, — возразил знаменитый Сидни Холл, — потому что я сам его не мог бы расшифровать. Я просто намазюкал на бумаге что-то похожее на шифрованное письмо.

Из Бомбея я поехал по железной дороге в Калькутту. В Индии, можете себе представить, в поездах вместо скамеек стоят ванны, чтобы пассажирам было не так жарко.

Вблизи Калькутты мы ехали вдоль берега священной реки Ганга. Река эта невообразимо широка. Если бросить камень на другой берег, он будет лететь полтора часа. И вот когда мы ехали по берегу, какая-то женщина стирала в реке белье. Видно, она слишком сильно наклонилась или уж не знаю что, а только она упала в воду и чуть не утонула. Я, понятно, выскочил из поезда на ходу и вытащил эту растяпу на берег. Ведь и вы так же поступили бы на моем месте?

Детективы что-то пробормотали.

— Ну вот, — продолжал Сидни Холл, — и, сказать вам правду, на этот раз я не так дешево отделался, а именно: как раз когда я вытаскивал прачку из воды, меня схватил какой-то скот — аллигатор и страшно укусил за руку. Прачку я, правда, успел вытащить на берег, но тут же упал без сознания на землю. Индийские женщины четыре дня ухаживали за мной, и на память я получил вот это золотое кольцо. Да, ребята, на всем белом свете люди умеют быть благодарными, даже если они черные язычники, и какой-нибудь голый парень из Индии ничуть не хуже нас с вами. Он человек — и точка!

Но что во всем этом толку, если я проиграл целых пять дней? И заодно свое пари!

Сижу я на берегу и думаю: «Теперь мне в сорок дней не уложиться! Пари на тысячу долларов прошляпил и блюдо груш тоже прошляпил». И вот, пока эти грустные мысли проходят у меня в голове, вдруг по реке идет, как ее... ага, джонка, такое смешное суденышко с парусами из тростниковых циновок. На нем сидят три коричневых парня, малайца, и скалят зубы, как будто я пирожное.

«Ниа ниаииа пхе хем Нагасаки», — лопочет первый.

«Ах ты сердечный, — говорю я, — ты думаешь, я тебя понимаю?»

«Ниа наниа пхе хем Нагасаки», — лопочет он опять и ухмыляется, скалит зубы — по его мнению, вероятно, в знак дружеского расположения.

«Нагасаки» — это я все же понял. Это порт в Японии, куда мне как раз нужно было.

«В Нагасаки, — говорю я, — в таком-то корыте? Меня сюда никакой силой не затащишь!»

«Ниай, — говорит он в ответ, а потом бормочет еще что-то, показывает на свою джонку, на небо, на свое сердце — словом, я обязательно должен сесть и ехать.

«Да ни за полное блюдо груш!» — отвечаю я.

Тут эти трое коричневых чертей наскакивают на меня, валят меня на землю, заворачивают меня в циновки и бросают на свою джонку, как тюк. Что я при этом думал, повторять не стоит. Но в конце концов я заснул в этой упаковке, а когда я проснулся, я был уже не на джонке, а на морском берегу. Над головой я увидел вместо солнца большую хризантему, все деревья вокруг были отлично отлакированы, и каждая песчинка на берегу чисто вымыта и отполирована. По этой чистоте я сразу сообразил, что я в Японии. И как только я встретил желтого раскосого парня, я его спросил:

«Послушайте, гражданин, где я, собственно, нахожусь?»

Он засмеялся и сказал:

«Нагасаки».

— Да, ребята, — задумчиво продолжал Сидни Холл,— меня никто дураком не считал, но чтобы понять, как я в несчастной джонке за ночь приплыл из Калькутты в Нагасаки, когда для этого самому скорому пароходу нужно десять дней, — чтобы это понять, пардон, у меня ума не хватает... Так что я съем эту грушу.

Тщательно очистив грушу и съев ее, он продолжал рассказывать:

— Япония — большая и удивительная страна. Японцы народ веселый и ловкий. Они делают чашки из фарфора до того тоненькие, что для них, в сущности, и фарфора не нужно: просто берут и описывают большим пальцем круг в воздухе, потом его красиво разрисовывают, и чашка готова. А если бы я вам стал рассказывать, как японцы рисуют, вы бы мне не поверили. Я видел там одного художника, у которого кисточка упала из рук на лист белой бумаги, и, пока она катилась по бумаге, она нарисовала целый ландшафт: дома, деревья, на дорогах — люди, а в небе — дикие гуси. Когда я этому удивился, художник сказал:

«Ну, это пустяки, вы бы посмотрели, как работал мой покойный учитель. Однажды он в дождь испачкал свои почтенные туфли. Когда грязь начала засыхать, он показал их нам: на одной туфле грязью нарисовано,

как охотник с собакой гонятся за зайцем, а на другой — как ребята играют в классы».

Из Нагасаки я отплыл на пароходе в Америку, в Сан-Франциско. Во время этого плавания ничего особенного не произошло. Разве только то, что наш пароход во время бури перевернулся и утонул. Мы все живо вскочили в спасательные шлюпки. Когда шлюпки наполнились, двое матросов закричали:

«Тут еще одна женщина! Есть у вас в шлюпке место?»

«Нет!» — закричало несколько человек.

А я крикнул:

«Есть, есть. Давайте ее скорей сюда!»

Тогда соседи швырнули меня в воду, чтобы очистить место для дамы. Я, ребята, понятно, не противился. «Дамам, — подумал я, — всегда надо уступать». Когда корабль затонул и шлюпки уплыли, я остался один-одинешенек посреди моря. Сел я на доску и стал качаться на волнах. Вообще-то было мне довольно уютно, не будь так сыро. День и ночь носился я по волнам, и мне уже стало казаться, что на этот раз дело кончится плохо. И тут ко мне подплыла жестянка, а в ней оказались ракеты.

«На что мне эти ракеты? — подумал я сперва. — Лучше бы это были груши». Но потом я кое-что сообразил. Когда наступила темная ночь, я зажег первую ракету, она взлетела ввысь и загорелась, как метеор. Вторая ракета рассыпалась звездочками, третья засияла, как солнце, четвертая запела, а пятая улетела так высоко, что застряла где-то среди звезд. Там она и сейчас светится. Пока я так развлекался, подошел большой пароход и взял меня на борт.

«Да, браток, — сказал капитан, — если бы не ракета, ты бы здесь утонул. Но когда мы за десять миль отсюда увидели твои ракеты, мы сразу поняли, что кто-то зовет на помощь».

За здоровье этого славного капитана я съем вот эту грушу.

Покончив с ней, Сидни Холл весело продолжал:

— В Сан-Франциско я, стало быть, ступил на американскую землю. Америка, ребята, это моя родина, и что тут много разговаривать, — Америка — это Америка. Если я вам буду про нее рассказывать, вы мне, конечно,

не поверите, — такая большая и удивительная страна Америка. Скажу вам только, что я сел в тихоокеанский экспресс и поехал в Нью-Йорк. Там дома такие высокие, что их никак нельзя достроить до конца, потому что пока каменщики и кровельщики по лесам заберутся наверх — уже обед, они там только скоренько пообедают тем, что взяли с собой, и начинают скорей спускаться вниз, чтобы вовремя лечь спать; так оно и идет день за днем. И вообще лучше Америки ничего нет; а кто не любит свою родину так, как я люблю Америку, тот старый осел.

Из Америки я на пароходе поплыл в Голландию, в город Амстердам. По пути — по пути, ну да, — по пути со мной случилось самое интересное и чудесное из всех приключений. Пропади я пропадом, ребята, это и есть, собственно, самая замечательная шутка во всем путешествии!

— Что же это? — закричали детективы.

— Н-да, как бы вам сказать, — покраснев, сказал Сидни Холл, — дело в том, что я обручился. На пароходе ехала одна милая молодая девица, гм-гм, зовут ее Алиса, и нет на свете никого красивее ее, даже среди вас. Нет, действительно нет! — добавил мистер Сидни Холл после глубокого раздумья. — Но вы, пожалуйста, только не думайте, что я ей сказал, как она мне нравится. Шел уже последний день нашего путешествия, а я все еще ничего ей не сказал... А теперь я съем эту грушу.

Просмаковав грушу, мистер Сидни Холл продолжил свой рассказ:

— В этот последний вечер я прогуливался по палубе. Тут ко мне подошла мисс Алиса.

«Мистер Сидни Холл, — спросила она, — вы бывали в Генуе?»

«Бывал, мисс Алиса», — отвечаю я.

«А не видали вы там маленькую девочку, которая потеряла свою мамочку?» — спрашивает Алиса.

«Ну да, мисс Алиса, — отвечаю я, — какой-то полоумный парень отвел ее к маме за ручку».

Алиса помолчала минутку, а потом говорит:

«Мистер Сидни Холл, а вы побывали и в Индии?»

«Да, мисс Алиса», — отвечаю.

«А не видали вы там, — спрашивает Алиса, — как один храбрый молодой человек прыгнул на ходу из поезда в воды Ганга, чтобы спасти утопающую прачку?»

«Видал, — говорю я, немного смутившись, — это был какой-то старый дурак, мисс Алиса. — Разве стал бы умный человек так поступать?»

Алиса помолчала минутку и посмотрела на меня так странно, так мило. Прямо мне в глаза.

«А скажите, мистер Сидни Холл, — начала она снова, — правда ли, что во время кораблекрушения один благородный человек пожертвовал собой, чтобы уступить место женщине на спасательной шлюпке?»

Тут меня, ребята, прямо в жар бросило.

«Ну да, мисс Алиса, — говорю я, — если я не очень ошибаюсь, тогда какой-то чудак решил вдруг искупаться в море».

Тут Алиса подала мне обе руки, покраснела и сказала:

«А знаете ли вы, мистер Сидни Холл, что вы ужасно хороший человек? И за то, что вы сделали для маленькой девочки в Генуе, для индийской прачки и для незнакомой женщины в море, вас все должны любить».

Ну тут я, братцы, очутился прямо на седьмом небе! Словом, я обнял Алису, а когда мы, значит, обручились, я спрашиваю:

«Слушай-ка, Алиса, кто тебе рассказал все эти глупости про меня? Ведь я же — как перед богом! — никому этим не хвастал».

«Знаешь, — говорит Алиса, — сегодня вечером я смотрела на море и немножко думала о тебе. И тут подошла маленькая черная женщина, и она мне все это рассказала».

Мы пошли искать маленькую черную женщину, чтобы ее поблагодарить, но нигде не могли ее найти. Вот так, ребята, я и обручился на пароходе, — закончил Сидни Холл и провел рукой по своим сияющим глазам.

— А Волшебник? — закричали детективы.

— Волшебник? — отвечал знаменитый Сидни Холл. — Он пал жертвой своего собственного любопытства, как я это и предвидел. Когда я проснулся в Амстердаме, кто-то постучался в мою дверь и вошел. Это был Волшебник, бледный и расстроенный.

«Мистер Сидни Холл, — сказал он, — я больше не могу терпеть. Прошу вас, скажите мне, как вы собираетесь меня поймать?»

«Мистер Волшебник, — отвечаю я серьезно, — этого я не скажу. Если я проболтаюсь и выдам вам мой план, вы убежите».

«Ах, — вздохнул Волшебник, — сжальтесь вы надо мной наконец. Я уже больше спать не могу от любопытства!»

«Знаете что, — говорю я, — так и быть, я вам это скажу, но сперва вы должны мне дать клятву, что с этого момента вы мой пленник и не будете пытаться от меня ускользнуть».

«Клянусь!» — воскликнул Волшебник.

«Волшебник, — сказал я и встал, — вот мой план и выполнен. Знай же, олух ты этакий, что я рассчитывал исключительно на твое любопытство. Я знал, что ты будешь следовать за мной на море и на суше, чтобы увидеть, что я могу против тебя предпринять. Я знал, что ты наконец сам придешь — вот так, как ты пришел сейчас, — ко мне и пожертвуешь своей свободой, чтобы только удовлетворить любопытство. И, как видишь, все это наконец исполнилось!»

Волшебник побледнел, взгляд его опечалился, и он сказал:

«Ну и хитрец же вы, мистер Сидни Холл! Даже Волшебника вы сумели перехитрить».

Вот, ребята, и вся история!

Все детективы начали ужасно хохотать и поздравлять счастливого американца с успехом. Мистер Сидни Холл удовлетворенно улыбнулся и стал разыскивать на блюде особенно прекрасную грушу. И тут он увидел, что остальные груши завернуты в бумажки. Он взял одну, развернул бумажку, а на ней было написано:

«Мистеру Холлу на память от Лапочки из Генуи».

Мистер Сидни Холл вновь пошарил на блюде, достал вторую завернутую грушу, разгладил бумажку и увидел, что на ней написано:

«Приятного аппетита желает прачка с Ганга».

Третью грушу развернул мистер Сидни Холл и прочел:

«Своего благородного спасителя благодарит женщина с моря».

Сидни Холл еще раз потянулся к блюду, развернул четвертую грушу. На бумажке было написано:

«Я думаю о тебе. *Алиса»*.

Теперь на блюде оставалась только одна груша, пятая, самая лучшая. Сыщик Сидни Холл разрезал ее пополам и нашел там сложенное письмо. На конверте было напи-

сано: «Мистеру Сидни Холлу». Он распечатал конверт и прочел:

«У кого есть секреты, тот должен беречься лихорадки. Раненый сыщик на берегу Ганга в жару выболтал свой тайный план. Это был глупый план. Но ваш друг не хотел лишать вас награды, назначенной за его голову, и поэтому он добровольно дал себя арестовать. Награда, которую вы теперь получите, — это свадебный подарок».

Мистер Сидни Холл удивился выше всякой меры и сказал:

— Ребята, вот когда я все понял. Я просто старый осел! Ведь это же Волшебник задержал якорь парохода на дне морском, пока я разгуливал по Генуе с потерявшейся девчонкой! Ведь это же Волшебник в облике араба помог мне с крокодилом! Ведь не кто иной, как он, разбудил меня, когда те двое матросов хотели меня убить! Волшебник слышал о моем плане, когда я в бреду разговаривал на берегу Ганга. Волшебник послал таинственную джонку, чтобы я вовремя поспел в Нагасаки. Волшебник послал мне жестянку с ракетами, которые спасли мне жизнь на море. Волшебник в образе маленькой черной женщины склонил ко мне сердце Алисы, и в заключение Волшебник нарочно представился глупым и любопытным, чтобы помочь мне получить награду, назначенную за его голову. Я хотел быть умнее Волшебника, но Волшебник умнее меня и, кроме того, благороднее. Нет никого лучше Волшебника! Ребята, кричите все со мной: «Да здравствует Волшебник!»

— Да здравствует Волшебник! — закричали все сыщики так громко, что во всем городе зазвенели стекла.

Как судили Волшебника

Когда знаменитый Сидни Холл доставил арестованного Волшебника в тюрьму, судебный процесс об украденной кошке смог наконец начаться.

За высоким столом восседал, как на троне, судья доктор Корпус Юрис, который был столь же толст, сколь и строг. На скамье подсудимых сидел Волшебник со скованными руками.

— Встань, негодяй! — крикнул ему доктор Корпус. — Ты обвиняешься в том, что похитил Мурку, королев-

скую кошку, здешнюю уроженку, возраст один год. Признаешься ты в этом, несчастный?

— Да, — тихо сказал Волшебник.

— Ты лжешь, мерзавец! — загремел судья. — Я не верю ни одному твоему слову. Какие у тебя есть доказательства? Эй вы там! Пригласите свидетельницу — нашу сиятельную принцессу.

В зал ввели маленькую принцессу и стали допрашивать как свидетельницу.

— Принцесса, — пропел Корпус сладким голосом, — похитил этот низкий субъект вашу благородную кошку Муру?

— Да, — сказала принцесса.

— Видишь ты, злодей! — рявкнул судья на Волшебника. — Ты уличен! А теперь скажи нам, как ты ее украл?

— Очень просто, — сказал Волшебник, — она сама свалилась мне на голову.

— Ты лжешь, несчастный! — взревел судья, а потом нежным голоском обратился к принцессе: — Принцесса, как этот злодей похитил вашу сиятельную кошечку?

— Именно так, — отвечала принцесса, — как он говорит.

— Ага, видишь, разбойник! — закричал судья на Волшебника. — Итак, теперь мы знаем, как ты ее украл. А зачем ты ее украл, проходимец?

— Потому что кошка, когда упала, сломала себе ногу. Я взял ее к себе, чтобы вправить ей ножку и забинтовать.

— Ах ты негодник! — выпалил доктор Корпус. — Каждое твое слово — ложь! Введите свидетеля, трактирщика из Страшнице.

Ввели свидетеля.

— Эй, трактирщик! — крикнул судья. — Что ты знаешь об этом преступнике?

— Только то, — робко отвечал трактирщик, — что он, ваша честь, пришел в мой трактир, вытащил из-под пальто какую-то черную кошечку и забинтовал ей ножку.

— Гм, — пробормотал доктор Корпус, — наверно, ты лжешь. А что он сделал потом с этим благородным животным?

— Потом, — отвечал трактирщик, — он ее отпустил, и кошка убежала.

— Ах ты истязатель животных, — набросился судья на Волшебника, — ты ее отпустил только для того, чтобы она могла убежать! Где сейчас находится королевская кошка?

— Скорее всего, — сказал Волшебник, — она убежала туда, где родилась. Кошки обычно так поступают.

— Ах ты бесстыдник, — загремел судья, — ты меня еще учить будешь? Принцесса, — обратился он сладким голосом к принцессе, — во сколько вы оцениваете вашу высокодрагоценную киску?

— Я бы ее и за полцарства не отдала, — объявила принцесса.

— Ты видишь, негодяй, — бешено рявкнул судья, обернувшись к Волшебнику, — ты украл полцарства! За это, несчастный, тебя ждет смертная казнь.

Принцессе стало жалко Волшебника.

— Пожалуй, — быстро сказала она, — я бы отдала Муру и за кусок торта.

— А сколько стоит кусок торта, принцесса?

— Ну, — сказала принцесса, — ореховый торт стоит пять крейцеров, земляничный — десять, а сливочный пятнадцать крейцеров.

— А за какой торт отдали бы вы вашу Муру, ваше высочество?

— Я думаю, за сливочный, — отвечала принцесса.

— Ах ты убийца — закричал судья на Волшебника. — Выходит, стало быть, что ты украл пятнадцать крейцеров! За это ты, бандит, отправляешься, согласно закону, на три дня под арест. Марш, негодяй! На три дня под арест, негодяй, вор и разбойник!.. Дорогая принцесса, — обратился доктор Корпус снова к принцессе, — имею честь поблагодарить вас за ваши мудрые и точные показания. Передайте, пожалуйста, вашему батюшке королю всеподданнейший привет от его верпоподданнейшего, вернейшего и справедливейшего судьи доктора Корпуса Юриса.

Конец сказки

Когда принцесса услышала, что кошка Мура, вероятно, убежала туда, где она родилась, она немедленно отправила верхового гонца к избушке старой бабушки.

Гонец поскакал — только искры из-под подков брызнули, и глядь — веред хижиной сидит бабушкин внучек и держит черную кошку на руках.

— Вашек! — крикнул гонец. — Принцесса требует свою кошку назад.

Ах, как жалко было Вашеку расставаться с Муркой! Но он сказал:

— Господин гонец, я принесу ее принцессе сам.

Вашек посадил Мурку в мешок и побежал с ней во дворец прямехонько к принцессе.

— Принцесса, — сказал он, — вот я принес кашу кошку. Если это ваша Мурка — пусть она у вас и останется.

Вашек развязал мешок, но Мурка не выскочила из него так весело, как когда-то из мешка бабушки. Бедняжка хромала.

— Я не знаю, — сказала принцесса, — наша это Мурка или нет. Мурка совсем не хромала... Ой, знаешь что? Мы позовем Буфку!

Когда Буфка увидел Муру, он от радости завилял хвостом так, что ветер засвистел.

— Это Мура! — закричала принцесса. — Буфка ее узнал! Вашек, что же мне тебе дать за то, что ты мне ее принес?

Вашек покраснел.

— Ну говори, говори, — ободряла его принцесса.

— Мне совестно, — упрямился Вашек.

Тут покраснела принцесса.

— А почему? — прошептала она. — А почему тебе совестно это сказать?

— Потому, — сказал Вашек несчастным голосом, — потому что ты мне все равно этого не подаришь.

Принцесса покраснела, как роза.

— А если я все-таки подарю? — сказала она смущенно.

Вашек затряс головой:

— Не подаришь!

— А если все-таки?

— Нет, не подаришь, — сказал Вашек грустно. — Ведь я же не принц.

— Ой, погляди вон туда! — вдруг закричала принцесса.

И когда Вашек оглянулся, она стала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Прежде чем Вашек опомнился,

она уже убежала в угол, схватила Мурку и спрятала лицо в ее шерстке.

Вашек весь так и вспыхнул и просиял.

— Награди вас бог, принцесса, — сказал он. — Ну, а теперь я пошел.

— Вашек, — прошептала принцесса, — это то, чего ты хотел?

— Да, принцесса, — закивал Вашек головой.

Но тут в покой вошли фрейлины, и Вашек поскорее убежал.

Весело бежал он домой. Только в лесу он задержался, чтобы вырезать ножиком из коры кораблик.

Но когда он прибежал домой, Мурка сидела на пороге и умывалась.

Вашек вскрикнул от изумления:

— Бабушка, да ведь я только что отнес Мурку во дворец!

— Ну что ж, ну что ж, малыш, — сказала бабушка, — такая уж кошачья природа. Придется тебе завтра утром опять отнести ее принцессе.

Поутру Вашек снова побежал с Муркой во дворец.

— Принцесса, — сказал он, запыхавшись, — вот я Мурку опять принес, она от вас убежала, проклятущая кошка, и прибежала прямо к нам.

— Как ты быстро бегаешь, мальчишка, — сказала принцесса, — прямо быстрее ветра!

— Принцесса, — сказал Вашек, — хотите, я вам подарю этот кораблик?

— Давай сюда, — сказала принцесса. — А что тебе сегодня дать за Мурку?

— Не знаю, — отвечал Вашек и покраснел до корней волос.

— Ну скажи, — прошептала принцесса и покраснела еще сильнее его.

— Не скажу.

— Нет, скажи.

— Нет, не скажу.

Принцесса опустила голову и стала ковырять пальцем кораблик.

— Может быть, — спросила она наконец, — может быть, то же, что вчера?

— Может быть, — выпалил Вашек.

И, получив свое, он, довольный, побежал домой. Только в ивняке он немного задержался, чтобы вырезать хорошенькую звонкую дудочку.

А когда он пришел домой — Мурка сидела на пороге и разглаживала себе лапкой усы.

Утром Вашек опять побежал во дворец.

— Принцесса! — закричал оп еще в дверях. — Мурка опять к нам прибежала.

Но принцесса рассердилась и ничего не сказала.

— Погляди-ка, принцесса, — продолжал Вашек, — какую я хорошенькую дудочку вчера сделал.

— Давай сюда, — сказала принцесса, но личико у нее все еще было сердитое.

Вашек переминался с ноги на ногу, не понимая, на что принцесса сердится.

Принцесса попробовала дудочку и, услыхав, как она красиво звучит, сказала:

— Ты хитрюга. Я знаю, что ты нарочно это с кошкой устраиваешь, чтобы... чтобы... чтобы опять получить то же, что вчера.

Тут Вашек очень огорчился, схватил свою шапку и сказал:

— Ну, если вы так думаете, принцесса, что ж, хорошо, тогда я больше никогда не приду.

Грустный-прегрустный побрел Вашек домой. Но едва он туда пришел, как увидел Мурку. Вашек сел на порог, взял ее на руки и молчал.

И тут вдруг — цок-цок-цок — прискакал королевский гонец.

— Вашек! — крикнул он. — Король велел тебе сказать, чтобы ты принес Муру в замок.

— А зачем? — сказал Вашек. — Кошка ведь все равно возвращается туда, где она родилась.

— Но принцесса велела тебе сказать, Вашек, — сказал курьер, — что тогда ты приноси кошку каждый день.

Вашек покачал головой:

— Я же ей сказал, что больше не приду!

Тут старушка вышла из дому и сказала:

— Господин гонец, собака привыкает к человеку, а кошка привыкает к дому. И, видно, наша Мурка никуда из этого домика не уйдет.

Гонец повернул коня и поскакал во дворец.

А на следующий день огромный, запряженный целой сотней лошадей воз остановился перед бабушкиной избушкой. Кучер слез с козел и закричал:

— Бабушка! Король-батюшка повелел вам сказать, что если кошка привыкла к дому, то я должен привезти вместе с кошкой и домик, и вас, и Вашека заодно. Во дворцовом парке хватит места для вашего домишка.

Пришло множество людей, они помогли погрузить домик. Кучер щелкнул кнутом, крикнул «но!», сотня лошадей тронулась, и воз и домик поехали во дворец, а на возу перед домиком сидели бабушка, Вашек и Мура. Тут-то бабушка и вспомнила, что когда-то матушка короля видела во сне, что Мурка приведет во дворец будущего короля и приедет он со всем со своим домом. Вспомнить она вспомнила, но сказать ничего не сказала. Встретили их во дворце с большой радостью, домик поставили в саду, и, уж конечно, Мурка теперь и не думала никуда убегать. Она жила с бабушкой и Вашеком, как у себя дома. А принцесса, когда хотела с ней поиграть, сама отправлялась в маленький домик. И, видно, она очень любила Мурку, потому что приходила каждый день. Принцесса и Вашек стали лучшими друзьями.

А что случилось потом, то уже к нашей сказке не относится. Но если Вашек и вправду стал потом королем в этой стране, то случилось это, ребята, не из-за кошки и не из-за его дружбы с принцессой, а из-за больших и славных дел, которые Вашек, став взрослым, сделал для блага всей страны.

СОБАЧЬЯ СКАЗКА

Пока телега моего дедушки, мельника, развозила хлеб по деревням, возвращаясь обратно на мельницу с отборным зерном, Воржишека знал и встречный и поперечный... Воржишек, — сказал бы вам каждый, — это собачка, что сидит на козлах возле старого Шулитки и смотрит так, будто это она лошадьми правит. А ежели воз помаленьку в гору подымается, так она давай лаять, и, глядишь, колеса завертелись быстрей, Шулитка защелкал кнутом, Ферда и Жанка — лошадки дедушки нашего — влезли в хомуты, и весь возик весело покатил

до самой деревни, распространяя вокруг благовоние хлеба — дара божия. Так разъезжал, милые детки, покойник Воржишек по всему приходу.

Ну, в то время не было еще автомобилей этих шальных; тогда ездили полегоньку, чинно и чтоб слышно было. Ни одному шоферу так не щелкнуть кнутом, как покойный Шулитка щелкал, — царство ему небесное, — и языком на коней не причмокнуть, как он умел это делать. И ни с одним шофером не сидит рядом умный Воржишек, не правит, не лает, не наводит страху — ну ровно ничего. Автомобиль пролетел, навонял — и поминай как звали: только пыль столбом! Ну, а Воржишек ездил малость посолидней. За полчаса люди прислушиваться, принюхиваться начинали. «Ага!» — говорили. Знали, что хлеб к ним едет, и на порог встречать выходили. Дескать, с добрым утром! И глядишь, вот уже подкатывает дедушкина телега к деревне, Шулитка прищелкивает языком, Воржишек лает на козлах, да вдруг — гоп! — как прыгнет Жанке на спину (и то сказать: спина была — будь здоров: широкая, как стол, за который четверо усядутся) и давай на ней плясать, — от хомута до хвоста, от хвоста до хомута так и бегает да пасть дерет от радости: «Гав, гав, черт меня побери! Ребята, ведь это мы приехали, я с Жанкой и с Фердой! Ура!» А ребята глаза таращат. Каждый день хлеб привозят, и всегда такое ликование — помилуй бог! Будто сам император приехал!.. Да, говорю вам: так важно давно уж никто не ездит, как в Воржишеково время ездили.

А лаять Воржишек умел: будто из пистолета стрелял. Трах! — направо, так что гуси от страху бегут, бегут со всех ног, пока не остановятся в Полице на рынке, сами не понимая, как они там очутились. Трах! — налево, так что голуби со всей деревни взовьются, закружат и полетят куда-нибудь к Жалтману, а то и на прусскую сторону. Вот до чего громко умел лаять Воржишек, эта жалкая собачонка. И хвост у него чуть прочь не улетал, так он махал им от радости, что ловко напроказил. Да и было чем гордиться: такого громкого голоса ни у одного генерала и даже депутата нет.

А было время, когда Воржишек совсем лаять не умел, хоть был уже большим щенком и зубы имел такие, что дедушкины воскресные сапоги изгрыз. Надо вам рас-

сказать, как дедушка к Воржишеку или, лучше сказать, Воржишек к дедушке попал. Идет раз дедушка поздно из трактира домой; кругом темно, и он, оттого что навеселе, а может, чтоб нечистую силу отогнать, дорогой пел. Вдруг потерял он впотьмах верную ноту, и пришлось ему остановиться, поискать. Принялся искать — слышит кто-то плачет, повизгивает, скулит на земле, у самых его ног. Перекрестился дедушка и давай рукой по земле шарить: что такое? Нащупал косматый теплый комочек, мягкий как бархат, — в ладони у него поместился. Только он взял его в руки, плач перестал, а комочек к пальцу дедушкиному присосался, будто тот медом намазан.

«Надо рассмотреть получше», — подумал дедушка и взял его к себе домой, на мельницу. Бабушка, бедная, ждала дедушку, чтобы «доброй ночи» ему пожелать; но не успела она рот раскрыть, как дедушка, плут эдакий, говорит ей:

— Погляди, Элена, что я тебе принес.

Бабушка посветила: глядь, а это щеночек; господи, сосунок еще, слепой, желтенький, как молодой орешек!

— Ишь ты, — удивился дедушка. — Чей же это ты, песик?

Песик, понятное дело, ничего не ответил: знай дрожит, горький, на столе, хвостиком крысиным трясет да повизгивает жалобно. Вдруг, откуда ни возьмись, — под ним лужица; и растет, растет, — такой конфуз!

— Эх, Карел, Карел, — покачала головой бабушка с укоризной, — ну где твоя голова? Ведь щеночек без матери помрет.

Испугался дед.

— Скорей, — говорит, — Элена, согрей молочка и дай булку.

Бабушка все приготовила, а дедушка намочил хлебный мякиш в молоке, завязал эту тюрю в уголок носового платка, и получилась у него славная соска, из которой щенок до того насосался, что животик у него как барабан стал.

— Карел, Карел, — опять покачала головой бабушка, — ну где твоя голова? А кто же будет щеночка согревать, чтобы он от холода не помер?

Что же дед? Ни слова ни говоря, взял щеночка и прямо с ним на конюшню. А там, сударик, тепло: Ферда с Жанкой здорово надышали! Они спали уж, но слы-

шат — хозяин пришел, голову подняли, глядят на него умными, ласковыми глазами.

— Жанка, Ферда, — сказал дедушка, — вы ведь Воржишека обижать не станете? Я вам его поручаю.

И положил щеночка на солому перед ними. Жанка это странное созданьице обнюхала, — пахнет приятно, хозяйскими руками. Шепнула Ферде:

— Свой!

Так и вышло.

Вырос Воржишек на конюшне, соской из носового платка вскормленный, открылись у него глаза, научился он пить из блюдца. Тепло ему было, как под боком у матери, и скоро стал он настоящим шариком, превратился в глупого маленького шалуна, который не знает, где у него зад, и садится на собственную голову, удивляясь, что неловко; не знает, что делать со своим хвостом, и, умея считать только до двух, заплетается всеми четырьмя лапами; и в конце концов, удивившись самому себе, высовывает хорошенький розовый язычок, похожий на ломтик ветчины. Да ведь все щенята такие: как дети. Многое могли бы рассказать по этому поводу Жанка и Ферда: какое это мученье для старой лошади все время следить за тем, как бы не наступить на несмышленыша; потому что, знаете ли, копыто — это не ночная туфля и ставить его надо потихоньку-полегоньку, а то как бы не запищало на полу, не вскрикнуло жалобно. «Просто беда с ребятишками», — сказали бы вам Жанка с Фердой.

И вот стал Воржишек настоящей собакой, веселой и зубастой, как все они. Одного только ему против других собак не хватало: никто не слышал, чтобы он лаял и рычал. Все визжит да скулит, а лая не слыхать. «Что это не лает Воржишек наш?» — думает бабушка. Думала-думала, три дня сама не своя ходила, — на четвертый говорит дедушке:

— Отчего это Воржишек никогда не лает?

Задумался дедушка, — три дня ходит, голову ломает. На четвертый день Шулитке-кучеру сказал:

— Что это Воржишек наш никогда на лает?

Шулитке крепко слова эти в голову запали. Пошел он в трактир, — думал там три дня и три ночи. На четвертый день спать ему захотелось, все мысли смешались: позвал он трактирщика, вынул из кармана крейцеры свои, расплачиваться хочет. Считает, считает, да, видно,



сам черт в это дело замешался: никак сосчитать не может.

— Что это, Шулитка? — трактирщик говорит. — Или мама тебя считать не научила?

Тут Шулитка хлоп себя по лбу. И про расплату забыл, — к дедушке побежал.

— Хозяин! — с порога кричит. — Додумался я: оттого Воржишек не лает, что мама не научила!

— И то правда, — ответил дедушка. — Мамы Воржишек никогда не видал, Ферда с Жанкой лаю не могли его научить, собаки по соседству ни одной нету, — ну он и не знает, как лаять надо. Знаешь, Шулитка, придется тебе обучить его этому делу.

Пошел Шулитка на конюшню, стал учить Воржишека лаять.

— Гав, гав! — стал ему объяснять. — Следи внимательно, как это делается. Сперва рррр — в горле, а потом сразу — гав, гав — из пасти. Рррр, ррр, гав, гав, гав!

Насторожил уши Воржишек: эта музыка по вкусу ему пришлась, хоть он и не знал, отчего. И вдруг от радости сам залаял. Чудноватый лай получился, с подвизгом — будто ножом по тарелке. Но лиха беда — начало. Ведь вы тоже раньше не знали азбуки. Послу-

шали Ферда с Жанкой, как старый Шулитка лает, пошали плечами и навсегда потеряли к нему уважение. Но у Воржишека к лаю был огромный талант, ученье быстро пошло на лад, и когда он первый раз поехал на возу, сразу началось: трах — направо, трах — налево, — как пистолетные выстрелы. С утра до ночи все лаял, без передышки, никак налаяться не мог; рад был без памяти, что как следует научился.

Но у Воржишека не только забот было, что в кучерской должности с Шулиткой ездить. Он каждый вечер обходил мельницу и двор, проверял, все ли на месте, кидался на кур, чтоб не кудахтали, как торговки на базаре, потом становился перед дедушкой и пристально глядел на пего, виляя хвостом, как будто говоря: «Иди спать, Карел, я послежу за порядком». Тут дедушка хвалил его и шел спать. А днем дедушка часто ходил но деревням, по местечкам, закупая зерно и кое-какой другой товар: семена клевера, чечевицу, мак. Воржишек всегда бегал с ним и на обратном пути, ночью, ничего не боясь, вел дедушку прямо домой, не давая ему заблудиться.

Купил раз дедушка где-то семена, — ну да, тут вот, в Зличке; купил и завернул в трактир. Воржишек остался за дверями ждать. И ударил ему в нос приятный запах из кухни, — ну такой аппетитный, нельзя не заглянуть. А там, подумайте только, семья трактирщика ливерные колбаски ела. Сел Воржишек и стал ждать, не упадет ли под стол какой лакомый кусочек. А пока он ждал, остановил перед трактиром свой воз дедушкин сосед, — как бишь его? Ну, скажем, Юдал. Увидел Юдал дедушку в трактире, слово за слово, — и вот уже оба соседа каждый на свой воз полезли, — вместе домой ехать. Тронулись, — и совсем забыл дедушка о Воржишеке, который в это время на кухне перед колбасками на задних лапках стоял.

Наевшись, встали домочадцы трактирщика из-за стола, а кожу с колбас кошке на печь кинули. Воржишек облизнулся и тут вспомнил, где с дедушкой расстался. Стал бегать, нюхать по всему трактиру — дедушки как не бывало.

— Воржишек, — сказал ему трактирщик, — твой хозяин вон где.

И показал рукой.

Воржишек сразу понял и домой побежал. Сперва по большаку, а потом думает: «Что ж, я дурак? Через холмы, напрямик, скорее!» И пустился по холму да лесом. Дело было вечером, а там уж и ночь наступила; но Воржишек ничего как есть не боялся. «У меня, — думает, — никто ничего не украдет». Только голоден был, как собака.

Наступила ночь, взошла полная луна. И там, где деревья расступались — у просеки или на вырубке, — луна стояла над верхушками такая красивая, такая серебряная, что у Воржишека сердце забилось от восторга. Лес шумел тихо-тихо, будто на арфе играл. Воржишек бежал теперь по лесу, как по черному-пречерному коридору. Но вдруг впереди заблистал серебристый свет и арфы громче заиграли. У Воржишека вся шерсть дыбом; прижался он к земле и стал смотреть, оцепенелый. Перед ним — серебряная лужайка, и на ней пляшут собаки-русалки. Красивые белые собаки, ну белые-пребелые, прямо прозрачные и такие легонькие — капли росы с травы не стряхнут. То, что собаки — русалки, Воржишек сразу понял, потому что не было у них того интересного запашка, по которому собака настоящую собаку сразу узнает. Лежит Воржишек в мокрой траве, глаза вытаращил. Танцуют русалки, друг за дружкой гоняются, друг с дружкой грызутся, а то кружатся — свой собственный хвост ловят, но все так легко, так воздушно, что стебелек под ними не согнется. Воржишек смотрел внимательно: если какая начнет чесаться либо блоху ловить, значит — не русалка, а просто собака белая. Нет, ни одна ни разу не почесалась, ни одна блох не ловит. Как пить дать, русалки... А взошла луна высоко, подняли русалки головы и так слабо, приятно завыли, запели. Куда там оркестру в Национальном театре! Воржишек заплакал от избытка чувств и охотно присоединил бы свой голос к общему хору, да побоялся все испортить.

Окончив пение, все легли вокруг одной величественной собачьей матроны, — как видно, могучей вилы либо колдуньи собачьей, седой, дряхлой.

— Расскажи нам что-нибудь, — стали просить ее русалки.

Старая собака-вила, подумав, начала так:

— Расскажу я вам, как собаки сотворили человека. В раю все звери мирно и счастливо рождались, жили,

умирали, и только одни собаки чем дальше, тем были всё печальней. И спросил господь бог собак: «Почему вы печальны, когда все звери радуются?» И ответила самая старая собака: «Видишь ли, господи, остальные звери всем довольны, ничего им не нужно; а у нас, собак, в голове — кусок разума, и мы через это знаем, что есть что-то выше нас: есть ты. И ко всему-то мы можем принюхаться, только к тебе не можем; и в этом у нас, собак, нехватка. Поэтому просим тебя, господи, утоли нашу печаль, дай нам какого-нибудь бога, к которому нам принюхаться было можно». Улыбнулся господь бог и сказал: «Принесите мне костей; я сотворю вам бога, к которому можно будет принюхиваться». И побежали собаки в разные стороны, и принесла каждая из них по кости: которая львиную, которая лошадиную, которая верблюжью, которая кошачью, — словом, от всех зверей. Только собачьей кости ни одна не принесла: потому что ни одна собака ни до мяса собачьего, ни до собачьей кости не дотронется. И набралась тех костей огромная груда, и сделал из них господь бог человека, чтоб у собак свой бог был, к которому можно принюхиваться. И оттого что человек сделан из костей всех зверей, кроме собаки, у него и свойства всех зверей: сила льва, трудолюбие верблюда, коварство кошки, великодушие коня; только собачьей верности, только ее одной нету!..

— Расскажи еще что-нибудь, — попросили опять собаки-русалки.

Старая вила, подумав, продолжала:

— Теперь расскажу вам, как собаки на небо попали. Вы знаете, что души людей идут после смерти на звезды, а для собачьих душ не осталось ни одной звезды, и они после смерти уходили спать в землю. Так было до Христа. А когда люди бичевали Христа у столба, осталось там страшно много, прямо пропасть крови. И один голодный бездомный пес пришел и лизал кровь Христову. «Пресвятая дева Мария! — воскликнули ангелы на небе. — Ведь он причастился крови господней!» — «Коли он причастился крови господней, — ответил бог, — возьмем душу его на небо». И сделал новую звезду, а чтобы было сразу видно, что она — для собачьей души, приделал к той звезде хвост. И только попала собачья душа на звезду, та звезда, от великой радости, давай бегать, бегать, бегать в небесном просторе, словно собака на лугу, —

не так, как другие звезды, что ходят чинно, по своей дороге. И те звезды, что резвятся по всему небу, сверкая хвостом, зовутся кометами.

— Расскажи еще что-нибудь, — попросили в третий раз русалки.

— Теперь, — начала старая вила, — расскажу вам о том, как в давние времена у собак было на земле свое королевство и большой собачий замок. Люди позавидовали собакам, что у них свое королевство на земле, стали колдовать и колдовали до тех пор, пока собачье королевство вместе с замком не провалилось сквозь землю. Но если копать где надо, так раскопаешь пещеру, в которой находится собачий тайник.

— Какой собачий тайник? — взволнованно спросили русалки.

— Это зал неописанной красоты, — ответила старая вила. — Колонны — из превосходнейших костей, да не обглоданных нисколько: они мясистые, как гусиное бедрышко. Потом — ветчинный трон, и ведут к нему ступени из чистейшего свиного шпига. А застланы ступени ковром из кишок, битком набитых салом.

Тут Воржишек не мог больше сдерживаться. Выскочил на лужайку, закричал:

— Гав, гав! Где этот тайник? Ах, ах! Где собачий тайник?

Но в тот же миг исчезли и собаки-русалки, и старая собака-вила... Напрасно Воржишек протирал себе глаза: вокруг — только серебристая лужайка; ни стебелька не погнулось под танцем русалок, ни росинки не скатилось на землю. Только тихая луна озаряла прелестный луг, окруженный со всех сторон, словно черной-пречерной изгородью, лесом.

Тут вспомнил Воржишек, что дома его ждет по меньшей мере размоченный в воде хлеба кусок, и побежал со всех ног домой. Но после этого, бродя с дедушкой по полям, по лесам, он, вспомнив иной раз о подземном собачьем тайнике, начинал рыть, ожесточенно рыть, всеми четырьмя лапами глубокую яму в земле.

И так как он очень скоро разболтал тайну соседним собакам, а те другим, а другие — еще другим, то теперь все собаки на свете, бегая где-нибудь в поле, вспоминают о пропавшем собачьем королевстве, и начинают рыть яму в земле, и нюхают, нюхают, не пахнет ли из-под земли ветчинным троном былого собачьего государства.

ПТИЧЬЯ СКАЗКА

Конечно, дети, вы не можете знать, о чем говорят птицы. Они разговаривают человеческим языком только рано утром, при восходе солнца, когда вы еще спите. Позже, днем, им уже не до разговоров: только поспевай — здесь клюнуть зернышко, тут откопать земляного червячка, там поймать мушку в воздухе. Птичий папаша просто крылья себе отмахает; а мамаша дома за детьми ухаживает. Вот почему птицы разговаривают только рано утром, открывая у себя в гнезде окна, выкладывая перинки для проветривания и готовя завтрак.

— ...брым утром, — кричит из своего гнезда на сосне черный дрозд, обращаясь к соседу-воробью, который живет в водосточной трубе. — Уж пора.

— Чик, чик, чирик, — отвечает тот. — Пора лететь, мошек ловить, чтобы было что есть, да?

— Верно, верно, — ворчит голубь на крыше. — Просто беда, братец. Мало зерен, мало зерен.

— Так, так, — подтверждает воробей, вылезая из-под одеяла. — А всё автомобили, знаешь? Пока ездили на лошадях, всюду было зерно, — а теперь? А теперь автомобиль пролетел — на дороге ничего. Нет, нет, нет!

— Только вонь, только вонь, — воркует голубь. — Поганая жизнь, брр! Придется, видно, закрывать лавочку. Кружишь-кружишь, воркуешь-воркуешь, а что за весь труд выручил? Горстки зерна не наберешь. Прямо страх!

— А ты думаешь, воробьям лучше? — сердито топорщится воробей. — По совести сказать, кабы не семья, я бы отсюда — фю-ить!

— Как твой родич из Дейвиц? — отзывается не видный в гуще ветвей крапивник.

— Из Дейвиц?.. — переспросил воробей. — Там у меня знакомый есть, Филиппом зовут.

— Это не тот, — сказал крапивник. — Того, что улетел, звали Пепик. Такой взъерошенный был воробышек, вечно немытый-нечесаный; и целый день ругался: в Дейвицах, мол, скука смертная... Другие птицы зимовать на юг улетают, на Ривьеру или в Египет: скворцы, например, аисты, ласточки, соловьи. Только воробей всю жизнь в Дейвицах торчит. «Я этого так не оставлю, — покрикивал воробей по имени Пепик. — Если может



лететь в Египет какая-нибудь ласточка, что на уголке живет, почему бы и мне, милые, не полететь? Так и знайте, обязательно полечу, только вот упакую свою зубную щетку, ночную рубашку да ракетку с мячами, чтобы там в теннис играть. Увидите, как я всех в теннис обставлю. Я ведь ловок, хитер: буду делать вид, будто кидаю мяч, а вместо мяча сам полечу и, если меня трахнут ракеткой, я от них упорхну либо убегу — прочь! прочь! прочь! А как только всех обыграю, куплю Вальдштейнский дворец и устрою там на крыше себе гнездо, да не из обыкновенной соломы, а из рисовой и из майорана, дягиля, морской травы, конского волоса и беличьих хвостов. Вот как!» Так рассуждал этот воробышек и каждое утро подымал шум, что сыт этими самыми Дейвицами по горло и непременно полетит на Ривьеру.

— И полетел? — спросил черный дрозд на сосне.

— Полетел, — продолжал в чаще ветвей крапивник. — В один прекрасный день ни свет ни заря — пустился на юг. А только воробьи никогда на юг не улетают и не знают туда дороги. И у этого воробья, Пепика, то ли крылья коротки оказались, то ли геллеров но хватило, чтобы переночевать в трактире; воробьи, понимаете, спокон веков — пролетарии: целый день знай взад и вперед пролетают. Короче говоря, воробей Пепик долетел только до Кардашовой Ржечице, а дальше не мог: ни гроша в кармане. И уж тому был радехонек, что воробьиный староста в Кардашовой Ржечице сказал ему по-приятельски: «Эх, ты, бездельник, шатун никчемный. Думаешь, у нас в Кардашовой Ржечице на каждого

голодранца, бродяжки-подмастерья, сезонника, а то и беглого вдоволь конских яблок да катышков приготовлено? Коли хочешь, чтоб тебе позволили остановиться в Кардашовой Ржечице, не смей клевать ни на площади, ни перед трактиром, ни на шоссе, как мы, здешние старожилы, а только за гумнами. А для устройства жилья выделяется тебе из казенных запасов клок соломы в сарае под номером пятьдесят семь. Теперь подпиши вот это заявление о прописке и убирайся, чтоб я тебя больше не видел». Так получилось, что воробей Пепик из Дейвиц, вместо того чтоб лететь на Ривьеру, остался в Кардашовой Ржечице.

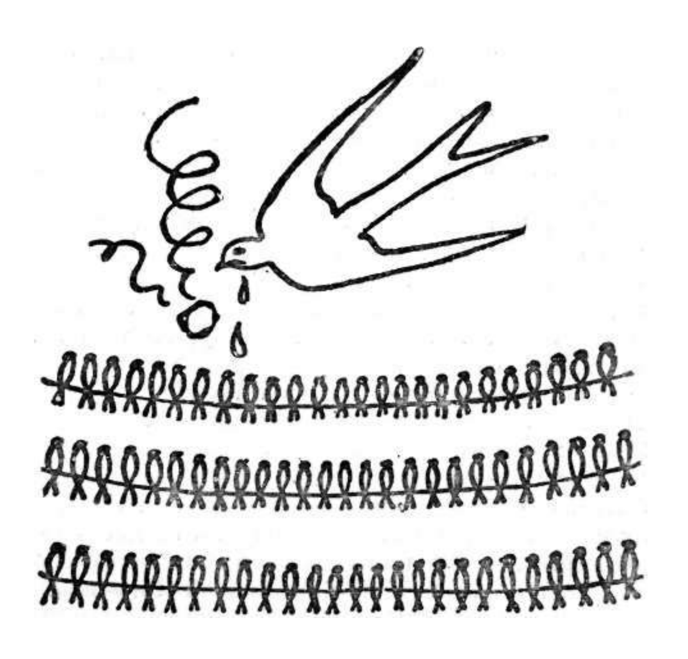
— Он и теперь там? — спросил голубь.

— И теперь, — ответил крапивник. — У меня там тетя живет, и она мне про него рассказывала. Он смеется над тамошними воробьями, галдит: дескать, смертная тоска быть воробьем в Кардашовой Ржечице; ни трамвая там, как в Дейвицах, ни автомобилей, ни стадионов «Славия» и «Спарта», — ну ничегошеньки. Сам он не собирается всю жизнь торчать в Кардашовой Ржечице: его, мол, приглашают на Ривьеру, и он только ждет, когда из Дейвиц деньги придут. И столько наговорил им всякого о Дейвицах и Ривьере, что и кардашово-ржечицкие воробьи поверили: в другом месте лучше — и перестали клевать, а только чирикают, галдят, ропщут, как все воробьи на свете. Твердят: «Всюду лучше, чем, чем, чем у нас!»

— Да! — отозвалась синица, из кизилового куста. — Странные бывают птицы. Здесь, возле Колина, в таком плодородном крае, жила одна ласточка. И прочла она в газетах, что у нас все очень плохо, а вот в Америке, милые, такие хитрюги: до всего доходят, знают, что к чему! И забрала эта ласточка себе в голову: надо, дескать, во что бы то ни стало на эту Америку посмотреть. Ну, и поехала.

— Как? — прервал крапивник.

— Не знаю, — ответила синица. — Скорей всего на пароходе. А то на самолете. Может, пристроила гнездо к дну самолета или каютку с окошком, чтоб можно было голову высунуть, а захочется — так и плюнуть. Словом, через год вернулась и говорит, что была в Америке и там все не так, как у нас. Даже и сравнить нельзя — куда там! Такой прогресс. Например, никаких жаворон-



ков нету, а дома такие высокие, что если б воробей на крыше гнездо себе свил и из того гнезда выпало бы яичко, так оно падало бы так долго, что по дороге из него вылупился бы воробышек, и вырос бы, и женился бы, и народил бы кучу детей, и состарился бы, и умер бы в преклонном возрасте, так что на тротуар, вместо воробьиного яйца, упал бы старый мертвый воробей. Вот какие там дома высокие. И еще говорила ласточка, что в Америке все строят из бетона, и она тоже так строить научилась; пускай, мол, другие ласточки прилетают смотреть; она им покажет, как строить ласточкино гнездо из бетона, а не прямо из грязи, как они, глупые, до сих пор делали. И вот пожалуйста! Слетелись ласточки отовсюду: из Мнихова Градиште, из Часлава, из Пршелоуче, из Чешского Брода и Нимбурка, даже из Соботки и Челаковице. Столько собралось ласточек, что пришлось натянуть для них семнадцать тысяч триста сорок девять метров телефонных и телеграфных проводов, чтоб им было на чем сидеть. И когда они все собрались, сказала американская ласточка: «Вот послушайте, парни и девушки, как в Америке строят дома и гнезда из бетона. Сперва

надо натаскать кучку цемента. Потом — кучку песку. Потом налить туда воды; и получится каша такая; из этой-то каши и строится настоящее современное гнездо. А если нет цемента, смешайте песок с известью. Тогда получится каша из извести с песком. Только известь должна быть гашеная. Я сейчас вам покажу, как гасят известь. Сказала и — порх-порх! — полетела на стройку, где работали каменщики, за негашеной известью. Взяла кусочек извести в клювик и — поррх! — уже летит обратно. А в клювике-то влажно — и давай известь у ней в роточке гаситься, и шипеть, и жечь. Испугалась ласточка, выпустила известь и кричит: «Вот смотрите, как надо гасить известь. Ой-ой, как жжется! Ой, батюшки, как щиплет! Ой, караул! Ей-ей, так и палит, ох-ох-ох, а-ля-ля-ля, о, чтоб тебе, с нами крестная... о, ч-черт, фу ты, святые, угодники, ой-ей, ах-их, душа из тела вон, боже мой, уф, мать пресвятая богородица, разрази его, о, горюшко, мама, ой, беда, эх-эх, милые, брр, этакая дьявольщина, уй-юй, чтоб ему, ох-хо-хо, ай-ай, окаянство! Вот как гасят известь!» Остальные ласточки, слыша ее горькие жалобы и стоны, не стали ждать, что будет дальше, а, тряхнув хвостиками, полетели по домам. «Славное было бы дело, если б мы так обожгли себе клюв», — подумали они. Поэтому ласточки до сих пор строят свои гнезда из грязи, а не из бетона, как их учила подруга, побывавшая в Америке... Но ничего не поделаешь, милые, мне надо лететь за провизией!

— Кумушка синица, — откликнулась дроздиха, — раз уж вы летите на базар, купите мне там, пожалуйста, кило дождевых червей, только хороших, длинных. А то мне сегодня некогда: надо учить детей летать.

— С удовольствием, соседка, — ответила синица. — Знаю, золотая моя, как это трудно — научить детей летать по-настоящему.

— А знаете, — спросил скворец на березе, — кто научил нас, птиц, летать? Я вам расскажу. Мне карлштейнский ворон говорил, который сюда прошлый раз, в большие морозы, прилетал. Этому ворону самому сто лет, да слышал он это от своего деда, которому сказал об этом прадед, а тот узнал про это от прадеда своей бабушки с материнской стороны. Так что это — святая истина. Так вот, бывает иногда, вдруг — ночью звезда упадет. Да иной раз падающая звезда эта — и не звезда

совсем, а золотое ангельское яйцо. И, падая с неба, воспламеняется оно в своем падении и как жар горит. Это святая истина, потому что мне это карлштейнский ворон рассказал. А люди ангельские яйца эти как-то иначе называют, — не то метры, не то монтеры, менторы либо моторы — как-то так вот!

— Метеоры, — сказал дрозд.

— Да, да, — согласился скворец. — Тогда птицы еще не умели летать, а бегали по земле, как куры. И, видя, как такое ангельское яйцо с неба падает, думали: хорошо бы его высидеть и посмотреть, какой из него вылупится птенец. Это сущая правда, потому, что так тот ворон рассказывал. Раз они за ужином об этом толковали, — вдруг совсем рядом, за лесом — бац! — упало с неба золотое, лучезарное яйцо, так что даже свист слышно было. Все сразу туда кинулись, — аист впереди, потому что у него самые длинные ноги. Нашел он золотое яйцо, взял его в лапу; а оно от падения еще страшно горячее было, так что аист обе лапки себе обжег, но все-таки принес это раскаленное яичко к птицам. Потом сразу шлеп-шлеп по воде, чтобы обожженные лапки остудить. Оттого с тех пор аисты по воде бродят, чтоб коготки остуживать. Вот что мне ворон рассказал.

— А дальше что? — спросил крапивник.

— Потом, — продолжал скворец, — приковыляла дикая гусыня — хотела на это яйцо сесть. Но оно еще жглось; она обожгла себе брюшко — и скорей плюх в пруд, чтобы его охладить. Оттого гуси до сих пор плавают на брюшке по воде. После этого все птицы стали одна за другой ангельское яйцо высиживать.

— И крапивник тоже? — спросил крапивник.

— Тоже, — ответил скворец. — Все птицы на свете это яйцо высиживали. Только когда дошла очередь до курицы и позвали ее, она ответила: «Как? Как? Куда, куда так? Когда же клевать? Кто себе враг? Какой дурак?» И не пошла высиживать ангельское яйцо. А когда все птицы по очереди на том яйце отсидели, вылупился из него божий ангел. Но, вылупившись, не стал ни клевать, ни пищать, как другие птицы, а полетел прямо к небу, возглашая аллилуйю и осанну Потом сказал: «Чем мне отблагодарить вас, милые птички, за вашу ласку, что вы меня высидели? С этих пор будете вы летать, как ангелы. Смотрите: надо вот так взмахнуть крыльями

и — готово, полетели! Итак, внимание: раз, два, три!» Не успел он сказать «...три», как все птицы начали летать и летают до сих пор. Только курица не умеет, потому что не хотела высиживать ангельское яйцо. И все это — святая правда, потому, что так рассказал карлштейнский ворон.

— Итак, внимание! — сказал дрозд. — Раз, два, три!

Тут все птицы тряхнули хвостиком, взмахнули крыльями и полетели каждая за своей песней и своим пропитанием, как научил их ангел божий.

СКАЗКА ПРО ВОДЯНЫХ

Если вы, ребята, думаете, что водяных не бывает, то я вам скажу, что бывают, и еще какие!

Вот, например, хоть бы и у нас, когда мы еще только на свет родились, жил уже один водяной в реке Упе, под плотиной, а другой в Гавловицах — знаете, там, возле деревянного мостика. А еще один проживал в Радечском ручье. Он-то как раз однажды пришел к моему папаше-доктору вырвать зуб и за это принес ему корзинку серебристых и розовых форелей, переложенных крапивой, чтобы они были все время свежими. Все сразу увидели, что это водяной: пока он сидел в зубоврачебном кресле, под ним натекла лужица. А еще один был на дедушкиной мельнице, в Гронове; он под водой, у плотины, держал шестнадцать лошадей, потому-то инженеры и говорили, что в этом месте в реке шестнадцать лошадиных сил. Эти шестнадцать белых коней все бежали и бежали без остановки, потому и мельничные жернова все время вертелись. А когда однажды ночью дедушка наш умер, пришел водяной, выпряг потихоньку все шестнадцать лошадей, и мельница три дня не работала. На больших реках есть водяные-велиководники, у которых еще больше лошадей, — скажем, пятьдесят или сто; но есть и такие бедные, что у них и деревянной лошадки нет.

Конечно, водяной-велиководник, скажем, в Праге, на Влтаве, живет барином: у него есть, пожалуй, и моторная лодка, а на лето он едет к морю. Да ведь в Праге и у иного мошенника-греховодника порой денег куры



не клюют, и раскатывает он в автомобиле, — ту-ту! — только грязь летит из-под колес! А есть и такие захудалые водяные, у которых всего добра — лужица с ладонь величиной, а в ней лягушка, три комара и два жука-плавунца. Иные прозябают в такой мизерной канавке, что в ней и мышь брюшка не замочит. У третьих за целый год только и доходу, что пара бумажных корабликов и детская пеленка, которую мамаша упустит во время стирки... Да, это уж бедность! А вот, к примеру, у ратиборжского водяного не меньше двухсот тысяч карпов да еще вдобавок лини, сазаны, караси и, глядишь, здоровенная щука... Что говорить, нет на свете справедливости!

Водяные вообще-то живут одиноко, но так раз-два в году, во время паводка, собираются они со всего края и устраивают, как говорится, окружные конференции. В нашем краю всегда съезжались они в половодье на лугах возле Кралова Градца, потому что там такая красивая водная гладь, и прекрасные омуты, и излучины, и затоны, выстланные самым мягким илом высшего сорта. Обычно это желтый ил или немного коричневатый, если же он красный или серый, то он уже не будет таким нежным, словно вазелин... Так вот, найдя себе подходящее место,

все они усаживаются и рассказывают друг другу новости: скажем, что в Суховршице люди облицевали берег камнем, и тамошний водяной... как бишь его?.. старый Иречек, должен оттуда переселиться; что ленты и горшки подорожали — просто беда: водяному, чтобы кого-нибудь поймать, приходится покупать ленточек на тридцать крон, а горшок стоит минимум три кроны, да и то с браком, прямо хоть бросай ремесло и берись за что-нибудь другое! И тут кто-то из водяных рассказывает, что яромержский водяной Фалтыс... ну, тот, рыжий!.. уже подался в торговлю: продает минеральные воды; а хромой Слепанек стал слесарем и чинит водопроводы; и многие другие тоже переменили профессию.

Понимаете, ребятишки, водяной может заниматься только тем ремеслом, в котором есть что-нибудь от воды: ну, например, может быть он под-водником или про-водником, или, скажем, может писать в книжках в-водную главу; или быть за-водилой или вод-ителем трамвая, или выдавать себя за руко-водителя или за хозяина за-вода, — словом, какая-нибудь вода тут должна быть.

Как видите, профессий для водяных хватает, потому-то водяных остается все меньше и меньше, так что, когда они друг друга считают на ежегодных собраниях, слышны грустные речи:

«Опять нас на пять душ меньше стало, ребята! Так наша профессия понемногу совсем вымрет».

— Н-да, — говорит старый Крейцман, трутновский водяной, — уж нет того, что было! О-хо-хо-хо-хо, много тысяч лет прошло с тех пор, как вся Чехия была под водой, а человек — вернее, тьфу ты, водяной, ведь тогда людей еще не было, время было не то... Ах, батюшки, на чем я остановился-то?

— На том, что вся Чехия была под водой, — помог ему гавловицкий водяной Зелинка.

— Ага, — сказал Крейцман. — Тогда, стало быть, вся Чехия была под водой, и Жалтман, и Красная гора, и Кракорка, и все остальные горы, и наш брат мог, ног не засушив, пройти себе прекрасно под водой хоть из Брно до самой Праги! Даже над горой Снежкой воды было на локоть... Да, братцы, это было времечко!

— Было, было... — сказал задумчиво ратиборжский водяной Кулда. — Тогда и мы, водяные, не были, такими

отшельниками-пустынниками, как сейчас. И у нас были подводные города, построенные из водяных кирпичей, а мебель вся была выточена из жесткой воды, перины — из мягкой дождевой воды, и отапливались теплой водой, и не было ни дна, ни берегов, ни конца ни краю воде — только вода и мы.

— Да уж, — сказал Лишка, по прозвищу Леший, водяной из Жабоквакского болота. — А какая вода тогда была! Ты мог ее резать, как масло, и шары из нее лепить, и нитки прясть, и проволоку из нее тянуть. Была она как сталь, как лен, и как стекло, и как перышко, густая, как сметана, а прочная, как дуб, а грела, как шуба. Все, все было сделано из воды. Что толковать, теперь разве такая вода! — И старый Лишка так сплюнул, что образовался глубокий омут.

— Да, была, да сплыла, — в раздумье произнес Крейцман. — Хороша была вода, словно еще и недавно, а вот была — да сплыла. И вдобавок была она совсем немая!

— Как же это? — удивился Зелинка, который был помоложе других водяных.

— Ну, немая, совсем не говорила, — начал рассказывать Лишка-Леший. — Голоса у нее никакого не было. Такая была тихая и немая, как теперь бывает, когда замерзнет или когда выпадет снег... И вот полночь, ничто не шелохнется, а кругом так тихо, такая тихая тишь, что прямо жутко: высунешь голову из воды и слушаешь, а сердце так и сжимается от этой страшной тишины. Так-то тихо было в ту пору, когда вода была еще немая.

— А как же, — спросил Зелинка (ему ведь было всего семь тысяч лет), — как же она потом перестала быть немой?

— Это случилось так, — сказал Лишка. — Мне это рассказывал мой прадедушка и говорил, что было это уже добрый миллион лет тому назад... Так вот, жил-был в ту пору один водяной... как его бишь звали? Ракосник не Ракосник... Минаржик? Тоже нет... Тампл? Нет, не Тампл... Павлишек? Тоже нет... Господи ты боже, как же его звали?

— Арион, — подсказал Крейцман.

— Арион! — подтвердил Лишка. — Вот, прямо уж на языке было, Арион его звали. И этот Арион имел, скажу я вам, такой дивный дар, такой талант ему был

от бога даден, ну, такое дарование у него было, понятно? Он умел так красиво говорить и петь, что у тебя сердце то прыгало от радости, то плакало, когда он пел, — такой он был музыкант.

— Певец, — поправил Кулда.

— Музыкант или там певец, — продолжал Лишка, — но свое дело он знал, голубчики! Прадедушка говорил, что все ревмя ревели, когда он пел. Была у него, у того Ариона, в сердце великая боль. Никто не ведает какая. Никто не знает, что с ним приключилось. Но, должно быть, большое горе, раз он пел так прекрасно и так грустно. И вот, когда он под водой так пел и жаловался, дрожала каждая капелька воды, словно она слезинка. И в каждой капельке осталось что-то от его песни, пока эта песня пробивалась сквозь воду. Потому вода уже больше не немая. Она звучит, ноет, шепчет и лепечет, журчит и булькает, мурлычет и рокочет, шумит, звенит, ропщет и жалуется, стонет и воет, бурлит и ревет, плачет и гремит, вздыхает, стонет и смеется; то звучит, как серебряная арфа, то тренькает, как балалайка, то поет, как орган, то трубит, как охотничий рог, то говорит, как человек в радости или печали. С той поры разговаривает вода на всех языках на свете и рассказывает вещи, которых никто не понимает, — так они чудесны и прекрасны. А меньше всего понимают их люди. Но покуда не появился Арион и не научил воду петь, была она совсем немая,





как немо сейчас небо.

— Но небо в воду опустил не Арион, — сказал старый Крейцман. — Было то уже позднее, при моем батюшке, — вечная ему память! — и сделал это водяной Кваквакоакс, и все ради любви.

— Как это было? — спросил молодой Зелинка.

— Было это так. Кваквакоакс влюбился. Он увидел принцессу Куакуакунку и запылал к ней любовью, квак! Куакуакунка была прекрасна. Представляете: золотистое лягушачье брюшко, и лягушечьи лапки, и лягушечий рот от уха до уха, и вся она была мокрая и холодная. Вот какая была красавица! Теперь уж таких нет...

— А дальше что? — нетерпеливо спросил водяной Зелинка.

— Ну, что могло быть? Куакуакунка была прекрасна, но горда. Она только надувалась и говорила «квак». Кваквакоакс совсем обезумел от любви. «Если пойдешь за меня замуж, — сказал он ей, — я подарю тебе все, что только пожелаешь». И тут она ему сказала: «Тогда подари мне небесную синеву, квак!»

— И что же сделал Кваквакоакс? — спросил Зелинка.

— Что ему было делать? Он сидел под водой и жаловался: «Ква-ква, ква-ква, ква, ква-ква, ква!» А потом решил лишить себя жизни и потому бросился из воды

в воздух, чтобы в нем утопиться, квак! Никто до него еще в воздух не бросался — Кваквакоакс был первым.

— И что же он сделал в воздухе?

— Ничего. Посмотрел вверх, а над ним было синее небо. Поглядел вниз, а под ним было тоже синее небо. Кваквакоакс ужасно удивился. Ведь тогда еще никто не знал, что небо отражается в воде. И когда Кваквакоакс увидел, что небесная синева уже в воде, он от удивления воскликнул «квак» и опять бросился в воду. А потом посадил Куакуакунку себе на спину и вынырнул с ней на воздух. Куакуакунка увидела в воде синее небо и от радости воскликнула: «Ква-ква!» Потому что, выходит, Кваквакоакс подарил ей небесную синеву.

— А что было дальше?

— Ничего. Жили потом оба очень счастливо, и народилось у них множество лягушат. И с той поры вылезают водяные иногда из воды, чтобы видеть, что и у них дома тоже есть небо. А когда кто-нибудь покидает свой дом, кто бы он ни был, он оглядывается назад, как Кваквакоакс, и видит, что там, дома то есть, и есть настоящее небо. Самое настоящее, синее и прекрасное небо.

— А кто это доказал?

— Кваквакоакс.

— Да здравствует Кваквакоакс!

— И Куакуакунка!

В эту минуту шел мимо один человек и подумал: «Что это тут лягушки не вовремя расквакались?»

Поднял камень и кинул его в болото.

В воде что-то булькнуло, плюхнуло; полетели брызги высоко-высоко. И стало тихо: все водяные нырнули в воду и теперь только в будущем году соберутся на свою конференцию.

РАЗБОЙНИЧЬЯ СКАЗКА

Это было страшно давно, — так давно, что даже покойный старый Зелинка не помнил этого, а он помнит даже моего покойного толстяка-прадедушку. Так вот давным-давно па горах Брендах хозяйничал славный злой разбойник Лотрандо, самый свирепый убийца, какого только видел свет, с двадцатью одним своим при-



спешником, пятьюдесятью ворами, тридцатью мошенниками и двумястами пособниками, контрабандистами и укрывателями. И устраивал этот самый Лотрандо засады на дорогах — либо в Поржич, либо в Костелец, а то и в Гронов, так что, поедет в тех местах какой извозчик, купец, еврей или рыцарь на коне, Лотрандо сейчас на него накинется, гаркнет во все горло и обдерет как липку; и должен был еще радоваться тот бедняга, что Лотрандо не зарезал его, не застрелил либо на суку не повесил. Вот какой был злодей и варвар этот Лотрандо!

Едет себе путник путем-дорогой, «но-но, н-но, пошел, пошел» — на лошадок покрикивает да о том, как бы повыгоднее товар свой в Трутнове продать, мыслью тешится. Вот дорога лесом пошла, и начнет его страх перед разбойниками брать, — ну, он песенку веселую запоет, чтоб не думать об этом. Вдруг откуда ни возьмись — огромный детина, ни дать ни взять гора, — шире господина Шмейкала или господина Ягелека в плечах, да головы на две выше их, да бородатый такой, что и лица не видно. Встанет такой мужичище перед лошадью и заревет: «Кошелек или жизнь!» — да наставит на купца пистолет — толщиной что твоя мортира. Купец, понятно, деньги отдаст, а Лотрандо у него и телегу, и товар, и коня заберет, кафтан, штаны, сапоги с него стащит, да еще кнутом разочка два вытянет, чтоб легче бедняге домой бежалось. Говорю вам, прямо висельник был этот Лотрандо.

А как во всей округе других разбойников не было (был один возле Маршова, да против Лотрандо — просто марала), Лотрандово разбойничье предприятие преотлично шло, так что он очень скоро богаче иного рыцаря стал. И вот, имея малого сыночка, стал старый разбойник соображать: «Отдам-ка я, мол, его в ученье, пускай оно хоть в несколько тысяч влетит, я это себе

позволить могу. Пускай немецкому научится и французскому, всяческие там деликатности — «битшёйн» [1] и «же-вузем» [2] — говорить, и на фортепьянах играть, и «косез» либо «кадрель» танцевать, с тарелки есть, в платок сморкаться, чин чином, как полагается. Я, дескать, хоть и простой разбойник, а сын мой не хуже графского воспитание получит. Как я сказал, так и будет!»

Сказано — сделано. Взял он маленького Лотрандо, посадил его перед собой на седло и поскакал в Броумов. Остановился там у ворот монастыря отцов бенедиктинцев, ссадил сыночка с коня и, громко бренча шпорами, — прямо к отцу настоятелю.

— Вот, ваше преподобие, — говорит грубым голосом, — отдаю вам этого мальчонку на воспитание, чтобы вы его есть, сморкаться и танцевать научили, и «битшёйн» да «же-вузем» говорить, — словом, всему, что полагается знать и уметь кавалеру. И вот вам, — говорит, — на это дело мешок дукатов, луидоров, флоринов, пиастров, рупий, наполеондоров, дублонов, рублей, талеров, гиней, серебряных гривен и голландских золотых, и пистолей, и соверенов, чтоб он жил здесь у вас, как маленький принц.

Сказал, повернулся на каблуках и айда в лес, оставив маленького Лотрандо на попечение отцам бенедиктинцам.

И стал маленький Лотрандо учиться в ихней обители с молодыми принцами, графами и другими отпрысками богатых семей. И толстый отец Спиридон научил его говорить «битшёйн» и «горзамадинр» [3] по-немецки, а отец Доминик вбил ему в голову всякие французские «трешарме» * и «сильвупле» [5], а отец Амедей научил его комплиментам, менуэтам и приятным манерам, а регент г-н Крауппер приучил сморкаться так, чтоб это звучало тонко, будто флейта, и нежно, будто свирель, а не трубить, как контрафагот, тромбон, иерихонская труба, корнет-а-пистон или автомобильная сирена, подобно старому Лотрандо. Словом, обучили его всем утонченнейшим правилам обращения и ухваткам, прилич-

---

[1] прошу вас (от *нем.:* bitte schön).
[2] я вас люблю (от *франц.:* je vous aime).
[3] ваш покорный слуга (от *нем.:* gehorsamer Diener),
[4] я в восхищенье (от *франц.:* très charmé).
[5] пожалуйста (от *франц.:* s'il vous plaî t).

ным настоящему кавалеру. И нужно признать, очень был молодой Лотрандо хорош в своем бархатном костюме с кружевным воротничком; он совсем забыл о том, что вырос в диких Брендских горах, в пещере, среди разбойников, и что отец его, старый грабитель и убийца Лотрандо, ходит в воловьей шкуре, пахнет лошадью и ест сырое мясо, хватая его прямо руками, как все разбойники.

Короче говоря, молодой Лотрандо украшался знаниями и изяществом, и как раз когда в том и другом высшей ступени достиг, вдруг у ворот Броумовской обители раздался топот копыт и косматый приспешник отца его, соскочив с коня, стал колотить в ворота, а потом, впущенный братом привратником, грубым голосом объявил, что приехал за молодым господином Лотрандо, что батюшка его, старый Лотрандо, при смерти и зовет к себе единственного своего сына, чтобы передать ему предприятие. Тут молодой Лотрандо со слезами на глазах простился с достойными отцами бенедиктинцами, а равно и с знатными юношами, проходившими там курс наук, и поехал за приспешником на Бренды, размышляя о том, какое же предприятие хочет ему отказать отец, и в душе обещаясь вести это предприятие богобоязненно, благородно и с примерной учтивостью ко всем людям.

Вот приехали они на Бренды, и повел приспешник молодого хозяина к отцовскому смертному ложу. Лежал старый Лотрандо в огромной пещере, на груде сыромятных воловьих кож, накрытый лошадиной попоной.

— Ну что, Винцек, бездельник? — спросил он посланного. — Привез ты наконец моего малого?

— Дорогой отец, — воскликнул молодой Лотрандо, опускаясь перед ним на колени, — да хранит вас бог долгие годы на радость ближним и несказанную славу вашему потомству.

— Погоди, малец, — промолвил старый разбойник. — Мне нынче отправляться в пекло и некогда мне с тобой канитель разводить. Рассчитывал я оставить тебе большое богатство, чтоб ты жил, не работая. Да — разрази его гром! — понимаешь, парень? Больно для нашего ремесла скверные пришли времена!

— Ах, отец, — вздохнул молодой Лотрандо, — я не имел представления о том, что вы так больны.

— Ну да, — проворчал старик. — К тому же есть у меня злодеи, которые зубы на меня точат, и уж не мог я пускаться далеко отсюда. А соседних дорог купцы, прохвосты, избегать стали. Приспела самая пора дело мое кому помоложе в свои руки взять.

— Дорогой отец, — горячо промолвил юноша, — клянусь вам, призывая весь мир в свидетели, что буду продолжать ваше дело, ведя его честно, усердно и обращаясь со всеми как можно вежливей.

— Уж не знаю, как у тебя насчет вежливости получится, — буркнул старик. — Я поступал так: резал только тех, кто сопротивлялся. А шапки, сынок, ни перед кем не ломал: это к нашему ремеслу, знаешь, как-то не подходит.

— А какое ваше ремесло, дорогой отец?

— Разбой, — ответил старый Лотрандо и помер.

И остался молодой Лотрандо один на свете, потрясенный до глубины души смертью батюшкиной, с одной стороны, и данной ему клятвой самому стать разбойником — с другой.

Через три дня пришел к нему косматый приспешник Винцек и говорит, что им, мол, есть нечего: пора, дескать, заняться делом.

— Дорогой приспешник, — жалобно промолвил молодой Лотрандо, — неужели в самом деле так надо?

— А то как же? — отрубил Винцек. — Тут, сударик, не монастырь: сколько ни читай «Отче наш», никто фаршированного голубя не принесет. Хочешь есть, работай!

Взял молодой Лотрандо отличный пистолет, вскочил на коня и выехал на дорогу, — ну, примерно у Батневице. Сел там в засаду и стал ждать, не проедет ли какой купец, которого можно ограбить. Глядь — и в самом деле: часу не прошло, как показался на дороге торговец красным товаром, — в Трутнов полотно везет.

Выехал молодой Лотрандо из укрытия и отвесил глубокий поклон. Удивился торговец, что такой красивый господин с ним здоровается, — ну, поклонился тоже со словами:

— Желаю долго здравствовать!

Лотрандо подъехал ближе, поклонился еще раз.

— Простите, — промолвил ласково. — Надеюсь, я вас не потревожил.

— Нисколько, — торговец в ответ. — Чем могу служить?

— Убедительно прошу вас, сударь, — продолжал Лотрандо, — не пугайтесь. Я разбойник, страшный Лотрандо с Бренд.

А торговец был хитрый и ничуть не испугался.

— Батюшки, — воскликнул он. — Да мы с вами коллеги. Ведь я тоже разбойник — кровавый Чепелка из Костельца. Не слыхали?



— Не имел чести, — смущенно ответил Лотрандо. — Я тут, многоуважаемый коллега, впервые. Принял предприятие от отца.

— Ага, — сказал господин Чепелка, — от старого Лотрандо с Бренд, да? Это старая разбойничья фирма, с хорошей репутацией. Очень солидное предприятие, господин Лотрандо. От души поздравляю. Но, знаете, я был закадычным другом вашего покойного батюшки. Мы с ним однажды как раз на этом самом месте встретились, и он мне сказал: «Знаешь, кровавый Чепелка? Мы с тобой соседи и товарищи по ремеслу. Давай разделимся по-хорошему: вот эта дорога — из Костельца на Трутново пускай будет твоя, ты грабь на ней один». Так он сказал, и мы ударили с ним по рукам, — понимаете?

— Ах, тысяча извинений! — учтиво ответил молодой Лотрандо. — Я, право, не знал, что это ваша территория. Очень сожалею, что на нее вторгся.

— О, это пустяки!.. — возразил хитрый Чепелка. — Но ваш батюшка сказал еще: «Знай, кровавый Чепелка: ежели я сам или кто из моих людей здесь объявимся, можешь взять у того пистолет, шляпу и кафтан, чтоб он помнил, что это твоя дорога». Вот что сказал старый удалец и на том дал мне руку.

— Если так, — ответил молодой Лотрандо, — я считаю своим долгом покорно просить вас принять от меня этот пистолет с инкрустацией, берет мой с настоящим страусовым пером и кафтан английского бархата — на память и в знак моего глубочайшего уважения, а равно сожаления о том, что я причинил вам такую неприятность.

— Ладно, — ответил Чепелка. — Давайте сюда. Я прощаю вас. Но чтобы вперед, сударь, этого больше не было. Н-но, соколики! Мое почтение, господин Лотрандо.

— Счастливого пути, благородный и великодушный сударь мой! — крикнул ему вслед молодой Лотрандо и вернулся на Бренды не только без добычи, но и без своего собственного кафтана.

Приспешник Винцек жестоко его выбранил и дал ему строгий наказ в следующий раз зарезать и обобрать первого, кто встретится.

На другой день засел молодой Лотрандо со своей тонкой шпагой на дороге возле Збечника. Вскоре показался огромный воз товара.

Вышел молодой Лотрандо и крикнул возчику:

— Мне очень жаль, сударь, но я должен вас зарезать. Будьте добры поскорей помолиться и приготовиться.

Упал на колени возчик, стал молиться, а сам думает, как бы из этой катавасии выпутаться. Раз прочел «Отче наш», другой раз — ничего путного в голову не приходит. Десятый, двадцатый «Отче наш» — все то же.

— Ну как, сударь? — спросил молодой Лотрандо, напустив на себя суровости. — Приготовились вы к смерти?

— Какое! — ответил возчик, стуча зубами. — Ведь я — страшный грешник, тридцать лет в церкви не был, богохульствовал, как нехристь, ругался, дулся в карты, грешил походя. Вот кабы мне в Полице исповедаться, может, господь бог и отпустил бы мне грехи мои, не вверг душу мою в огнь неугасимый. Знаете что? Я мигом в Полице съезжу, исповедуюсь — и обратно. И вы меня зарежете.

— Хорошо, — согласился Лотрандо. — Я пока посижу у вашего воза.

— Ладно — сказал возчик. — А вы одолжите мне, пожалуйста, свою лошадку, чтобы мне скорей вернуться.



Согласился и на это учтивый Лотрандо, и возчик сел на его лошадку, поехал в Полице. А молодой Лотрандо выпряг лошадей возчика и пустил их пастись на луг.

Но возчик этот был большой плут. Не поехал он в Полице исповедоваться, а завернул в ближайший трактир и рассказал там, что на дороге его дожидается разбойник. Потом выпил как следует для храбрости и вместе с тремя половыми двинулся на Лотрандо. И они вчетвером здорово бедному Лотрандо шею накостыляли и прогнали его в горы, и воротился учтивый разбойник к себе в пещеру не только без денег, но и без своей собственной лошадки.

Третий раз выехал Лотрандо на дорогу в Наход и стал ждать добычи. Вдруг видит: ползет повозочка, холстиной завешенная, везет торговец в Наход на ярмарку сплошь одни пряничные сердца. Опять стал Лотрандо на дороге, кричит:

— Проезжий, сдавайся! Я — разбойник!

Так его научил косматый Винцек.

Остановился торговец, почесал себе затылок, приподнял холстину и, обращаясь внутрь, промолвил:

— Слышь, старуха, тут какой-то господин разбойник.

Откинулась холстина, и вылезает из повозки толстая старая тетка. Уперев руки в боки, она напустилась на молодого Лотрандо.

— Ах ты антихрист, архижулик, Бабинский, бандит, Барнабаш, башибузук, черный цыган, черт, черномор,

бездельник, бесстыжая рожа, Голиаф, идиот, Ирод, головорез, грубиян, грабитель, прохиндей, бродяга, брехло, — как ты смеешь так наскакивать на честных, порядочных людей?!

— Простите, сударыня, — сокрушенно прошептал Лотрандо. — Я не подозревал, что в повозке дама.

— Конечно, дама, — продолжала торговка, — да еще какая, ах ты Ирод, Иуда, Каин, крамольник, кретин, кровосос, лентяй, людоед, люцифер, Махмуд, морда, метла, мерзавец!

— Тысяча извинений, что испугал вас, сударыня, — бормотал Лотрандо в полнейшей растерянности. — Трешарме, мадам, сильвупле, выражают глубочайшее сожаление, что... что...

— Убирайся, обормот! — не унималась почтенная дама. — Ты — недоносок, нехристь, нетопырь, негодяй, невежа, зубр, пират, побируха, поганец, пугало, прохвост, рвач, разбойник, Ринальдо Ринальдини, собака, стервец, сатана, ведьмак, висельник, шаромыжник, шкура, веред, вор, тиран, турок, татарин, тигр...

Молодой Лотрандо не стал слушать дальше, а пустился наутек и не остановился даже на Брендах: ему все казалось, что ветер доносит до него что-то вроде: «урод, упырь, уголовник, убийца, зулус, зверюга, злой дух, злыдень, злющий злодей, злотвор, змий, хапуга...»

И так — всякий раз. Возле Ратиборжице молодой разбойник напал на золотую карету, но в ней сидела ратиборжская принцесса; она была так прекрасна, что Лотрандо влюбился в нее и взял у нее только — да и то с ее согласия — надушенный платочек. Понятное дело, банда его на Брендах от этого не стала сытей. В другой раз возле Суховршице напал он на мясника, ведшего в Упице корову на убой, и хотел его зарезать; но мясник просил передать двенадцати его сироткам то да се, — все такие жалостливые вещи, что Лотрандо заплакал и не только отпустил мясника вместе с коровой, а еще навязал ему двенадцать дукатов, чтобы тот каждому из своих ребят по дукату дал — на память о грозном Лотрандо. А мясник этот самый — такая шельма! — был старый холостяк и не то что двенадцати ребят, а кошки у него в доме не водилось.

Короче сказать, всякий раз, как Лотрандо собирался кого-нибудь убить или ограбить, учтивость и чув-

ствительность его мешали ему, так что он не только ни у кого ничего не отнял, а, наоборот, и свое-то все роздал.

Ну, предприятие его совсем в упадок пришло. Приспешники, с косматым Винцеком во главе, разбежались, предпочтя жить и честно работать среди людей. Сам Винцек засыпкой на гроновскую мельницу поступил, ту самую, что до сих пор возле костела стоит. Остался молодой Лотрандо один в своей разбойничьей пещере на Брендах; и стал он голодать, и не знал, что делать. Тут вспомнил он о настоятеле бенедиктинского монастыря в Броумове, очень его любившем, и поехал к нему за советом, как быть.

Войдя к настоятелю, встал молодой Лотрандо перед ним на колени и, плача, объяснил ему, что поклялся отцу стать разбойником, но что, воспитанный в правилах учтивости и любезности, не может никого ни убить, ни ограбить — без согласия жертвы. Так что же, мол, ему теперь предпринять?

Отец настоятель в ответ двенадцать раз нюхнул табачку, двенадцать раз призадумался и наконец промолвил:

— Милый сын мой, хвалю тебя за то, что ты учтив и вежлив в обхождении. Но разбойником ты быть не можешь, — во-первых, потому что это смертный грех, а во-вторых, потому что ты к этому не способен. Однако нельзя нарушать и данной батюшке клятвы. Поэтому и впредь останавливай проезжих, но с честными намерениями: арендуй место у заставы либо у переезда и сиди дожидайся; как увидишь — едет кто, выходи на дорогу и взимай два крейцера пошлины за проезд. Вот и все. При таком деле можно учтивым быть, как ты привык.

Написал отец настоятель окружному начальнику в Трутуове письмо — с просьбой дать молодому Лотрандо место сборщика на одной из застав. Поехал Лотрандо с тем письмом к трутновскому начальнику и получил место на дороге в Залесье. Так сделался учтивый разбойник сборщиком на большой дороге, стал останавливать телеги и кареты, честно взимая с каждой два крейцера пошлины.

Как-то, через много-много лет, велел броумовский настоятель подать бричку и поехал в Упице навестить тамошнего приходского священника. При этом он за-

ранее радовался, что встретит у заставы учтивого Лотрандо и узнает, как тот живет. И в самом деле, у заставы подошел к бричке бородатый человек — это был Лотрандо — и протянул руку, что-то ворча.



Отец настоятель стал доставать кошелек. Но, по причине некоторой тучности, вынужден был, чтобы дотянуться рукой до кармана брюк, другой рукой придерживать живот. И потому вынул кошелек не так быстро, как хотел.

Лотрандо сердито прикрикнул:

— Ну, скоро, что ли? Сколько нужно ждать двух монет?

— У меня нет крейцеров, — сказал отец настоятель, копаясь в мешочке. — Разменяйте мне, пожалуйста, милый, десятикрейцеровик.

— А, чтоб вам пусто было, — рассердился Лотрандо. — Крейцеров нет, так куда вас черти носят? Выкладывайте два крейцера, а не то — заворачивай оглобли!

— Лотрандо, Лотрандо, — с укоризной промолвил отец настоятель, — ты не узнаешь меня? Где же твоя учтивость?

Растерялся Лотрандо: только тут в самом деле узнал он отца настоятеля. И забормотал что-то несуразное; но потом, опамятовавшись, сказал:

— Ваше преподобие, не удивляйтесь теперешней моей неучтивости. Кто же видел мытаря, мостного, таможенника либо судебного исполнителя, который бы не брюзжал?

— Твоя правда, — ответил отец настоятель. — Этого еще никто никогда не видел.

— Ну вот, — проворчал Лотрандо. — И поезжайте ко всем чертям!

Тут — конец сказке об учтивом разбойнике. Он уж, наверно, умер, но потомков его вы встретите во многих,

многих местах и узнаете их по той готовности, с какой они начинают нас ругать неизвестно за что. А этого не должно бы быть...

БРОДЯЖЬЯ СКАЗКА

Так вот, жил-был один бедный человек. Звали-то его, собственно говоря, Франтишек Король, но так его называли только тогда, когда его забирал за бродяжничество стражник и вел в полицейский участок. Там его записывали в толстенную книгу и укладывали спать на нары, а утром опять выгоняли. Вот тогда-то полицейские его и называли «Франтишек Король», а остальные люди называли его совсем иначе: этот бродяга, бездельник, дармоед, оборванец, этот бездомный, этот лентяй, эта подозрительная личность; звали его пропащим, нищим, попрошайкой, типом, гольтепой, индивидом, субъектом, оборвышем, проходимцем и много еще всяких других имен ему давали. Коли платили бы ему за каждое такое имя по кроне, давно мог бы он себе купить желтые ботинки, а может, даже и шляпу; но пока он себе не купил ничего, и было у него только то, что ему люди подавали.

Как видите, упомянутый Франтишек Король не пользовался особенно хорошей репутацией, да и на самом деле был он всего-навсего бродяжка, который только даром небо коптил и ничего другого не умел, как на кишках играть. А знаете, как на кишках играют? Вот как: если у человека утром маковой росинки во рту не было, пообедал он вприглядку и вечером зубы на полку положил, то начинает у него от голода в животе бурчать; тогда и говорят, что он на кишках играет.

Франтишек Король так наловчился играть на кишках, что мог бы хоть концерты давать; была у него, что называется, музыкальная жилка. Правда, одна только жилка, — где ему, бедняге, было мяса взять! Кинут ему кусок хлеба — он его съест; обидное слово ему бросят — он и его проглотит, до того был голодный! А когда ничего не раздобудет, ляжет где-нибудь под забором, ночною тьмой укроется и попросит звездочки приглядеть, чтоб у него во сне никто шапку не украл.

Такой бродяга знает кое-что о жизни: знает, где его покормят, а где угостят только бранью; знает он, где

есть злые собаки, которые на бродяжек точат зубы не хуже стражников. Но вот расскажу я вам об одном псе... как бишь его звали?.. ага, Фоксль. Сейчас уж он, бедный, на том свете. Так этот самый Фоксль служил в замке в Хиже и был такого странного нрава, что только увидит бродягу — визжит от радости, танцует вокруг него и провожает его прямехонько на барскую кухню. А вот если приедет в замок какой-нибудь важный барин — скажем, барон, граф, князь или хоть бы и пражский архиепископ, — так этот Фоксль залает на него как бешеный и непременно укусит, если кучер его не запрет в конюшне... Как видите, и собаки бывают разные, так же как и люди.

Кстати, раз уж мы заговорили о собаках: знаете, ребята, почему собака машет хвостом?

Вот какая история. Сотворив мир, ходил создатель от одной божьей твари к другой и спрашивал у нее, хорошо ли ей жить на свете, всем ли она довольна и тому подобное. Ну, стало быть, дошла очередь и до первого пса на свете. Создатель спросил его, всем ли он доволен и не нужно ли ему чего. Пес хотел покачать головой: мол, господь с вами, ничего мне не надо, но так как он в это же время прислушивался к чему-то ужасно интересному, то ошибся и замахал хвостом. С той поры собака машет хвостом, хотя прочие звери — скажем, конь и корова — умеют кивать головой, как человек. Только свинья не умеет ни качать, ни кивать головой, а все потому, что, когда и ее создатель спросил, всем ли она на белом свете довольна, она продолжала копать рылом землю, искать желуди и только нетерпеливо затрясла хвостиком, словно хотела сказать: «Пардон, минуточку, сейчас мне как раз некогда». С той поры свинья так все время и трясет хвостиком, и в наказание хвостик ее и доныне едят с горчицей и хреном, чтобы ее и после смерти пощипывало. Так уж оно ведется с сотворения мира...

Но ведь я не об этом собирался сегодня рассказывать, а о том бродяжке, которого звали Франтишек Король. Ну-с, наш бродяга обошел почти весь белый свет; побывал даже и в Трутнове и Кралове Градце, и в Скалице, а под конец даже и в Водолове, и в Маршове, и в других далеких краях... Одно время нанялся он к моему дедушке в Жернове, но, сами понимаете, бродяга есть бродяга;

вскоре собрал он свою котомку и побрел опять дальше не то в Старкоче, не то еще куда-то па край света, и опять его и след простыл, — такой уж у него был непоседливый нрав.

Я уже вам говорил, что люди его звали бродягой, непутевым и по-всякому, и иные его называли даже воришкой, жуликом или разбойником, но они его понапрасну обижали: Франтишек Король никогда ни у кого ничего не взял, не украл и не стащил. Уж поверьте мне, и нитки не стянул! Именно потому, что был он такой честный, попал он в конце концов в большую честь. Вот как раз об этом я и хотел вам рассказать.

Стоял однажды этот бродяжка Франтишек на перекрестке возле Подместечка и думал: то ли ему пойти к Вичекам попросить булку, то ли к старому пану Прозе — попросить рогалик. А тут идет мимо него какой-то господин в котелке, с виду, ни дать ни взять, — иностранный турист, важный-преважный, с чемоданчиком в руке. Вдруг подул ветер, сорвал с головы у этого пана котелок и покатил его по дороге.

— Подержи-ка минутку, братец, — крикнул господин и сунул бродяге Франтишеку свой чемодан.

Не успел Франтишек и рта раскрыть, как тот уже мчался за котелком так, что пыль столбом!

Стоит, значит, Франтишек Король с чемоданчиком в руке и ждет, когда хозяин вернется. Ждет полчаса, ждет час, а хозяина все нет и нет. Франтишек боится и за хлебом сбегать — как бы с незнакомцем не разминуться, когда тот вернется за чемоданом. Ждет он два часа, ждет три, а чтобы не скучать, на кишках играет.

Нет того человека и нет, а уж ночь наступает. На небе мерцают звездочки. Весь городок спит, свернувшись, как кошка на печке, и только что не мурлычет — так ему сладко спится, а бедный бродяжка Франтишек все стоит столбом, зябнет, смотрит на звезды и ждет, когда же тот незнакомец воротится.

Как раз пробило полночь, когда услышал он страшный голос:

— Что вы тут делаете?

— Жду одного незнакомого человека, — сказал Франтишек.

— А что у вас в руке? — допытывался страшный голос.

— Это чемоданчик того человека, — говорит бродяга. — Он мне его велел подержать, пока вернется.

— А где тот человек? — спросил в третий раз страшный голос.

— Он побежал шляпу свою догонять, — отвечает Франтишек.

— Ого-го! — сказал грозный голос. — Это подозрительно. Следуйте за мной!

— Да как же? — попытался возражать бродяга. — Я тут должен дожидаться.

— Именем закона вы арестованы! — прогремел грозный голос, и тут только Франтишек Король понял, что это сам пан Боура, стражник, и что спорить не приходится.

Почесал он в затылке, вздохнул и пошел с паном Боурой в участок. Там его записали в толстую книгу и заперли в холодную, да и чемоданчик убрали до тех пор, когда придет пан судья.

Утром привели бродягу пред лицо пана судьи. А был это, дай бог памяти, пан советник Шульц. Теперь уж он то;е в том краю, где нет ни печали, ни воздыхания.

— Ах ты бездельник, негодник, дармоед, — сказал судья, — ты опять тут? Ведь и месяца не прошло, как мы тебя засадили за бродяжничество! Господи, ну и беда мне с тобой, братец! Так за что же тебя забрали? За то, что бродил?

— Да нет, пан судья, — отвечает бродяга Франтишек, — теперь меня забрал пан Боура за то, что я стоял на месте.

— Ну вот видишь, бродяга ты этакий, — говорит пан судья, — зачем же ты стоял? Если бы не стоял, тебя бы не забрали! Но я слышал, что у тебя нашли какой-то чемоданчик? Правда это?

— Простите, ваша милость, — говорит бродяга, — этот чемоданчик дал мне один незнакомый человек.

— Хо-хо! — воскликнул пан судья. — Знаю я этого незнакомого человека! Когда ваш брат что-нибудь стащит, вы всегда говорите, что вам это дал какой-то незнакомый человек. Нас, братец, на мякине не проведешь! А что там в чемоданчике?

— Провалиться мне на этом месте, не знаю! — сказал бродяга Франтишек.

— Ах ты проходимец! — говорит пан судья. — Так мы сейчас сами посмотрим!

Открыл пан судья чемоданчик да так и подскочил от удивления. Чемодан был битком набит деньгами. И когда судья их сосчитал, оказалось, там был один миллион триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать крон девяносто два геллера и сверх того зубная щетка!

— Прах тебя возьми, — закричал пан судья, — где ты это, любезный, украл?

— Помилуйте, паи судья! — отвечает Франтишек Король. — Мне дал подержать чемоданчик один незнакомый человек, который погнался за шляпой, которую с него ветром сорвало.

— Ах ты мошенник! — завопил пан судья. — Ты думаешь, мы тебе поверим? Хотел бы я видеть, кто это доверит такому оборванцу, как ты, один миллион триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать крон девяносто два геллера и сверх того еще зубную щетку!.. Марш в холодную! Будь покоен, мы выясним, у кого ты украл чемодан.

Так-то случилось, что заперли беднягу Франтишека в холодную на долгий-долгий срок.

Прошла зима, и весна миновала, а все еще не нашли никого, кто бы объявил о пропаже этих денег, и вот пан советник Шульц, и пан стражник Боура, и остальные паны в суде и полиции стали уже думать, что Франтишек Король, бродяга без определенных занятий и без постоянного местожительства, неоднократно привлекавшийся к судебной ответственности и вообще голь перекатная, где-то убил и закопал неизвестного человека и похитил у него чемодан с деньгами.

Итак, когда прошел ровно год и один день, снова предстал Франтишек Король перед судом по обвинению в убийстве неизвестного человека и похищении одного миллиона трехсот шестидесяти семи тысяч восьмисот пятнадцати крон девяноста двух геллеров и сверх того зубной щетки.

Ай-ай-ай, беда, ребята, — за такое дело полагается веревка!

— Эй ты, негодяй, злодей, грабитель, — говорит пан судья обвиняемому, — признавайся-ка лучше во всем: где ты того господина убил и закопал? Тебе будет легче висеть, если признаешься.

— Да ведь я ж его не убивал! — защищался бедняга Франтишек. — Он только погнался за той шляпой, как

его и след простыл. Летел он, как портной на ярмарку, а чемодан этот он сам мне сунул в руку.

— Ну-с, — вздохнул пан судья, — если ты так этого хочешь, повесим тебя и без признания... Пан Боура, ну-ка, с божьей помощью, повесьте этого закоренелого злодея!

Не успел он договорить, как распахнулись двери, и в них показался какой-то незнакомый человек, запыхавшийся и весь в пыли.

— Нашелся наконец! — выпалил он.

— Кто нашелся? — спросил пан судья строгим голосом.

— Да котелок! — сказал незнакомец. — Ну и кутерьма была, люди добрые!.. Представляете, иду я с год тому назад по дороге возле Подместечка, и вдруг у меня от ветра с головы котелок слетел. Я кидаю свой чемоданчик неведомо кому и — фью! — мчусь за котелком. А котелок, негодяй этакий, катится по мосту к Сыхрову, от Сыхрова — к Залесью, оттуда — в Ртыню, через Костелец — к Збечнику, через весь Тронов — к Находу, а оттуда — к границе. Я все за ним, уж вот-вот бы его поймал, но на границе меня таможенник задержал, — куда, мол, я так бегу. Я говорю, что дело в шляпе, мол. Пока я ему это растолковал, котелка и след простыл. Ну, переночевал я там и утром опять пустился как угорелый за котелком в Левин и Худобу, где еще эта вонючая вода...

— Погодите, — перебил его пан судья. — Тут суд идет, а не какая-нибудь лекция по географии!

— Так я вам расскажу совсем коротенько, — сказал незнакомец. — В Худобе узнаю, что котелок мой там выпил стакан воды, купил себе тросточку, а потом сел в поезд и поехал в Свиднице. Ну, разумеется, я еду за ним. В Свиднице этот мошенник котелок переночевал в гостинице, ни копейки по счету не заплатил и опять уехал неизвестно куда. Навожу справки и выясняю, что он разгуливает по Кракову и — чтоб ему ни дна ни покрышки! — собирается там жениться на одной вдове. Пришлось ехать за ним в Краков.

— А почему вы за ним так гонялись? — спросил пан судья.

— Ну, — сказал незнакомец, — котелок был еще совсем как новый, а кроме того, я засунул под ленту обрат-

ный билет от Сватоневиц до Старкоче. Билет-то этот мне и нужен был, пан советник!

— А-а, — сказал пан судья, — тогда понятно.

— А как же, — сказал незнакомец. — Не покупать же мне билет второй раз!.. Да, так где я остановился? Ага, еду в Краков. Ладно! Приезжаю я, значит, туда, а котелок — ну не негодяй ли? — укатил первым классом в Варшаву, выдает там себя за дипломата.

— Да ведь это же мошенничество! — воскликнул пан судья.

— Я так и заявил полиции, — продолжал незнакомец, — и телеграфировал в Варшаву, чтобы его задержали. Но, оказывается, мой котелок купил себе шубу — дело шло уже к зиме, — отрастил усы и уехал на восток. Я, само собой разумеется, — за ним. А он в Оренбурге сел на поезд и поехал в Омск, через всю Сибирь! Я — за ним. В Иркутске он потерялся. Наконец я его нагнал в Благовещенске, но он, пройдоха, и там улизнул от меня и покатился по всей Маньчжурии к самому Китайскому морю. На берегу моря я его настиг — воды-то он боялся.

— Там вы его и сцапали? — спросил паи судья.

— Где там! — сказал незнакомец. — Я уже бежал к нему по берегу моря, но в эту самую минуту ветер переменился, и котелок покатился опять на запад. Я — за ним. И так, представляете, гоняли мы по всему Китаю, потом по всему Туркестану то пешком, то в паланкине, то на лошадях, то на верблюдах, пока наконец в Ташкенте он не сел в поезд и не поехал опять в Оренбург. Оттуда — в Харьков, в Одессу, а там в Венгрию, потом повернул на Оломоуц, Чешский Тршебов, на Тыниште и, наконец, опять сюда. И тут я его пять минут назад поймал на площади, когда он собирался идти в трактир. Фаршированного перцу ему, видите ли, захотелось!.. Вот он, голубчик!

С этими словами показал он свой котелок. Вид у него, правда, был сильно потрепанный, но, в общем, никто бы не сказал, что он такой отчаянный гуляка.

— А теперь поглядим, — воскликнул незнакомец, — цел ли мой билет из Сватоневиц в Старкоче!

Он отогнул ленту и достал билет.

— Тут! — крикнул оп победоносно. — Ну-с, теперь, значит, бесплатно поеду в Старкоче.

— Милый вы мой, — сказал пан судья, — а ведь билет-то ваш уже пропал!

— Как — пропал?! — ахнул незнакомец.

— Ну, ведь обратный билет действителен только трое суток, а вашему целый год и день. Так что, милейший, он уже недействителен.

— Тьфу ты пропасть, — сказал незнакомец, — мне это и в голову не пришло! Теперь придется покупать новый билет, а в кармане ни гроша... — Незнакомец почесал в затылке. — Да погодите, ведь я же дал подержать свой чемоданишко с деньгами какому-то человеку, когда погнался за котелком!

— Сколько там было денег? — быстро спросил пан судья.

— Если не ошибаюсь, — ответил незнакомец, — было там один миллион триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать крон девяносто два геллера и, кроме того, зубная щетка.

— Точка-в-точку! — подтвердил пан судья. — Так вот, чемоданчик у нас, со всеми деньгами и с зубной щеткой. А вот стоит тот человек, которому вы дали подержать свой чемоданчик. Зовут его Франтишек Король, и, признаться, я, а также пан Боура осудили его на смерть за то, что он вас ограбил и убил.

— Да что вы! — сказал незнакомец. — Так вы его, беднягу, забрали? Ну ладно, хоть деньги остались целы, а то бы он их прогулял!

Тут пан судья поднялся и торжественно произнес:

— Судом установлено, что Франтишек Король не украл, не похитил, не присвоил, не стащил, а равно и не свистнул из оставленных у него денег ни копейки, ни гроша, ни полушки, то есть ни капли, ни пылинки и ни крошки, хотя, как потом выяснилось, не имел сам денег ни на хлеб, ни на калач, ни на бублик, ни на сайку, ни равным образом на плюшку, сухарь или иную пищу или снедь, называемую также хлебобулочными изделиями, по-латыни cerealia. В силу изложенного суд объявляет, что Король Франтишек невиновен в убийстве или человекоубийстве, по-латыни homicide, невиновен в убиении, умерщвлении, покушении на жизнь, грабеже, насилии, краже и вообще в темных делишках. Наоборот, он день и ночь стоял как вкопанный на одном месте, дабы честно и благородно возвратить владельцу один миллион триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать крон девяносто два геллера и зубную щетку. Вследствие вышеизложенного

объявляю его свободным и оправданным от подозрения, аминь... Черт побери, ребята, здорово у меня язык подвешен, а?

— Лихо, лихо! — сказал незнакомец. — Теперь надо бы дать слово этому честному бродяге.

— А что я могу сказать? — скромно произнес Франтишек Король. — Сроду не брал чужого, даже яблока упавшего не взял! Такой уж у меня характер.

— Ну, братец, — объявил незнакомец, — тогда ты среди бродяг и всех прочих людей просто белая ворона.

— И я то же скажу! — добавил пан стражник Боура, который, как вы, конечно, заметили, до этой минуты не раскрыл рта.

Так-то вот и вышел Франтишек Король вновь на свободу; а в награду за его честность дал ему тот незнакомец столько денег, чтобы мог Франтишек купить дом, в дом — стол, на стол — тарелку, а на тарелку — порцию жареной колбасы.

Но так как у Франтишека Короля карман был дырявый, деньги эти он потерял и опять остался ни с чем. И снова он пошел по свету куда глаза глядят, а по дороге играл на кишках и все думал, почему это его назвали белой вороной.

На ночь забрался он в пустую сторожку и уснул как сурок, а когда поутру высунул голову наружу, светило солнце, весь мир умывался свежей росой, а на заборе серед сторожкой сидела — кто бы вы думали? — БЕЛАЯ ВОРОНА. Франтишек сроду не видал белых ворон и так на нее загляделся, что и дышать позабыл. Была она вся белая, как свежевыпавший снег; глаза у нее были красные, как рубины, а ножки розовые; она чистила себе перышки клювом. Заметив Франтишека, она расправила крылья, словно собираясь улететь, но осталась на месте и недоверчиво поглядывала рубиновым глазом на всклокоченную голову бродяги.

— Эй, ты, — вдруг заговорила она, — не будешь камнями кидаться?

— Не буду, — сказал Франтишек и тут только удивился, что ворона говорит. — Батюшки, да ты, никак, говорить умеешь?

— Подумаешь, велика важность! — сказала ворона. — Мы, белые вороны, все умеем говорить. Это серые вороны каркают, а я все, что хочешь, скажу.

— Да брось ты! — удивлялся Франтишек. — Ну, скажи хотя бы «кран».

— Кран, — сказала ворона.

— Тогда скажи «град», — потребовала Франтишек.

— Град, — повторила ворона. — Ну, теперь видишь, что я умею говорить? Мы, белые вороны, это тебе не кто-нибудь. Обыкновенная ворона умеет считать только до пяти, а белая ворона... до семи! Смотри сам: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! А ты до скольких умеешь считать?

— Ну, хотя бы и до десяти, — сказал Франтишек.

— Да брось ты! Покажи.

— Ну, хоть так: девять ремесел, десятая — нужда!

— Батюшки, — закричала белая ворона, — ты, видно, птица не простая! Мы, белые вороны, тоже не простые птицы. Видал, наверно, в церквах нарисованы такие большие птицы с белыми гусиными крыльями и человеческими клювами?

— А-а, — сказал Франтишек, — это ты про ангелов?

— Да, — сказала ворона. — Понимаешь, это, по сути дела, белые вороны, только мало кто их видел. Нас, милый мой, очень мало.

— Сказать тебе по правде, — отвечал Франтишек, — я ведь тоже белая ворона.

— Ну, — протянула белая ворона недоверчиво, — не очень-то ты белый! А откуда ты знаешь, что ты белая ворона?

— Вчера мне это сказал пан советник Шульц из суда, и один незнакомый пан, и пан стражник Боура.

— Скажи пожалуйста! — удивилась белая ворона. — А как тебя звать?

— Звать меня просто Франтишек Король, — ответил бродяга застенчиво.

— Король? Ты — король? — воскликнула ворона. — Хватит врать! Таких оборванных королей не бывает.

— Хочешь — верь, хочешь — нет, — сказал бродяга, — а я правда Король.

— А в какой земле ты король? — спросила ворона.

— Да повсюду. Тут я Король, и в Скалице Король, да и в Трутнове тоже.

— А в аглицкой земле?

— И в аглицкой тоже был бы Королём.

— А вот уж во Франции не будешь!

— И во Франции тоже. Всюду я буду Король Франтишек.

— Так не может быть, — не верила ворона. — Скажи: «Лопни мои глаза».

— Лопни мои глаза, — поклялся Франтишек.

— Скажи: «Провалиться мне на этом месте», — потребовала белая ворона.

— Да провалиться мне на этом месте, если вру! — сказал Франтишек. — Пусть у меня язык отсохнет...

— Ну, хватит, верю, — перебила его белая ворона. — А у белых ворон тоже можешь быть королем?

— И у белых ворон, — заверил ее Франтишек, — был бы Франтишеком Королем.

— Погоди-ка, — проговорила ворона, — как раз сегодня у нас на Кракорке слет, где мы будем выбирать короля всех ворон. Вороньим королем всегда бывает белая ворона. А раз ты белая ворона, да еще и везде король, то, может, мы тебя и выберем. Знаешь что, ты тут подожди до обеда, а я в обед прилечу рассказать, как прошли выборы.

— Ну что ж, подожду, — согласился Франтишек Король.

Белая ворона расправила белые крылья, и — фрр! — только ее и видели. Она полетела на Кракорку.

Стал тут Франтишек ждать и греться на солнышке.

Как вы знаете, ребята, выборы — дело болтливое; вот и белые вороны на Кракорке долго-долго спорили, судили и рядили и все не могли договориться, пока наконец на Сыхровской фабрике не прогудел гудок на обед. Только тут вороны стали выбирать короля и в конце концов единодушно выбрали королем всех ворон Короля Франтишека.

Но Франтишеку Королю невмоготу было ждать, а того пуще — терпеть голод. В обед он поднялся и отправился в Гронов, к моему дедушке-мельнику, за краюшкой ароматного, свежего хлеба.

И когда белая ворона прилетела сообщить ему, что он избран королем, он был уже далеко, за горами и долами.

Загоревали вороны, что у них пропал король, и белые вороны повелели серым облететь хоть весь свет, но во что бы то ни стало отыскать его, привести и посадить на вороний трон, что стоит в лесу на Кракорке.

С той поры летают вороны по свету и все время кричат: «Карроль! Карроль! Карр! Карр!»

А особенно зимой, когда они соберутся большой стаей, бывает, что вдруг все сразу вспомнят про короля, снимутся с места и полетят над полями и лесами, крича: «Карроль! Карроль! Карр! Карр!»

БОЛЬШАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СКАЗКА

Вы, конечно, ребята, и сами знаете, что в каждом полицейском участке всю ночь дежурят несколько полицейских на тот случай, если что-нибудь стрясется: скажем, к кому-нибудь разбойники полезут или просто злые люди захотят кого обидеть. Вот затем-то и не спят полицейские всю ночь напролет; одни сидят в дежурке, а другие — их называют патрулями — ходят дозором но улицам и присматривают за разбойниками, воришками, привидениями и прочей нечистью.

А когда у этих патрульных ноги заболят, они возвращаются в дежурку, а на смену им идут другие. Так продолжается до самого утра, а чтобы не скучать в дежурке, курят они там трубки и рассказывают друг другу, где что интересное видели.

Вот однажды сидели полицейские, покуривали и беседовали, и тут вернулся один патрульный, как бишь его... ага, пан Халабурд, и говорит:

— Здорово, ребята! Докладываю, что у меня уже ноги заболели!

— Сядь, посиди, — приказал ему старший дежурный, — вместо тебя пойдет в обход пан Голас. А ты нам расскажи, что нового на твоем участке и какие были происшествия.

— Сегодня ночью ничего особенного не случилось, — говорит Халабурд. — На Штепаньской улице подрались две кошки, так я их именем закона разогнал и сделал предупреждение. Потом на Житной улице вызвал пожарных с лестницей, чтобы водворили воробьишку в гнездо. Родителям его тоже сделано предупреждение, что надо лучше смотреть за детьми. А потом, когда шел я вниз по Ячной улице, кто-то дернул меня за штаны. Гляжу, а это домовой. Знаете, тот усатый, с Карловой площади.

— Который? — спросил старший дежурный. — Там их несколько живет: Мыльноусик, Курьяножка, Квачек, по прозвищу Трубка, Карапуз, Пумпрдлик, Шмидркал, Падрголец и Тинтера — он недавно туда переселился.

— Домовой, дернувший меня за брюки, — отвечал Халабурд, — был Падрголец, проживающий на той, знаете, старой вербе.

— А-а! — сказал старший дежурный. — Это, ребята, очень, очень порядочный домовой. Когда на Карловой площади что-нибудь потеряют — ну, там, колечко, мячик, абрикос или хоть леденец, — он всегда принесет и сдаст постовому, как полагается приличному человеку. Ну, ну, рассказывай.

— И вот этот Падрголец, — продолжал Халабурд, — мне говорит:

«Пан дежурный, я не могу домой попасть! В мою квартиру на вербе забралась белка и меня не впускает!»

Я вытащил саблю, пошел с Падргольцем к его вербе и приказал белке именем закона впредь не допускать таких действий, проступков и преступлений, как нарушение общественного порядка, насилие и самоуправство, и предложил ей немедленно покинуть помещение.

Белка на это ответила:

«После дождичка!»

Тогда я снял пояс и плащ и залез на вербу. Когда я добрался до дупла, в котором проживает пан Падрголец, упомянутая белка начала плакать:

«Пан начальник, пожалуйста, не забирайте меня! Я тут у пана Падргольца только от дождя спряталась, у меня в квартире потолок протекает...»

«Никаких разговоров, сударыня, — говорю я ей, — собирайте свои орешки или что там у вас есть и немедленно очистите квартиру пана Падргольца! И если еще хоть раз будете замечены в том, что самоуправно, насилием или хитростью, без разрешения и согласия вторглись в чужое жилище, — я вызову подкрепление, мы вас окружим, арестуем и связанную отправим в полицейский комиссариат! Понятно?»

Вот, братцы, и все, что я нынешней ночью видел.

— А я вот еще в жизни ни одного домового ни разу не видал, — подал голос дежурный Бамбас. — Я до сих пор-то в Дейвицах служил, а там, в этих новых домах, никаких таких привидений, сказочных существ или, как

это говорится, сверхъестественных явлений не наблюдается.

— Тут их полным-полно, — сказал старший дежурный. — А раньше сколько их было, ого-го! Например, у Шитковской плотины испокон веков водяной проживает. С ним, правда, полиции никогда дела иметь не приходилось, вполне приличный был водяной. Вот Либеньский водяной — тот старый греховодник, а Шитковский был очень порядочный парень! Управление пражского водопровода даже назначило его главным городским водяным и платило жалованье. Этот Шитковский водяной наблюдал за Влтавой, чтобы не высыхала. И наводнений он не устраивал. Наводнения делали водяные с верхней Влтавы — ну, там Выдерский, Крумловский и Звиковский. Но Либеньский водяной из зависти подговорил его, чтобы он потребовал за свою работу от магистрата чин и должность советника; а в магистрате ему отказали — говорят, высшего образования у него нет, тут Шитковский водяной обиделся и переехал в Дрезден. Теперь там воду гонит. Ни для кого ведь не секрет, что в Германии все водяные на Эльбе — сплошь чехи! А у Шитковской плотины с тех пор водяного не осталось. Потому-то в Праге иногда не хватает воды...

А на Карловой площади танцевали по ночам Светилки. Но поскольку это было неприлично и люди их боялись, управление городского хозяйства заключило с ними договор, что они переселятся в парк и там служащий газовой компании будет их вечером зажигать, а утром гасить. Но когда началась война, этого служащего призвали в армию, и так дело со Светилками забылось.

А уж насчет русалок, так их в одной Стромовке было семнадцать хвостов; но из них три ушли в балет, одна подалась в кино, а одна вышла за какого-то железнодорожника из Стршешовиц.

Всего зарегистрированных в полиции домовых и гномов, прикрепленных к общественным зданиям, монастырям, паркам и библиотекам, в Праге насчитывается триста сорок шесть штук, не считая домовых в частных домах, о которых точных сведений не имеется. Привидений в Праге была уйма, но теперь с ними покончено, поскольку научно доказано, что никаких привидений не бывает. Только на Малой Стране кое-кто до сих пор тайно

и незаконно держит на чердаках одно-два привидения, как мне тут рассказывал коллега из малостранского полицейского комиссариата. Вот, насколько мне известно, и все.

— Не считая того дракона, или, как его, змея, — подал голос стражник Кубат, — которого убили на Жижкове.

— Жижков? — произнес старший. — Это не мой район. Отроду там не дежурил. Потому, наверно, и не слыхал о драконе.

— А я в этом деле лично участвовал, — сказал стражник Кубат. — Правда, вообще расследовал дело и вел операцию коллега Вокоун. Давненько уж это все было. Так вот, однажды вечером говорит этому Вокоуну одна старая тетка — была это пани Часткова; она сигаретами торговала, но, по сути дела, была она, должен я вам сказать, ведьмой, колдуньей, или, вернее, вещуньей. Словом, говорит эта пани Часткова, что она нагадала на картах, будто дракон Гульдаборд держит в полоне прекрасную деву, которую он похитил у родителей, а дева эта, мол, мурцианская принцесса. «Мурцианская или не мурцианская, — сказал на это коллега Вокоун, — а дракон должен девчонку вернуть родителям, иначе с ним будет поступлено согласно уставу, инструкциям и наставлениям, а также служебным предписаниям!» Сказал так, опоясал себя казенной саблей — и марш искать дракона. Всякий, понятно, так сделал бы на его месте.

— Еще бы! — сказал стражник Бамбас. — Но у меня ни в Дейвицах, ни в Стршешовицах никаких драконов не наблюдалось. Ну, дальше.

— И вот, значит, коллега Вокоун, — продолжал Кубат, — захватив холодное оружие, отправился, значит, прямо ночью к Еврейским печам. И, провалиться мне, вдруг слышит: в одной яме или там пещере кто-то жутким басом разговаривает. Посветил он служебным фонариком и видит: сидит в пещере страшный дракон с семью головами; и все эти головы сразу разговаривают, спрашивают, отвечают, а некоторые даже ругаются! Сами знаете, у этих драконов нет никаких манер, а уж если есть, то только самые скверные. А в углу пещеры, и правда, рыдает прекрасная дева, затыкая себе уши, чтобы не слышать, как драконьи головы говорят все сразу басом.

— Эй вы, гражданин, — обратился коллега Вокоун к дракону — вежливо, но с официальной строгостью, — предъявите документы! Есть у вас какие-нибудь бумаги: служебное удостоверение, паспорт, удостоверение личности, справка с места работы или иные документы?

Тут одна драконья голова захохотала, вторая стала богохульствовать, третья сквернословить, четвертая бранилась, пятая дразнилась, шестая гримасничала, а седьмая показала Вокоуну язык.

Но коллега Вокоун не растерялся и громко закричал:

— Именем закона, собирайтесь и идемте немедленно со мной в полицию! И вы, девушка, тоже!

— Ишь чего захотел! — закричала одна из драконьих голов. — Да знаешь, ли ты, мошка человечья, кто я такой? Я — дракон Гульдаборд!

— Гульдаборд с Гранадских гор! — прорычала вторая голова.

— Именуемый также Великим мульгаценским змеем! — добавила третья.

— И я тебя проглочу! — рявкнула четвертая. — Как малину!

— Разорву тебя в клочки, разотру в порошок, разобью вдребезги и вдобавок дух из тебя вышибу! — загремела пятая.

— И голову тебе сверну! — проворчала шестая.

— Мокрого места от тебя не останется! — добавила седьмая страшным голосом.

Как, по-вашему, ребята, что сделал тут коллега Вокоун? Думаете, испугался? Не тут-то было! Когда он увидел, что добром ничего не выходит, взял он свою полицейскую дубинку и изо всей силы стукнул по всем драконьим башкам, а сила у него немалая.

— Ах, батюшки! — сказала первая голова. — А ведь неплохо!

— У меня как раз темя чесалось, — добавила вторая.

— А меня мошка в затылок кусала, — фыркнула третья.

— Миленький, — сказала четвертая, — пощекочи меня еще своей палочкой!

— Только посильней, — посоветовала пятая, — а то я не чувствую!

— И левее, — потребовала шестая, — у меня там страшно чешется!

— Для меня твой прутик слишком тонкий, — заявила седьмая. — У тебя там ничего покрепче нет?

Тут Вокоун вытащил саблю и семь раз рубанул по драконьим головам — чешуя на них так и забренчала.

— Так уж немного получше, — сказала первая драконья голова.

— По крайней мере, одной блохе ухо отрубил, — обрадовалась вторая, — у меня ведь блохи стальные!

— А у меня вытащил тот волосок, который меня так щекотал, — говорит третья.

— А мне прыщик сковырнул, — похвалилась четвертая.

— Этим гребешком можешь меня каждый день причесывать! — буркнула пятая.

— А я этой пушинки и не заметила, — сообщила шестая.

— Золотко мое, — сказала седьмая голова, — погладь меня еще разочек!

Тут Вокоун вытащил свой казенный револьвер и пустил по пуле в каждую драконью голову.

— Проклятье! — завопил Змей. — Не сыпь в меня песком, он мне в волосы набьется! Тьфу ты, мне пылинка в глаз влетела! И что-то в зубах завязло! Ну, пора и честь знать! — заревел дракон, откашлялся всеми семью глотками, и из всех семи его пастей в Вокоуна ударило пламя.

Коллега Вокоун не испугался; он достал служебную инструкцию и быстренько прочитал, что полагается делать полицейскому, когда против него выступают превосходящие силы противника; там было сказано, что в таких случаях следует вызвать подкрепление. Потом он посмотрел в инструкции, что надо делать в случае обнаружения огня; там говорилось, что следует вызвать по телефону пожарных. Прочитав, он стал действовать по инструкции — вызвал по телефону подкрепление из полиции и пожарную команду.

На подмогу прибежало нас как раз шестеро: коллеги Рабас, Матас, Голас, Кудлас, Фирбас и я. Коллега Вокоун нам сказал:

— Ребята, нам надо освободить девчонку из-под власти этого дракона. Дракон этот, увы, бронированный, так что сабля его не берет, но я установил, что на шее у него есть местечко помягче, чтобы он мог наклонять голову. Итак, когда я скажу «три», вы все разом ударите

дракона саблей по шее. Но сперва пожарные должны потушить это пламя, чтобы оно нам не опалило мундиры!

Не успел он это сказать, как послышалось: «Тра-ра-ра!» — и на место происшествия прибыло семь пожарных машин с семью пожарными.

— Пожарные, внимание! — крикнул молодецким голосом Вокоун. — Когда я скажу «три», каждый из вас пустит струю из шланга прямо в пасть дракона; старайтесь попасть в глотку — оттуда-то и бьет пламя. Итак, внимание: раз, два, три!

И как только он сказал: «Три!» — пожарные пустили семь струй воды прямехонько в семь драконьих пастей, из которых так и било пламя, как из автогенной горелки. Ш-ш-ш!.. Ну и зашипело же! Дракон давился и захлебывался, кашлял и чихал, шипел и хрипел, храпел и ругался, отплевывался и фыркал, кричал «мама» и молотил вокруг себя хвостом, но пожарные не сдавались и лили и лили воду, пока из семи драконьих пастей вместо огня не повалил пар, как из паровоза, так что ничего нельзя было и в двух шагах разглядеть. Потом пар рассеялся, пожарные остановили воду, сирена заревела, и они помчались домой, а дракон, весь обмякший и вялый, только фыркал, отплевывался, вытирал глаза и ворчал:

— Погодите, ребята, я вам этого не спущу!

Но тут коллега Вокоун как крикнет:

— Внимание, братцы: раз, два, три!

И только он сказал «три», как мы все дружно полоснули саблями по семи драконьим шеям, и семь голов полетели на землю, а из семи обрубленных шей хлынула вода, как из колонки, — столько ее налилось в этого дракона!

— А теперь пошли к этой мурцианской принцессе, — сказал Вокоун. — Только смотрите осторожнее, мундиры не забрызгайте!

— Благодарю тебя, доблестный рыцарь, — сказала девушка, — за то, что ты освободил меня от власти этого Змея. Я играла с подружками в мурцианском парке в волейбол, в салки и в прятки, когда налетел этот толстый старый Змей и понес меня без остановки прямо сюда!

— А как вы, барышня, летели? — осведомился Вокоун.

— Через Алжир и Мальту, Белград и Вену, Зноймо, Чеслав, Забеглице и Страшнице прямо сюда, за тридцать два часа семнадцать минут и пять секунд франко-нетто! — сказала мурцианская принцесса.

— Выходит, этот дракон побил рекорд полета на дальность с пассажиром, — удивился коллега Вокоун. — Я вас, барышня, поздравляю! А теперь надо бы телеграфировать вашему батюшке, чтобы он за вами кого-нибудь прислал.

Не успел он договорить, как подлетел автомобиль. Из него выскочил король мурцианский с короной на голове, весь в горностае и бархате. От радости он запрыгал на одной ножке и закричал:

— Деточка дорогая, наконец-то я тебя нашел!

— Минутку, ваша милость, — прервал его Вокоун. — Вы на своей машине превысили установленную скорость езды. Понятно? Заплатите семь крон штрафу!

Король мурцианский начал шарить по всем карманам, бормоча:

— Ну и осел же я! Ведь взял с собой семьсот дублонов, пиастров и дукатов, тысячу песет, три тысячи шестсот франков, триста долларов, восемьсот двадцать марок, тысячу двести шестнадцать чешских крон, девяносто пять геллеров, а теперь в кармане у меня ни гроша, ни копейки, ни полушки! Видно, все истратил по дороге на бензин и на штрафы за езду с недозволенной скоростью. Благородные рыцари, эти семь крон я пришлю со своим визирем!

Затем мурцианский король откашлялся, положил себе руку на грудь и обратился к Вокоуну:

— Как мундир твой, так и твой величавый вид говорят мне, что ты либо славный воин, либо принц, либо, наконец, государственный муж. За то, что ты освободил мою дочь и заколол страшного мульгаценского Змея, я должен бы предложить тебе ее руку, но у тебя на левой руке я вижу обручальное кольцо, из чего заключаю, что ты женат. Детишки есть?

— Есть, — отвечал Вокоун. — Есть трехлетний сынишка и дочка, еще грудная.

— Поздравляю, — сказал мурцианский король. — А у меня только вот эта девчонка. Погоди-ка! Придумал: тогда я тебе отдам половину своего мурцианского королевства! Это будет примерно семьдесят тысяч четыреста

пятьдесят девять квадратных километров площади, семь тысяч сто пять километров железных дорог, плюс двенадцать тысяч километров шоссейных дорог и двадцать два миллиона семьсот пятьдесят тысяч девятьсот одиннадцать жителей обоего пола. Ну как — по рукам?

— Пан король, — отвечал Вокоун, — тут есть закавыка. Я и мои товарищи убили дракона, исполняя служебные обязанности, поскольку он не повиновался властям и отказался идти со мною в полицию, оказав сопротивление. А при исполнении служебных обязанностей никто из нас не имеет права принимать никаких наград или подарков, ни в коем случае! Это запрещено!

— А-а! — сказал мурцианский король. — Но тогда я бы мог эту половину мурцианского королевства со всем хозяйством преподнести в дар всей пражской полиции, в знак моей королевской благодарности.

— Это бы еще куда ни шло, — заявил Вокоун, — но и тут есть некоторое затруднение. У нас под наблюдением вся Прага, вплоть до городской черты. Представляете, сколько у нас хлопот и беготни? А если нам еще придется за половиной мурцианского царства присматривать, мы до того избегаемся, что ног под собой чуять не будем. Пан король, мы вас очень, очень благодарим, но с нас и Праги хватает!

— Ну, тогда, — сказал мурцианский король, — дам я вам, братцы, пачку табаку, которую я захватил с собой в дорогу. Это настоящий мурцианский табак, и хватит его как раз на семь трубок, если только не будете их слишком набивать. Ну, дочурка, давай в машину, и поехали!

А когда он укатил, мы, то есть коллеги Рабас, Голас, Матас, Кудлас, Фирбас, Вокоун и я, пошли в дежурку и набили себе трубки этим мурцианский табаком. Ребята, доложу я вам, такого табаку я сроду еще не курил! Был он не очень крепкий, зато пахнул медом, чаем, ванилью, корицей, гвоздикой, фимиамом и бананами, но жаль, у нас трубки очень прокоптели, так что мы этого аромата и не почувствовали...

Дракона же хотели отдать в музей, но когда за ним приехали, он весь превратился в студень, — верно, потому, что так намок и набрался воды...

Вот и все, что я знаю.

* * *

Когда Кубат досказал сказку о драконе в Жижкове, все стражники некоторое время молча покуривали: видно, думали про мурцианский табак. Потом заговорил стражник Ходера:

— Раз тут коллега Кубат рассказал вам о жижковском драконе, так я уж вам расскажу про дракона с Войтешской улицы. Шел я как-то обходом по Войтешской улице и вдруг, представляете себе, вижу на углу, возле церкви, громаднейшее яйцо. Такое здоровенное, что и в каску бы мою не влезло, и тяжелое-претяжелое, словно из мрамора.

«Вот так штука, — говорю себе, — это не иначе как страусовое яйцо или что-нибудь в этом роде! Отнесу-ка я его в управление, в отдел находок, — хозяин, наверно, заявит о пропаже».

Тогда в этом отделе работал коллега Поур; у него как раз от простуды ломило поясницу, и потому он так натопил печку, что в комнатах было жарко, как в трубе, как в духовке или как в сушилке!

— Привет, Поур, — говорю, — жарко у тебя тут, как у чертовой бабушки на печке! Докладываю, что нашел на Войтешской улице какое-то яичко.

— Так сунь его куда-нибудь, — говорит Поур, — и садись, я тебе расскажу, чего я натерпелся от этой поясницы!

Ну, поговорили мы с ним о том, о сем — уже и смеркаться стало, и вдруг слышим в углу какой-то хруст и треск. Зажгли мы свет, смотрим — а из яйца вылезает дракон. Не иначе, как жара подействовала! Ростом он был не больше, сказать, фокстерьера, но это был змей, мы это сразу поняли, потому что у него было семь голов. Тут бы никто не ошибся.

— Вот так номер, — сказал Поур, — что же нам с ним делать? На живодерню, что ли, позвонить, чтобы его забрали?

— Слышь-ка, Поур, — говорю ему, — дракон — животное очень редкое. Я думаю, надо в газету объявление дать. Хозяин отыщется.

— Ну ладно, — сказал Поур. — А только чем мы его пока будем кормить? Попробуем накрошить ему хлебца в молоко. Детишкам молоко всего полезнее!

Накрошили мы семь булок в семь литров молока. Поглядели бы вы, как наш драконенок накинулся на угощенье! Головы отталкивали друг друга от миски, рычали друг на друга и лакали так, что всю канцелярию обрызгали. Потом одна за другой облизнулись и легли спать. Тогда Поур запер змея в помещении, где лежали все утерянные и найденные в Праге вещи, и дал в газеты такое объявление:

«Щенок дракона, только что вылупившийся из яйца, найден на Войтешской улице. Приметы: семиголовый, в желтых и черных пятнах. Владельца просят обратиться в полицию, в отдел находок».

Когда поутру Поур пришел в свою канцелярию, он только и смог выговорить:

— Елки-палки, батюшки-светы, гром и молния, чтоб тебе провалиться, ни дна ни покрышки, будь ты проклят, чтобы не сказать большего!

Ведь этот самый змей за ночь сожрал все вещи, которые в Праге потерялись и нашлись: кольца и часы, кошельки, бумажники и записные книжки, мячи, карандаши, пеналы, ручки, учебники и шарики для игры, пуговицы, кисточки и перчатки и вдобавок все казенные папки, акты, протоколы, и подшивки, — словом, все, что было в канцелярии Поура, в том числе и его трубку, лопатку для угля и линейку, которой Поур линовал бумагу. Столько всего эта тварь съела, что стала вдвое больше ростом, а некоторым головам стало от этого обжорства даже плохо.

— Так дело не пойдет, — сказал Поур, — я такую скотину здесь держать не могу!

И он позвонил в Общество покровительства животным, чтобы вышеупомянутое Общество великодушно предоставило у себя место драконьему детенышу, как призревает оно бездомных собак и кошек.

— Пожалуйста, — отвечало Общество и взяло драконеныша в свой приют. — Только надо бы знать, — продолжало оно, — чем, собственно, эти драконы питаются. В учебниках биологии об этом ни звука!

Решили проверить это на опыте и стали кормить драконенка молоком, сосисками, яйцами, морковью, кашей и шоколадом, гусиной кровью и гусеницами, сеном и горохом, баландой, зерном и колбасой по особому заказу, рисом и пшеном, сахаром и картошкой, да еще и крен-

делямя. Дракон уписывал все; и, кроме того, он слопал у них все книги, газеты, картины, дверные задвижки и вообще все, что у них там было; а рос он так, что скоро стал больше сенбернара.

И тут пришла на имя Общества телеграмма из далекого Бухареста, в которой было волшебными письменами написано:

«Драконий детеныш — заколдованный человек.

Подробности лично. Приеду ближайшие триста лет.

Волшебник Боско».

Тут Общество покровительства животным почесало в затылке и сказало:

— Если этот дракон — заколдованный человек, то это не но нашей части и мы его держать у себя не можем. Надо отправить его в приют или в детский дом!

Но приюты и детские дома ответили:

— Нет уж, если человек превращен в животное, то это уже не человек, а животное, и им занимаемся не мы, а Общество покровительства животным!

И договориться они никак не могли; в результате ни Общество, ни детские дома не хотели держать у себя дракона, а бедный дракон так расстроился, что и есть перестал; особенно грустили его третья, пятая и седьмая головы.

А был в том Обществе один маленький, худенький человек, скромный и незаметный, как мышка, звали его как-то на Н: Новачек, или Нерад, или Ногейл... да нет звали его Трутина! И когда этот Трутина увидел, как драконьи головы одна за другой сохнут от горя, он сказал:

— Уважаемое Общество! Человек это или зверь, я готов взять этого дракона к себе домой и как следует заботиться о нем!

Тут все сказали:

— Ну и прекрасно!

И Трутина взял дракона к себе домой.

Надо признаться, заботился он о драконе, как и обещал, добросовестно, кормил его, чесал и гладил: Трутина очень любил животных. По вечерам, возвращаясь с работы, он выводил дракона на прогулку, чтобы тот немного размялся и дракон бегал за ним, как собачонка, и вилял хвостом. Отзывался он на кличку Амина.

Однажды вечером заметил их живодер и говорит:

— Пан Трутина, что это у вас за зверь? Если это дикий зверь, хищник или еще что, то его водить по улицам нельзя; а если это собака, то вы обязаны купить ей жетон и ошейник!

— Это собака редкостной породы, — отвечал Трутина, — так называемый драконий пинчер, или семиглавый змеепес. Правда, Амина?.. Не сомневайтесь, пан живодер, я куплю ей номер и ошейник!

И Трутина купил Амине собачий номер, хотя пришлось ему, бедняжке, отдать за него последние деньги.

Но вскоре снова ему встретился живодер и сказал:

— Это не дело, господин Трутина! Раз у вашей собачки семь голов, то и жетонов должно быть семь и семь ошейников, потому что, по правилам, на каждой собачьей шее должен висеть номер.

— Пан живодер, — возразил Трутина, — да ведь у Амины номер на средней шее!

— Это безразлично, — сказал живодер, — ведь остальные шесть голов бегают без ошейников и номеров, как бродячие собаки! Я этого не потерплю! Придется забрать вашего пса!

— Погодите еще три дня, — взмолился Трутина, — я куплю Амине номерки!

И пошел домой грустный-прегрустный, потому что денег у него не было ни гроша.

Дома он чуть не заплакал, так было ему горько; сидел он и представлял себе, как живодер заберет его Амину, продаст ее в цирк или даже убьет. И, услышав, как он вздыхает, дракон подошел к нему, и положил ему на колени все семь голов, и посмотрел ему в глаза своими прекрасными грустными глазами; такие прекрасные, почти человеческие глаза бывают у всякого зверя, когда он смотрит на человека с доверием и любовью.

— Я тебя никому не отдам, Амина, — сказал Трутина и погладил дракона по всем семи головам. Потом он взял часы — отцовское наследство, взял свой праздничный костюм и лучшие ботинки, все продал и еще призанял деньжат и на все эти деньги купил шесть собачьих номеров и ошейников и повесил своему дракону на шею. Когда он снова вывел Амину на прогулку, все жетоны звенели и бренчали, словно ехали сани с бубенцами.

Но в тот же вечер пришел к Трутине хозяин того дома, где он жил, и сказал:

— Пан Трутина, мне ваша собака что-то не нравится! Я, правда, в собаках не разбираюсь, но люди говорят, что это дракон, а драконов я в своем доме ее потерплю!

— Пан хозяин, — сказал Трутина, — ведь Амина никого не трогает!

— Это меня не касается! — сказал домовладелец. — В приличных домах драконов не держат, и точка! Если вы эту собаку не выкинете, то с первого числа потрудитесь освободить квартиру! Я вас предупредил, а за сим честь имею кланяться!

И он захлопнул за собой дверь.

— Видишь, Амина, — заплакал Трутина, — еще и из дому нас выгоняют! Но я тебя все равно не отдам!

Дракон тихонько подошел к нему, и глаза его так чудесно сияли, что Трутина совсем растрогался.

— Ну, ну, старина, — сказал он, — знаешь ведь, что я тебя люблю!

На другой день, глубоко озабоченный, пошел он на работу (он служил в каком-то банке писцом). И вдруг его вызвал к себе начальник.

— Пан Трутина, — сказал начальник, — меня не интересуют ваши личные дела, но до меня дошли странные слухи, будто вы держите у себя дракона! Подумать только! Никто из ваших начальников не держит драконов! Это мог бы себе позволить разве какой-нибудь король или султан, а уж никак не простой служащий! Вы, пан Трутина, живете явно не по средствам! Либо вы избавитесь от этого дракона, либо я с первого числа избавлюсь от вас!

— Пан начальник, — сказал Трутина тихо, но твердо, — я Амину никому не отдам!

И пошел домой такой грустный, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Сел он дома на стул, ни жив ни мертв от горя, и из глаз его потекли слезы. И вдруг он почувствовал, что дракон положил ему головы на колени. Сквозь слезы он ничего не видел, а только гладил дракона по головам и шептал:

— Не бойся, Амина, я тебя не оставлю.

И вдруг показалось ему, что голова Амины стала мягкой и кудрявой. Вытер он слезы, поглядел — а перед

ним вместо дракона стоит на коленях прекрасная девушка и нежно смотрит ему в глаза.

— Батюшки! — закричал Трутина. — А где же Амина?!

— Я принцесса Амина, — отвечала красавица. — До этой минуты я была драконом — меня превратили в дракона, потому что я была гордая и злая. Но уж теперь я буду кроткой, как овечка!

— Да будет так! — раздался чей-то голос. В дверях стоял волшебник Боско. — Вы освободили ее, пан Трутина, — сказал он. — Любовь всегда освобождает людей и животных от злых чар.

Вот как здорово получилось, правда, ребята? А отец этой девушки просит вас немедленно приехать в его царство и занять его трон. Так что живей, а то как бы нам на поезд не опоздать!

* * *

— Вот и конец истории с драконом с Войтешской улицы, — закончил Ходера. — Если не верите, спросите у Поура.

ПОЧТАРСКАЯ СКАЗКА

Ну, скажите на милость: ежели могут быть сказки о всяких человеческих профессиях и ремеслах — о королях, принцах и разбойниках, пастухах, рыцарях и колдунах, вельможах, дровосеках и водяных, — то почему бы не быть сказке о почтальонах? Взять, к примеру, почтовую контору: ведь это прямо заколдованное место какое-то! Всякие тут тебе надписи: «курить воспрещается», и «собак вводить воспрещается», и пропасть разных грозных предупреждений... Говорю вам: ни у одного волшебника или злодея в конторе столько угроз в запретов не найдешь. По одному этому уже видно, что почта — место таинственное и опасное. А кто из вас, дети, видел, что творится на почте ночью, когда она заперта? На это стоит посмотреть!.. Один господин — Колбаба но фамилии, а по профессии письмоносец, почтальон — на самом деле видел и рассказал другим письмоносцам да почтальонам, а те — другим, пока до меня

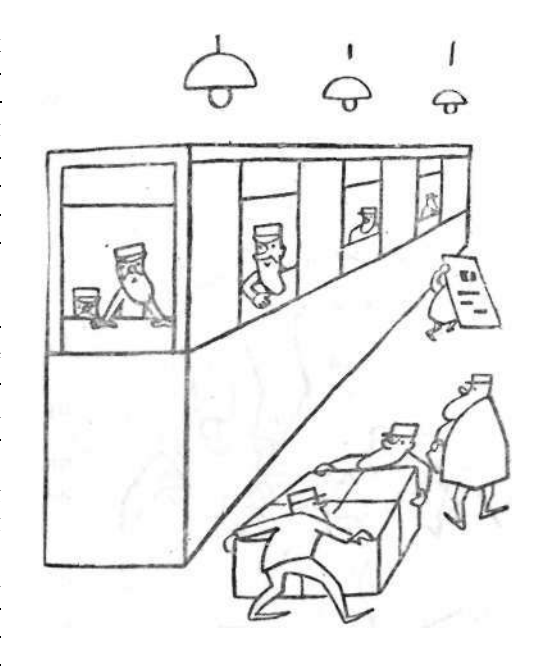
не дошло. А я не такой жадный, чтобы ни с кем не поделиться. Так уж поскорей с плеч долой. Начинаю.



Надоело г-ну Колбабе, письмоносцу и почтальону, почтовое его ремесло: дескать, сколько письмоносцу приходиться ходить, бегать, мотаться, спешить, подметки трепать да каблуки стаптывать; ведь каждый божий день нужно двадцать девять тысяч семьсот тридцать пять шагов сделать, в том числе восемь тысяч двести сорок девять ступеней вверх и вниз пройти; а разносишь все равно одни только печатные материалы, денежные документы и прочую ерунду, от которой никому никакой радости; да и контора почтовая — место неуютное, невеселое, где никогда ничего интересного не бывает. Так бранил г-н Колбаба на все лады свою почтовую профессию. Как-то раз сел он на почте возле печки, пригорюнившись, да и заснул, и не заметил, что шесть пробило. Пробило шесть, и разошлись все почтальоны и письмоносцы по домам, заперев почту. И остался г-н Колбаба там взаперти, спит себе.

Вот, ближе к полуночи, просыпается он от какого-то шороха: будто мыши на полу возятся. «Эге, — подумал г-н Колбаба, — у нас тут мыши; надо бы мышеловку поставить». Только глядит: не мыши это, а здешние, конторские домовые. Эдакие маленькие, бородатые человечки, ростом с курочку-бентамку, либо белку, либо кролика дикого или вроде того; а па голове у каждого почто-

вая фуражка — ни дать ни взять настоящие почтальоны; и накидки на них, как на настоящих письмоносцах. «Ишь чертенята!» — подумал г-н Колбаба, а сам ни гугу, губами не пошевелил, чтобы их не спугнуть. Смотрит: один из них письма складывает, которые ему, Колбабе, утром разносить; второй почту разбирает; третий посылки взвешивает и ярлычки на них наклеивает; четвертый сердится, что, мол, этот ящик не так обвязан, как полагается; пятый сидит у окошка и деньги пересчитывает, как почтовые служащие делают.



— Так я и думал, — ворчит. — Обчелся этот почтовик на один геллер. Надо поправить.

Шестой домовой, стоя у телеграфного аппарата, телеграмму выстукивает — эдак вот: так так так так так так так так. Но г-н Колбаба понял, что он телеграфирует. Человеческими словами вот что: «Алло, министерство почты? Почтовый домовой номер сто тридцать один. Доношу все порядке точка. Коллега эльф Матлафоусек кашляет сказался больным и не вышел работу точка. Перехожу на прием точка».

— Тут письмо в Каннибальское королевство, город Бамболимбонанду, — промолвил седьмой коротыш. — Где это такое?

— Это тракт на Бенешов, — ответил восьмой мужичок с ноготок. — Припиши, коллега: «Каннибальское королевство, железнодорожная станция Нижний Трапезунд, почтовое отделение Кошачий замок. Авиапочта».



Ну вот, все готово. Не перекинуться ли нам, господа, в картишки?

— Отчего же, — ответил первый домовой и отсчитал тридцать два письма. — Вот и карты. Можно начинать.

Второй домовой взял эти письма и стасовал.

— Снимаю, — сказал первый чертик.

— Ну, сдавай, — промолвил второй.

— Эх,эх! — проворчал третий. — Плохая карта!

— Хожу, — воскликнул четвертый и шлепнул письмом по столу.

— Крою, — возразил пятый, кладя новое письмо на то, которое положил первый.

— Слабовато, приятель, — сказал шестой и тоже кинул письмо.

— Шалишь. Покрупней найдется, — промолвил седьмой.

— А у меня козырной туз! — крикнул восьмой, кидая свое письмо на кучку остальных.

Этого, детки, г-н Колбаба выдержать не мог.

— Позвольте вас спросить, господа карапузики, — вмешался он. — Что это у вас за карты?

— А-а, господин Колбаба! — ответил первый домовой. — Мы вас не хотели будить, но раз уж вы проснулись, садитесь сыграть с нами. Мы играем просто в марьяж.

Господин Колбаба не заставил просить себя дважды и подсел к домовым.

— Вот вам карты, — сказал второй домовой и подал ему несколько писем. — Ходите.

Смотрит г-н Колбаба на те письма, что у него в руках, и говорит:

— Не в обиду будь вам сказано, господа карлики, — нету в руках у меня никаких карт, а одни только недоставленные письма.

— Вот-вот, — ответил третий мужичок с ноготок. — Это и есть наши игральные карты.

— Гм, — промолвил г-н Колбаба. — Вы меня простите, господа, но в игральных картах должны быть самые младшие — семерки, потом идут восьмерки, потом девятки и десятки, потом — валеты, дамы, короли и самая старшая карта — туз. А ведь среди этих писем ничего похожего нет!

— Очень ошибаетесь, господин Колбаба, — сказал четвертый малыш. — Ежели хотите знать, каждое из этих писем имеет большее или меньшее значение, смотря по тому, что в нем написано.

— Самая младшая карта, — объяснил первый карлик, — семерка, или семитка — это такие письма, в которых кто-нибудь кому-нибудь лжет или голову морочит.

— Следующая младшая карта — восьмерка, — подхватил второй карапуз, — такие письма, которые написаны только по долгу или обязанности.

— Третьи карты, постарше — девятки, — подхватил третий сморчок, — это письма, написанные просто из вежливости.

— Первая старшая карта — десятка, — промолвил четвертый. — Это такие письма, в которых люди сообщают друг другу что-нибудь новое, интересное.

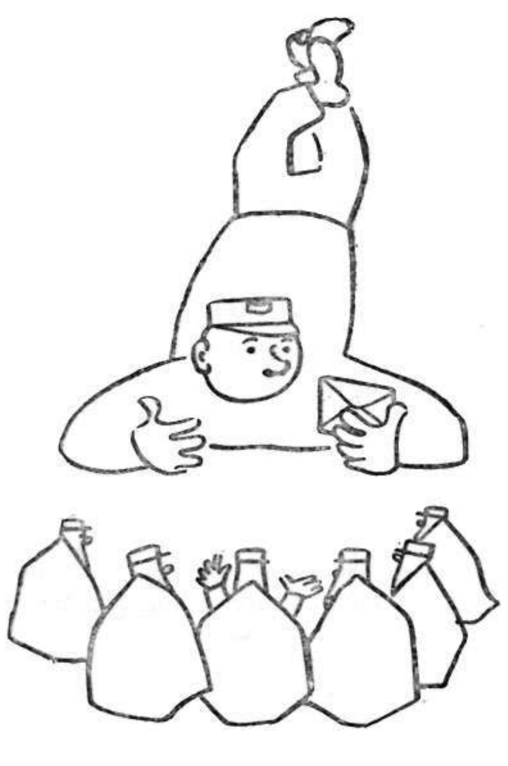
— Вторая крупная карта — валет, или хлап, — сказал пятый. — Это те письма, что пишутся между добрыми друзьями.

— Третья старшая карта — дама, — произнес шестой.

— Такое письмо человек посылает другому, чтобы ему приятное сделать.

— Четвертая старшая карта — король, — сказал седьмой. — Это такое письмо, в котором выражена любовь.

— А самая старшая карта — туз, — докончил восьмой старичок. — Это такое письмо, когда человек отдает другому все свое сердце. Эта карта все остальные бьет, над всеми козырится. К вашему сведению, господин Колбаба, это такие письма, которые мать ребенку своему пишет либо один человек другому, которого он любит больше жизни.



— Ага, — промолвил г-н Колбаба. — Но в таком случае позвольте спросить: как же вы узнаете, что во всех этих письмах написано? Ежели вы их вскрываете, судари мои, это никуда не годится! Этого, милые, нельзя делать. Разве можно нарушать тайну переписки? Я тогда, негодники вы этакие, в полицию сообщу. Это ведь страшный грех — чужие письма распечатывать!

— Про это, господин Колбаба, нам хорошо известно, — сказал первый домовик. — Да мы, голубчик, ощупью сквозь запечатанный конверт узнаем, какое там письмо. Равнодушное — на ощупь холодное, а чем больше в нем любви, тем письмецо теплее.

— А стоит нам, домовым, запечатанное письмо на лоб себе положить, — прибавил второй, — так мы вам от слова до слова скажем, про что там написано.

— Это дело другое, — сказал г-н Колбаба. — Но уж коли мы с вами здесь собрались, хочется мне вас кое о чем расспросить. Конечно, ежели позволите...

— От вас, господин Колбаба, секретов нет, — ответил третий домовой. — Спрашивайте, о чем хотите.

— Мне любопытно знать: что домовые кушают?

— Это как кто, — сказал четвертый карлик. — Мы, домовые, живущие в разных учреждениях, питаемся, как тараканы, тем, что вы, люди, роняете: крошку хлеба

там либо кусочек булочки. Ну, сами понимаете, господин Колбаба: у вас, людей, не так-то уж много изо рта сыплется.

— А нам, домовым почтовой конторы, неплохо живется, — сказал пятый карлик. — Мы варим иногда телеграфные ленты; получается вроде лапши, и мы ее почтовым клейстером смазываем. Только этот клейстер должен быть из декстрина.

— А то марки облизываем, — добавил шестой. — Это вкусно, только бороду склеивает.

— Но больше всего мы любим крошки, — заметил седьмой. — Вот почему, господин Колбаба, в учреждениях редко крошки с мусором выметают: после нас их почти не остается.

— И еще позвольте спросить: где же вы спите? — промолвил г-н Колбаба.

— Этого, господин Колбаба, мы вам не скажем, — возразил восьмой старичок. — Ежели люди узнают, где мы, домовые, живем, они нас оттуда выметут. Нет, нет, этого вы знать не должны.

«Ну, не хотите говорить, не надо, — подумал Колбаба. — А я все-таки подсмотрю, куда вы пойдете спать».

Сел он опять к печке и стал внимательно следить. Но так уютно устроился, что начали у него веки слипаться, и не успел он досчитать до пяти — уснул как убитый и проспал до самого утра.

О том, что он видел, г-н Колбаба никому не стал рассказывать, потому что, вы сами понимаете, на почте ведь нельзя ночевать. А только с тех пор стал он людям письма разносить охотней. «Вот это письмо, — говорил он себе, — теплое, а это вот прямо греет — такое горячее; наверно, какая-нибудь мамаша писала».

Как-то раз стал г-н Колбаба письма разбирать, которые из почтового ящика вытащил, чтобы по адресам их разнести.

— Это что ж такое! — вдруг удивился он. — Письмо запечатанное, а ни адреса, ни марки на нем нету.

— Да, — говорит почтмейстер. — Опять кто-то опустил в ящик письмо без адреса.

Случился в это время на почте один господин, посылавший матери своей письмо заказное. Услыхал, что они



говорят, и давай того человека ругать.

— Это, — говорит, — какой-то чурбан, идиот, осел, ротозей, олух, болван, растяпа. Ну где это видано: посылать письмо без адреса!

— Никак нет, сударь, — возразил почтмейстер. — Таких писем за год целая куча набирается. Вы не поверите, сударь, до чего люди рассеянны бывают. Написал письмо и сломя голову — на почту; а не думает о том, что адрес забыл написать. Право, сударь, это чаще бывает, чем вы полагаете.

— Да неужто? — удивился господин. — И что же вы с такими письмами делаете?

— Оставляем лежать на почте, сударь, — ответил почтмейстер. — Потому что не можем адресату вручить.

Между тем г-н Колбаба вертел письмо без адреса в руках, бурча:

— Господин почтмейстер, письмо такое горячее. Видно, от души написано. Надо бы вручить его по принадлежности.

— Раз адреса нет, оставить, и дело с концом, — возразил почтмейстер.

— Может, вам бы распечатать его и посмотреть, кто отправитель? — посоветовал господин.

— Это не выйдет, сударь, — строго возразил почтмейстер. — Такого нарушения тайны корреспонденции допускать никак нельзя.

И вопрос был исчерпан.

Но когда господин ушел, г-н Колбаба обратился к почтмейстеру с такими словами:

— Простите за смелость, господин почтмейстер, но насчет этого письма нам, может быть, дал бы полезный совет кто-нибудь из здешних почтовых домовых.

И рассказал о том, что однажды ночью сам видел, как тут хозяйничала почтовая нежить, которая умеет читать письма, не распечатывая.

Подумал почтмейстер и говорит:

— Ладно, черт возьми. Куда ни шло. Попробуйте, господин Колбаба. Ежели кто из господ домовых скажет, что в этом запечатанном письме написано, может, мы узнаем, и к кому оно.

Велел г-н Колбаба запереть его на ночь в конторе и стал ждать. Близко к полуночи слышит он топ-топ-топ по полу — будто мыши бегают. И видит опять: домовые письма разбирают, посылки взвешивают, деньги считают, телеграммы выстукивают. А покончив с этими делами, сели рядом на пол и, взявши в руки письма, в марьяж играть стали.

Тут г-н Колбаба их окликнул:

— ...брый вечер, господа человечки!

— А, господин Колбаба! — отозвался старший человечек. — Идите опять с нами в карты играть.

Господин Колбаба не заставил себя просить дважды — сел к ним на пол.

— Хожу, — сказал первый домовой и положил свою карту на землю.

— Крою, — промолвил второй.

— Бью, — отозвался третий.

Пришла очередь г-на Колбабы, и он положил то самое письмо на три остальные.

— Ваша взяла, господин Колбаба, — сказал первый чертяка. — Вы ходили самой крупной картой: тузом червей.

— Прошу прощения, — возразил г-н Колбаба, — но вы уверены, что моя карта такая крупная?

— Конечно! — ответил домовой. — Ведь это письмецо парня к девушке, которую он любит больше жизни.



— Не может быть, — нарочно не согласился г-н Колбаба.

— Именно так, — твердо возразил карлик. — Ежели не верите, давайте прочту.

Взял он письмо, прислонил ко лбу, закрыл глаза и стал читать:

— «Ненаглядная моя Марженка, пышу я тебе...» Орфографическая ошибка! — заметил он. — Тут надо *и*, а не *ы*! «...что получил место шофера так ежли хочишь можно справлять сватьбу напиши мне ежели еще меня любишь пыши скорей твой верный Фран--ик».

— Очень вам благодарен, господин домовой, — сказал г-н Колбаба. — Это-то мне и надо было знать. Большое спасибо.

— Не за что, — ответил мужичок с ноготок. — Но имейте в виду: там восемь орфографических ошибок. Этот Францик не особенно много вынес из школы.

— Хотелось бы мне знать: какая же это Марженка и какой Францик? — пробормотал г-н Колбаба.

— Тут не могу помочь, господин Колбаба, — сказал крохотный человечек. — На этот счет ничего не сказано.

Утром г-н Колбаба доложил почтмейстеру, что письмо написано каким-то шофером Франциком какой-то барыш-

ре Марженке, на которой этот самый Францик хочет жениться.

— Боже мой, — воскликнул почтмейстер. — Это же страшно важное письмо! Необходимо вручить его барышне.

— Я бы это письмецо мигом доставил, — сказал г-н Колбаба. — Только бы знать, какая у этой барышни Марженки фамилия и в каком городе, на какой улице, под каким номером дом, в котором она живет.

— Это всякий сумел бы, господин Колбаба, — возразил почтмейстер. — Для этого не надо быть почтальоном. А хорошо бы, несмотря ни на что, это письмо ей доставить.

— Ладно, господин почтмейстер, — воскликнул г-н Колбаба. — Буду эту адресатку искать, хоть бы целый год бегать пришлось и весь мир обойти.

Сказав так, повесил он через плечо почтовую сумку с тем письмом да хлеба краюхой и пошел на розыски.

Ходил-ходил, всюду спрашивая, не живет ли тут барышня такая, Марженкой звать, которая письмецо от одного шофера, по имени Францик, ждет. Прошел всю Литомержицкую и Лоунскую область, и Раковницкий край, и Пльзенскую, и Домажлицкую область, и Писек, и Будейовицкую, и Пршелоучскую, и Таборскую, и Чаславскую область, и Градецкий уезд, и



Ический округ, и Болеславскую область. Был в Кутной Горе, Литомышли, Тршебони, Воднянах, Сушице, Пршибраме, Кладно, и Млада Болеславе, и в Вотице, и в Трутнове, и в Соботке, и в Турнове, и в Сланом, и в Пелгржимове, и в Добрушке, и в Упице, и в Гронове, и у Семи Халуп; и на Кракорке был, и в Залесье, — ну словом, всюду. И всюду расспрашивал насчет барышни Марженки. И барышень этих Марженок в Чехии пропасть оказалась: общим числом четыреста девять тысяч девятьсот восемьдесят. Но ни одна из них не ждала письма от шофера Францика. Некоторые действительно ждали письмеца от шофера, да только звали этого шофера не Франциком, а либо Тоником, либо Ладиславом, либо Вацлавом, Иозефом либо Яролем, Лойзиком или Флорианом, а то Иркой, либо Иоганном, либо Вавржинцем, а то еще Домиником, Венделином, Эразмом — ну по-всякому, а Франциком — ни одного. А некоторые из этих барышень Марженок ждали письмеца от какого-нибудь Францика, да он не шофер, а слесарь либо фельдфебель, столяр либо кондуктор или, случалось, аптекарский служащий, обойщик, парикмахер либо портной — только не шофер.

И проходил так г-н Колбаба целый год да еще день, все никак не мог вручить письмо надлежащей барышне Марженке. Много чего узнал он: видел деревни и города, поля и леса, восходы и закаты солнца, прилет жаворонков и наступление весны, посев и жатву, грибы в лесу и зреющие сливы; видел Жатский хмель и Мельницкие виноградники, Тршебоньских карпов и Пардубицкие пряники, но, досыта насмотревшись на все это за целый год с днем, и все понапрасну, сел, повесив голову, у дороги и сказал себе:

— Видно, напрасно хожу: не найти мне этой самой барышни Марженки.

Стало ему обидно до слез. И барышню Марженку-то жалко, что не получила она письма от парня, который ее больше жизни любит; и шофера Францика жалко, что письмо его доставить не удалось; и самого себя жалко, что столько трудов на себя принял, в дождь и в жару, в слякоть и ненастье по свету шагал, а все зря.

Сидит так у дороги, горюет — глядь: по дороге автомобиль идет. Катится себе потихонечку — километров

этак шесть в час. И подумал г-н Колбаба: «Верно, какой-нибудь устаревший рыдван. Ишь ползет!»

Но как подъехал тот автомобиль ближе, — ей-богу, прекрасный восьмицилиндровый «бугатти»! А за рулем печальный шофер сидит, весь в черном; а сзади господин печальный, тоже в черном.



Увидел печальный господин грустного г-на Колбабу у дороги, приказал остановить машину и говорит:

— Садитесь, почтальон, подвезу немного!

Обрадовался г-н Колбаба, потому что у него от долгой ходьбы ноги заболели. Сел он рядом с печальным господином в черном, и тронулась машина дальше в свой печальный путь.

Проехали они так километра три, спрашивает г-н Колбаба:

— Простите, сударь, вы не на похороны едете?

— Нет, — промолвил глухим голосом печальный господин. — Почему вы думаете, что на похороны?

— Да потому, сударь, — ответил г-н Колбаба, — что вы изволите таким печальным быть.

— Оттого я такой печальный, — говорит замогильный голосом господин, — что машина едет так медленно и печально.

— А почему, — спросил г-н Колбаба, — такой замечательный «бугатти» едет так медленно и печально?

— Оттого, что ведет ее печальный шофер, — мрачно ответил господин в черном.

— Ага, — промолвил г-н Колбаба. — А позвольте спросить, ваша милость, отчего же так печален господин шофер?

— Оттого что он не получил ответа на письмо, которое отправил ровно год и один день тому назад, — ответил господин в черном. — Понимаете, он написал своей возлюбленной, а она ему не ответила. И вот он думает, что она его разлюбила.

Услышав это, г-н Колбаба воскликнул:

— А позвольте спросить, вашего шофера не Франциком звать?

— Его зовут господин Франтишек Свобода, — ответил печальный господин.

— А барышню — не Марженкой ли? — продолжал свои расспросы г-н Колбаба.

Тут отозвался печальный шофер.

— Мария Новакова — вот имя изменщицы, которая забыла мою любовь, — промолвил он с горьким вздохом.

— Ага, — радостно воскликнул г-н Колбаба. — Милый мой, так вы и есть тот глупец, тот дурак, тот пень, та тупица, тот путаник, тот стоерос, то бревно, та дубина, та балда, то полено, то помело, тот капустный кочан, тот урод, тот пентюх и та кликуша, тот ненормальный, тот помешанный, тот простофиля, тот лунатик, тот юродивый, тот губошлеп, тот распустеха, тот растереха, та тыква, та картофелина, тот шут, тот паяц, тот дурень, тот петрушка, та лапша, тот слюнтяй и тот ванёк, который опустил в почтовый ящик письмо без адреса и без марки? Господи! Как я рад, что имею честь с вами познакомиться! Ну, как же барышня Марженка могла вам ответить, ежели она вашего письма до сих пор не получила?

— Где, где мое письмо? — воскликнул шофер Францик.

— Да вы мне только скажите, — ответил Колбаба, — где барышня Марженка живет, и письмо, будьте уверены, сейчас же полетит прямиком к ней. Господи боже ты мой! Целый год с одним днем таскаю я это письмо в сумке, по всему свету рыскаю, ищу эту самую барышню Марженку! Ну-ка, золотой мой паренек,

давайте мне живо, скорей, мигом, без промедления, адрес барышни Марженки, и я пойду вручу ей это письмецо.

— Никуда вы не пойдете, господин почтальон! — сказал господин в черном. — Я вас туда отвезу. Ну-ка, Францик, поддай газу и кати к барышне Марженке.



Не успел он договорить, как шофер Францик дал газ, машина рванулась вперед и пошла, мои милые, писать по семидесяти, по восьмидесяти километров, по сто, по сто десять, сто двадцать, сто пятьдесят, все быстрей и быстрей, так что мотор пел, заливался, рычал, гудел от радости, и господин в черном должен был держать обеими руками шляпу, чтобы не улетела, и г-н Колбаба вцепился обеими руками в сиденье, а Францик кричал:

— Славно катим, а? Сто восемьдесят километров! Ей-богу, не едем, а летим прямым ходом по воздуху. Вон она, дорога-то, где осталась! Ей-ей, у нас крылья выросли!

И, летя так со скоростью сто восемьдесят семь километров, увидали они хорошенькую беленькую деревушку, — да это Либнятов, честное слово! — и шофер Францик сказал:

— Ну вот и приехали!

— Тогда остановитесь! — промолвил господин в чер-

ном, и машина опустилась на землю у деревенской околицы.

— А «бугатти» этот неплохо бегает! — с удовольствием отметил господин. — Ну, теперь, господин Колбаба, можете отнести барышне Марженке письмо.

— Не лучше ли будет, ежели господин Францик сам расскажет ей, что в этом письме написано. Ведь там целых восемь орфографических ошибок!



— Что вы! — возразил Францик. — Мне стыдно ей на глаза показаться: ведь она столько времени ни одного письма от меня не получала. Верно, совсем уж меня забыла и не любит нисколько, — прибавил он сокрушенно. — Идите вы, господин Колбаба; она живет вон в том домике, у которого окна такие чистые, как вода в колодце.

— Иду, — ответил г-н Колбаба. Замурлыкал себе под нос: «Едет, едет, едет он, едет славный почтальон», и — раз, два, правой — к тому домику. А там, у чистого окошечка, сидела бледная девушка и подрубала полотно.

— Дай бог здоровья, барышня Марженка, — окликнул ее г-н Колбаба. — Не платье ли себе шьете подвенечное?

— Ах, нет, — печально ответила барышня Марженка. — Это я саван себе шью.

— Ну-ну, — участливо промолвил г-н Колбаба. — Ай-ай-ай, угодники пресвятые, ей-ей-ей, мученики пре-

подобные, может, до этого не дойдет! Вы, барышня, разве больны?

— Не больна я, — вздохнула барышня Марженка, — а только сердечко у меня разрывается от горя.

И она прижала руку к сердцу.

— Господи боже! — воскликнул г-н Колбаба. — Подождите, барышня Марженка, не давайте ему разрываться еще немножко. Отчего ж это оно у вас так болит, позвольте спросить?

— Оттого, что вот уже год и день, — тихо промолвила барышня Марженка, — уже день и год я жду одного письмеца, а оно все не приходит.

— Не горюйте, — стал утешать ее г-н Колбаба. — А я вот целый год и день письмо одно ношу в сумке и не найду кому отдать. Знаете что, барышня Марженка? Отдам-ка я его вам!

И он подал ей письмо.

Барышня Марженка побледнела еще больше.

— Господин письмоносец! — тихим голосом промолвила она. — Это письмо, наверно, не ко мне: на конверте нет адреса!

— А вы загляните внутрь, — возразил г-н Колбаба. — Если не к вам, вернете мне, вот и все.

Барышня Марженка распечатала дрожащими руками письмо, и, только начала читать, на щеках ее выступил румянец.

— Ну как? — спросил г-н Колбаба. — Вернете мне или нет?

— Нет, — пролепетала барышня Марженка, сияя от радости. — Ведь это то самое письмо, господин почтальон, которого я целый год и день ждала! Не знаю, как и благодарить вас, господин письмоносец.

— Я вам скажу как, — ответил г-н Колбаба. — Уплатите мне две кроны штрафа за то, что письмо без марки, понятно? Господи Иисусе, я ведь с ним целый год и день бегаю, чтобы эти две кроны в пользу почты взыскать! Вот так: покорно благодарю, — продолжал он, получив две кроны. — А там вон, сударыня, кто-то вашего ответа ждет.

И он кивнул на шофера Францика, который — тут как тут — стоял на углу.

И пока г-н Францик получал ответ, г-н Колбаба, сидя рядом с господином в черном, говорил ему:

— Год и день, ваша милость, я с этим письмом пробегал, да стоило того: во-первых, чего только не повидал! Такая это чудная, прекрасная сторона, — хоть у Пльзни взять, хоть у Горжице, либо у Табора... Ага, господин Францик уже назад идет? Ну, понятно: такое дело легче с глазу на глаз уладить, чем письмами без адреса.



А Францик ничего не сказал; только глаза его смеялись.

— Поехали, сударь?

— Едем, — ответил господин в черном. — Сперва отвезем господина Колбабу на почту.

Шофер сел за руль, нажал стартер, включил сцепленье и газ, и машина тронулась с места плавно, легко, как во сне. И стрелка спидометра сейчас же остановилась па цифре 120 километров.

— Хорошо идет машина, — с удовольствием отметил господин в черном. — Она мчится так оттого, что ее ведет счастливый шофер.

Они доехали благополучно — и мы тоже.

БОЛЬШАЯ ДОКТОРСКАЯ СКАЗКА

В давние времена на горе Гейшовине имел свою мастерскую волшебник Мадияш. Как вы знаете, бывают добрые волшебники, так называемые чародеи или кудес-

ники, и волшебники злые, называемые чернокнижниками. Мадияш был, можно сказать, средний: иной раз держался так скромно, что совсем не колдовал, а иной раз колдовал изо всех сил, так что кругом все гремело и блистало. То ему взбредет в голову пролить на землю каменный дождь, а как-то раз до того дошел, что устроил дождь из крохотных лягушат. Словом, как хотите, а такой волшебник — не очень-то приятный сосед, и хоть люди клялись, что не верят в волшебников, а все-таки норовили всякий раз Гейшовину сторонкой обойти; а ежели при этом говорили, будто через нее дальше и в гору высоко ходить, так только для того, чтобы в своем страхе перед Мадияшем не признаваться...

Вот сидел раз этот самый Мадияш перед своей пещерой и сливы ел — большие такие, иссиня-черные, серебристым инеем покрытые, а в пещере помощник его, веснушчатый Винцек — по-настоящему звать: Винцек Никличек из Зличка, — варил на огне волшебные снадобья из смолы, серы, валерианы, мандрагоры, змеиного корня, золототысячника, терновых игол и чертовых кореньев, коломази и адского камня, трын-травы, царской водки, козьего помета, осиных жал, крысиных усов, лапок ночных мотыльков, занзибарского семени и всяких там колдовских корешков, примесей, зелий и чернобылья. А Мадияш только смотрел за работой веснушчатого Винцека и ел сливы. Но то ли бедняга Винцек плохо мешал, то ли еще что, только снадобья эти в котле у него пригорели, перепарились, пережарились, перекипели или как-то там перепеклись, и пошел от них страшный смрад.

«Ах ты пентюх нескладный!» — хотел было прикрикнуть на него Мадияш, но второпях перепутал, каким горлом глотать, либо слива во рту у него ошиблась — не в то горло попала, только проглотил он эту сливу вместе с косточкой, и застряла косточка у него в горле — ни наружу, ни внутрь. И успел Мадияш рявкнуть только: «Ах ты пен...» — а дальше не вышло: голос сразу отнялся. Только хрип да сип слышится, будто пар шипит в горшке. Лицо кровью налилось, сам руками машет, давится, а косточка ни туда, ни сюда: крепко, прочно в глотке засела.

Видя это, Винцек страшно испугался, как бы папаша Мадияш до смерти не задохся; говорит решительно:

— Погодите, хозяин, я сейчас сбегаю в Гронов за доктором.

И пустился вниз с Гейшовины; жаль, никого там не было — скорость его измерить: наверно, получился бы мировой рекорд бега на дальнюю дистанцию.

Прибежал в Гронов, к доктору, — еле дух переводит. Отдышался наконец и зачастил, как горох рассыпал:

— Господин доктор, пожалуйте сейчас же — только сейчас же! — к господину волшебнику Мадияшу, а то он задохнется. Ну, и бежал же я, черт возьми!

— К Мадияшу на Гейшовину? — проворчал гроновский доктор. — По правде говоря, дьявольски не хочется. Но вдруг он мне до зарезу понадобится; что я тогда буду делать?

И пошел. Понимаете, доктор никому не может отказать в помощи, даже если его позовут к разбойнику Лотрандо либо к самому (прости господи!) Люциферу. Ничего не поделаешь: такое уж это занятие, докторство это самое.

Взял, значит, гроновский доктор свою докторскую сумку со всеми там ножами докторскими, щипцами для зубов, и бинтами, и порошками, и мазями, и лубками для переломов, и прочим докторским инструментом, — и пошел за Винцеком, на Гейшовину.

— Только бы нам не опоздать! — все время беспокоился веснушчатый Винцек.

И так шагали они — раз, два, раз, два — по горам, по долам, — раз, два, раз, два — по болотам, — раз, два, раз, два — по буеракам, пока веснушчатый Винцек не сказал наконец:

— Так что, господин доктор, мы пришли!

— Честь имею, господин Мадияш, — промолвил гроновский доктор. — Ну-с, где же у вас болит?

Волшебник Мадияш в ответ только захрипел, засипел, засопел, указывая на горло, туда, где застряло.

— Так-с. В горлышке? — сказал гроновский доктор. — Посмотрим, какое там бобо. Откройте как следует ротик, господин Мадияш, и скажите а-а-а...

Волшебник Мадияш, отстранивши ото рта волосы своей черной бороды, разинул рот во всю ширь, но а-а-а произнести не мог: голосу не было.

— Ну, а-а-а, — старался помочь ему доктор. — Что ж вы молчите?.. Э-э-э, — продолжал этот плут, эта лиса патрикеевна, тертый калач, прожженный мошенник, продувная бестия, что-то задумав. — Э-э-э, господин Мадияш, плохо ваше дело, коли вы а-а-а сказать не можете. Не знаю, как с вами быть?

И давай Мадияша осматривать и выстукивать. И пульс ему щупает, и язык высовывать заставляет, и веки выворачивает, и в ушах, в носу зеркалом высвечивает да себе под нос латинские слова бормочет.

Покончив с медицинским осмотром, принял он важный вид и говорит:

— Положение очень серьезное, господин Мадияш. Необходима немедленная операция. Но я не могу и не решусь ее делать один: мне необходимы ассистенты. Если вы согласны оперироваться, тогда вам придется послать за моими коллегами в Упице, в Костелец и в Горжички; как только они будут здесь, я устрою с ними врачебное совещание, или консилиум, и тогда, после зрелого обсуждения, мы произведем соответствующее хирургическое вмешательство, или operatio operandi. Обдумайте это, господин Мадияш, и, если примете мое предложение, пошлите проворного гонца за моими глубокоуважаемыми учеными коллегами.

Что оставалось Мадияшу делать? Кивнул он веснушчатому Винцеку, тот притопнул три раза, чтобы легче бежать было, и со всех ног — вниз по склону Гейшовины! Сперва в Горжички, потом в Упице, потом в Костелец. И пускай его пока бежит себе.

О принцессе Сулейманской

Пока веснушчатый Винцек бегал в Горжички, в Упице, в Костелец за докторами, гроновский доктор сидел у волшебника Мадияша и следил за тем, чтобы тот не задохся. Для препровождения времени закурил он виргинскую сигару и молча ее посасывал. А когда уж очень надоедало ждать — кашлянет и опять задымит. А то зевнет и троекратно поморгает, чтоб как-нибудь время скоротать. Или вздыхал:

— Ох-хо-хо!

Через полчаса потянулся и промолвил:

— Э-эх!

Через часок прибавил:

— В картишки бы перекинуться. Есть у вас карты, господин Мадияш?

Волшебник Мадияш не мог говорить, только головой покачал.

— Нет? — проворчал гроновский доктор. — Жаль. Какой же вы волшебник после этого, ежели карт не имеете! Вот у нас в трактире один волшебник представление давал… Постойте. Как же его звали? Не то Навратил, не то дон Боско, не то Магорелло… Что-то в этом роде… Так он такие чудеса с картами разделывал, ну просто — смотришь и глазам своим не веришь… Да, колдовать — сноровка нужна.

Он закурил новую сигару и продолжал:

— Что ж, коли у вас карт нету, расскажу я вам сказку о принцессе Сулейманской, чтоб не так скучно было. Ежели вы случайно эту сказку знаете, так скажите, и я перестану. Дзиндилинь! Начинается.

Как известно, за Сорочьими горами и Молочно-кисельным морем находятся Пряничные острова, а за ними — поросшая густым лесом пустыня Шаривари с цыганским главным городом Эльдорадо. Дальше во все стороны тянется меридиан с параллелью. Тут же за рекой, только мостик перейти и по тропинке влево, за кустом ивняка и канавой с репейником раскинулся великий и могучий Сулейманский султанат. Там уж вы дома!

В Сулейманском султанате, как уже самое название показывает, правил султан Сулейман. У этого султана была единственная дочь, по имени Зобеида. И стала принцесса Зобеида ни с того ни с сего прихварывать, недомогать, покашливать. Чахла, худела, хирела, бледнела, томилась, вздыхала, — ну просто смотреть жалко. Султан, понятное дело, скорей зовет своих придворных кудесников, заклинателей, волшебников, старух-ведуний, магов и астрологов, знахарей и шарлатанов, цирюльников, фельдшеров и коновалов, но ни один из них не мог принцессу вылечить. Будь это у нас, я сказал бы, что у девушки были анемия, плеврит и катар бронхов; но в стране Сулейманской нет такой культуры, и медицина там еще не достигла того уровня, чтобы могли появиться болезни с латинскими названиями. Так что

можете себе представить, в каком старик султан был отчаянии. «Ах ты Монте-Кристо! — думал он. — Я так радовался, что дочка наследует после моей смерти процветающую султанскую фирму. А она, бедняжка, тает, как свечка, у меня на глазах, и я ничем не могу ей помочь!»

И скорбь охватила всю великую страну Сулейманскую.

А в это время приехал туда один торговец в развоз из Яблонца, некий господин Лустиг. Услыхал он о больной принцессе и говорит:

— Нужно бы султану вызвать врача от нас, из Европы; потому что у нас медицина от вашей далеко вперед ушла. У вас тут одни заклинатели, зелейники да знахари; а у нас — настоящие ученые доктора.

Узнал об этом султан Сулейман, позвал к себе этого самого господина Лустига, купил у него нитку стеклянных бус для принцессы Зобеиды и спрашивает:

— Как у вас, господин Лустиг, узнают настоящего ученого доктора?

— А очень просто, — ответил тот. — Ведь у него перед фамилией всегда стоит «д-р». Например, д-р Манн, д-р Пельнарж и так далее. А если этого «д-р» нету, — значит, он неученый. Понимаете?

— Ага, — сказал султан и щедро вознаградил господина Лустига султанками. Это, знаете, такие славные изюминки.

А потом послал в Европу послов за доктором.

— Только не забудьте, — сказал он им, перед тем как они пустились в путь, — что настоящий ученый доктор — только тот, чья фамилия буквами «д-р» начинается. Другого не привозите, а то я вам уши вместе с головой отрублю. Ну, марш!

Если б я вздумал вам пересказывать, господин Мадияш, все, что этим посланцам испытать и пережить довелось, пока они до Европы доехали, слишком длинный получился бы рассказ. Но после долгих-предолгих мытарств, они все-таки до Европы добрались и принялись искать доктора для принцессы Зобеиды.

Пустилась в путь процессия сулейманских послов в чудных одеждах мамелюков, в чалмах и с длинными, толстыми, как лошадиные хвосты, усами под носом, по темному бору.

Шли, шли — вдруг навстречу им дяденька с топором и пилой на плече.

— Дай бог здоровьица, — приветствовал он их.

— Спасибо на добром слове, — ответили послы. — Кто вы такой, дяденька?

— Дровосек я, с вашего позволения, — объяснил он.

Навострили уши басурманы.

— Вон оно какое дело! Раз вы, ваше превосходительство, д-р Овосек изволите быть, просим вас монументально, субито и престо отправиться с нами в Сулейманскую страну. Султан Сулейман убедительно просит и почтительно приглашает вас к себе во дворец. Но если вы станете отнекиваться или под каким-нибудь предлогом отговариваться, мы уведем вас насильно. Так что, ваше благородие, не перечьте нам!



— Вот так штука, — удивился дровосек. — Что же султану от меня надо?

— У него для вас кое-какая работа есть, — ответили послы.

— Согласен, — говорит дровосек. — Я как раз работу ищу. А надо вам сказать, на работу я — драч.

Перемигнулись послы.

— Ваша ученость, — говорят, — это как раз то, что нам нужно.

— Постойте, — возразил дровосек. — Сперва я хочу знать, сколько мне султан за работу заплатит. Над деньгами я не дрожу, да, может быть, он дрожит.

На это послы султана Сулейманского ответили учтиво:

— Это не важно, ваше превосходительство, что вы не изволите быть д-р Ожу: нам д-р Овосек вполне подходит. А что касается государя нашего — султана Сулеймана, так уверяю вас: он — не д-р Ожит, а обыкновенный властитель и тиран.

— Ну, ладно, — сказал дровосек. — А насчет харчей как? Я ведь ем, как дракон, и пью, как дромадер.

— Все устроим, многоуважаемый, чтоб вы и в этом отношении остались довольны, — успокоили его сулейманцы.

После этого отвели они дровосека с великим почетом и славой на корабль и поплыли с ним в Сулейманскую страну. Как только приплыли, поднялся султан Сулейман скорей на трон и велел привести их к себе. Послы опустились перед ним на колени, и самый старший и усатый начал так:

— Всемилостивейший государь наш и владыка, князь всех правоверных, господин султан Сулейман! По высокому твоему приказу отправились мы на остров, Европой называемый, чтобы отыскать там ученейшего, мудрейшего и достославнейшего доктора, который должен исцелить принцессу Зобеиду. И мы привезли его, государь. Это знаменитый, всемирно известный лекарь д-р Овосек. Чтоб вы имели представление, что это за доктор, скажу вам, что он работает, как д-р Ач, платить ему надо, как д-ру Ожу, ест он, как д-р Акон, а пьет как д-р Омадер. А все это тоже славные, ученые доктора, государь. Так что совершенно ясно: мы наткнулись на того, кто нам нужен. Гм, гм. В общем, вот и все.

— Добро пожаловать, д-р Овосек! — сказал султан Сулейман. — Прошу вас осмотреть дочь мою принцессу Зобеиду.

«Почему бы нет», — подумал дровосек.

Султан сам отвел его в затененную, полутемную комнату, устланную прекраснейшими коврами, перинами и пуховиками, на которых возлежала в полудремоте, бледная как полотно, принцесса Зобеида.

— Ай-ай-ай, — промолвил с состраданием дровосек, — дочка ваша, господин султан, ровно былинка.

— Просто беда, — вздохнул султан.

— Хилая какая, — сказал дровосек. — Видать, совсем извелась?

— Да, да, — печально подтвердил султан. — Ничего не ест.

— Худая, как щепка, — сказал дровосек. — Как ветошка какая лежит. И в лице — ни кровинки, господин султан. Я так полагаю: дюже больна.

— Очень, очень больна, — уныло сказал султан. — Я затем и позвал вас, чтоб вы ее вылечили, д-р Овосек.

— Я? — удивился дровосек. — С нами крестная сила! Да как же мне ее лечить?

— Это уж ваше дело, — глухим голосом ответил султан Сулейман. — На то вы и здесь; и разговаривать не о чем. Но имейте в виду: если вы ее на ноги не поставите, я с вас голову сниму и — конец!

— Это дело не пойдет, — начал было перепуганный дровосек, но султан Сулейман не дал ему слова вымолвить.

— Без разговоров, — продолжал он строго. — Мне некогда: я должен идти править страной. Принимайтесь за дело и покажите свое искусство.

И он пошел, сел на трон и стал править.

«Скверная история, — подумал дровосек, оставшись один. — Здорово я влип! Мне вдруг лечить какую-то принцессу! Не угодно ли? Черт его знает, как это делается! Просто обухом по голове: с какого конца взяться? А не вылечишь девку, с плеч голову снимут. Кабы все это — не в сказке, так я бы сказал, что никуда не годится — ни за что ни про что людям головы рубить! И дернул меня черт в сказку попадать! Просто в жизни ничего такого со мной бы не случилось. Ей-богу, самому любопытно даже, как я вывернусь».

С такими и еще более мрачными мыслями дровосек пошел и сел, вздыхая, на порог султанова замка.

«Черт подери! — размышлял он. — Ну с какой стати меня заставляют здесь доктора разыгрывать? Кабы поручили мне вот это либо вон то дерево повалить, я бы им показал, чего стою! У меня бы щепки так во все стороны и полетели... А что-то смотрю я, больно густо у них

вокруг дома деревья растут, ровно в лесу глухом. Солнышко в комнату не заглянет. Страшная небось сырость в избе — гриб, плесень, мокрицы! Погоди, я им покажу свою работу!»

Сказано — сделано. Скинул он куртку, поплевал на ладони, схватил топор, пилу и давай деревья валить, что вокруг султанского замка росли. Да не груши, яблони и орешины, как у нас, а все пальмы, да олеандры, да кокосы, драцены, латании, да фикусы, да красное дерево, да те деревья, что под самое небо растут, и прочую заморскую зелень. Если бы вы только видели, господин Мадияш, как наш дровосек на них накинулся! Когда пробило полдень, получилась вокруг замка порядочная вырубка. Отер дровосек пот с лица рукавом, вынул из кармана краюху черного хлеба с творогом, взятую из дома, и стал закусывать.

А принцесса Зобеида все это время спала в своей полутемной комнате. И никогда ей так сладко не спалось, как под шум, который дровосек возле замка своим топором и пилой поднял.

Разбудила ее тишина, наступившая после того, как дровосек перестал валить деревья и, устроившись на поленнице дров, принялся жевать хлеб с творогом.

Открыла принцесса глаза — удивилась: отчего это в комнате вдруг так светло стало? Первый раз в жизни заглянуло в темную комнату солнце и залило ее всю небесным светом. Принцессу этот поток света просто ослепил. К тому же в окно хлынул такой сильный и приятный запах только что нарубленных дров, что принцесса стала дышать глубоко, с наслаждением. И к этому смолистому запаху примешивался еще какой-то, которого принцесса совсем не знала. Чем же это пахнет? Встала сна, подошла к окну — посмотреть: вместо сырого сумрака — залитая полдневным солнцем вырубка; сидит там какой-то здоровенный дядя и с аппетитом кушает что-то черное и что-то белое; и вот оно-то как раз и пахло так приятно. Вы ведь знаете: вкуснее всего пахнет то, что другие едят.

Тут принцесса не могла больше выдержать: этот запах потянул ее вниз, вон из замка, ближе к обедающему дяде — посмотреть, что же такое он ест.

— А, принцесса! — промолвил дровосек с набитым ртом, — Не желаете ли кусочек хлеба с творогом?

Принцесса покраснела, смутилась: стыдно ей было признаться, что, мол, страшно хочется попробовать.

— Нате, — буркнул дровосек и отрезал ей кривым ножом порядочный кусок. — Держите.

Принцесса кинула взгляд по сторонам: не смотрит ли кто?

— Блдарю, — пролепетала она в виде благодарности. Потом, откусивши, воскликнула: — М-м-м, какая прелесть!

Вы понимаете, хлеба с творогом принцессы никогда в жизни не видят.

Тут как раз выглянул в окно сам султан Сулейман. И глазам своим не поверил: вместо сырого сумрака — светлая вырубка, залитая полуденным солнцем, а на поленнице дров сидит принцесса и уплетает что-то за обе щеки, — от уха до уха белые усы от творога, — да с таким аппетитом уписывает, какого у нее никогда не бывало.

— Слава тебе господи! — с облегчением вздохнул султан Сулейман. — Значит, молодцы мои настоящего ученого доктора мне привели!

И с тех пор, господин Мадияш, начала принцесса в самом деле поправляться; появился у нее румянец на щеках и есть стала, как волчонок. Все это — под влиянием света, воздуха, солнца: имейте в виду, я вам оттого про это рассказал, что вы тоже живете в пещере, куда солнце не заглядывает и ветер не доходит. А это, господии Мадияш, вредно для здоровья. Вот что я хотел вам сказать.

Только гроновский доктор кончил свою сказку о принцессе Сулейманской, прибежал веснушчатый Винцек, ведя за собой доктора из Горжичек, доктора из Упице и доктора из Костельца.

— Привел! — крикнул он еще издали. — Ой, батюшки, как бежал!

— Приветствую вас, уважаемые коллеги, — сказал гроновский доктор. — Вот наш пациент, — господин Мадияш, колдун. Как вы можете видеть, положение его весьма серьезное. Пациент объясняет, что проглотил косточку сливы или ренклода. По моему скромному мнению, болезнь его — скоротечная ренклотида.

— Гм, гм, — сказал доктор из Горжичек. — Я склонен думать, что это скорее удушливая сливитида.

— К сожалению, не могу согласиться с уважаемыми коллегами, — промолвил костелецкий доктор. — Я сказал бы, что в данном случае мы имеем дело с гортанной косткитидой.

— Господа, — отозвался упицкий доктор, — быть может, все мы сойдемся на том, что у господина Мадияша скоротечная ренклогортанная косткисливитида.

— Поздравляю вас, господин Мадияш, — сказал доктор из Горжичек. — Это очень серьезное, тяжелое заболевание.

— Интересный случай, — поддержал доктор из Упице.

— У меня, — отозвался костелецкий доктор, — бывали более яркие и любопытные случаи. Вы не слышали, как я спас жизнь Гоготалу с Кракорки? Нет? Так я сейчас расскажу.

Случай с Гоготалом

Много лет тому назад жил-был на Кракорке Гоготало. Был он, доложу я вам, одним из самых безобразных страшилищ, какие только существовали на свете. Скажем, идет прохожий лесом — и вдруг позади что-то этак засопит, забормочет, завопит, запричитает, завоет либо ужасно захохочет. Понятное дело, у прохожего душа в пятки, такой страх на него нападает, и пустится он бежать, — улепетывает, сам себя не помня. А устраивал это Гоготало, и все эти безобразия творил он на Кракорке долгие годы, так что уж люди боялись туда по ночам ходить.

Вдруг приходит ко мне на прием удивительный человечек, — один рот, пасть от уха до уха, шея обмотана какой-то тряпкой. И сипит, хрипит, харкает, регочет, хрюкает, хранит, — ну ни слова у него не разберешь.

— На что жалуетесь? — спрашиваю.

— С вашего позволения, доктор, — сипит он в ответ, — охрип я малость.

— Вижу, — говорю. — А сами откуда?

Пациент почесал в затылке и опять прохрипел:

— Да, с вашего позволения, я и есть Гоготало с горы Кракорки.

— Ага, — говорю. — Так это вы — тот плут и хитрец, что людей в лесу пугает? Поделом вам, голубчик, что голос потеряли! Вы думаете, я буду лечить всякие ваши лари-да-фарингиты либо гатар кортани, то бишь катар гортани, — чтоб вам в лесу гоготать и людей до судорог доводить? Ну нет, хрипите и сипите себе, сколько вам угодно. По крайней мере, дадите другим покой.

Как взмолился тут Гоготало:

— Ради бога, доктор, вылечите меня от этой хрипоты. Я буду вести себя смирно, перестану людей пугать...

— Усиленно рекомендую вам перестать, — говорю. — Вы как раз своим гиканьем голосовые связки себе и надорвали, так что говорить не можете. Понимаете? Вам вредно в лесу орать, милый мой. Там холодно, сыро, а у вас дыхательные органы слишком чувствительны. Уж не знаю, удастся ли мне избавить вас от катара, но придется вам раз навсегда бросить пуганье прохожих и держаться подальше от леса, а то вас никто не вылечит.



Нахмурился Гоготало, почесал у себя за ухом.

— Тяжеленько это. Чем же я буду жить, коли брошу пуганье? Ведь я только и умею, что гикать да реветь, покуда в голосе.

— Чудак, — говорю ему. — С таким замечательным голосовым аппаратом, как у вас, я поступил бы в оперу певцом, а то стал бы рыночным торговцем либо

цирковым зазывалой. С таким великолепным могучим голосом зарываться в деревне просто обидно — как по-вашему? В городе вы нашли бы лучшее применение.

— Я сам подумывал об этом, — признался Гоготало. — Да, попробую найти себе другое занятие; вот только бы голос вернуть!

Ну, смазал я ему гортань йодом, государи мои, прописал хлористый кальций и марганцовку для полосканья, ангиноль внутрь и компрессы на горло. После этого о Гоготале на Кракорке больше не было слышно. Он в самом деле куда-то перебрался и перестал народ пугать.

Случай с гавловицким водяным

— Был и у меня любопытный медицинский случай, — заговорил, в свою очередь, упицкий доктор. — У нас в Упе, за гавловицким мостом, в корнях верб и ольхи жил старик водяной. Звали его Иодгал. Брюзга, ворчун, страшилище; нелюдим; случалось, наводнение устраивал и даже детей топил во время купанья. Словом, его присутствие в реке никому радости не доставляло.

Как-то раз осенью приходит ко мне на прием старичок в зеленом фраке и с красным галстуком на шее; охает, чихает, кашляет, сморкается, вздыхает, потягивается, бормочет:

— Простудился я, дохтур, насморк схватил. Здесь ноет, тут колет, спину ломит, суставы выворачивает, кашлем всю грудь разбило, нос заложило так, что не продохнешь. Помогите, пожалуйста.

Выслушал я его и говорю:

— У вас ревматизм, дедушка; я дам вам вот эту мазь, то есть линиментум, чтоб вы знали; но это не все. Вам нужно быть в теплом, сухом помещении, понимаете?

— Понимаю, — проворчал старик. — Только насчет сухости и тепла, молодой господин, не выйдет.

— Почему же не выйдет? — спрашиваю.

— Да потому, господин дохтур, что я — гавловицкий водяной, — отвечает дед. — Ну как же я так устрою, чтобы в воде сухо и тепло было? Ведь мне и нос-то вытирать водной гладью приходится. В воде сплю и водой накрываюсь. Только вот теперь, на старости лет, стал

из мягкой воды постель себе стелить вместо твердой, чтобы не так жестко лежать было. А насчет сухости и тепла — трудно.

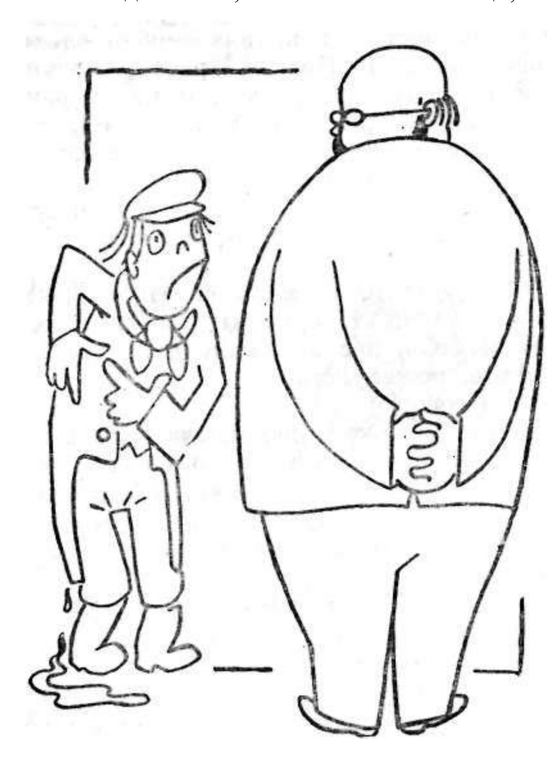
— Ничего не поделаешь, дедушка. В холодной воде с таким ревматизмом вам быть вредно. Старые кости тепла требуют. Сколько вам лет-то, господин водяной?

— Охо-хо, — забормотал старик. — Я ведь, господин дохтур, еще с языческих времен на свете живу. Выходит, несколько тысяч лет, а то и побольше. Да, немало пожил!

— Вот видите, — сказал я. — В ваши годы, дедушка, вам бы поближе к печке. Постойте, мне пришла в голову мысль! Вы слышали о горячих ключах?

— Слыхал, как не слыхать, — проворчал водяной. — Да ведь здесь таких нету.

— Здесь нет, но есть в Теплице, в Пештянах, еще кое-где. Только глубоко под землей. И горячие ключи эти, имейте в виду, как будто нарочно созданы для больных ревматизмом старых водяных. Вы просто-напросто поселитесь в таком горячем источнике, как местный водяной, и заодно будете лечить свой ревматизм.



— Гм, гм, — промолвил дедушка в нерешительности. — А какие обязанности у водяного горячих ключей?

— Да не особенно сложные, — говорю. — Подавать все время горячую воду наверх, не позволяя ей остынуть. А излишек выпускать на земную поверхность. Вот и все.

— Это бы ничего, — проворчал гавловицкий водяной. — Что ж, поищу какой-нибудь такой ключ. Премного благодарен вам, господин дохтур.

И заковылял из кабинета. А на том месте, где стоял, лужицу оставил.

И представьте себе, коллеги, — гавловицкий водяной оказался настолько благоразумным, что последовал моему совету: поселился в одном из горячих источников Словакии и выкачивает из недр земли столько кипятку, что в этом месте непрерывно бьет теплый ключ. И в горячих водах его купаются ревматики, с большой для себя пользой. Они съезжаются туда лечиться со всего света.

Последуйте его примеру, господин Мадияш, — исполняйте все, что мы, врачи, вам советуем.

Случай с русалками

— У меня тоже был один интересный случай, — заговорил доктор из Горжичек. — Сплю я раз ночью как убитый, — вдруг слышу, кто-то в окно стучит и зовет: «Доктор! Доктор!»

Открываю окно.

— В чем дело? — спрашиваю. — Я кому-нибудь понадобился?

— Да, — отвечает мне какой-то встревоженный, но приятный голос. — Иди! Иди помоги!

— Кто это? — спрашиваю. — Кто меня зовет?

— Я, голос ночи, — послышалось из мрака. — Голос лунной ночи. Иди!

— Иду, иду, — ответил я, как во сне, и поспешно оделся.

Выхожу из дома — никого!

Признаюсь, я струхнул не на шутку.

— Эй! — зову вполголоса. — Есть тут кто-нибудь? Куда мне идти?

— За мной, за мной, — нежно простонал кто-то невидимый.

Пошел я на этот голос прямо по целине, не думая о дороге, сперва росистым лугом, потом бором. Ярко светила луна, и все застыло в ее холодных лучах. Господа, я знаю здешние края как свои пять пальцев; но той лунной ночью окружающее казалось чем-то нереальным, какой-то феерией. Иной раз узнаешь какой-то другой мир в самой знакомой обстановке.

Долго шел я на этот голос, вдруг вижу: да ведь это Ратиборжская долина, ей-богу.

— Сюда, сюда, доктор, — опять послышался голос.

Будто блеснув, всплеснула речная волна, и стою я на берегу Упы, на серебристом лугу, залитом луной. А посередине луга что-то светится: не то тело, не то просто туман; и слышу я — не то тихий плач, не то шум воды.

— Так, так, — говорю успокоительно. — Кто же мы такие и что у нас болит?

— Ах, доктор, — произнесла дрожащим голосом маленькая светящаяся туманность. — Я — просто вила, речная русалка. Мои сестры плясали, и я плясала с ними, как вдруг, сама не знаю почему, — может, о лунный луч споткнулась, может, поскользнулась на блестящей росинке, — только очутилась я на земле: лежу и встать не могу, и ножка болит, болит...

— Понимаю, мадемуазель, — сказал я. — У вас, как видно, фрактура, иначе говоря — перелом. Надо привести в порядок... Значит, вы — одна из тех русалок, что танцуют в этой долине? Так, так. А попадется молодой человек из Жернова или Слатины, вы его закружите насмерть, да? Гм, гм. А знаете, милая? Ведь это безобразие. И на этот раз вам пришлось дорого за него заплатить, правда? Доигрались?

— Ах, доктор, — застонала светлинка на лугу, — если б вы только знали, как у меня ножка болит!

— Конечно, болит, — говорю. — Фрактура не может не болеть.

Я стал на колени возле русалки, чтоб осмотреть перелом.

Уважаемые коллеги, я вылечил не одну сотню переломов, но скажу вам: с русалками трудно иметь дело. У них все тело сплошь из одних лучей, причем кости

образованы так называемыми жесткими лучами; в руку взять нельзя: зыбко, как дуновение ветерка, как свет, как туман. Извольте-ка это выпрямить, стянуть, забинтовать! Доложу вам, дьявольски трудная задача. Попробовал было паутинками обматывать, — кричит: «Ой-ой-ой! Режут, как веревки!» Хотел иммобилизировать сломанную ножку лепестком цветка яблони, — плачет: «Ах, ах, давит, как камень!» Что делать? В конце концов снял я блик, металлический отблеск с крыльев стрекозы, или либеллы, и приготовил из него две дощечки. Затем разложил лунный луч, пропустив его сквозь каплю росы, на семь цветов радуги и самым нежным из них голубым, привязал эти дощечки к сломанной русалочьей ноге. Это было сущее мученье! Я весь вспотел; мне стало казаться, что полная луна жарит, как августовское солнце. Покончив с этой работой, сел рядом с русалкой и говорю:

— Теперь, мадемуазель, ведите себя смирно, не шевелите ножкой, пока не срастется. Но послушайте, душенька, я вам, с подругами вашими, просто удивляюсь: как это вы до сих пор здесь? Ведь все вилы и русалки, сколько их ни было, давным-давно в гораздо лучшие места перебрались...

— Куда? — перебила она.

— Да туда, где фильмы делают, знаете? — ответил я. — Они играют и танцуют для кино; денег у них куры не клюют, и все на них любуются — слава на весь мир, мадемуазель! Все русалки и вилы давно в кино перешли, и все водяные и лешие, сколько их ни есть. Если бы вы только видели, какие на этих вилах туалеты и драгоценности! Никогда б не надели они такого простого платья, как на вас.

— О! — возразила русалка. — Наши платья ткутся из сияния светлячков!

— Да, — сказал я, — но таких уж не носят. И фасон теперь совсем не такой.

— С шлейфом? — взволнованно спросила русалка.

— Не сумею вам сказать, — сказал я. — Я в этом плохой знаток. Но мне пора уходить: скоро рассвет, а, насколько мне известно, вы, русалки, появляетесь только в темноте, правда? Итак, всего доброго, мадемуазель. А насчет кино подумайте!

Больше я этой русалки не видел. Думаю, ее сломан-

ная берцовая косточка хорошо срослась. И можете себе представить: с тех пор русалки и вилы перестали появляться в Ратиборжской долине. Наверно, перешли в киностудии. Да вы сами в кино можете заметить: кажется, будто на экране двигаются барышни и дамы, а тела у них никакого нет, потрогать нельзя, всё — сплошь из одних лучей: ясное дело — русалки! Вот отчего приходится в кино гасить свет и следить за тем, чтоб было темно: ведь вилы и всякие призраки боятся света и оживают только впотьмах.

Из этого также видно, что в настоящее время ни призраки, ни другие сказочные существа не могут показываться при дневном свете, если только не найдут себе другой, более дельной профессии. А возможностей у них для этого хоть отбавляй!

Господи, мы с вами так заболтались, дети, что совсем забыли о волшебнике Мадияше! И не мудрено; ведь он не может ни шепнуть, ни губами пошевелить: сливовая косточка все сидит у него в горле. Он может только потеть от страха, пучить глаза и думать: «Когда же эти четыре доктора помогут мне?»

— Ну-с, господин Мадияш, — сказал наконец доктор из Костельца. — Приступим к операции. Но сперва нам надо вымыть руки, так как для хирурга самое главное — чистота.

Все четверо принялись мыть руки: сперва вымыли в теплой воде, потом в чистом спирте, потом в бензине, потом в карболке. Потом надели чистые белые халаты... Ой, миленькие, сейчас начнется операция! Кто боится, пускай лучше закроет глаза.

— Винцек, — сказал доктор из Горжичек, — подержи пациенту руки, чтоб он не шевелился.

— Вы готовы, господин Мадияш? — важно спросил доктор из Упице.

Мадияш кивнул головой. А сам ни жив ни мертв, колени трясутся от страха.

— Тогда приступим! — провозгласил гроновский доктор.

Тут доктор из Костельца развернулся и дал волшебнику Мадияшу такого тумака, или леща, в спину, что загремело так, будто гром грянул, и в Находе, Старкоче,

даже в Смиржицех народ стал оглядываться, не начинается ли гроза;

земля затряслась, и в Сватонёвицах обвалилась галерея в заброшенной шахте, а в Находе закачалась колокольня;

по всему краю до самого Трутнова, Полице и еще дальше вспугнулись все голуби, все собаки залезли от страха к себе в конуру и все кошки спрыгнули с печи;

а сливовая косточка выскочила у Мадияша из горла с такой огромной силой и скоростью, что залетела за Пардубице и упала только возле Пржелоуче, убив в поле пару волов и уйдя на три сажени два локтя полторы стопы семь дюймов четыре пяди и четверть линии в землю.

Сперва выскочила у Мадияша из горла сливовая косточка, а за ней слова: «...тюх нескладный!» Это была застрявшая половина той фразы, которую он хотел крикнуть веснушчатому Винцеку: «Ах ты, пентюх нескладный!» Но она не улетела так далеко, а упала тут же, за Козефовом, перешибив при этом старую грушу.

После этого Мадияш разгладил усы и промолвил:

— Очень вам благодарен!

— Не за что, — ответили четыре доктора. — Операция прошла удачно.

— Только, — прибавил упицкий доктор, — чтобы совсем избавиться от этой болезни, господин Мадияш, вам надо сотню-другую лет отдохнуть. Настоятельно рекомендую вам, как и гавловицкому водяному, переменить воздух и климат.

— Я согласен с коллегой, — поддержал гроновский доктор. — Вы нуждаетесь в обилии солнца и воздуха, как принцесса Сулейманская. Исходя из этого, я горячо советовал бы вам пожить в пустыне Сахаре.

— Я, со своей стороны, разделяю эту точку зрения, — добавил костелецкий доктор. — Пустыня Сахара будет для вас чрезвычайно полезна, господин Мадияш, уже по одному тому, что там не растут сливы, которые могли бы явиться серьезной угрозой вашему здоровью.

— Присоединяюсь к мнению уважаемых коллег, — сказал доктор из Горжичек. — И уж раз вы — чародей, господин Мадияш, так в этой пустыне вы получите

возможность исследовать и продумать вопрос о том, как наколдовать в ней влагу и плодородие, чтобы там могли жить и работать люди. Это была бы прекрасная сказка.

Что оставалось делать волшебнику Мадияшу? Он вежливо поблагодарил четырех докторов, упаковал свои волшебные чары и переехал с Гейшовины в пустыню Сахару. С тех пор у нас нет ни чародеев, ни колдунов, и это очень хорошо. Но волшебник Мадияш еще жив и размышляет над вопросом о том, как бы наколдовать в пустыне поля и леса, города и деревни. Может быть, вы, дети, дождетесь этого.

Были у меня собака и кошка

РИСУНКИ КАРЕЛА И ИОЗЕФА ЧАПЕКОВ



МИНДА, ИЛИ О СОБАКОВОДСТВЕ

Человек заводит себе собаку по одному из следующих мотивов:

1) чтобы производить эффект в обществе;

2) для «охраны»;

3) чтобы не было чувства одиночества;

4) из интересов спортивно-собаководческих;

5) наконец, от избытка энергии: чтобы быть хозяином и повелителем собственной собаки.

Что касается меня, я завел себе собаку главным образом от избытка энергии, очевидно, испытывая желание иметь у себя в подчинении хоть одно живое существо. Короче говоря, однажды утром ко мне позвонил человек, волочивший на поводке что-то рыжее, косматое и, видимо, твердо решившее никогда не переступать порог моего дома. Посетитель объявил, что это — эрдель, взял этот щетинистый, грязный предмет на руки и перенес его через порог со словами:

— Иди, Минда!

(У этой сучки есть паспорт, где вписано какое-то другое, более аристократическое имя, но ее почему-то всегда называют Миндой.) Тут показались четыре длинные ноги, с необычайной быстротой тут же убежавшие под стол, и стало слышно, как что-то там внизу, под столом, дрожмя дрожит.

— Это, милый мой, порода! — промолвил посетитель тоном знатока и с невероятной поспешностью покинул нас обоих на произвол судьбы.

До тех пор я никогда не думал, как достают собак из-под стола. По-моему, обычно это делается так: человек садится на пол и приводит животному все логические и чувствительные аргументы в пользу того, что оно должно вылезть. Я попробовал сделать это с достоинством, повелительным тоном; потом стал просить, подкупая Минду кусочками сахару, — даже сам прикинулся песиком, чтобы ее выманить. Наконец, видя полную без-



успешность всех этих попыток, залез под стол и вытянул ее за ноги на свет божий. Это было неожиданное грубое насилие. Минда осталась стоять, подавленная, трепещущая, словно оскорбленная девушка, и пустила первую предосудительную лужицу.

А вечером она уже лежала в моей постели и косилась на меня своими прекрасными, ласковыми глазами, как бы говоря: «Не стесняйся, ложись под постель, голубчик. Я позволяю».

Однако утром она убежала от меня через окно. К счастью, ее поймали рабочие, чинившие мостовую.

Теперь я вожу ее на поводке подышать свежим воздухом и при этом привлекаю к себе лестное внимание, всегда вызываемое наличием у тебя породистой собаки.

— Погляди, — говорит какая-то мамаша своему ребенку, — вон собачка!

— Это эрдель, — обернувшись, слегка уязвленный, бросаю я.

Но больше всего раздражают меня те, кто мне кричит:

— У вас красивая борзая. Но почему она такая лохматая?

Она тянет меня куда ей вздумается: у нее чудовищная сила и самые неожиданные интересы. То вдруг начнет волочить меня по кучам глины, по свалкам предместья. Добродушные пенсионеры, видя, как мы мечемся каждый на своем конце поводка, безнадежно опутавшего нам ноги, укоризненно говорят мне:

— Зачем вы ее тянете насильно?

— Это я ее тренирую, — поспешно отвечаю я, увлекаемый к другой куче.

Что касается охраны, то это правильно: человек на самом деле приобретает собаку для охраны. Он настороженно ходит за ней по пятам, не отходя почти ни на шаг; охраняет ее от воров и от всех, кто к ней враждебно относится, кидается на каждого, кто ей угрожает. Поэтому уже с давних времен символом верности и бдительности является человек, стерегущий и охраняющий свою собаку. С тех пор как у меня завелась собака, я, как говорится, сплю вполглаза: все слежу, как бы кто не украл у меня Минду. Захотела она гулять — иду; захотела спать — сижу и пишу, насторожив уши, чтобы звука не пропустить. Подойдет ли к нам чужая собака — ощетиниваюсь, ощериваюсь, угрожающе рычу. Тут Минда оборачивается на меня и начинает вертеть остатком хвоста, видимо говоря: «Я знаю, что ты здесь и охраняешь меня».



И в том, что человек заводит себе собаку, чтобы не было чувства одиночества, тоже много правды. Собака в самом деле не любит оставаться одна. Как-то раз я оставил Минду одну в прихожей; в знак протеста она сожрала все, что нашла, и после этого ей было даже плохо. Потом — запер ее как-то в погребе; она прогрызла дверь. И с тех пор не желает оставаться одна ни на минуту. Когда я пишу, она требует, чтобы я с ней играл. Если я лягу, она понимает это как разрешение лечь ко мне на грудь и кусать меня за нос. Ровно в полночь я должен заводить с ней Большую Игру, состоящую в том, что мы со страшным шумом гоняемся друг за другом, кусаем друг друга, катаемся по земле. Выдохнувшись, она в изнеможении идет и ложится, после чего получаю право лечь и я, — однако с тем непременным условием,



чтобы дверь в спальню оставалась открытой: а то как бы Минда не заскучала.

Настоящим торжественно подтверждаю, что иметь собаку — отнюдь не забава или роскошь, а настоящий, благородный, высокий спорт. Когда на первой же вашей прогулке с собакой у нее лопнет ошейник, как это случилось со мной, вы поймете, что иметь собаку — значит, по существу, заниматься легкой атлетикой по программе, предусматривающей бег с препятствиями на тысячу ярдов, спринтерские состязания по пересеченной местности, бег по ломаной линии, разные прыжки и, наконец, в качестве победоносного финиша поимку собаки. За этим следует упражнение по тяжелой атлетике, так как вам приходится нести собаку без ошейника домой на руках, а это не просто подъем тяжести, но подъем тяжести сопротивляющейся — вид спорта, требующий большого напряжения, очень тяжелый. Иногда мне казалось, что Минда весит по меньшей мере центнер, а иногда — что у нее шестнадцать ног. А когда собачья сбруя в порядке, вы, гуляя с собакой, тренируетесь в жиме и рывке левой, правой и обеими руками, в перетягивании, восхождении на горы щебня, беге рысью и ходьбе, причем многое зависит от того, в какой вы находитесь спортивной форме. При этом необходимо делать вид, что все эти упражнения вы проделываете по собственному желанию.

Цель или основание выводки собак на улицу состоит в том, чтобы дать им возможность удовлетворить свои потребности. Минда изумляла меня своей невероятной, прямо девичьей стыдливостью; пока только она могла

терпеть, не делала на улице ничего, видимо, стесняясь обнаруживать свои слабости. В этом отношении у нее прямо какая-то английская сдержанность. Ее принцип: сора из избы не выносить. И она не могла понять, почему мы, люди, не достаточно считаемся с этим свойством ее характера.

Таким образом, я с первых же дней убедился, что, имея собаку, убиваешь сразу нескольких зайцев, кроме одного: я рассчитывал быть хозяином и командиром своей собаки, а получилось так, что скорее Минда стала моей хозяйкой и командиршей. Иногда я выкладываю ей это прямо, но она не хочет понимать: пока я ей доказываю, что она — причудница, мучительница, тиранка, капризница и упрямица, злоупотребляющая моим терпением и предупредительностью, она ласково смотрит мне в глаза, вертит остатком хвоста, беззвучно хохочет на всю окрестность своей розовой, обросшей волосами пастью и подставляет мне свою лохматую голову, чтобы я, ко всему этому, еще погладил ее. Да что же это такое? Этак ты мне и лапы на колени положишь? Ступай, ступай, Минда, ненавистная сучонка, дай мне дописать статью. Дай мне сказать еще...



Ну, ладно, Минда, допишу в другой раз.

У каждой собаки есть определенные привычки:

а) общесобачьи и б) свои собственные.

К общесобачьим привычкам относится, например, та, благодаря которой каждая порядочная собака, перед тем как лечь, трижды обернется вокруг своей оси, или,

если вы ее погладите по голове, — облизнется; но не рекомендую проверять это на чужих собаках.

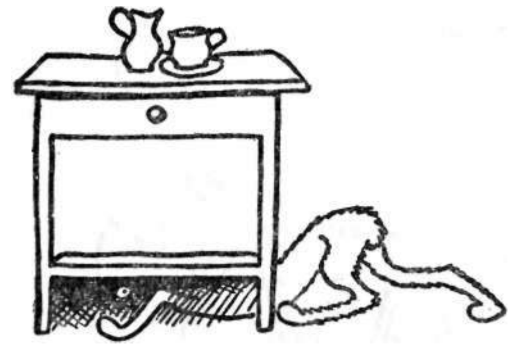
Что касается собственных привычек, то одни свойственны таксе, другие доберману, шпицу, бульдогу, пинчеру, терьеру и т. д. У эрделя Минды особая и притом непреодолимая привычка: увидев, что я лег, тотчас вскакивать на диван и, став передними лапами мне на грудь, стараться лизнуть меня в нос или в глаз; причем невозможно ни криком, ни просьбами заставить ее покинуть эту позицию. Я долго не мог понять, почему она это делает, какая ей от этого радость; но как-то раз мне попалось пособие по собаководству, где я нашел такой абзац:

«Эрдель, или военная собака (Kriegshund) — используется на войне для поисков раненых». И тут же картинка с изображением Минды, то есть я хочу сказать — эрделя, который встал, под градом пуль, передними ногами на грудь раненому солдату и лает. Тут я понял, что Минда удовлетворяет на мне свой военный инстинкт; за отсутствием раненого солдата, она становится на грудь мне, когда я, лежа на диване, читаю газету, и делает это, не обращая ни малейшего внимания ни на серьезность политического положения, ни на ожесточенную газетную перестрелку. Ах ты сучка моя военная! Песик мой милосердный! Не поехать ли нам с тобой куда-нибудь в Китай или Никарагуа, чтоб у тебя были настоящие раненые? А то объявлю войну Вршовицам, атеистам, либо одной из фракций Национального собрания и сената, раз уж завел себе служебную военную собаку!.. Враги мои, говорю вам: не шутите со мной! Я вам покажу: будете вы у меня лежать на поле сражения, простреленные и порубленные, а я позову Минду, чтобы она вас нашла и стала передними ногами вам на грудь. Потому что это у нее в крови.

У каждого наделенного даже высшим разумом существа есть свои слабости, безотчетные симпатии и антипатии. Один ни за что на свете не возьмет в руки телефонной трубки; другой испытывает непреодолимое отвращение к стихам или мистике; некоторые не выносят, когда водят ножом по тарелке, а иные современную музыку; м-ль Гаскова терпеть не может Гилара, и я знаю даму, которая ни в коем случае не подойдет к обыкновенной



корове. А Минду повергают в стихийный, необъяснимый ужас мотоциклы. На любой шум она реагирует с явным раздражением, но рев мотоцикла пробуждает в ней безумный страх, подобный тому, какой испытывает церковный сторож при виде самого дьявола. Сучке моей чужды современные взгляды; не любит она этих проклятых машин и изобретений, которые не имеют ни мяса, ни костей и мчатся, как оголтелые, распространяя вокруг отвратительный, неаппетитный запах. Если среди собак бывают набожные субъекты, то мотоцикл играет у них роль сатаны. У каждого из нас есть в душе чувствительное место, еще не покрывшееся кожей и волосами: местечко обнаженное и болезненно дрожащее, которое мы хотели бы скрыть от всего света. И вот понимаешь, Минда, каждый день кто-то или что-то как раз к этому нашему воспаленному месту притрагивается. Каждый день из-за угла с львиным ревом выскакивает мотоцикл, ища, кого бы проглотить. И мы лезем без оглядки под диван, в не-



проглядную тьму, и, закрыв глаза, дрожа всем телом, ждем, когда эта адская штука промчится мимо. И только когда установится полная тишина и будет слышен лишь привычный скрип пера по бумаге, Минда выползет со смущенной улыбкой из своего укрытия, чуть повиливая хвостом, словно извиняясь за свое малодушие: «Это... это просто так, пустяки. Погладь меня по головке, милый».

Сядь, Минда, и слушай. Есть три заповеди:

1) быть послушной,

2) соблюдать чистоту в комнатах и на лестнице,

3) жрать, что даю.

Заповеди эти — божественного происхождения и даны собачьему роду для того, чтобы поставить его над всеми зверями полевыми. Кто не соблюдает их, тот будет проклят и ввергнут в геенну огненную, где нет диванов и дьяволы на мотоциклах целый день преследуют грешные собачьи души.

Помимо нарушения этих заповедей, являющегося тяжким грехом, есть еще грехи повседневные, а именно:

Жрать подтяжки своего хозяина.

Прыгать на хозяина с грязными лапами.

Лаять, когда хозяин пишет.

Разливать свою похлебку по полу.

Выбегать на улицу.

Гоняться за кошкой по постели.

Обнюхивать мою тарелку.

Грызть ковер.

Катать по полу разные предметы.

Приносить домой старые кости.

Лизать своему хозяину нос.

Рыться в цветочных клумбах.

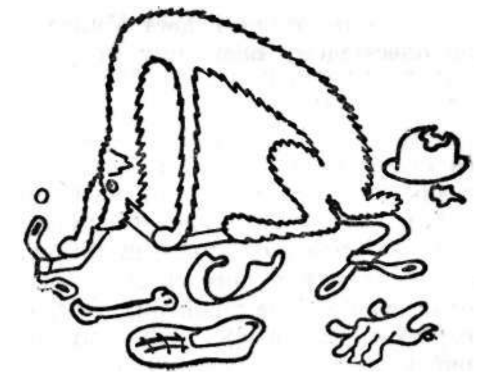
Уносить носки хозяина.

Собака, не совершающая этих грехов, приобретает особое достоинство и пользуется огромным уважением: поэтому она всегда толстая, как декан или директор банка, а не тощая, как люди, истощающие свои силы суетностью, тщеславием, праздностью и непослушанием.

Но есть еще неписаная собачья заповедь, которая гласит: «Возлюби господина своего».

Некоторые очень видные люди, как, например, Отокар Бржезина, считают собачью преданность признаком низменной рабской натуры. Но, по-моему, под понятие рабской натуры невозможно подвести нечто столь темпераментное и восторженное, как собачья натура. Я никогда не был рабовладельцем, но мне кажется — раб, наверно, существо запуганное, пронырливое, скрытное, которое не издает криков радости при появлении хозяина, не кусает его за руку, не обнимает его, не бросается на него и вообще не обнаруживает безудержного восторга и безумной радости, когда хозяин возвращается из редакции или откуда-нибудь еще.

Собака превосходит всех животных и человека силой чувств, радости и печали. Не могу себе представить, чтобы, скажем, канцелярист-практикант кинулся с бурным восторгом на шею начальнику отдела или чтобы приходский священник от радости стал кататься по земле, махая руками и ногами в воздухе, когда с ним заговорит епископ. Дело в том, что у людей отношение к своим хозяевам чисто деловое, неприветливое, тогда как собака полна к хозяину пламенной, беззаветной любви. Быть может, здесь сказывается древний Дух стаи, страстная





общительность существа, в котором жив инстинкт товарищества. «Человек, — говорит взгляд собаки, — у меня нет ничего, кроме тебя. Но посмотри: ведь мы с тобой вдвоем составляем отличную собачью свору, правда?»

Презрение. Да, это — самое подходящее слово. Не с враждой, а именно с аристократическим презрением смотрит кошка на собаку, создание шумное и какое-то плебейское. Ее обращение с ним полно высокомерного, иронического превосходства. Превосходства существа, замкнутого в себе, склонного к уединению. Этот большой, лохматый, шумный зверь плачет, как грудной ребенок, если его оставить одного, и чуть не умирает от радости, когда хозяин допустит его к себе. «Какое малодушие, — думает кошка, поднимая брови. — Что касается меня, то я ни в ком не нуждаюсь и поступаю всегда по-своему; а главное, не обнажаю так явно своих чувств: ведь это неприлично».

Тут она встает и дает Минде две бархатные оплеухи по блестящему влажному носу.

Минда — почти щенок; она не умеет еще управляться со своим каучуковым, гибким хребтом и длинными лапами; порой этот избыток эластичности делает ее неловкой и смущает, как девушку-подростка. Но бывают минуты — особенно лунными вечерами или когда из-за забора смотрит соседский Астор, — что ею овладевает неистовая жажда движений. Тогда она начинает прыгать, вертеться, танцевать и кружиться, глядя на небо, покоряясь какому-то захватывающему ритму. Это очень на-

поминает школу Даль-кроза или пляски русалок. Минда танцует.



Владелец собаки, так же как садовник, государственный деятель, отец семейства и некоторые другие люди, должен думать о будущем. Покупая себе сучку, я, конечно, стал думать о ее будущем. Первым делом я начал спрашивать у друзей и знакомых, не хотят ли они иметь превосходного чистокровного щенка-эрделя. И в самом деле — человек четырнадцать выразили желание обзавестись косматым щеночком лучших кровей, причем сейчас же, немедленно; я им ответил, что это станет возможным через год, когда моя сучка станет взрослой. Они подняли меня на смех: дескать, через год — все равно что никогда.

Во-вторых, я стал присматривать поблизости здорового, умного, породистого папашу для будущих своих щенят.

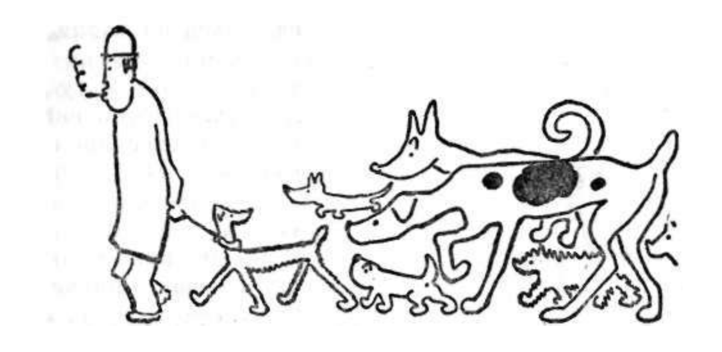
Наметив четырех великолепных эрделей, я постарался завоевать их доверие. Кроме того, я частично занялся изучением вопросов гибридизации, кровного родства и т. п., но, поскольку все это — проблемы научного характера, мнения авторитетов здесь диаметрально расходятся. Так что я решил, обойдя спорные вопросы профессионального собаководства, свести Минду через год с тем эрделем, что бегает так славно, весело высунув язык, за забором вон того желтого особняка. Пока я размышлял, Минда искала у себя блох, зевала и виляла хвостом, нисколько не задумываясь над проблемой своего будущего материнства.

Должен вам сказать, что поддержание породы — самая интересная сторона в собаководстве: на этот счет есть пропасть подробнейшей ученой литературы, и если вы захотите теоретически немножко себя подковать в этом вопросе, то сейчас же очутитесь на пороге великих тайн,

именуемых евгеникой. Почему бы не попытаться упорядочить природный процесс и не поставить перед ним более высокую цель? Отчего не подготовить появление на свет Сверхсобаки? Таким путем можно приобрести опыт, который окажется полезным в деле улучшения человеческой породы. Нас и так упрекают за недостаток веры в лучшее будущее человечества. Ладно. Запомни, Минда: тебе предстоит послужить великому делу.

Так вот, если вы хотите содействовать поддержанию породы и имеете подходящую сучку, прежде всего следите за тем, чтобы она у вас не бегала на улицу. Смотрите за ней строго, как делал я, не спускайте ее с поводка, держите на легкой диете, развлекайте, поучайте, берегите ее как зеницу ока. Вот и все. На прогулках за вами потянутся все встречные кобели; иногда образуется целая процессия, и вам придется отгонять их палкой, окриками, в то время как сучка ваша будет бежать рядом с вами, ни на кого не оглядываясь, милой, наивной девушкой. Пошел отсюда, старый волокита! Убирайся, бездельник-фокстерьер! Успокойся, бесстыжий волкодав! Фу, длинноногий потрясучий пинчер! Прочь, рыжий псина! Проваливай, безобразник! Понимаешь, Минда, все это — народ простой, грубый. Вот я расскажу тебе о чудном эрделе, который бегает, высунув язык, за забором. Косматый, как бог, рыжий, как солнце, а по спине — черный, как ворон. И глаза, глаза — черносливины. Проклятая орава! Да уйдешь ты, окаянный?! Я уверен, Минда, ты знаешь себе цену. Правильно делаешь, не обращая внимания на этих проходимцев. Ты еще слишком молода, да и весь этот сброд — совсем не для тебя. Пойдем-ка лучше домой.

Ну чего, чего тебе? По головке погладить? Пошлепать по спине? Гулять? Нет? Так что же? А, жрать хочешь? Имей в виду, Минда, ты слишком много лопаешь. Погляди, какая у тебя стала гладкая спина. И брюхо себе отрастила. Эй, милые мои домашние, не перекармливайте так бедное животное. Разве вы не видите, что у нее портится фигура? Где ее впалые бока и подтянутый живот, где прежний узкий, сухой зад? Ай-яй-яй, Минда, ай-яй-яй! Это оттого, что ты лентяйка. Иди, иди в сад, потанцуй там, погоняйся за обрубком своего хвоста. Побольше



движения, моциона! Не смей у меня толстеть, слышишь? А то начнется еще одышка, всякие сантименты. С нынешнего дня буду отмерять тебе порции сам.

— Послушайте, — сказал мне один человек, воображающий, будто все знает. — Ведь у вашей сучки будут щенята. Смотрите, она уж волочит брюхо по земле.

— Что вы! — возразил я. — Это жир. Вы не представляете себе, сколько эта бестия жрет. И потом целый день валяется на диване. Вот почему...

— Гм, — промычал в ответ мой собеседник. — А откуда же такие соски?

Я поднял его на смех. Ведь это просто абсурд: Минда никогда не остается одна, кроме как на несколько минут в саду, да и то в полной безопасности.

Через некоторое время об этом же заговорил со мной сосед: он якобы видел своими глазами. Якобы это был живущий поблизости чистокровный сторожевой пинчер.

Ума не приложу, когда и где это могло произойти. Но факты — упрямая вещь. Негодная, легкомысленная сучка, так, значит, ты, английская эрделька, спуталась с немецким пинчером? Белопегим, и вдвое меньше тебя ростом? Фу, какой стыд! Как? Ты еще хвостом виляешь и лохматой головой в меня тыкаешься? Уйди с глаз моих! Полезай под диван, глупая, непослушная, распутная девчонка! Самой году нет, а туда же! Посмотри, на что ты теперь стала похожа: спина прогнулась, позвонки торчат, как у козы, еле ворочаешься, вся развихлялась, уж не свертываешься колечком, а со вздохом, измученная,



садишься на задние лапы. Смотришь на меня так, словно я могу тебе помочь. Что, очень не по себе? Скверное самочувствие? Ничего не поделаешь, надо терпеть. Против природы не пойдешь. В конце концов сторожевой пинчер и эрдель — из одного рода пинчеров, оба косматые, бородатые... Кто знает, может, ты родишь белых эрделей либо рыжих сторожевых пинчеров с черным чепраком. Появится новый вид, ты станешь родоначальницей новой породы эрпинчеров или пинчэрделей. Ну, иди сюда, глупая. Можешь положить голову мне на колени.

В одно прекрасное утро из Миндиного домика слышится визг и писк. Минда, Минда, в чем дело? Что это под тобой копошится? Минда проявляет исключительную ласковость и раскаяние. Прости меня, хозяин, что я произвела на свет всю эту кучу. В течение следующих двадцати четырех часов ее невозможно выманить из домика. Видно только, что какие-то крысиные хвосты торчат у нее из-под брюха. Не то четыре, не то пять — никак не сосчитаешь; Минда не дает: только протя-



нешь руку, сейчас же цапает. И скорее позволит себя задушить, чем вытянуть за ошейник из домика...

Только на другой день Минда сама вышла оттуда.

Их оказалось восемь, этих самых щенят. И сплошь одни чистокровные, гладкие, черные доберманы.

Раз их целых восемь, придется часть прикончить.

— Эй, каменщики, кто из вас возьмется утопить несколько слепых щенков?

— Что вы? Мне никогда не приходилось, — слегка побледнев, отвечает каменщик.

— Бетонщики, вы такие молодцы: не утопит ли кто из вас несколько щенков?

— Этого я не могу, — отвечает бетонщик. — Духу не хватит.

В конце концов их утопил молодой садовник с девичьими глазами.

Теперь Минда выкармливает двух оставленных ей доберманов. Она гордится ими, как полагается, и лижет их глупые, черные, блестящие головки с желтыми пятнышками над глазами. Господи, Минда, где ты только взяла это добро?

Минда виляет хвостом особенно радостно и гордо.

1926—1927

ИРИС

Произошло это прошлой осенью, но как — по-видимому, навсегда останется тайной. Словом, знатоки предупредили меня, что у Ирис не должно быть щенков дважды в год, потому как от этого у нее либо начнется чахотка, либо что еще. Поэтому, когда пришла пора принять меры предосторожности, Ирис стала предметом нашего неусыпного надзора, ее отдалили от всех соблазнов прекраснейшего из миров и сопровождали повсюду, как монастырскую послушницу. Собаку ни на секунду не оставляли одну; все время ее кто-то забавлял, швырял камешки, бегал с ней взапуски по газону, чтоб она не заскучала. После чего в течение восьми недель Ирис полнела, толстела, а в последний день

залезла в конуру, где и произвела на свет четырех щенят. Сколько ни проживи я на свете — но так, наверное, и не пойму, как это могло случиться; поистине, природа всемогуща. Если тут и можно кого подозревать, то только лишь соседского немецкого овчара, огромного, как телок, либо соседского пинчера, почтенного старца, которого, кроме доброй еды и хронических расстройств простаты, ничто не заботит. И то и другое предположение крайне неправдоподобны; в обоих случаях, разумеется, вырастут отвратительные поскребыши и бастарды, которых я прикажу утопить, если, конечно, найдется, человек, который мог бы это сделать.

Итак, повторяю, природа всемогуща и непостижима. Щенята, рожденные столь нелегальным образом по своеобразной прихоти природы, оказались чистокровными и совершенными фокстерьерами, и спустя несколько недель ветеринар назначил за них бешеные деньги, на которые можно было бы приобрести жеребца-однолетку либо подержанный мотоцикл. Я оставил только двух щенков, и, согласно алфавитному порядку, назвал их Целдой и Цитронеком. У меня уже есть кое-какой опыт в этом деле; по-моему, существует два всеобщих закона, — правда, один несколько противоречит другому, но в этом повинен не я, а сами щенята.

1. Все щенята одинаковы; они родятся с одинаковыми привычками и растут по одинаковым правилам игры. Все лезут, куда не положено, делают по семьдесят семь лужиц в день, рвут на людях чулки, грызут что ни попадя — стулья, например, поводки, мыло, ковры и пальцы, — спят в корзинах с чистым бельем, каждые пять минут зовут на помощь, учатся лаять и затихают, только нанеся вам совершенно непоправимый урон. Все это — неумолимый закон природы, имеющий силу для всех на свете щенков.

2. И напротив — каждый щенок со дня рождения не похож на других ни мордой, ни способностями, ни душевным складом. Один родится рассудительным и склонным к задумчивости; другой сразу обнаруживает себя легкомысленным, забиякой и разбойником; третий — плакса и вечно обиженный себялюбец; четвертый — добряк и растяпа. Среди щенков наблюдаются холерики, меланхолики, сангвиники, флегматики; характеры пикнического типа и раздвоенные, героические и озорные; щенки деловитые и сентиментальные, натуры ахиллесовы и одиссеевы, темпера-

менты пылкие и бесстрастные, характеры замкнутые и характеры общительные. Все щенки на свете делают одно и то же, но каждый — по-своему. Извечно сходство и бесконечно разнообразие всего сущего.

* * *

Но есть, однако, и закон, который правит судьбами собачеев. На первой стадии, пока щенята еще слепые и непрерывно сосут мамашу, — собачей ограничивается мимолетным визитом и несколькими благосклонными словами, обращенными к сияющей роженице. На стадии второй кривая интереса резко скачет вверх; хозяин шумит, что этих щенков он ни за что никому не отдаст, что они прелесть, что таких именно щенков еще не знала история человечества, что он всех оставит себе — и баста. Наконец, на третьей стадии вышепоименованный воспитатель пишет либо трезвонит по телефону всем, кому он на первой стадии обещал щенков, чтоб они *как можно скорее* присылали за своими питомцами: «Не лишайте себя радости, потому что щеночек ваш теперь *так* мил, *так* мил, и хорошо бы вам уже сегодня унести его к себе домой, чтобы вы могли всласть им насладиться». Почти всегда щенят раздают даром с бросающейся в глаза торопливостью и чрезмерными уверениями, что это чудесный и милый зверек, который ни о чем ином и не помышляет, как только доставить радость своему хозяину. Напротив, новый обладатель вышеозначенного щеночка, осчастливленный тем, что милый зверек, облизав ему нос, принялся жевать ухо, рассыпается в выражениях восторга и бесконечной благодарности и с видимой поспешностью откланивается, чтоб даритель как-нибудь не передумал. Растроганный даритель между тем со вздохом облегчения запирает за ним дверь: «Слава богу, одного сплавил».

Новый обладатель щенка тоже проделывает определенный путь развития, предначертанный в книге судеб. Первые дни он просто в восхищении от всего, что проделывает бесподобный зверек.

— Мы все его *обожаем,* — докладывает он прежнему опекуну, — он к нам уже привык и засыпает только в нашей постели; я дал ему свои домашние туфли, — пусть играет, — и, знаете, он с ними уже расправился! Они пришлись ему по вкусу! А как он на своих маленьких

ножках гоняет кур! А какой упрямец! Какой непоседа! Мы вам *так* признательны...»

Две недели спустя:

— Послушайте, да он ужасный негодник, с ним приходится возиться целыми днями... Вы подумайте, он желает спать только на постели... Я хотел было его согнать — а он меня укусил... Всыпать бы ему, да вряд ли уже отучишь... О, иногда он опрятен, я думаю, у него выработается эта хорошая привычка; как вы считаете?

Еще две недели спустя новый обладатель в смущении покашливает, будто готовясь со всей деликатностью сообщить нечто неприятное о ваших детях:

— Просто и не знаем, как с ним быть; он уже *совсем* большой, а вытворяет невесть что... Мы бы с радостью водили его на поводке, да он, пожалуй, еще удавится... Гоняется за детьми... Сожрал кусок ковра... *Будьте добры, посоветуйте, что с ним делать?*

Вот доподлинная история поколения Ц:

Ц 1 (у молодой хозяйки). Страшно милый. Кусает за нос. Сожрал у экономки туфлю. Сожрал у экономки вуаль. Растет как на дрожжах. Глисты. Сожрал еще одну туфлю и чулок. Вызывает всеобщее восхищение. Угодил под машину. Сожрал хозяйкину шляпу и не может ее переварить. Страшно подвижный. Отдали в собачью школу. Через три недели вернулся ученый: ходит на поводке, умеет служить и меньше жрет туфель.

Ц 2 (у врача). Страшно мил. Целыми днями не слезает с колен. Сожрал у пациента в приемной шляпу. Еще одну шляпу. Снова шляпу. Переведен в сад, но выкапывает подряд все саженцы. Отстоял dente unquibusque [1] свое единоличное и неотъемлемое право на постель. Гоняет соседских кур. Хватает пациентов за икры. В наказание заперт на плоской крыше, проел крышу, вернее, прогрыз в ней дыру. Отдавали на воспитанье леснику, но после короткого знакомства лесник отступился, давая понять, что теперь у него для песика нету времени, потому как, дескать, теперь он должен наблюдать за посадкой лесных культур. Отныне Ц 2 — полновластный хозяин в доме и в саду; стоит только подступиться к нему с вежливыми упреками, он скалит зубы и отстаивает свою позицию. Дальнейшая его судьба между тем не определена,

[1] зубами и когтями (*лат.*).

но думаю, что он не поддастся. Такой породистый песик. Такая порода, бог мой!

Нет, Ирис, больше это тебе не пройдет. Теперь ты не сделаешь без нас и шагу. Видишь ли, мы желаем тебе добра. Не расстраивайся, и у нас, людей, бывают огорчения. Ляг у моих ног и погрусти. Усни и проспи эту окаянную весну.

ДАШЕНЬКА, ИЛИ ИСТОРИЯ ЩЕНЯЧЬЕЙ ЖИЗНИ

1

Когда она родилась, была это просто-напросто беленькая чепуховинка, умещавшаяся на ладошке, но, поскольку у нее имелась пара черненьких ушек, а сзади хвостик, мы признали ее собачкой, и так как мы обязательно хотели щенка-девочку, то и дали ей имя Дашенька.

Но пока она так и оставалась беленькой чепуховинкой, даже без глаз, а что касается ног — ну что ж, виднелись там две пары чего-то; при желании это можно было назвать ножками.

Так как желание имелось, были, стало быть, и ножки, хотя пользы от них пока что было немного, что там говорить. Стоять на них Дашенька не могла, такие они были шаткие и слабенькие, а насчет ходьбы и думать не приходилось.



Когда Дашенька взяла, как говорится, ноги в руки (по правде сказать, конечно, ног в руки она не брала, а только засучила рукава, — вернее, она и рукавов не засучивала, а просто, как говорят, поплевала на ладони. Поймите меня правильно: она и на ладони не плевала, во-первых, потому, что еще не умела плевать, а во-вторых, ладошки у нее были такие малюсенькие, что ей ни за что бы в них не попасть), — словом, когда Дашенька как следует взялась за это дело, сумела она за полдня дотащиться от маминой задней ноги к маминой передней ноге; при этом она по дороге три раза поела и два раза поспала.

Спать и есть она умела сразу, как родилась, этому ее учить не приходилось. Зато и занималась она этим удивительно старательно — с утра до ночи. Я даже думаю, что и ночью, когда никто за ней не наблюдал, она спала так же добросовестно, как и днем, такой это был прилежный щенок.

Кроме того, она умела пищать, но как щенок пищит, этого я вам нарисовать не сумею, не сумею и изобразить, потому что у меня недостаточно тонкий голос. Еще умела Дашенька с самого рождения чмокать, когда она сосала молочко у мамы. А больше ничего.



Как видите, не так-то много она умела. Но ее маме (зовут ее Ирис, она жесткошерстный фокстерьер) и того было довольно: весь день напролет она все нянчилась со своей дорогой Дашенькой и находила, о чем с ней беседовать, причесывала ее и гладила, утешала и кормила, ласкала и охраняла и подкладывала ей вместо перины собственное мохнатое тело; то-то славно там, милые, Дашеньке спалось!

К вашему сведению, это и называется материнской любовью. И у человеческих мам все бывает так же — сами, конечно, знаете.

Одна разница: человеческая мама хорошо понимает, что и почему она делает, а собачья мама не понимает, а только чувствует — ей все природа подсказывает.

«Эй, Ирис, — приказывает ей голос природы, — внимание! Пока ваш малыш слепой и беспомощный, пока он не умеет сам ни защищаться, ни прятаться, ни позвать на помощь, не смейте от него ни на секунду отлучаться, я вам это говорю! Охраняйте его, прикрывайте своим телом, а если приближается кто-то подозрительный, тогда «ррр» на него и загрызите!»

Ирис все это выполняла страшно пунктуально. Когда приблизился к ее Дашеньке один подозрительный адво-

кат, она кинулась, чтобы его загрызть, и разорвала ему брюки; когда подошел один писатель (помнится, Иозеф Копта), хотела его тоже задушить и укусила за ногу; а одной даме изорвала все платье.



Более того, кидалась она и на официальных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, как-то: на почтальона, трубочиста, электромонтера и газопроводчика. Сверх того, покушалась она и на общественных деятелей — бросилась на одного депутата; было у нее недоразумение даже с полицейским; словом, благодаря своей бдительности и неустрашимости она сохранила свое единственное чадушко от всех врагов, бед и напастей.

У собачьей мамы, дорогие мои, жизнь нелегкая: людей на свете много и всех не перекусаешь.

В тот день, когда Дашенька отпраздновала десятидневную годовщину своей жизни, ожидало ее первое большое приключение. Проснувшись поутру, она, к своему удивлению, обнаружила, что видит, — правда, пока только одним глазом, но и один глаз — это тоже, я бы так выразился, выход в свет.

Дашенька была так потрясена, что завизжала, и этот визг был началом собачьей речи, которую называют лаем. Теперь Дашенька умеет не только говорить, но и ворчать и браниться, но тогда она только взвизгнула, и это прозвучало так, словно нож скользнул по тарелке.

Главным событием был, впрочем, конечно, глаз. До сих пор Дашеньке приходилось искать прямо мордашкой, где у мамы те славные пуговки, из которых брызжет молочко; а когда она пробовала ползать, приходилось ей сначала совать свой черный и блестящий нос, чтобы пощупать, что там, впереди... Да, братцы, глаз — хотя бы и один — замечательная штука! Только мигнешь им — и видишь: ага, тут стена, тут какая-то пропасть, а вот это белое — мама! А когда захочешь спать, глазок закрывается — и спокойной ночи, не поминайте лихом!

А что, если опять проснуться?



Открывается один глаз — и, глядите-ка, открывается и второй, немного щурится, а потом выглядывает целиком. И с этой минуты Дашенька смотрит и спит двумя глазами сразу, так что она скорее успевает выспаться и может больше времени тратить на обучение ходьбе, сидению и разным прочим разностям, необходимым в жизни. Да, что ни говори, это большой прогресс!

Как раз в этот момент вновь послышался голос природы:

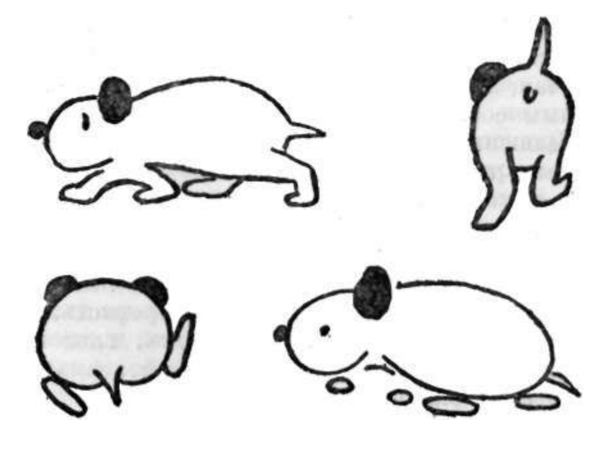
«Ну, Дашенька, раз у тебя теперь есть глазки, смотри в оба и попробуй ходить!»

Дашенька подняла ушко в знак того, что слышит и понимает, и стала пробовать ходить. Сначала она высунула вперед правую переднюю ножку… А теперь как же?

«Теперь левую заднюю», — подсказывал ей голос природы.

Ура, и это вышло!

«А теперь давай вторую заднюю, — посоветовал голос природы, — да заднюю, говорят тебе, заднюю, а не переднюю! Ах ты, глупая Дашенька, ты же одну ножку



сзади оставила! Постой, дальше идти нельзя, пока ты ее не подтянешь. Да говорю тебе — подтяни ты правую заднюю под себя!.. Да нет, это хвостик, на хвостике далеко не уйдешь! Запомни, Дашенька: о хвостике можешь не беспокоиться, он сам собой пойдет за ножками... Ну что, все лапки собрала? Отлично! А теперь сначала: выдвигай правую переднюю, так, голову немного повыше, чтобы оставить место для ножек... так, хорошо; теперь левую заднюю, а теперь правую заднюю (только не так далеко в сторону, Дашенька); двигай ее под себя, чтобы животик не волочился по земле... вот так. А теперь шагай левой передней... Прекрасно! Вот видишь, как хорошо дело идет!.. Теперь минутку отдохни и начинай сначала: одна — две — три — четыре; голову выше; одна — две — три — четыре!»

2

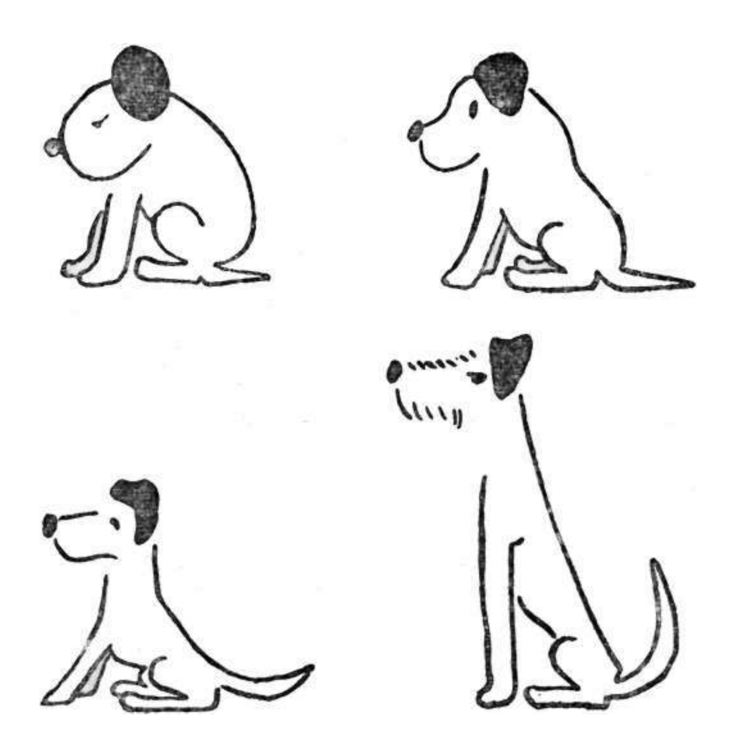
Как видите, ребята, работы тут немало, а голос природы — учитель ой-ой-ой какой строгий, он ничего не спускает щенку-ученику.

Хорошо еще, что порой он бывает занят, — скажем, учит молодого воробья летать или показывает гусенице, какие листья можно есть, а какие не надо трогать. Тогда он задает Дашеньке только уроки, домашние задания (например, пересечь по диагонали, от угла к углу, всю собачью конуру) и исчезает. Справляйся, бедняжка, сама как хочешь!

Дашенька ужасно старается, от напряжения у нее даже язычок высовывается: правой передней, теперь левой задней (батюшки мои, да какая же тут левая, какая правая — эта или эта?) и другой задней (да где ж она у меня?)... А теперь что?

«Плохо! — кричит голос природы, весь запыхавшийся, ведь он учил воробьев летать. — Шаги поменьше, Дашенька, голову выше, а лапки хорошенько подбирай под себя. Повторить упражнение!»

Голосу природы — ему, конечно, хорошо командовать, а когда у тебя ножки мягкие, словно из ваты, и трясутся, как студень, попробуй-ка сладь с ними! Да еще животик у нас так набит, а голова такая большая — мука, да и только!



Измученная Дашенька усаживается посередине конуры и начинает хныкать.

Но мама Ирис тут как тут: она утешает свою дочурку, кормит ее, и обе засыпают.

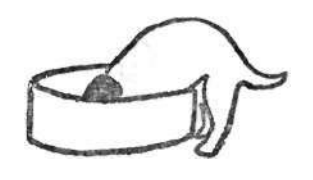
Вскоре, однако, Дашенька просыпается, вспоминает, что не выполнила домашнее задание, и лезет прямо по маминой спине в противоположный угол конуры.

«Молодчина, Дашенька! — хвалит ее голос природы. — Если будешь так прилежно учиться, станешь бегать быстрее ветра».

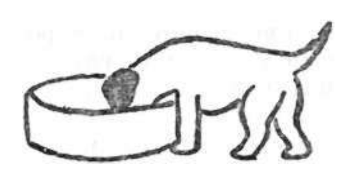
Вы не поверите, сколько у такого щенка дел: когда он не учится ходить — спит; когда не спит — учится сидеть. А это, друзья, тоже не пустяк, голос природы и тут покрикивает:

«Сиди прямо, Дашенька, голову выше и не гни так спину. Эй, берегись: сидишь на спине! А теперь сидишь на ножках. А где у тебя хвостик? На хвосте сидеть тоже не полагается — ведь ты им тогда не сумеешь вилять».

И так далее, нотации без конца!



Даже когда щенок спит или сосет, он тоже выполняет задание — расти. Изо дня в день ножки должны становиться немного больше и крепче, шейка — длиннее, мордочка — любопытнее. Представляете, сколько это хлопот, когда растут сразу четыре ноги? Нельзя забывать и о хвостике — он тоже должен подрастать. Нельзя же, чтобы у фокса был крысиный хвостик! У фокстерьера хвост должен быть крепким, как палка, и так вилять, чтобы свист стоял. И надо уметь настораживать ушки, вертеть хвостом, громко скулить и мало ли что еще... И всему этому Дашенька должна учиться.

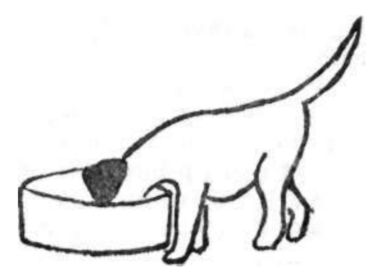


Вот она уже умеет как следует ходить. Правда, иногда какая-нибудь ножка теряется. Тогда приходится сесть, чтобы побыстрее разыскать беглянку и собрать все четыре ноги вместе. Иногда Даша просто катится, словно маленький чурбачок.

Но щенячья жизнь страшно сложна: тут начинают расти зубы.

Сначала это просто крошки, но как-то незаметно они начинают заостряться, и чем острее они становятся, тем сильнее пробуждается у Дашеньки желание кусать.

К счастью, на свете есть масса вещей, необыкновенно подходящих для этого занятия. Например, мамины уши или человеческие пальцы. Реже попадается Дашеньке кончик человеческого носа или ушная мочка, зато если она до них доберется, то грызет их с особенным наслаждением.



Больше всего достается маме Ирис. Живот у нее до крови искусан Дашенькиными зубками и изодран коготками; она, правда, терпеливо кормит эту маленькую кус... (кусыню, кусицу?.. Да



как же будет существительное женского рода от «кусаться»? Ах да, кусаку!), но при этом жмурится от боли. Ничего не попишешь, Дашенька, с кормлением у мамы придется кончать; надо тебе учиться еще одному искусству — лакать из миски.



Пойди сюда, маленькая, вот тебе миска с молоком. Ах, не знаешь, что с этим делать? Ну, сунь туда мордочку, высунь язык, обмакни его в это белое и живо втяни обратно, только чтобы на нем осталась капелька этого белого; и так поступай снова, бис, репете, da capo, пока миска не опустеет. Да не сиди ты с таким глупым видом, Дашенька, ничего страшного тут нет. Ну, давай принимайся, начинай!

Дашенька ни с места, только хлопает глазами и трясет хвостиком.

Эх ты, дурашка! Что ж, раз иначе не выходит, придется сунуть в молочко твой бестолковый нос, хочешь не хочешь. Вот так!

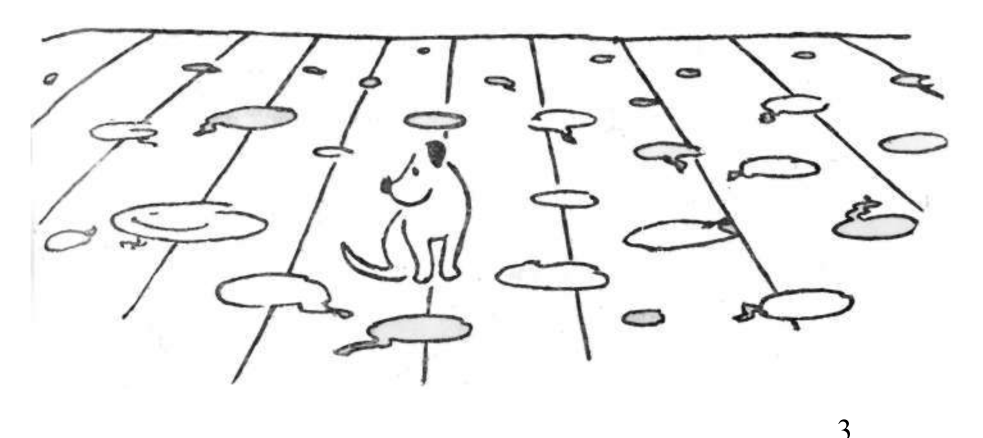


Дашенька возмущена совершенным над ней насилием: нос и усы у нее смочены молоком. Надо их облизнуть язычком... Ах ты батюшки, до чего же это вкусно!

А теперь она уже не боится — сама лезет в это вкусное белое прямо с ножками, разливает его по полу; все ее четыре лапки, и уши, и хвостик в молоке. Мама приходит на выручку и облизывает ее.

Но начало положено: через день-другой будет Дашенька вылизывать миску в два счета и при этом будет расти как на дрожжах... что я говорю — как на молоке!

Вот и вы, ребята, берите с нее пример и ешьте как следует, чтобы расти и становиться большими, как этот славный щеночек, который с честью носит имя «Дашенька».



3

Много воды утекло, и, в частности, много натекло лужиц.

Дашенька — уже не беспомощный комочек с трясущимся хвостиком, а совершенно самостоятельное, лохматое и озорное, зубастое и непоседливое, прожорливое и все уничтожающее существо.

Выражаясь по-научному, выросло из нее позвоночное (потому что у нее голос, как звоночек) из отряда плутоватых, собакообразных, подотряд непосед, род озорников, вид безобразников, порода «сорванец черноухий».

Носится она где пожелает: весь дом, весь сад, вся Вселенная до самого забора — все это ее владения.

В этой Вселенной полным-полно вещей, которые необходимо раскусить, то есть исследовать по части их кусабельности, а также, возможно, сожрабельности; полным-полно таинственных мест, где можно производить занимательные опыты для выяснения вопроса о том, где лучше всего делать лужицы.



(В основном Дашенька избрала для этих целей мой кабинет с его окрестностями, но по временам предпочитает столовую.)

Далее необходимо уточнить, где лучше спится (в частности, на половых тряпках, на руках у людей, посреди клумбы с цветами, на вени-



ке, на свежевыглаженном белье, в корзинке, в сумке для покупок, на козьей шкуре, в ботинке, на парниковой раме, на лопатке, на дорожке у двери или даже на голой земле).

Есть вещи, которые служат для развлечения, — например, лестница, с которой так хорошо скатываться кувырком («Вот весело!» — думает Дашенька, летя через голову по ступенькам). Есть вещи опасные и коварные, — скажем, двери, которые стукают по голове или прищемляют лапку или хвост, как раз когда этого меньше всего ожидаешь. В таких случаях Дашенька визжит, как будто ее режут, и ее берут на руки. Там она еще минутку поскулит, получит в утешение что-нибудь вкусное и снова бежит скатываться с лестницы.

Несмотря на некоторый горький опыт, Дашенька твердо убеждена, что с ней ничего худого не может случиться и над ее собачьей головкой не собирается никаких туч.

Она не обходит половую щетку, а доверчиво ожидает, что щетка обойдет ее; обычно щетка так и поступает. Вообще у Дашеньки родственная склонность ко всему волосатому, будь то щетка или конский волос (который она таскает из дивана), или человеческие волосы, — ко всему этому она питает слабость.

Не уступает она дороги и человеку. В конце концов пусть человек сам заботится, как бы не наступить на щенка! Это его дело, верно?

Все, кто живут в доме, вынуждены или парить в воздухе, или ступать осторожно, словно по тонкому льду.

Ведь никогда не знаешь, когда у тебя под ногой раздастся отчаянный визг.

Вы, друзья, не поверите, как такой маленький щенок может заполнить собой весь дом!

Дашенька не желает принимать в расчет козни и злобу мира сего; три раза она вбегала прямехонько в садовый прудик, твердо уверенная, что и по воде можно чудесно бегать.

После этого ее тепло укутывали и в утешение ей доставался кончик хозяйского носа, чтобы она скорее забыла пережитый ужас, кусая самую соблазнительную вещь на свете.

4

Но будем рассказывать по порядку.

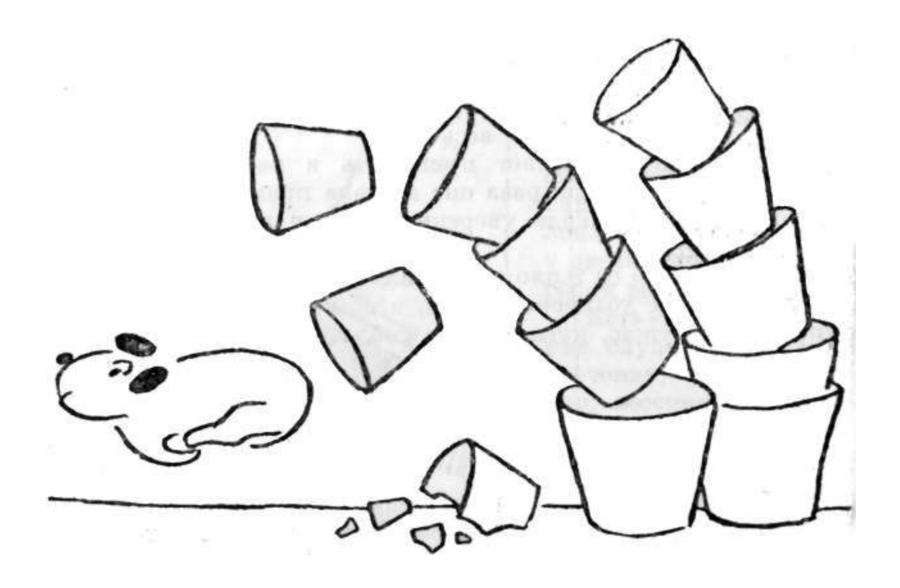
1. Бег и прыжки — первое и главное дело для Дашеньки.

Теперь уже это, милые, не шаткие, мучительно трудные первые шаги, нет! Это уже настоящий спорт, как-то: рысь, галоп, спринт, спурт на десять ярдов, бег на длинные дистанции; прыжки в длину, прыжки в высоту, полет, ползание по-пластунски; различные броски, как, например бросок на нос, бросок на голову, падание на спину, сальто-мортале на бегу с одним или несколькими переворотами; бег по сильно пересеченной местности, бег с препятствиями (например, с половой тряпкой во рту); разные виды валяния и катания — через голову, на боку и т. д.; гонка, преследование, повороты и перевороты, — словом, все виды собачьей легкой атлетики.



Уроки в этой области дает самоотверженная мама. Она мчится по саду, — конечно, прямо через клумбы и другие препятствия, — она летит, как лохматая стрела, и Дашенька мчится следом. Мама отскакивает в сторону, а так как маленькая этого еще не умеет, то она делает двойное сальто — иначе остановиться она не может.

Или мама носится по кругу, а Дашенька за ней. Но так как она еще не знает, что такое центробежная сила (физику у собак проходят несколько позже), то центро-



бежная сила подбрасывает ее, и Дашенька описывает в воздухе красивую дугу. После каждого такого физического опыта Дашенька очень удивляется и садится отдохнуть.

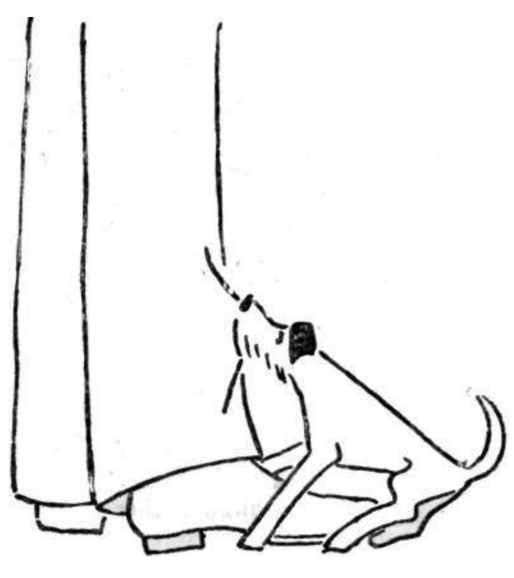
Сказать вам по правде, координация движений у этого щенка еще далека от совершенства. Дашенька не знает меры. Она хочет сделать шаг и вместо этого летит, как камень из пращи; хочет прыгнуть и рассекает воздух, как пушечный снаряд. Сами знаете, молодость любит немного преувеличивать. Дашенька, собственно говоря, не бежит — ее просто несет куда-то; она не прыгает — ее швыряет!

Она побивает все рекорды скорости: в три секунды ухитряется перебить гору цветочных горшков, ввалиться кувырком в парник на саженцы кактусов и при этом еще шестьдесят три раза вильнуть хвостом.

Попробуйте-ка вы так!

2. Кусание — это тоже любимый спорт Дашеньки. Она кусает и грызет просто-напросто все, что встречает на своем пути, а именно: плетеную мебель, метелки, ковры, антенну, домашние туфли, кисточку для бритья, фотопринадлежности, спичечные коробки, нитки, цветы,

мыло, одежду и, в частности, пуговицы. Если же ничего такого поблизости нет, то она вгрызается в свою собственную ногу и хвост столь основательно, что вскоре начинает скулить.



В этом деле она проявляет необыкновенную выдержку и упорство: она изгрызла целый угол ковра и всю бахрому у покрывала на кровати. Нельзя не признать, что для такой малышки это серьезное достижение. За время своей недолгой деятельности она с успехом изгрызла:

1 гарнитур плетеной мебели	360	чешских крон
1 диванную обивку	536	чешских крон
1 ковер (не новый)	700	чешских крон
1 дорожку (почти новую)	940	чешских крон
1 садовый шланг	136	чешских крон
1 щетку	16	чешских крон
1 пару сандалий	19	чешских крон
1 пару домашних туфель	29	чешских крон
Разное	263	чешских крон
Итого:	2999	чешских крон

(Прошу проверить!)

Отсюда вытекает, что такой чистокровный жесткошерстный фокстерьер обходится 2999 крон штука. Хотел бы я знать, во сколько тогда обойдется чистокровный щенок, скажем, берберийского льва?

Иногда в доме вдруг наступает странная тишина. Дашенька сидит тихо, как мышка, где-то в углу. «Слава тебе господи, — вздыхает хозяин, — наконец-то прокля-

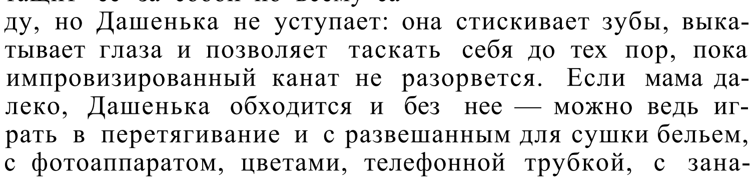


тая псина уснула, хоть минутку можно спокойно посидеть!» Вскоре эта тишина, однако, начинает казаться подозрительной; хозяин встает и идет взглянуть, почему это Дашенька так долго сидит смирно.

Дашенька с победоносным видом поднимается и вертит хвостом, под ней лежат какие-то клочки и лохмотья; что это было, распознать уже нельзя.

По-моему, когда-то это было щеткой.

3. Перетягивание на канате — не менее важный вид спорта. Тут, как правило, должна помогать мама Ирис. А так как у собак специального каната нет, за него сходит все, что попадется: шляпа, чулок, шнурки для ботинок и другие предметы обихода.



Мама, само собой разумеется, перетягивает Дашеньку и тащит ее за собой по всему саду, но Дашенька не уступает: она стискивает зубы, выкатывает глаза и позволяет таскать себя до тех пор, пока импровизированный канат не разорвется. Если мама далеко, Дашенька обходится и без нее — можно ведь играть в перетягивание и с развешанным для сушки бельем, с фотоаппаратом, цветами, телефонной трубкой, с зана-

весками или с антенной. В человечьей конуре всегда найдется что-нибудь, на чем можно испробовать свои зубки и мускулы, упорство и спортивный дух.

4. Классическая борьба — еще один и, что касается Дашеньки, особенно любимый вид тяжелой атлетики.

Обычно Дашенька, проявляя беспримерный боевой дух, кидается на маму и впивается ей в нос, в ухо или в хвост. Мама стряхивает противника и хватает его за шиворот. Наступает так называемый инфайнтинг, или ближний бой, то есть оба борца катаются по рингу (обычно по газону), и зритель не видит ничего, кроме великого множества передних и задних ног, высовывающихся из какого-то лохматого клубка. В клубке этом что-то порой взвизгнет, порой из него высунется победоносно виляющий хвост; оба противника яростно рычат и наскакивают друг на друга всеми четырьмя ногами. Потом Ирис вырывается и трижды обегает вокруг сада, преследуемая по пятам воинственной Дашенькой. А потом все начинается сначала.

Понятно, мама проводит только показательный бой, она не кусается по-настоящему, зато Дашенька в пылу сражения рвет, терзает и кусает маму изо всех сил.



В каждом таком матче бедная Ирис теряет немалую толику шерсти. Чем больше растет Дашенька, чем она становится сильнее и мохнатее, тем более растерзанной и ободранной выглядит мама.

Да, дети — сущее наказание, вам это и ваши мамы подтвердят!

Зачастую мама хочет отдохнуть и где-нибудь прячется от своей подающей надежды дочурки. Тогда Дашенька сражается с метелкой, ведет ожесточенный бой с какой-нибудь тряпкой или предпринимает отважные атаки на человеческие ноги.

Вошел гость, и вот Дашенька молниеносно атакует его брюки и рвет их.

Гость насильственно улыбается, думает про себя: «Чтоб ты сдохла!» — и уверяет, что он «обожает собак», особенно когда они вцепляются ему в брюки.

Или же Дашенька нападает на ботинки гостя и тащит его за шнурки. Она успевает порвать либо развязать их прежде, чем тот сосчитает до трех (например: «Будь ты трижды неладна!»), и получает при этом огромное удовольствие (не гость, а Дашенька)...

5. Кроме того, Дашенька с большой охотой занимается ритмическими и вольными упражнениями, — например, почесыванием задней ногой за ухом или под подбородком и ловлей мнимых блох в собственной шубе. Последнее упражнение особенно развивает грацию, гибкость, а также способствует овладению партерной акробатикой.

Или — обычно где-нибудь на цветочной клумбе — она тренируется в саперном деле. Так как Даша принадлежит к породе терьеров, или мышеловов, она учится выкапывать мышей из земли. Мне приходилось не раз вытягивать ее из ямы за хвост. Ей это явно доставляло большое удовольствие, мне — несколько меньшее; когда вам с клумбы кивает вместо цветущих лилий собачий хвост, это, с вашего разрешения, немного нервирует.

Дашенька, Дашенька, кажется мне, что так дальше у нас с тобой дело не пойдет. Ничего не попишешь, пора нам расставаться!

«Да, да, — говорят умные глаза Ирис, мамы, — так дальше продолжаться не может, девчонка портится! Посмотри, хозяин, как я выгляжу: вся ободранная и истерзанная, пора уже мне отрастить себе новый наряд. И потом, подумай, я служу тут уже пять





лет — каково же терпеть, что все носятся с этой безобразницей, а на меня ноль внимания! И, к твоему сведению, я даже не ем досыта — она мигом съедает свою порцию, а потом лезет в мою миску. Вот и вся благодарность, хозяин... Нет, нет, самое время отдать девчонку в люди!»

* * *

И вот наступил день, когда чужие люди забрали Дашеньку и унесли ее в портфеле, сопровождаемые нашими горячими и благожелательными уверениями в том, что это чудесная, славная собачка (в этот день она успела разбить стекла парниковой рамы и выкопать целый куст тигровых лилий) и вообще она необыкновенно мила, послушна и т. д. Второго такого щенка не найдешь!



«Ну, отправляйся, Дашенька, и будь молодчиной!»

В доме — благодатная тишина. Слава богу, уже не нужно все время дрожать, как бы эта проклятущая псина не натворила новых пакостей. Наконец-то мы от нее избавились!

Но почему же в доме так тихо, как на кладбище? В чем дело? Люди стараются не глядеть друг другу в глаза. Заглядываешь во все углы — и нигде ничего нет, даже лужицы...

А в конуре молча, одними глазами, плачет ободранная и истерзанная мама Ирис.

Как фотографировать щенка

Скажу откровенно: трудно! Здесь требуется адское терпение и от щенка и от фотографа.

Предположим, солнце удачно освещает трогательную сцену: щенок лопает из миски. Хозяин щенка галопом

мчится за фотоаппаратом, чтобы увековечить этот знаменательный момент щенячьей жизни. Прежде чем он возвращается с аппаратом, миска, увы, совершенно пуста.

— Живее налейте Дашеньке еще миску молока! — командует фотограф.

Он с подобающей профессиональной ловкостью устанавливает экспозицию и наводит объектив на резкость, пока Дашенька героически расправляется со второй миской.

— Так, вот теперь отлично, — задыхается фотограф и в этот момент замечает, что забыл зарядить аппарат.

Пока он вставляет кассету, Дашенька приканчивает и вторую миску.

— Дайте ей еще одну! — говорит фотограф и быстро наводит аппарат.

Однако Дашенька вбила себе в голову, что больше ни под каким видом есть не будет. Ни капельки. Все уговоры бесполезны. Напрасно тыкать ее носом в молоко — не желает, и конец.



Со вздохом фотограф уносит аппарат домой, а Дашенька, в сознании своей победы, принимается за третью порцию молока.

Ладно, в другой раз хозяин щенка подготовился лучше, и заряженный аппарат у него под рукой. Ура, вот Дашенька после долгой беготни на минутку присаживается. Живее возьми фокус! Но в тот момент, когда ты щелкаешь затвором, щенок срывается с места — и поминай как звали. Каждый раз, когда щелкает затвор, повторяется то же самое: щенок вскакивает и исчезает со скоростью ста метров в секунду.

Стало быть, так ничего не выйдет, надо придумать что-нибудь другое.

Пока фотограф наводит аппарат, двое его родственников становятся возле Дашеньки и рассказывают ей сказку, чтобы она посидела хоть секунду. Но Дашенька как раз не расположена слушать сказки, ей хочется гоняться за мамой.

Или ей жарко на солнышке, и она начинает скулить.

Или в решающий момент она быстро поворачивает голову, и на пластинке вместо белого щенка видна только

белая клякса. Испортив таким образом пластинку, Дашенька успокаивается и сидит как пень.



Мы пробовали принудить ее посидеть пять секунд тихо, слегка наказав ее, — она в знак протеста начала носиться как шальная.

Пробовали подкупить ее кусочком мяса — она проглатывала его и с такой энергией устремлялась на поиски второго кусочка, что опять ничего не выходило.

Вообще ничего не выходило. Никак.

Поверьте мне, намного легче заснять падение в пропасть или молнию на небе, чем сцену из жизни щенка!

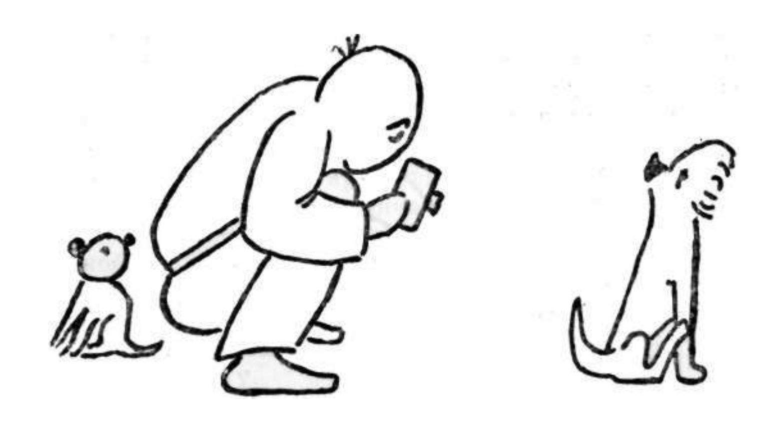
Я говорю вам это для того, чтобы вы могли оценить те несколько снимков, которые каким-то чудом оказались неиспорченными. Мне просто посчастливилось — и не меньше, чем тому, кто найдет в ведерке с углем алмаз с кулак величиной. Я, правда, еще ни разу таких алмазов не находил, но думаю, что это должен быть приятный сюрприз.

Самое занятное во всей этой фотомороке тот момент, когда собачонка проявляется (я хочу сказать — в лаборатории, в проявителе). Тут первым делом вылезает на свет черный носик, затем заблестят черные глаза и, наконец, черные ушки. Нос, как и полагается у собачонки, всегда высовывается первым.

Словом, если у вас есть фотоаппарат — приобретите в дополнение щенка; если есть щенок — раздобудьте фотоаппарат и попытайте счастья.

Это весьма захватывающее занятие, более напряженное, чем охота на зебру или на бенгальского тигра.

Больше ничего вам не скажу — убедитесь сами!



СКАЗКА ДЛЯ ДАШЕНЬКИ, ЧТОБЫ СИДЕЛА СМИРНО
СКАЗКА ПРО СОБАЧИЙ ХВОСТ

Ну, слушай, Даша, если минутку посидишь спокойно, я тебе расскажу сказку... О чем, спрашиваешь?

Ну, хотя бы сказку про собачий хвост.

Так вот, жил-был один песик, звали его Фоксик. Знаешь, как он выглядел?

Он был весь беленький, только ушки у него были черные, глаза черные, как агат, а нос черный, как антрацит. А в знак того, что он настоящий, чистокровный терьер, во рту, на самом нёбе, было у него черное пятно — точь-в-точь как у тебя. Хотя ты-то, видишь ли, об этом пятне и не знаешь, ну, я как-нибудь тебе покажу, когда будешь перед зеркалом зевать и разинешь рот до ушей.

Хвост у Фоксика был, скажу я тебе, ужасно длинный, почти такой же длинный, как его родословная, и вилял он этим хвостом так здорово, что мог им тюльпаны сшибать. Этого он себе, конечно, не позволял, Дашенька, но хвост у него был просто замечательный!

Был этот песик Фоксик великий герой и никого на свете не боялся. Хороших людей он не кусал и гостей тоже, потому что этого делать не полагается; но если он услышит о каком-нибудь недобром человеке, например, хоть о разбойнике, — сразу кинется на него и загрызет. Так прямо и схватит за горло и начнет его трепать; тому и конец.

Услышал он однажды, что где-то в горах, в пещере — то есть в большой каменной конуре — живет страшный-престрашный дракон.

Знаешь, что такое дракон? Это такой злой и противный семиглавый пес, который пожирает животных и людей, и даже собак, можешь себе это представить? Представь себе только, сколько всего дракон может слопать, ведь у него семь голов!

И вот наш Фоксик отправился в горы, чтобы этого дракона победить.

И как ты думаешь, одолел он его?

Конечно же, одолел: он прыгнул и вцепился дракону в ухо, как ты своей маме. Дракон завизжал и убежал.

Вот какой герой был этот Фоксик!

В другой раз отправился он на бой со страшным великаном, который жил далеко-далеко, где-то возле Панкрада. Был тот великан знаменитым людоедом и собакоедом, и знали его под грозным именем Кошкодав. Но Фоксик его ни капельки не боялся, потому что был у него на шее ошейник с собачьим жетоном (это волшебный талисман, он придает собакам огромную силу, потому-то каждый порядочный песик носит такой жетон).

Как, по-твоему, победил его Фокс? Победил! Он вцепился великану в ногу и разорвал на нем штаны, и когда великан Кошкодав увидел, что у Фоксика есть на шее волшебный собачий жетон, то выругался так страшно, что даже серой запахло, и убежал.

Ты довольна, правда?

Ну, так как бог троицу любит, отправился отважный Фокс в поход против самого грозного татарского хана Пеликана, что жил где-то там, возле Страшниц.

Первым делом он на того татарина храбро кинулся с лаем. Хан Пеликан так испугался, что у него душа ушла в пятки, и так задрожал, что даже очки свои найти не мог. А так как без очков он видел плохо, а Фоксик бесстрашно махал хвостиком, хан подумал, что он машет какой-то саблей или палашом. И он схватил свой кровавый меч, и начал им размахивать, и, представь себе, негодяй этакий, отрубил Фоксику кончик хвоста!

Тут Фоксик, само собой, рассвирепел, забыл и про хвостик, весь ощетинился и вцепился татарскому хану в пятку.



Но ведь у хана душа была в пятках, так что богатырь Фоксик выпустил душу злого татарина, и тот упал замертво и больше в наших краях не показывался.

И вот, чтобы вечно жила память об этой славной победе над кровожадным татарским ханом, все прямые и чистокровные потомки героического Фоксика, так называемые жесткошерстные фокстерьеры, дают себе отрубить кончик хвоста.

И тебе, Дашенька, тоже его отрубят, когда придет время. Это немножко больно, что правда, то правда, но не беда — надо только это аккуратненько сделать.

Ну вот и готово. Спасибо за сеанс!

Почему терьеры роются в земле

Сиди как следует, Дашенька, не ерзай так. Я только наведу аппарат и щелкну, все будет моментально готово. А тем временем ты послушаешь сказку. Например, о том, почему терьеры роют землю. Люди говорят: они, мол, мышей там ищут. Надо же придумать — мышей! Ты же мышки сроду не видела, а все равно ты, бесстыдница, разрываешь мои клумбы.

А знаешь ли, почему ты так делаешь? Не знаешь? Ну, так я тебе об этом расскажу.

Я уже тебе рассказывал сказку о том, как богатырь Фоксик, великий предок всех настоящих фокстерьеров, лишился хвоста в бою со злым татарином. И вот когда он расправился с тем свирепым ханом, он нашел на земле отрубленный кончик своего славного и геройского хвоста, и, так как он не хотел, чтобы его бывший хвост достался, чего доброго, кошкам на игрушки, он закопал его глубоко в землю... Да сиди ты спокойно, непоседа!

С того времени все истые фокстерьеры, гордясь геройскими подвигами своего великого предка, в память о нем носили обрубленные хвосты.

Но таксы, у которых принято носить длинные хвосты, стали завидовать их славе и начали злонамеренно утверждать и брехать, что, мол, это все неправда, что, согласно современным историческим данным, не было никакой битвы с татарским ханом и что вообще, вероятно, ни богатыря Фоксика, ни хана Пеликана никогда не существовало, а все это, как говорится, чистый вымысел, лишенный исторической основы.

Ясное дело, жесткошерстным фокстерьерам это не поправилось, и они стали отбрехиваться, утверждая, что сказка о Фоксике — чистейшая правда, доказательством чего служат их обрубленные хвосты.

Но таксы народ упрямый и хитрый: они утверждали, что, мол, хвост себе каждый может дать отрубить, что на Малой Стране есть даже один кот с обрубленным хвостом, и, короче говоря, ничему они не поверят, пока не увидят своими глазами обрубок хвоста богатыря Фоксика Великого. Пусть-ка фокстерьеры найдут эти священные останки своего славного предка и докажут тем свое высокое происхождение!

Вот с тех пор, Дашенька, фокстерьеры и разыскивают хвостик своего праотца, схороненный где-то глубоко под землей. Всегда, вспомнив, как их высмеивают таксы, они начинают рьяно копать землю и рыться в ней мордочкой, чтобы унюхать, не тут ли закопан хвостик их прадеда. Пока они его еще не нашли, но когда-нибудь до него докопаются. Тогда они соорудят большой мраморный мавзолей с надписью золотыми буквами:

CAUDA FOXLII, —

что означает: «Хвост Фоксика».

И знаешь что, Дашенька? Мы, люди, подглядели это у фокстерьеров и тоже постоянно роемся в земле. Мы ищем там урны с пеплом и кости древних людей и храним их в музеях...

Нет, Даша, эти кости нельзя грызть, на них можно только смотреть.

Готово!

Про Фокса

Посиди минуточку смирно, Дашенька, а я расскажу тебе сказку про Фокса.

Фоксик был самым великим фокстерьером в мировой истории, но он был не первым фокстерьером на свете. Самого первого фокстерьера звали Фоксом, и был тот Фокс чисто белый, без единого пятнышка. Да и как же он мог не быть белым, словно голубок, раз он был создан для того, чтобы жить в раю и веселиться с ангелами? Спрашиваешь, что он в раю ел? Ну, сметану, сырники... Мяса он, конечно, не видел — ведь ангелы все вегетарианцы.

А Фокс был игрун и непоседа, как и все фокстерьеры, и когда он выходил из рая... Фу, как тебе не стыдно! В раю ведь он не мог лужицы делать, это не годится. В комнате этого делать тоже нельзя — заруби-ка себе это на носу и бери пример с Фокса, который всегда царапался в райские ворота, когда ему нужно было выйти по делам... Погоди-ка, на чем бишь я остановился?.. Ага, на том, как Фокс несколько раз в день выходил из рая.



И вот за дверями рая он, по своему легкомыслию, играл с чертями. Скорее всего он думал, что это какие-нибудь собачки: ведь у них тоже есть хвосты, а у ангелов — только крылья. Как он с ними играл? Бегал с ними наперегонки по лужайке, кусал их за хвосты, кувыркался с ними на земле и тому подобное. И когда он снова залаял у райских врат, чтобы его впустили обратно, на нем уже были бурые земляные пятна и черные пятна на тех местах, где он прикасался к чертям. С тех пор у всех фокстерьеров есть бурые и черные пятна. Понятно?

Однажды сказал Фоксу один из его друзей-чертей, такой малюсенький чертик, карлик-чертик, чертеночек:

— Слушай, Фокс, мне бы хотелось хоть на минуту заглянуть в рай, поглядеть, как там и что. Возьми-ка меня с собой!

— Ничего не выйдет, — отвечал Фокс. — Тебя туда не впустят.

— Так знаешь что, — сказал черт, — возьми меня в пасть и пронеси! Туда ведь тебе никто заглядывать не станет.

Фокс по своей доброте в конце концов согласился, взял чертенка в пасть и пробрался с ним в рай; и, чтобы никто ни о чем не догадался, весело вертел хвостом. Но от создателя, понятное дело, ничего не утаишь.

— Дети, дети, — сказал он, — сдается мне, что в ком-то из вас черт сидит.

— Не во мне, не во мне! — закричали ангелы.

Один только Фокс ничего не сказал, чтобы у него черт изо рта не выскочил. Он только выпалил от неожиданности: «Гав!» — и поскорее опять закрыл рот.

— Все напрасно, Фокс, — сказал создатель. — Раз в тебе черт сидит, ты не можешь жить с ангелами. Отправляйся на землю и служи человеку!

С того случая, Дашенька, во всех фокстерьерах сидит чертик, а во рту, на нёбе, у них есть черное пятнышко.

Так-то!

Можешь бежать по своим делам.

Про Алика

Погоди-ка, Дашенька, сегодня я хочу снять, как ты чинно и прилично сидишь на пороге.

Был, значит, один фокстерьер, по имени Алик, красивый и белый. Ушки у него были каштановые, а на спине большущее черное пятно вроде попонки. Этот Алик жил в чудесном саду, полном цветов, бабочек и мышей. И был в том саду пруд с белыми и красными водяными лилиями, но только Алик туда никогда не падал, потому что он не был таким растяпой и дурачком, как кое-кто здесь присутствующий...

Однажды в жаркий день собралась гроза с дождем. Как мы знаем, все собаки перед дождем едят траву, вот и Алик стал жевать травку.

И что же случилось?

Ему попался стебелек волшебной травы, которая

по-латыни называется Miraculosa magica, а наш Алик, ничего об этом не зная, разгрыз его и съел. В тот же миг Алик превратился в прекрасного белого принца с каштановыми кудрями и чудесной черной родинкой на спине.

Сначала Алик не мог понять, что он уже не песик, а принц, и хотел еще почесать у себя задней ногой за ухом. Тут только он заметил, что на ногах у него золотые туфли...

— Да погоди ж ты, Даша!

(Тут, на самом интересном месте, Дашенька перестала слушать и помчалась за воробьем. Ввиду этого сказку про Алика не удалось досказать, и конца у нее нет.)

Про доберманов

Правда, и другим собакам тоже рубят хвосты, например, доберманам, — ты ведь знаешь, как выглядит доберман, правда? Это такой черный или коричневый долговязый пес — одни ноги, и все тут, а хвост у него почти совсем оттяпан.

Но это не в память о Фоксике, нет, нет! Посиди как следует, а я тебе расскажу, почему доберманам рубят хвосты.

Жил да был один доберман, и назывался он как-то по-дурацки: Астор или Феликс. И этот Астор или Феликс был такой глупый, что не умел иначе играть, как только вертеться и ловить свой собственный хвост.

— Погоди минутку, — рычал он, — дай-ка я тебя немножко кусну!

— Не подожду! — смеялся хвост.

— Ах, не будешь ждать? — пригрозил доберман. — Тогда я тебя слопаю!

— Спорим, не слопаешь! — закричал хвост.

Тут доберман разъярился, прыгнул на свой хвост, крепко вцепился в него зубами и... слопал его. Может быть, он бы и себя самого целиком сожрал, если бы не сбежались люди и не привели его в чувство метлой.

С этих пор люди обрубают доберманам хвосты, чтобы доберманы своих хвостов не ели.

Готово. Сегодня быстро, правда?

Про борзых и других собак

Нет-нет, борзых творец не создавал, это заблуждение. Борзых сотворил заяц.

Творец первым делом создал всех зверей, а собак, как самых лучших из них, оставил напоследок. А чтобы дело у него живее шло, он разложил материал на три кучи: кучу костей, кучу мяса и кучу шерсти, и из трех кучек стал делать собак.

Сперва он создал фокстерьеров и пинчеров, поэтому они такие умные; а когда он собрался делать остальных, позвонили к обеду.

— Ну ладно, — сказал творец, — раз обед, отложим это дело. Через часик опять начну.

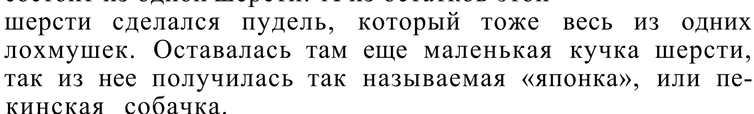
И пошел отдохнуть.

А в этот самый миг пробежал мимо кучи костей заяц. Кости встрепенулись, вскочили, залаяли и помчались вдогонку за зайцем.

Так и появилась на свете борзая собака. Поэтому-то борзая — одни кости, ни грамма мяса в ней нет.

А куча мяса тем временем проголодалась. Стала она вертеться, фыркать и превратилась в бульдога, или боксера, который пошел сразу же искать еду. Потому-то бульдоги сделаны из одного мяса.

А когда это увидела куча шерсти, она почесалась и тоже пошла подкрепиться. Так произошел сенбернар, который весь состоит из одной шерсти. А из остатков этой шерсти сделался пудель, который тоже весь из одних лохмушек. Оставалась там еще маленькая кучка шерсти, так из нее получилась так называемая «японка», или пекинская собачка.



Когда через час вернулся творец к своим трем кучкам материала, там уже почти ничего не оставалось. Остался там, правда, один длинный хвостик, пара ушей от гончей, четыре коротенькие ножки, и длинное, как у гусеницы, тело.

Что тут было делать?

Творец взял и сделал из всего этого таксу.

Запомни это, Дашенька, и не связывайся ни с борзыми, ни с бульдогами, ни с пуделями, ни с сенбернарами — это для тебя компания не подходящая.

Вот и все!

О собачьих обычаях

То, что я тебе, Дашенька, сегодня расскажу, это не сказка, а сущая правда. Надеюсь, что ты хочешь стать образованной собачкой и будешь слушать внимательно.

Много сотен и тысяч лет назад собака еще не служила человеку. В ту пору ведь человек был дикий и ужиться с ним было трудновато, и потому собаки жили стаями, но не в лесу, как олени, а на огромных лугах, которые называют прериями или степями. Вот почему псы до сих пор так любят луга и носятся по ним так, что только уши болтаются.

Знаешь ли ты, кстати, Дашенька, почему каждый пес три раза перевертывается вокруг себя, перед тем как лечь спать? Это потому, что, когда собаки жили в степи, им надо было сперва примять высокую траву, чтобы устроить себе уютную постельку. Так они делают и до сих лор, даже если спят в кресле, как, например, ты.



А знаешь, почему собаки ночью лают и перекликаются? Это потому, что в степи им нужно было подавать голос, чтобы не потерять ночью свою стаю.

А знаешь, почему собаки поднимают ножку перед каждым камнем, пнем или столбиком и поливают его? Так они делали в прериях, чтобы каждый пес из их стаи мог понюхать и узнать: «Ага, тут был наш коллега, он на камне оставил свою подпись»,

А знаешь еще, почему вы, собаки, зарываете корки хлеба и кости в землю? Так вы делали тысячи лет назад, чтобы сберечь кусок на голодный, черный день. Вот видишь, какие вы уже тогда были умные!

А знаешь, почему собака стала жить вместе с человеком?

Было это так.

Когда человек увидел, что собаки живут стаями, он тоже начал жить стаями. И так как такая человеческая стая убивала много-много зверей, вокруг ее стойбища всегда было множество костей.

Увидели это собаки и сказали себе:

— Зачем мы будем охотиться на зверей, когда возле людей костей хоть завались!

И с тех пор начали собаки сопровождать людские кочевья, и так получилось, что люди и собаки живут вместе.

Теперь уже собака принадлежит не к собачьей стае, а к человеческой стае. Те люди, с которыми она живет — это ее стая; потому-то она и любит их, как родных.

Вот, а теперь ступай побегай по лужайке — это твои прерии!

О людях

Ничего не поделаешь, Дашенька, уже скоро будешь ты жить у других людей. Вот и хочу я тебе кое-что рассказать о людях.

Многие звери говорят, что человек зол, да и многие люди говорят то же, но ты этому не верь. Если бы человек был злым и бесчувственным, вы бы, собаки, не стали друзьями человека, остались бы дикими и жили в степях. Но раз вы с ним дружите, значит, он и тысячи лет назад гладил вас, и чесал вам за ухом, и кормил вас.

Есть разные виды людей.

Одни — большие, лают низким голосом, как гончие, и обычно у них есть борода. Их называют папами. Ты с ними водись — они вожаки среди людей, и потому иногда могут на тебя прикрикнуть, но, если ты будешь себя вести хорошо, они тебя ничем не обидят, а наоборот, будут тебе чесать за ухом. Ты ведь это любишь, а?

Другой вид людей немного поменьше; лают они тонким голосом, и мордочка у них гладкая и безволосая. Это мамы, и к ним ты, Дашенька, держись поближе,

потому что они тебя и накормят, и шерстку тебе расчешут, и вообще будут о тебе заботиться, гладить и не дадут тебя в обиду. Их передние лапки — это сама доброта.

Третий вид людей — совсем маленькие, чуть побольше тебя, и пищат и визжат, как щенята. Это дети, и ты с ними тоже водись. Дети для того и предназначены, чтобы играть с тобой, и дергать тебя за хвост, и гоняться за тобой, и вообще устраивать всякие веселые безобразия. Как видишь, в человеческой стае все очень хорошо устроено.

Иногда будешь ты играть на улице с собаками, и будет тебе с ними хорошо и весело. Но как дома, Даша, как дома будешь ты себя чувствовать только среди людей. С людьми свяжет тебя что-то более чудесное и нежное, чем кровные узы. Это «что-то» называется доверием и любовью.

Ну, все. Беги!

СОБАКА И КОШКА

Я очень пристально наблюдал и могу утверждать с почти абсолютной уверенностью, что собака никогда не играет в одиночестве, нет. Собака, предоставленная самой себе, если можно так выразиться, прямо по-звериному серьезна; если у нее нет никакого дела, она смотрит вокруг, размышляет, спит, ловит на себе блох или что-нибудь грызет, — скажем, щетку или ваш башмак. Но не играет. Оставшись одна, она не станет ни гоняться за собственным хвостом, ни носиться кругами по лугу, ни держать в пасти ветку, ни толкать носом камень; для всего этого ей необходим партнер, зритель, какой-нибудь соучастник, ради которого она будет лезть из кожи. Ее игра — неистовое проявление радостного чувства товарищества. Как она виляет хвостом только при встрече с родственной душой — человеком или собакой, совершенно так же она может заняться игрой только в том случае, если кто-то играет с ней или хотя бы смотрит на нее. Есть такие чуткие собаки, для которых игра теряет всякий интерес, как только вы перестанете обращать на нее внимание: видимо, игра доставляет им удовольствие только при условии, что нравится и вам.

Словом, собаке для игры требуется наличие возбуждающего контакта с другим играющим; таково характерное свойство ее общительной натуры.

Наоборот, кошка, которую вы тоже можете вовлечь в игру, будет, однако, играть и в одиночестве. Она играет только для себя, эгоистически, не общаясь ни с кем. Заприте ее одну — ей довольно клубка, бахромы, болтающейся бечевки, чтобы отдаться тихой грациозной игре. Играя, она этим вовсе не говорит человеку: «Как я рада, что и ты здесь». Она будет играть даже возле покойника, начнет шевелить лапой уголок покрывала. Собака этого не сделает. Кошка забавляет сама себя. Собака хочет как-нибудь позабавить еще и другого. Кошка занята собой. Собака стремится к тому, чтобы еще кто-нибудь был занят ею. Она живет полной, содержательной жизнью только в своре, — хотя бы свору эту составляли всего двое. Гоняясь за своим хвостом, она искоса смотрит, как к этому относятся присутствующие. Кошка этого делать не станет: ей довольно того, что она сама получает удовольствие. Быть может, именно поэтому она никогда не предается игре безоглядно, самозабвенно, со страстью, до изнеможения, как это делает собака. Кошка всегда — немного выше своей игры; она словно снисходительно и как бы горделиво соглашается развлечься. Собака участвует в игре вся целиком, а кошка — только так, уступая минутному капризу.

Я сказал бы, что кошка принадлежит к породе ироников, забавляющихся людьми и обстоятельствами, но молча, с некоторым высокомерием тая это удовольствие про себя; а собака — та из породы юмористов; она добродушна и вульгарна, как любитель анекдотов, который без публики помирает от скуки. Движимая чувством товарищества, собака из кожи лезет вон, чтобы показать себя с наилучшей стороны; в пылу совместной игры она не щадит себя. Кошка довольствуется сама собой, собака жаждет успеха. Кошка — субъективистка; собака живет среди ближних, — стало быть, в мире объективного. Кошка полна тайны, как зверь; собака проста и наивна, как человек. Кошка — отчасти эстетка. Собака — натура обыкновенная. Или же творческая. В ней есть нечто, обращенное к кому-то другому, ко всем другим: она не может жить только собой. Как актер не мог бы играть только перед зеркалом, как поэт не мог бы слагать

свои стихи только для себя, как художник не стал бы писать картины, для того чтобы ставить их лицом к стене...

Во всем, во что мы, люди, по-настоящему, с упоением играем, есть тот же пристальный взгляд, требующий интереса и участия от вас, других, от всей великой, дорогой человеческой своры...

И так же, в пылу игры, мы не щадим себя.

1932

МАТЕРИНСТВО

Кошка

Бродит по квартире с отвислым брюхом и хребтом, прогнутым, как у козы, и ищет, все время ищет чего-то, ни один уголок для нее не достаточно укромен и не так мягко выстлан, чтобы именно там она могла произвести на свет пяток слепых и писклявых котят. Она пытается лапкой открыть бельевой шкаф; господи, вот уж где, на кипах белоснежного белья, можно бы прекрасно родить! Она смотрит на меня золотистыми глазами. «Друг, отвори мне эту штуку, а?» Нет, так не пойдет, киска; смотри, вот здесь я приготовил тебе корзинку с мягко устланным дном. Тебе что, не нравится? Ах, ну конечно, ей хотелось бы чего-нибудь получше; теперь она пробует открыть книжный шкаф, — наверное, хотела бы расположиться на журнальных оттисках или устроиться в отделе поэтов; и вот уже снова пускается она на поиски, обуреваемая материнским беспокойством.

Да что говорить об этом теперь — теперь-то она ученая; ведь дважды в год, не меньше, с регулярностью круговорота в природе, она одаряет меня четырьмя-пятью более или менее полосатыми котятами, предоставляя мне заботиться о приличном жизнеустройстве, так что все мои друзья и знакомые, наведавшись ко мне, уносят с собой буйное благословение моей кошки. Так вот теперь, умудренная столь богатым опытом, она знает что к чему; когда же впервые пришел ее час, она была восторженным полувзрослым кошачьим подростком —

но и тогда с таким же пониманием дела и разборчивостью искала укромное местечко, *как будто доподлинно знала,* что ее ожидает. Действия ее были бы вполне понятными, как если бы она и впрямь обо всем была осведомлена, если бы на своем кошачьем языке она сказала себе: «По-моему, у меня будут котята, это значит, мне нужно найти укромный уголок, чтоб мои дети были в безопасности». Однако ни о чем подобном кошка и не подозревает; умей она говорить, она сказала бы: «Странно, но что-то постоянно твердит мне: ищи, ищи! Найди какое-нибудь особенное, уютное местечко, — нет, кресло тут не подойдет, подушка, на которой я сплю, тоже не годится; да что же, собственно, мне нужно и для чего? Что-то толкает меня забраться в этот комод или залезть в постель и спрятаться под одеяло, — боже, как неспокойно! Да что же это со мной? И правда, временами взгляд ее так серьезен и сосредоточен, словно она напряженно прислушивается, о чем намерено объявить ей это повелительное «Нечто». А после она с величайшей уверенностью совершит предопределенное; и мы, люди, назовем эти действия «инстинктом», дабы таинственное «Нечто», по крайней мере, обрело имя.

Ну ладно: однажды утром — ибо такие подарки приносят обыкновенно по ночам — где-то в углу запищит с полдюжины котят; кошка ответит им сладким мурлыканьем, полный регистр которого она бережет только ради этого случая; это не голос, но целый аккорд в гармонической терции и квинте, очень напоминающий аккорды на губной гармонике. Она вся будет исходить истомой, выставляя напоказ свои материнские чувства; любое ее движение будет исполнено бесконечной мягкости и настороженности; ее взлохмаченное брюхо, терпеливо изогнутая дугой спина и чуткие лапки обхватывают копошащихся котят мягким материнским объятьем: смотрите — мы единая плоть. Оставив на миг свое гнездо, она возвращается обратно бегом, еще издали подавая голос и мурлыча; в такие минуты она являет собой воплощение материнского фанатизма.

...А недель так шесть спустя выскочит неслышно из котячьего логовища и сгинет в весенней ночи, меж тем как вдали противным альтом будет вопить чей-то котище. Под утро она возвратится с огромными зелеными глазами и примется вылизывать потрепанную шубку;

и если в этот момент к ней подскочит котенок попить молочка или поиграть нервным копчиком ее хвоста, она влепит ему лапкой такой подзатыльник, что удивленный котишка покатится кубарем, а мамаша отойдет, негодуя. Иди ко мне, дружок; видишь ли, так уж устроен мир; значит, детству пришел конец — пора мне подыскивать тебе место.

Повернувшись спиной к чадам, гладко вылизанная кошка сидит у окна, поглядывая на улицу, явно прислушивается к тому, как «Нечто» нашептывает ей: «Иди на улицу, ты непременно должна идти, потому что сегодня ночью придет Он».

Если недели две спустя я подсуну ей собственного ее ребенка, она, как змея, злобно на него зашипит.

Собака

Бедняжка тоже не знала, как это вышло; только было тяжело, очень тяжело; она не могла больше таскать огромное брюхо, не могла вскочить на кушетку и с глупым и растерянным выражением садилась на задницу, словно говоря: «Не понимаю, что со мной; мне кажется, я умираю». Она совершенно не осознавала своего положения, не совершала никаких приготовлений; только однажды вечером на нее нашло какое-то странное волнение. «Ну, чего тебе?» Собака завертела в растерянности хвостом и наконец полезла в свою конуру с таким виноватым выражением, как если бы ее обругали.

Утром конура была полна щенят; но мамашу невозможно было выманить оттуда ничем. Вид у нее был беспредельно сокрушенный, словно она опасалась выговора за то, что наложила дома такую большую кучу; она совершенно явно хотела все скрыть. Целые сутки собака не покидала конуры; но двадцать четыре часа спустя что-то прояснилось в ее мозгу, она выскочила из логова и напала на своего хозяина: «Иди погляди! Я стала матерью! У меня там сто щенят!» (Было их девять, но моя сучка не умела считать даже до пяти.) После чего с нескрываемой гордостью приняла поздравления и кинулась к своей миске — поесть. Так глупая собачонка разгадала свою собственную тайну.

О БЕССМЕРТНОЙ КОШКЕ

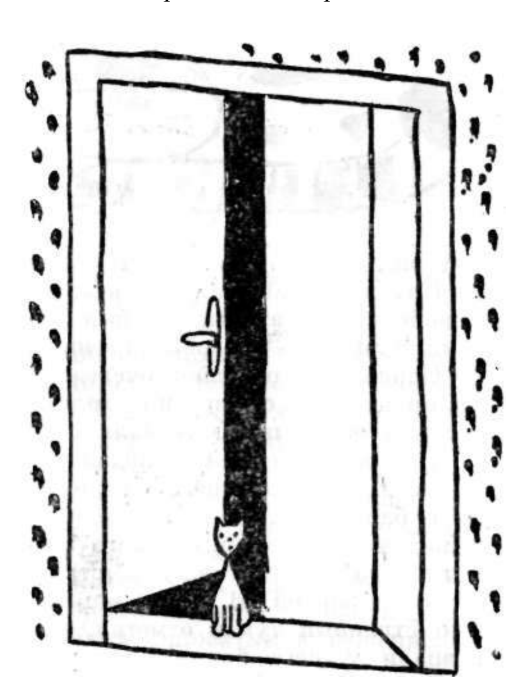
Эта история (с непоследовательностью, свидетельствующей о ее подлинности) начинается с кота, правда, дареного. Всякий дар обладает чем-то сверхъестественным; всякий дар, я бы сказал, является откуда-то из иного мира, он словно падает к вам с неба, он вам ниспослан, он вторгается в вашу жизнь помимо вашей воли с неизъяснимым напором, особенно если



это — дареный кот с голубой ленточкой на шее. И зовут его Разумник, Ленивец, Плутишка, Мерзавец — в зависимости от различных свойств его натуры; это был ангорский кот, но лохматый и рыжий, как обыкновенный православный хулиган. Однажды, совершая очередной исследовательский поход, он свалился с галереи на голову некоей особе женского пола; особа почувствовала себя слегка покарябанной, слегка оскорбленной и подала на моего кота жалобу как на представляющего опасность зверя, который прыгает с балконов людям на головы. Хоть я и доказал невиновность этого ангельского зверя, однако три дня спустя котофей испустил дух, отравленный мышьяком и людской злобой. И в тот момент, когда я сквозь какой-то странный туман отметил, как с последней судорогой впали у него бока, на пороге послышалось мяуканье: там дрожал заблудившийся серый котенок, тощий, как пук соломы, и испуганный, как потерявшееся дитя. Ну иди сюда, киска; видно, это перст божий, воля судеб, тайный знак, или как это там называется; видно, ниспослан ты вместо усопшего; неисповедима непрерывность жизни.

Так появилась у нас кошка, которая за свою скромность получила имя Скромница; как видите, пришла Скромница неизвестно откуда, но я свидетельствую, что она никак не хвасталась своим таинственным и, вероятно, сверхъестественным происхождением. Напротив, она вела себя как самая обыкновенная смертная кошка: лакала молоко и воровала мясо, спала на коленях и бродила

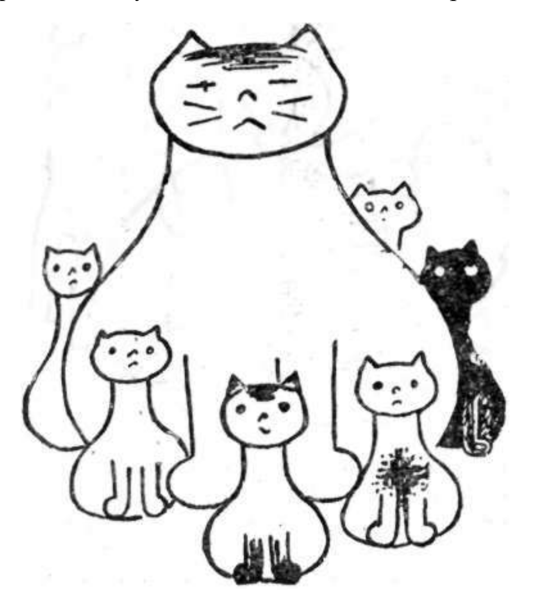
по ночам; когда подоспела ее пора, выкотила пятерых котят, из коих один был рыжий, один черный, один трехцветный, один полосатый и один ангорский. И я принялся осаждать своих друзей и знакомых. «Послушайте, — накинулся я на них в припадке великодушия, — у меня для вас припасен очаровательный котенок». Некоторые (скорее всего от излишней застенчивости) увиливали — они, дескать, были бы рады, но, к сожалению, не могут по целому ряду причин; зато другие от неожиданности не могли вымолвить ни слова; не дав им опомниться, я жал им руку, объявляя, что мы обо всем договорились, что беспокоиться не надо, котенка я им вскорости пришлю; не дожидаясь ответа, я устремлялся за следующей жертвой. Согласитесь, нет ничего прекраснее кошачьего материнского счастья; но раз так, то ради котяток вы просто обязаны обзавестись кошечкой. Котята котятами, но спустя шесть недель Скромница отправилась слушать героический баритон кота с соседней улицы. Через пятьдесят три дня она принесла еще шесть штук. Ровно через год, день в день их было в общей сложности семнадцать. Эта фантастическая плодовитость скорее всего и была заветом и посмертным посланием несчастного кота-девственника.



Я всегда считал, что у меня — черт побери! — полно знакомых, но с тех пор, как Скромница взялась производить котят, я обнаружил, что в юдоли сей я страшно

одинок; к примеру, мне уже некому предложить двадцать шестого котенка. Когда меня представляли незнакомым, я, кое-как пробормотав свое имя, тут же спрашивал: «Не нужно ли вам котеночка?» — «Какого котеночка?» — недоверчиво переспрашивали люди. «Этого я еще не знаю, — обыкновенно отвечал я, — но мне кажется, что у меня опять будут котята». Вскоре у меня сложилось впечатление, будто знакомые стали меня избегать, вероятно, завидуя, что мне так везет с котятами. По Брему, кошки дважды в год приносят потомство; Скромница котилась трижды, а то и четырежды, невзирая на сезон; эта кошка в самом деле была необыкновенная — она определенно выполняла миссию, ниспосланную ей свыше, — отмстить, возместив стократно жизнь невинно убиенного кота.

После трех лет плодотворной деятельности Скромница неожиданно захирела; погубил ее какой-то дворник под тем недостойным предлогом, что она якобы сожрала у него в кладовке гуся. В тот самый день, когда Скромница исчезла, к нам возвратилась ее младшенькая дочурка, которую я сплавил было соседям, и осталась у нас под именем Скромницы II, как прямая продолжательница дела своей покойной матушки. Ее традиции она развивала самым совершенным образом; Скромница II отличилась еще девчонкой-подростком, произведя на свет четырех котят. Один был черный, во втором сказывалась благородная порода рыжих котов вршовицких, третьего выдавал длинненький носик страшницких кошек,



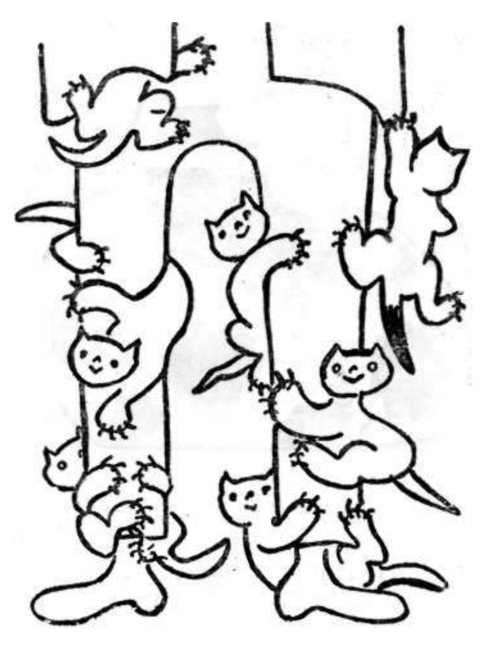
в то время как четвертый напоминал собой пятнистую фасоль, подобно всем малостранским кошкам.

Скромница II котилась три раза в год с неумолимостью закона природы; за два с четвертью года она обогатила мир двадцатью одним котенком всех цветов и рас, за исключением разве что бесхвостой кошки с острова Мэн. Пристроив двадцатого котенка, я окончательно лишился рынков сбыта. Пока я размышлял, что предпринять, где отыскать новый круг знакомых, соседский Рольф перегрыз горло Скромнице II. Мы принесли ее домой и уложили в постель; голова у нее еще дергалась; потом дрожь прекратилась, и из густой шерсти поспешно запрыгали блохи — верный знак кошачьей кончины. Непристроенный двадцать первый котенок остался у нас под именем Скромницы III. Четыре месяца спустя Скромница III принесла пятерых котят; с тех пор она исполняет свою жизненную миссию добросовестно и последовательно с четкими промежутками в пятнадцать недель; только в нынешние жестокие морозы пропустила один срок.



При взгляде на нее вы никогда бы не сказали, что на ее долю выпала такая великая задача; внешне Скромница III выглядит как обыкновенная трехцветная домашняя киса; целыми днями она дремлет на коленях патриарха дома либо в его постели; вообще у нее высоко развито чувство личного комфорта, она сохраняет здоровое недо-

верие к людям и животным, а если понадобится — сумеет защитить свои интересы зубами и когтями. По прошествии пятнадцать недель она начинает обнаруживать нетерпеливое беспокойство, нервничает у дверей, словно говоря: «Друг, отпусти меня немедля, у меня все изныло». После чего стрелой вылетает в ночную тьму и возвращается только под утро, осунувшаяся, с темными кругами под глазищами. В ту пору с северной стороны, от Ольшанского кладбища, к нам приходит огромный черный кот; с юга, где находятся Вршовице, — одноглазый рыжий забияка; с запада — кот ангорский — с хвостом, словно страусиное перо; с востока — какой-то белый космач с хвостом-бубликом. В центре этого кружка восседает трехцветная беспородная Скромница III и завороженно, с пылающими глазами, внимает их вою, придушенным выкрикам, воплям избиваемых младенцев, реву пьяной матросни, саксофонов, грохоту барабанов и прочих инструментов Великой Кошачьей Симфонии. Да будет вам известно, — чтобы быть котом, нужна не только сила, мужество, но и упорство; бывает, что эти четыре апокалиптических кота целую неделю осаждают Скромницын дом, блокируют вход, проникают через окна в комнаты, оставляя после себя чудовищную вонь. Наконец наступает ночь, когда Скромница III уже не желает выходить на улицу. «Дайте мне поспать, — говорит она, — я хочу забыться, забыться вечным сном. Спать и видеть сны... Ах, я так несчастна!» После чего в назначенный срок принесет



пятерых котят. В этом отношении у меня уже есть опыт: их будет пять. Я уже вижу их, дорогих, сладких крошек, вижу, как они снова топают ножками по квартире, стягивают со стола электрические лампы, оставляют лужицы в домашних туфлях, забираются по ногам ко мне на колени (поэтому мои ноги покрыты струпьями, как у Лазаря); я уже предвижу, как найду одного из них в рукаве, когда стану надевать пальто, а свой галстук — под постелью. С детьми — всегда масса забот, это вам подтвердит каждый. Недостаточно их воспитать; нужно обеспечить им будущее.



В редакции я уже всех одарил котятами; ничего не поделаешь, придется менять работу. Я с радостью вступлю в любой союз либо организацию, если там гарантируют устройство хотя бы двадцати одного котенка. Пока я буду носиться по миру, ища сбыта для будущих кошачьих поколений, Скромница III либо Скромница IV будет, поджав под себя лапки, — прясть бессмертную пряжу кошачьей жизни. Будет жить в мечтах о кошачьем мире, о кошачьих толпах, о том, что кошки, как только их будет достаточно много, добьются владычества во вселенной. Ибо это и есть Та Великая Миссия, которую возложил на нее безвинно и безвременно погибший ангорский кот.

Нет, серьезно, вам не нужен котеночек?

КОШАЧЬЯ ВЕСНА

Собственно, она уже прошла; в то время как мы, изнеженные кашляющие люди, только еще поджидаем свою весну — весну пенсионеров, влюбленных и поэтов, наши

кошки уже отбыли пору своих великих весенних авантюр и возвращаются домой после двух-трех-недельных любовных эскапад, тощие, как щепы, грязные, будто выброшенная на помойку тряпка, и устремляются прямо к своей миске, а потом — в объятия хозяина, ибо там, возле человека, им хорошо, и славно, и безопасно, как нам, грешным, во власти божьей. Они жмурят свои золотые очи и тихо поют: «О Великий Человек, я никогда больше так не поступлю; если бы ты знал, что я пережила! Даже вспоминать не хочу об этом полосатом ничтожестве, об этом грубияне с обгрызенным хвостом, об этом изменнике, об этом дикаре... Ах, наконец-то я снова дома!»

Хочу вам напомнить, что в пору поздней кошачьей весны тысячи ваших кошек уже ждут детишек и ползают со комнатам с раздувшимся животом, с уныло провисшей спиной; берегитесь, как бы в тяжкий час родов они не забрались к вам в постель. А стоит им произвести на свет двух-трех слепых пищащих мышат с дрожащими хвостиками, как начнется вечное зрелище материнской любви; ваша кошка разнежится и посерьезнеет от избытка чувств, свернется полуклубком, лежа на боку, чтобы всем телом и всеми четырьмя лапами защищать своих дрожащих сорванцов, и сама из себя самой оборудует им пещеру, дом, мягко выстланное логово, и в ответ на всякий их писк будет сладко мурлыкать голосом, который приберегается только для этого случая, и подставит им свое брюхо так мудро и жертвенно, что вы только всплеснете руками, удивляясь разуму и изобретательности звериного материнства.

И вот теперь я наблюдаю за кошкой, которая скорее всего по младенческой неопытности — ибо то было первое ее любовное приключение и первое материнство — несколько поспешила с кошачьей весной; она тоже произвела на свет трех писклявых трясогузок, но не успела прийти в себя от изумления, как котят уж и след простыл, — хозяин велел их «устранить». Да, теперь я мог бы изобразить волнение и скорбь матери-кошки, но мистерия, за которой я наблюдаю, — немножко иная. Кошка хотя и волнуется, но ни о малейшем проявлении ее скорби говорить нельзя; зато она ведет себя точно так же, как если бы имела котят. На каждый звук отзывается мурлыканьем, какого я до сих пор не слышал, ложится таким спо-

собом, каким никогда не лежала, свернувшись полуклубком, безопасности ради изогнув бархатные лапки; время от времени она проявляет беспокойство и переворачивается на другой бок, наверное, для того, чтобы выставить второй ряд пустых неразработанных сосков. То есть она поступает точно так, как поступала бы кошка в окруженье пищащих и сосущих котят; отсутствие котят волнует ее, но не сбивает с толку. В ней пробуждается страстность льстецов; она осаждает человека просьбами погладить ее, подержать на руках, потискать и потормошить; тело ее жаждет прикосновений. Она мурлычет, исполненная страсти и блаженства, когда человек баюкает ее, свернувшуюся в позе кормящей кошки-матери. Я бы сказал, она разыгрывает то, что при естественном ходе событий должна была бы совершать. Она делает нечто, что не соответствует ситуации, но отвечает установленному порядку. Человеку кажется, будто кошка-мать мурлычет потому, что так она разговаривает с детьми; между тем кошка мурлычет потому, что ей издревле предписано так вести себя в пору материнства; тут словно автоматически раскручивается заранее записанный валик. Эта безумная, полосатая, серая кошка — не воркующая мамаша; нежно воркующей самкой является тут сама природа — мать в миллион раз более искушенная и страстная, чем наша бестолковая кисючка. Слепая и отточенная функция инстинкта наиболее явственно обнаруживается в те моменты, когда он лишен смысла, поскольку делается очевидной его механическая бесцельность. Природа не доверяет отдельным особям; поэтому она разработала для них тончайшие подробности в линии поведения. Ничего не оставляет она для личной инициативы, повеление инстинкта имеет окончательную и незыблемую силу закона.

И мы, странные и часто бестолковые люди, даже не знаем, как и когда мы освободились от бесчисленных пут инстинкта; человеческая мать сначала должна была изобрести движение, которым она привлечет к себе дитя, — человеку приходится всему учиться на свой страх и риск — и материнству, и самой жизни. А если бы он руководствовался инстинктом, то никогда не мог бы ни выдумать, ни изобрести, ни сотворить небывалое. Творческое в человеке — не от инстинкта; инстинкт консервативен, неизменен, безличен и вечно повторяет то, что предписано

целому роду; если в мире людей существует подлинная личная инициатива, истинный поиск, открытия, действительное движение вперед — это дело интеллекта.

Говорю вам: искусство — тоже творение интеллекта и сознательной воли. Ступай, глупая киска, нам уже не понять друг друга.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОШКИ

Вот — мой человек. Я его не боюсь. Он очень сильный, потому что очень много ест; он — Всеядный. Что ты жрешь? Дай мне!

Он некрасив, потому что без шерсти. У него мало слюней, и ему приходится умываться водой. Мяучит он грубо и слишком много. Иногда со сна мурлычет.

Открой мне дверь!

Не понимаю, отчего он стал Хозяином: может, сожрал что-нибудь необыкновенное.

Он содержит в чистоте мои комнаты.

Он берет в лапку острый черный коготь и царапает им по белым листам. Ни во что больше играть он не умеет. Спит ночью, а не днем; в темноте ничего не видит; не знает никаких удовольствий: не жаждет крови, не мечтает об охоте и драке, не поет, разнежившись.

Часто ночью, когда я слышу таинственные, волшебные голоса, когда вижу, как все оживает во тьме, *он* сидит за столом и, наклонив голову, царапает, царапает своим черным коготком по белым листам. Не воображай, будто я думаю о тебе; я только слушаю тихое шуршание твоего когтя. Иногда шуршание затихает: жалкий глупец не в силах придумать никакой другой игры, и мне становится жаль его, я — уж так и быть! — подойду к нему и тихонько мяукну в мучительно-сладкой истоме. Тут мой Человек поднимет меня и погрузит свое теплое лицо в мою шерсть. В такие минуты в нем на мгновение бывает заметен некоторый проблеск высшей жизни, и он, блаженно вздохнув, мурлычет что-то почти приятное.

Но не воображай, будто я думаю о тебе. Ты меня согрел, и я пойду опять слушать голоса ночи.

1919

КОШКА

Сможет ли мне кто-нибудь растолковать, почему кошку охватывает неизъяснимое волнение, если вы начинаете насвистывать очень тоненько и высоко? Я испробовал это на кошках разных народов; оказалось, географические различия тут совершенно не при чем; заслышав свист (особенно, если вы насвистываете самым высоким тоном, на который только способны: «Прекрасна ночь, о час любви, все дышит страстью жгучей») — кошка, плененная вами, начинает тереться о ваши ноги, прыгает вам на колени, удивленно обнюхивает ваши губы и наконец — в некоем любовном раздражении начинает страстно кусать ваши губы либо ваш нос, совершенно изнемогая от сладострастья; после этого вы, разумеется, перестаете свистеть, и она распоется хрипло и прилежно, как небольшой моторчик. Я размышлял об этом неоднократно, но до сих пор не знаю, каким правековым инстинктом можно объяснить любовь кошек к свисту; но думаю, что была пора, когда коты предпочитали тоненько свистеть, вместо того чтобы призывно орать грубым металлическим альтом, как теперь. А может, в отдаленные и дикие времена обитали на земле некие кошачьи боги, которые к верующим кошкам обращались магическим посвистом; но это всего лишь гипотеза, и вышеназванное волшебное действие музыки на кошачий слух является одной из загадок кошачьей души.

Человек полагает, что он разбирается в кошках, так же, как, впрочем, и в людях. Кошка — существо, которое спит, свернувшись клубочком в кресле, иногда отлучается из дома по своим кошачьим делам, иногда смахнет на пол пепельницу, но большую часть своего времени проводит в страстном наслаждении теплом. Таинственную кошачью сущность я познал только в Риме и то потому, что там я глядел не на одну кошку, а на пятьдесят, на целое стадо кошек, на огромный кошачий бассейн вокруг Траяновой колонны. Там раскопали старый форум, похожий на водоем посреди площади, и на дне этого безводного бассейна, меж рухнувшими колоннами и статуями, поселился независимый кошачий народ; пробавляется он рыбьими головами, которые сверху кидают добросердечные люди, исповедует некий культ луны; ничем, кроме этого, кошки не занимаются. Вот там-то

мне и открылось, что кошка — это не просто кошка, но нечто таинственное и непостижимое; что кошка — это дикое животное. Если вам встретится процессия, состоящая из двух дюжин кошек, вас внезапно осенит, что кошка вообще не ходит; она крадется. Кошка среди людей — просто обыкновенная кошка; кошка среди кошек — это крадущаяся тень в джунглях. Кошка, видимо, доверяет человеку, но она не доверяет другой кошке, потому что знает ее лучше, чем мы. Когда говорят «живут, как кошка с собакой», то имеют в виду тип общественного недоверия; мне же часто приходилось наблюдать весьма близкую дружбу кошки и собаки, но я никогда не видел тесной приязни двух кошек, исключая, разумеется, кошачью любовь. Кошки Траянова форума демонстративно игнорируют друг друга; они садятся спиной друг к дружке и нервно подергивают хвостами, давая понять, что едва терпят присутствие той шлюхи, что расселась позади. Когда кошка взглянет на кошку — та зашипит; при встрече они не смотрят друг на друга; у них нет общих стремлений; им нечего друг другу сказать. В лучшем случае они выносят кошачье общество, храня презрительное и уничижительное молчание.

А с тобой, человек, кошка разговаривает, мурлыкает тебе и, заглядывая в глаза, просит: «Отопри-ка мне, человек, дверь, дай мне, обжора, кусочек того, что ты жуешь; погладь меня; скажи что-нибудь; пусти меня в это кресло». Благодаря тебе она перестает быть одинокой одичавшей тенью; ради тебя она делается просто домашней киской, потому что тебе она доверяет. Дикий зверь — это такой зверь, который не доверяет никому. Приручение это попросту определенная степень доверия.

И знаешь, друг, ведь и мы, люди, не дикари лишь постольку, поскольку доверяем друг другу. Если бы, скажем, я, выходя из дома, не доверял первому встречному, я рычал бы, приближаясь к нему, напрягал мускулы, чтоб в мгновенье ока прыгнуть ему на шею. Если бы я не доверял людям, вместе с которыми еду в трамвае, я должен был бы, прижавшись спиной к стене, фыркать, чтоб держать их в страхе; вместо этого я спокойно, повиснув на ручке-держалке, читаю газеты, подставив соседям свою незащищенную спину. Двигаясь по улице, я думаю о своей работе либо о чем другом, но вовсе не о том, что могут сотворить со мной идущие мимо прохожие; страш-

но было бы, если бы мне пришлось искоса наблюдать, не готовятся ли они меня слопать. Состояние недоверия — первобытное состояние дикости; недоверие — закон джунглей.

Так знайте же — я иду погладить свою киску; она доставляет мне великое утешение, потому что доверяет мне, хотя это всего лишь маленький серый зверек, который забрел ко мне из неведомой глуши пражских дворов.

Кошка прядет, поет песенки и смотрит на меня. «Друг, — говорит она мне, — почеши меня за ушком».

Календарь



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЗИМЫ

На этот раз я намеренно воздержусь от поэтических излияний по поводу зимы и всех ее прелестей, а подойду к ней с чисто научной меркой. Ведь мы, мальчишки, ко всему, что сопутствует зиме, относились сугубо научно и профессионально; мы стремились установить, из чего она складывается и какое ей можно найти полезное применение. Нынешняя молодежь довольствуется лыжами да хоккеем и уже не получает от зимы так много, проявляя к ней скорее спортивный, чем исследовательский интерес. А вот Папанин и его товарищи на плавучей льдине продолжили то практическое изучение зимы, которое в определенном возрасте начинал каждый порядочный мальчуган. Итак, со специально научной точки зрения над зимой можно проделать великое множество экспериментов. Приведу здесь хотя бы некоторые из них.

Можно *ловить в ладони* падающие снежинки, чтобы затем погрузиться в изучение их формы, но сохранить отпечаток снежной звездочки не удавалось пока даже на самой нежной детской ручонке.

Можно установить опытным путем, каков *на вкус обыкновенный снег;* этот эксперимент проводят и щенки, причем, как правило, с тем же результатом (кашель и рези в животе).

Можно исследовать *вкусовые качества мороза;* я однажды проделал подобный опыт на медной дверной ручке и поплатился кончиком языка, ибо он примерз к металлу.

Далее, существует возможность *выдыхать колечки пара* или *прижиматься носом* к замерзшему окну;

а также *писать пальцем* по стеклу, обнаруживая тем самым свои художественные и литературные таланты.

Сосульки сосут, дабы выяснить, насколько они вкусны и питательны;

сбивают с крыши снежками или камешками, что позволяет на практике убедиться в их особой хрупкости и услышать мелодичный хрустальный звон;

наконец, наблюдают в *процессе таяния,* для чего кусок льда обычно тайком засовывается в отцовский карман.

На *катках* можно с успехом исследовать законы скольжения (стоя, на корточках, на одной ноге и даже с пируэтом).

Ледяная поверхность открывает широкий простор для достижения *высоких скоростей* на привязанной деревяшке, на одном коньке и — в совершенно исключительных случаях — даже на двух.

Санки — прекрасное приспособление для опытов по езде сидя, лежа на животе и (чаще всего с печальным результатом) сидя задом наперед.

Снежки делаются по-разному, в зависимости от качества снега; если снег мокрый, его нужно крепко сдавить в ладонях, и снежок получается малого калибра, зато значительной пробивной силы; из нормального плотного снега легко можно делать снежки самого большого размера; когда же снег сух и рассыпчат, как сахарная пудра, следует атаковать неприятеля целыми облаками снежной пыли.

Стряхивание снега или инея с веток деревьев предоставляет ценные данные о том, насколько быстро проникает снег за шиворот и как далеко он может забраться.

Снежные бабы являются важным, а для большинства смертных и единственным творческим дерзанием в области монументальной скульптуры,

тогда как, оставляя на только что выпавшем снегу *отпечаток своего тела,* мы скорее обнаруживаем интерес к искусству автопортрета.

Следы на снегу позволяют вписать в историю мира ваши инициалы; то же самое можно попытаться сделать и способом *окропления,* но подробнее на этот счет мы распространяться не будем.

Наиболее благоприятные условия для изучения *снежных обвалов* создаются, если запустить снежком в крышу сарая.

Да не будет забыто также исследование всевозможной *замены футбольного мяча ледяным осколком,* упавшим с телеги, когда лед развозили по закусочным; впрочем, мы нередко наблюдаем, что этим многообещающим видом научной работы увлекаются люди вполне серьезные и зрелые преимущественно по пути домой со службы, если им кажется, будто на них никто не смотрит.

Как видите, куда там зимнему спорту равняться с тем богатством, которое доставляет зима любознательному и технически развитому мозгу нормального мальчишки!

1938

ИНЕЙ

Мы, правда, говорим «волшебница-весна», и возражать против этого не приходится, коли мы намерены восхвалить апрельское утро либо майский вечер, когда распускаются сирень и жасмин. И все же если толковать понятие волшебства, или чародейства, более добросовестно — то, как свидетельствуют наиболее достоверные специальные источники, каковыми являются сказки, — истинно чародейское искусство в том и состоит, что некто, желая вызвать изменения на обозримом пространстве окрест себя, помашет волшебным прутиком либо пробормочет колдовское присловье — и вмиг взору явится сверкающий замок, либо бескрайняя гладь, либо еще какое дотоле не слыханное чудо. Истинное волшебство — это отнюдь не кропотливый или усердный труд; напротив, это — всегда неожиданная и ошеломительная вспышка. Работать медленно, терпеливо, тратя много времени, сил и труда, и в результате создать нечто небывалое — это называется творчество, но подлинное и неподдельное волшебство в том, чтобы лишь прищелкнуть языком либо взмахнуть каким-нибудь прутиком — и готово.

Нет сомнений, что в точном смысле этого слова весна — не волшебница. Правда, нам никогда не удавалось видеть, как распускается первый цветок форзиции либо раскрывается первая березовая почка; цветок и листочек заставляют себя ждать, и нам приходится запастись ангельским терпением. Газон не покроется зеленью за одну ночь, и береза не оденется за день ослепительной листвой; понадобится премного труда, прежде чем ее тонкие хрупкие веточки станут шелестящей на ветру живой кроной. Пройдут еще долгие дни и недели, покуда все неслышно подготовится, неприметно набухнет и нальется цветом; лишь после долгих колебаний и мелкой

возни из этой неприметности, неощутимости исподволь родится волшебная весна.

А вот зима — та трудится по-иному, следуя всем классическим предписаниям о волшебстве. Проснувшись поутру, вы идете взглянуть в окно, и вдруг то, что вчера было черной и твердой землей, оказывается ослепительно-белым и пышным от снега; весь мир преобразился до неузнаваемости, он иначе вылеплен, у него иная тишина, другая структура — и если бы в рождественскую ночь меня, сонного, перенесли, скажем, па остров Пасхи — перемена не показалась бы мне столь разительной, как когда выпадает первый снег.

А то ночью подморозит, и на окне, откуда ты привык видеть крышу соседа, нежданно-негаданно засеребрятся заросли папоротника, искрящаяся хвоя, белый мох и вееροподобные водоросли ледяных цветов. Вот то-то и оно — говорю я — попробуй-ка кто-нибудь сделать так, чтоб вы проснулись в оранжерее со столь необыкновенной флорой! Если уж волховать, то как следует, измышляя при этом совершенно новый мир.

Или вот вам — всего лишь иней; он высыпал трескучей лунной ночью, и весь мир цепенеет теперь в его ослепительной, невыразимо хрупкой красе. То, что вчера было черным корявым деревом, сегодня стало гигантским кустом мраморно-искрящихся кораллов; то, что вчера было голой, отталкивающей зарослью, теперь стало выкованной из серебра решеткой; паутина на ветхой беседке превратилась в серебристые кружева; сухие листья на земле изукрашены серебром, а смерзшиеся звезды сухой травы сверкают, словно сотканные из стекла. Каждая игла на елке или пихте обведена сверкающими полосками; черные листья каштана обрамлены серебряной филигранью, высохший стебель тысячелистника весь ощетинился нежнейшим кружевом инея, — да что я буду вам говорить, когда вы все это знаете сами; ведь вы тоже, наверное, пробовали лизнуть белоснежную веточку и потрогать искусно подобранные кустики инея. Рождественским утром вы тоже видели сады, в которых цвел иней с такой фантастической пышностью, которая не под силу никакому маю со всем его черешневым цветом и благоуханной черемухой; вы тоже были свидетелями того, как все это озарилось солнцем, чуть шевельнулось в кронах дерев, и от сверкающего белизной наряда

не осталось и следа; что поделаешь, ведь это — всего лишь волшебство, а оно недолговечно. Правда, творчество — это кропотливый труд; никогда, упорно трудясь, не сделаешь столько, сколько сотворит один только взмах волшебной палочки, но творчество, — мы бы выразились так, — все-таки более солидная и основательная работа.

1937

СОСУЛЬКИ

Проснувшись как-то поутру, я первым делом заглянул в газеты — осведомиться, что нового (и гнусного) на свете, а потом поглядел через окно на небо, чтоб узнать, нет ли чего нового и под солнцем, и тут — к удивлению своему, обнаружил, что над окном моей мансарды ровной чередой повисли двенадцать сосулек. Самая большая и самая прекрасная сосулька была длиной с локоть и толщиной в руку; все остальные были немножко короче и тоньше, — вероятно, для того, чтобы сразу было ясно, что даже среди сосулек не может быть никакого равенства. Я не берусь утверждать, что двенадцать моих сосулек — такое уж необычайное и редкое явление. Поразительным тут было, собственно, только то, что при виде их я ни с того ни с сего ощутил буйную радость. И когда я удивился, обнаружив, что блаженно ухмыляюсь и потираю от удовольствия руки, то понял: так же как многое другое (снег, например, гусеницы, ракушки, кролики и шарики), сосульки неразлучны с воспоминаниями о детстве.

Право, только мальчишка может по-настоящему оценить столь любопытный предмет, каким оказывается сосулька; впервые увидев ее, он тотчас с радостным изумлением обнаружит, что:

1) сосульку можно обломить, и при этом раздастся весьма приятный стеклянный звук;

2) сосульку можно сосать; и хотя это ужасно холодно, а детские лапки коченеют от тающего льда, но как новинка сезона — это редкое удовольствие;

3) сосульки, намерзшие на водосточном желобе, удобно обстреливать, как мишень, снежками, особенно если

поблизости нет окон. Сшибить этакую здоровенную сосульку, чтоб она с сухим треском вдребезги разлетелась по стылой земле хрустальными осколками, — это, бесспорно, одно из величайших наслаждений и славнейших жизненных удач; тот, у кого ни разу за всю жизнь не было своей сбитой сосульки, не знает, что такое молодечество, зима и красота мира, а главное, он не знает, что такое настоящая сосулька.

Да, да, так оно и есть: сосульки слишком тесно связаны с детством; потому-то, дружище, ты и теперь смотришь на нее с восхищением и восторженно улыбаешься, и у тебя такое чувство, что сегодняшний день тем и хорош и весел, что осенен двенадцатью ледяными сталактитами. Смотри, ты мог бы протянуть к сосульке руку и попробовать убедиться, с каким чудным стеклянным звоном она отломится, но ты не сделаешь этого; тебе вдруг станет как будто жаль ее. Ты мог бы отломить кусочек и пососать, но и этот интерес теперь почему-то безмерно далек от тебя. Что это, неужто в тебе совсем угасло детское желание испытать, на что годится сосулька, и что вообще можно делать с разными вещами, которые встречаются на свете? Нет, желание скорее всего не угасло, но теперь мне интересно другое, чего я не замечал раньше, — мне интересно, например, как сосулька растет. Она как бы складывается — кольцо за кольцом, слой наслаивается на слой, пока не образуется такой вот длиннющий сталактит. Это только кажется, будто сосулька стекает с крыши; на самом деле она — результат терпеливого сложения. Стоит только присмотреться внимательнее, чтоб увидеть горизонтальные звенья, но можно установить и еще кое-что, — например, откуда дул ветер в тот момент, когда сосулька росла, ибо на противоположной ее стороне образуется шишка — в зависимости от того, куда отлетала замерзавшая капля воды; вся сосулька равномерно разделена этими карнизами, как стебель хвоща. А пока я отмечал все это, самая крупная из моих сосулек увеличилась на целое звено, и теперь я могу сказать, что видел, как сосулька растет.

Так обстоит, очевидно, дело с человеческим познанием вообще. Наверное, во всех вещах человека интересовало сперва, можно ли сломать их, полизать либо как-нибудь еще употребить; только сотни, а может, тысячи лет спустя ему сделалось любопытно, как вещи

возникают и какой закон за этим стоит. Может, человечество молодо, пока оно пробует, на что годятся разные предметы или материалы — ну, скажем, в пищу либо для войны; когда же оно повзрослеет, то станет наблюдать, уже не торопясь и более внимательно, как вещи, собственно, выглядят, как они возникают и какие морфологические либо генетические законы управляют ими. И во многом — увы! слишком во многом — мы все еще находимся на стадии, когда любят лизать либо, любопытства ради, разбивать вдребезги.

1937

НАЗАД К ПРИРОДЕ

Чтоб не было кривотолков и чтоб никто не подумал, будто я завистлив, — желаю всем, кто в эти зимние дни носится по горам, сыпучего, доброго, сорокасантиметрового снега, счастливых спусков со склонов и всяческих удач вообще. Да будет так!

Но, наблюдая перед праздниками и воскресеньями переселение народов, толпы молодых людей и дев с лыжами на плечах, массовое лихорадочное бегство в белое великолепие гор, я прежде всего говорю себе, что не все паломники и паломницы ищут чисто спортивных наслаждений в телемарках, христианиях и как там еще называются всякие штучки; многие просто вываляются и вымажутся, нападаются, и вымокнут, и устанут, как собаки, ибо не каждому из нас дано благоволение, необходимое во всем. И потом, я уверен, что отнюдь не всех пилигримов влечет в туманные дали страстная потребность отдаться белому великолепию гор и благоговеть пред их божественной чистотой; ибо если бы на этом свете существовало такое мощное массовое влечение к красоте, величию и чистоте, то это должно бы чуточку больше отразиться на наших городах, да и на наших привычках и порядках. Угрюмые ворчуны сочли бы, что эти зимние горные вылазки ни то, ни другое — просто мода. Что же касается меня, то, на мой взгляд, это нечто еще более слепое, чем мода. Что-то сродни инстинкту. Нечто вроде атавизма. Бегство назад, к природе.

Naturam expellas furea, tarnen usque recurret, — изгони природу в двери и полезешь за ней через окно.

Выживи ее из города и поедешь за ней в горы. К этому вело все. Из-за того что на наших улицах снег превратился в препятствие для транспорта, мы вынуждены искать места, где снег остался просто снегом, самым что ни на есть снежным снегом. Потому что, чем дальше, тем меньше селимся мы в диких чащах, но больше странствуем, чтобы пожить лагерем в лесах. Гоняемся за солнцем и водой, потому что перестали быть крестьянами и рыбаками. Более того, мы как бы заново открыли для себя и солнце и воду и теперь набросились на них с ненасытной и невиданной страстью. После долгого сидения мы обнаружили у себя свои собственные ноги и принялись исступленно использовать их, окрестив это занятие спортом. Такое открытие — это прежде всего оценка. Мы оценили снег, воду и солнце, воздух и движение; мы сделали мир более прекрасным и драгоценным. Власть над природой — великое приобретение, однако столь же полезна для нас истинная оценка ее сил. Мальчишка, который катается на санках, строит снежных баб, сосет сосульки, — к космическому явлению зимы имеет куда более прямое отношение, чем контора по очистке снега. Я не говорю, что контора эта не нужна или бесполезна, но я рад, что в целом первенство здесь за мальчиком и санками.

Еще далеко не все открытия сделаны нами. Наверное, мы еще откроем и оценим луну и звезды; наверное, мы еще полюбим вкус дождя, строительной стружки или чего-нибудь еще, научимся находить наслаждение и в ветре, — как дети, запускающие змея. А ведь еще остаются у нас цветы и зверюшки. И, наконец, придет, наверное, время, когда мы обнаружим, что города и улицы — это часть вселенной, а люди — исконная и добрая частица природы, и начнем пестовать их с огромным удовольствием и восторженной страстью. Да будет так!

1931

ИСПОВЕДЬ

Если говорить истинную правду, дело обстояло так: я опасался за свои растения. Меня беспокоили японские анемоны и хризантемы, розы и только что выса-

женные в грунт Abies concolar [1], дрок и новый флокс, так же как и все прочее, что растет и цветет в той части вселенной, которую я называю своими владениями. От этакой сухой, морозной, бесснежной зимы, зимы черной, бесплодной — ничего хорошего ждать не приходится; почва в такие бесснежные зимы не отдыхает, не может согреться и напитаться влагой; обнаженные ростки растений вымерзают, рвутся корешки, почки обжигает морозом и вообще в природе поднимается настоящий ералаш. Так-то вот, значит, обстоят дела, и потому каждый садовод ждет не дождется, когда же наконец повалит снег, — он хлопочет все время с ноября по март и стучит по барометру в надежде приманить обильные осадки. Но вот если зима пустая и голая, черная, сухая, как кость, сирая и никудышная, тогда садоводы...

То-то и оно: даже тогда наш брат-садовод не обратится с укоризной к небу и не скажет: «Господи боже, пошли снегу хотя бы на мой сад! Хотя бы на мои анемоны и розы, а если уж на них, так и на тюльпаны — ведь это же тут вот, совсем рядом, а заодно уж занеси и остальные клумбы!» Я говорю, наш брат-садовод не станет сам сводить счеты с небесами, он живет среди себе подобных и подстрекает их против самовластья погоды, говоря:

— Лишь бы не было гриппа! Когда зима сухая — грипп тут как тут. Небось сами замечали — нападает много снега, болезни — как рукой снимет; оно и понятно, занесет бациллы снегом, вот они и погибнут, к тому же во время снегопада воздух очищается — и болезней как не бывало.

В этом все дело, — нужен снег.

Безработица! Что может быть хуже безработицы?! А если бы выпал снег, пришлось бы чистить улицы, тут бы тебе сразу и работа нашлась! А вот если такая мерзкая зима...

А как быть в этом году детям? Ни тебе на санках покататься, ни снежной бабы слепить — куда это годится? А вот если бы нападало снежку, то и ребенок ваш выглядел бы, как огурчик, как персик или как наливное яблочко.

Вообще во времена *моего* детства все было иначе: каждый гол — снегу по колено, сосульки — чуть

---

[1] пихта (*лат.*).

не до самой земли, да что говорить — зима так уж зима! Все так и сверкало чистотой и великолепием. А нынче? Ну как тут не грустить и не раздражаться, если стоят такие черные, туманные, грязные зимы! Чистое безобразие — вот что я вам скажу...

На каждом шагу только и слышишь: наш век — век спорта. А нет чтобы подвалить снегу. Нет того, чтобы люди могли покататься в Страшницах под крематорием. Какое там! А ведь не всякий может позволить себе махнуть с лыжами в Швейцарию или там в Илемнице. Если бы все было по-моему — так снега нападало бы вволю, все бы смогли поразвлечься спортом — и был бы полный порядок!

Возмущаясь черной, бесснежной зимой, все эти и тому подобные доводы высказывал и я, — наверное, оттого, что не рассчитывал на сочувствие людей к моим анемонам, а может, потому, что это уж в характере человека — принарядить свою личную заинтересованность интересом общественным; короче говоря...

Положа руку на сердце (перед глазами моими возвышенное представление, что в ту же минуту пятьдесят тысяч читателей прижимают руку к сердцу), ответьте мне: не происходит ли то же самое с великим множеством общественных, гражданских и общечеловеческих интересов? Не протаскиваем ли мы под общественной и демократической декларацией обожаемый товарец своего личного интереса, личной скорби либо своих излюбленных грез? И наши общественные идеалы, протесты и программы — не есть ли всего лишь маска, за которой мы сами перед собой скрываем желания приватного и зачастую эгоистического свойства?

Скорее всего так оно и есть. Да будет так. И на тебе — снег уже выпал, а я все еще исповедуюсь в своем эгоизме, признаюсь в своем лицемерии и обнажаю свое истинное лицо. А пока я бью себя в грудь и каюсь, дети вопят и верещат, катаются с горы на санках, на улицах громыхают лопаты недавних безработных, мир стал прекраснее, а люди веселее, — и точно — веселее от того, что ступают по снегу. Что ж, еще раз (коли уж мы пришли к этому) скажите, положа руку на сердце: может, наши эгоистические желания в конце концов полезны для мира? Речь тут уж не о снеге, а о политике и прочих значительных проявлениях эгоизма. Может, они только

кажутся нам эгоистическими; а скорее всего через них (почти бессознательно) проявляется забота о том, чтобы мир стал прекраснее, его шум веселее; чтобы зародыши будущих дел не погибли.

1931

НА СКЛОНЕ ЗИМЫ

Среди всех прочих месяцев февраль, надо признать, отнюдь не пользуется особой популярностью; он какой-то слишком короткий и с изъянцем; зажат меж такими богатырями, как январь и март; он и хотел бы позаимствовать кое-что у того и у другого, да только куда бы он с этим приобретением сунулся? Скажем, одарит нас морозом либо вьюгой, но все это уже не имеет прежней грозной зимней величавости; морозы его только покалывают; его снег — замызганный, его ледяной покров — одни лишь мелкие осколки; чем более прибывает свету, тем явственнее проступает его морщинистое и простуженное, злобное и пятнистое лицо. А иногда, напротив, он дает себе передышку и притворяется, будто чуть ли не он один подготовил весну; повеет южный или западный ветерок, земля размякнет, зажурчит повсюду вода в канавках и ручейках, засияет солнце, и от почвы пахнет теплом; потянет носом человек — действительно ли это мягкий весенний воздух? Но куда там! — К утру вновь затвердеет земля, так что звенит под ногами, а живая водичка ослепит ледяной корочкой; это даже не канун ранней весны, тут еще недостает милости божьей.

Вот я и говорю, — мало, очень мало дано февралю месяцу, половинчатый это месяц, ни зимний, ни весенний, однако есть в нем нечто такое, что отличает его от остальных месяцев года. Прежде всего — в феврале снова нарождаются сумерки. Собственно, зимой сумерек нету, нету зыбкого перехода между днем и вечером, сразу вдруг навалится тьма — и все тут; засветят люди огонек — и продолжают заниматься своей работой. А вот в феврале подкрадывается потихоньку час сумерек, и кажется, что больше стало дневного сияния, все вещи будто пронизаны светом и излучают его из самих себя, как только подойдет их час и наступает то таинственное

и сладкое мгновенье, когда так и кажется, что вещи покойно и доверчиво рисуют сами себя своим собственным тихим светом; тут оставит человек на миг зряшные свои занятия, сложит руки на коленях и позволит себе плыть в неспешном течении дня, а потом засветит со вздохом лампу и произнесет: «Добрый вечер».

Вторая перемена будет заметна только зоркому глазу: у февраля свои краски. Трава еще ржавая, почва еще выбелена морозом и нет еще на ней влажно-багровой пышности, но на ветвях и веточках стволов — нерешительно, понемножку — прибывает разноцветных оттенков. Это еще не почки, из которых в марте будет соткана желтовато-зеленовато-розовая дымка раскидистых зеленеющих крон; это крайне сдержанный, с трудом угадываемый цвет, скорее предчувствие его в каждом голом прутике. Дело просто в том, что в феврале по каждой веточке начинает двигаться сок; зеленое лыко набухает, морщинистая кожа расправляется, разглаживая свои зимние складки, и лоснится полнокровным здоровьем, силой жизни; на сухопарых веточках пробуждаются коричневые, пурпурные, желтоватые краски; прутики вербы становятся золотистыми, березовая роща обретает нежную лиловость; фруктовые сады проблескивают темным багрянцем; то, что зимой было черным, как гравюра, переливается теперь тонкими красками. Они едва обозначены, но они уже тут, и не успеешь оглянуться, как пробрызнет их дождичек искрящихся почек, шелковистая светлость сережек и свежая зелень травы. Я знаю, зима еще не так далеко, но по всей вселенной уже совершается нечто новое, что принадлежит только маленькому неказистому месяцу, февралю, — уже напряженно блестят голые ветки, трудясь на благо весны.

1937

КАНУН ВЕСНЫ

И все же ты — только начало, которого мы дождались после долгой зимы; ты, подснежник, ты, ранний шафран, и ты, цветок таволжника, ты, ивовая сережка; прежде чем набухнет первая почка и развернется первый лист —

вот вам, пожалуйста, уже распустился цветок; природа еще не воспряла, а он уже расцветает, как первая любовь. Все остальное придет много позже: и страстная жажда роста, и труд корней, неслышная и упорная борьба за жизнь; а тебя, первый цветок, растение создает только из себя самого. Еще скована морозом седая земля, корни не тянут соков из все еще спящей почвы, и первый цвет растение выбрасывает из собственной плоти. Поскольку брать ему больше неоткуда, оно вкладывает в свое весеннее начинание собственное сердце. И это хорошо.

Что до нас, людей, то ты, весенний цветок, не верь всякому поклепу, не так уж здесь скверно. И мы хотели бы устроить на земле и рай, и божий мир, и воскресение, и вечную весну, и тому подобные вещи, а пока лишь спорим, как это осуществить, откуда что брать и кто этим должен заниматься — и так далее все в том же роде. Нам представляется, что земля, на которой мы живем, еще не поспела для того, чтобы на ней мог разрастись, выражаясь языком садоводов, райский сад; короче говоря, пока что это не получается. А если мы приглядимся попристальнее, то наверняка найдем людей, которые уже вкладывают в это благое начинание все свое сердце, а средства сделать наш мир лучше они черпают из глубин собственной души. Как первую любовь.

* * *

Я вас уверяю, что первому подснежнику (у него нет иного имени, и дело свое он совершил анонимно, ради чести и славы своего рода) нужна была невиданная отвага, чтоб решиться и осуществить великое дело весны. Он должен был пробиться сквозь снег и лед, как всамделишный крохотный ледокол; он устремился к своей весне на собственный страх и риск, бесстрашно принимая удары ночных морозов и утренних заморозков. И что поразительно: этот ранний цветочек — вовсе не идиллия солнечных дней; это — результат мужества, дерзаний и жажды приключений. Аванпост, выдвинувшийся далеко вперед за линию фронта и размахивающий белым флагом. Первопроходец и покоритель. Первый колонист в негостеприимном краю. Первый белый парус на глади океана.

Тут и дерзость, и скромная покорность естеству. И это славно.

* * *

А что касается зелени, то теперь зеленеет поистине все: здесь из-под земли высовывается коренастый и плотно упакованный росток, там веером разворачивается молоденький лист, такой изумрудный, что ни с чем другим не сравнишь; мало того. Если приглядеться попристальнее, то можно увидеть, что вся эта юная жизнь продирается к свету из гнили и тлена минувшей осени, что она по самую шейку увязла на гигантском кладбище минувшего произрастания. Только весною предается земле прошлогодний лист; только в пору новой зелени превращается он в прах и пепел. Как следует присмотревшись ко всему этому, мы увидим, что весной земля усеяна вовсе не цветом; скорее, вся она — сплошной мертвый лист, тлен и распад того, что жило год назад. Только теперь погребается год минувший, только теперь остывшая жизнь предается земле, из которой она поднялась. Нет воскресения мертвым. Есть восстание из мертвых.

Так вот ты о чем, свежий листок, раскрывшийся меж тлеющих листьев, — ты, видно, хочешь сказать, что вечна неразрывность жизни и смерти.

1929

О ВЕСЕННЕЙ ВОРОЖБЕ

Что правда, то правда: пасха так же богато изукрашена народными обычаями и поверьями, как и рождество: эти празднества были столь же чудотворными и языческими, как и зимний солнцеворот. Но есть здесь и большая разница: таинство рождества в значительной мере представляется пророческим, меж тем как таинство пасхи — скорее колдовское. На пасху не льют свинец, не разрезают яблоки, не отворяют скорлупки орехов, не жгут свечи и не всматриваются в глубину вод, чтобы узреть будущее. На пасху собаки лают не для того, чтобы подать знак, с какой стороны ждать жениха; все эти предсказания принадлежат рождеству. На пасху ворожат, чтоб все были здоровы, чтоб удался урожай и так далее. На пасху не пытают таинственную судьбу, желая узнать, что с нами будет, но ищут способа оказать

на это будущее чудодейственное влияние. Умойся, девушка, в ручье на рассвете — и будешь целый год пребывать во здравии. Сделай то-то и то-то, исполни то или иное магическое предписание — и все в порядке: будущее в твоих руках. На рождество ты не властен над тем, какую форму примет излившийся свинец; не властен над тем, что откроется в сердцевине яблока — крест или звезда; не в твоих силах предотвратить, чтобы твоя свечка по погасла раньше прочих. А вот на пасху ты уже как будто становишься немножко хозяином своей судьбы: стоит совершить то-то и то-то — и ты уж непременно останешься цел и здоровехонек. Так беги же скорей и делай что надобно!

По всей видимости, тут надо рассуждать так: на рождество — слово за ночью, а на пасху — за божьим деятельным днем. На рождество природа спит, — тут уж делать ничего нельзя; и человек, связанный с нею, ждет, сложив руки, пока кончится зима. Нет у него средств повлиять на ход вещей; важно лишь как-нибудь пережить зиму. И тогда на человека, что мечтает и ждет, нисходит вещее настроение. Если делать ничего нельзя, остается только пророчествовать. Человек с плугом уже не задает беспомощных вопросов об урожае, потому что урожай в определенной мере — дело его рук; может, конечно, пойти град либо начаться засуха, но человек, как бы там ни было, делает все, чтоб на его поле вырос урожай. Колдует, чтобы темные силы не причинили ущерба ни плодам его труда, ни здоровью; поэтому он ставит освященные свечи от гроз и освященную вербу от тяжких недугов. Он не пророчествует, а содействует доброй судьбе. В пору зимнего солнцеворота он сидит в полутьме и тоскует по прорицаниям и знамениям: явись мне, скажи, что станется со мною и со всеми нами, ибо сам я определить это бессилен. В весеннее равноденствие у него уже появились дела, хвала господу, он уже снова немножко хозяин и творец своей судьбы. А вокруг все приходит в движенье, природа выступила в свой великий поход; это уже не зимняя спячка и оцепенение. А потому и весенняя ворожба — совершенно непохожа на зимнюю: это уже не та метафизическая беспомощность и бессилие, что лишь вопрошают судьбу о будущем, но уже некое действование, пусть слабая, но попытка деятельно влиять на благополучный исход.

И, как мне кажется, с нас уже довольно зимних предвестий. Вся Европа принялась за гаданье; решался один и тот же тоскливый вопрос — что будет и чем это кончится. Вероятно, пора бы уже приняться за весеннюю ворожбу и что-то делать, чтобы все завершилось благополучно. Вот если все мы сделаем то-то и то-то, если все мы выполним надлежащие предписания — мы будем живы и здоровы. И в этой ворожбе все должны помогать друг другу; тот, кто делает хоть что-нибудь, уже не станет беспомощно вопрошать судьбу о том, что нас ждет впереди.

Только не допускайте даже мысли о том, будто мы совсем уж бессильны повлиять на грядущее; самомалейшее воздействие лучше, чем пустые пророчества. И в этом заключается все таинство весенней ворожбы; грядущее, пусть в малой степени, хоть немножко, но в нашей власти.

1935

ЗА ГОРОДОМ

Говорю по собственному опыту: город — урочище гнусное, нездоровое, а для человека — просто вредное. И при этом я имею в виду не пыль, не дым, не отравленный воздух и прочие ужасные опасности для нравственного и физического здоровья людей, что подкарауливают нас на улицах. Я имею в виду то ненормальное и прямотаки страшное обстоятельство, что обитатель улиц обычно вообще не видит ни звезд, ни луны. Истинный внутригородской и уличный абориген уже из-за одних только фонарей не видит ни Большой Медведицы, ни Полярной звезды; из-за сплошной стены домов он даже не имеет представления о том, полнолуние сегодня или только-только народился новый месяц; да если он даже и знает об этом, то ему это, выражаясь его же собственными словами, — «до лампочки».

Если говорить о звездах, то астральное и планетарное влияние их на человека безоговорочно взято под сомнение; что же касается луны, то ученые люди признают ее воздействие только на приливы и отливы, на морского червя мблалоло, на рост некоторых цветов и бактерий да еще, пожалуй, на лунатиков, влюбленных, поэтов

и кошек. Но не об этих воздействиях в данном случае речь; речь идет о том факте, что если обитатель улицы возведет очи горе, то не увидит искрящихся звезд на небе и не заметит сияющего лунного лика. Выйдя на порог дома, не повстречает, как ближайших своих соседей, Венеру или Юпитер. Не суждено ему стремить свой шаг по знаку месяца, не ведомо ему даже, черна или светла сегодня ночь. Живет он в беззвездной пещере, будто земноводное, не осознавая этого. Ведь и пещерный обитатель этого не осознает.

Обитатель улиц живет в городе, а иногда даже — в очень большом городе; но он не живет во вселенной, потому что не живет под звездами. Он живет среди миллиона людей, но никак не среди миллиона звезд. Его мир кончается за Высочанами либо за Бубенечем вместо того, чтоб заканчиваться за Арктуром либо за Млечным Путем; это в самом деле ничтожно маленький мирок, раз он не разверзается в бесконечность. Не так существенно изучать орбиты звезд или же уметь отличать Альтаир от Альбирео; куда важнее быть в любую минуту убежденным, что есть над нами звезды и существует космос. Человек улицы должен отправиться, скажем, в Збраслав, чтобы лишь там обнаружить существование вселенной; а провинциал сразу оказывается в ней — стоит только ему переступить порог дома и задрать кверху нос. Если бы люди встречались вечером под звездами, а не под лампой, я ручаюсь, что они не стали бы долго говорить о политике либо о никуда не годных порядках; под звездами лучше говорить о любви, о завтрашнем дне и об иных тихих и серьезных вещах. Под звездами можно сойти с ума или влюбиться, но невозможно рассердиться. Таинственные астральные влияния существуют и впрямь; звезды мощно воздействуют на человека, если он любуется ими, но звезды не способны влиять на людей, которые разглядывают световую рекламу Лионского заведения либо читают в кафе театральные новости. Под звездами человек причастен великой славе мира; он увенчан звездами.

Еще более глубоко влияние лунное. Я не думаю ни о сверхъестественной красоте лунной ночи, ни об полумесяце Османидов, ни о серебряных лунных замках; я имею в виду лунные обращения и фазы. Обитатель улиц руководствуется календарем, ему известно, что сегодня первое, пятнадцатое либо двадцать седьмое

число, и этим исчерпывается все, что напоминает ему о коловращении времени. Его время не записано торжественно и величаво на лунных четвертях. Его жизнь не разделена на небесные обороты и не слагается из светлых либо темных периодов. Первое число каждого месяца, когда он получает свое жалованье, не свидетельствует о вечном коловороте времени; это явствует из полнолуния. Время между двумя полнолуниями — глубже и важнее времени, протекающего между первым и последним числом месяца. Время городского жителя — это только даты, это только — числа, но отнюдь не небесное явление; оно не проистекает из вечности, которая есть время вселенной. Человек, наблюдающий лик месяца, живет уже не по тикающим на стене ходикам, но по безмолвным планетарным часам; вследствие этого он меряет жизнь, я бы сказал, весьма длинными локтями.

Когда я в последний раз переселялся, я думал, что перебираюсь на самый дикий и заброшенный край города; но вскоре я обнаружил, что переселился куда дальше: чуть ли не на луну, по соседству от звезд.

1926

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Я не знаю, какое это явление: атмосферное, акустическое либо какое иное, но (хотя я отродясь не помню, какой сегодня день или число, и различаю их только по шапкам газет) так уж повелось, что воскресным утром, стоит мне раскрыть глаза, как я ощущаю какую-то особенную подавленность, недовольство жизнью, нежелание встать, общую слабость воли и совершенное отсутствие настроения что-либо предпринимать или делать; это состояние можно было бы еще определить как тоска, занудство, хандра, сплин или же скучища. Обыкновенно я мучу себя исследованием этой внезапной депрессии до тех пор, пока наконец не догадаюсь: а-а-а, наверное, сегодня воскресенье. И впрямь — настало воскресенье.

Так вот, я не знаю, откуда это на меня находит; то ли это некое особое влияние атмосферы, то ли магнитные помехи, то ли еще что; может, во вселенной в воскресный день и в праздники что-нибудь выключают, и из-за этого

как-то нарушается обычный порядок в природе. Нужно бы научно определить, растут ли по праздникам и воскресеньям травы и деревья; но эмпирическим фактом является, по крайней мере, то, что красные числа в календаре отмечены обычно либо тем, что в эти дни больше выпадает дождей, либо становится более жарко; духовная деятельность стеснена; от собак как-то особенно гнусно воняет, а дети чем-то раздражены; бывает также ветрено, много людей тонет, происходит множество автомобильных катастроф, актеры играют хуже, чем обычно, поезда и трамваи ходят куда как плохо, что-то скверное творится с пищеварением, а пиво и литература много хуже, чем в остальные дни. Возможно, конечно, что воскресенье и праздники приходятся на время своеобразных и периодических космических помех, отчего в воскресенье я пробуждаюсь просто-напросто с физическим предчувствием: сегодня что-то не в порядке. Отсюда эта таинственная тоска.

По другой версии, это — явление акустическое; ты просыпаешься и не слышишь отдаленного и безграничного шума человеческого труда, и тебе чего-то недостает. Это удручает так же, как если вдруг остановится мельница. Объяснение это однозначное и потому — неправильное, ибо с катастрофическим предчувствием воскресенья я пробуждаюсь и в совершенно незнакомых городах, и даже в горных приютах; даже если бы меня забросило бурей на пустынный остров, где не было бы Пятницы, то однажды утром я наверняка проснулся бы с жутким ощущением, что сегодня что-то не в порядке и мне ничегошеньки делать не хочется. «А-а, — догадался бы я под конец, — наверное, сегодня воскресенье». И это на самом деле оказалось бы так.

Ручаюсь, что все эти уикэнды, походы и народные торжества — всего лишь отчаянное бегство от воскресной депрессии; люди считают, что нужно довести себя до изнурения, дабы забыть о сокрушающей скуке дня воскресного. Горе им, ибо воскресенье преследует их по пятам на Сватоянских порогах и на Карлштейне, в Дивокой Шарке и на стадионах «Спарты». Куда благоразумнее поступает тот, кто встречает воскресенье лицом к лицу на городских улицах либо преодолевает его дома, переболев им, как гриппом. В городе обнаруживается, что воскресный день еще можно кое-как перенести, в нем есть доля чего-то торжественного, прелестно выглядят

девушки, а кроме того, можно читать воскресные газеты. Островоскресное состояние прорывается только после полудня; город испускает из себя сонную одурь, и на улицу выходят люди, которых в другое время вы нипочем не увидите. Оказывается, тысячи людей существуют лишь в воскресенье: это старые девы, вдовы и сироты, мужчины с усами, дядюшки и тетушки, монашки и старушки, удивительные существа, которые выглядят так, будто тридцать лет провисели в шкафу и только по воскресеньям выходят проветриться, чтобы их не источила моль. На улицах видишь необычные, чисто воскресные лица, бледные, носатые, усатые, конопатые, веснушчатые, помятые; людей, одетых, как правило, бедновато, по чисто; на всех — отпечаток чего-то стародавнего или, скорее, — вневременного; кроме воскресных дней, такие лица и такие костюмы можно встретить еще на бедных похоронах. К четырем-пяти часам на улице появляются целые семьи, что открыто обнаруживают свое существование также только по воскресеньям: ну встретишь ли в будни семью в полном составе — вместе с противными мальчишками, которых одергивают на каждом шагу, с дочками, у которых торчат оборки штанишек, с маменькой, колышущейся, словно лодка, и папашей, что посасывает сигару в мундштуке и критикует состояние улиц и новостроек? Воскресный род людской, говорю я вам, одинаков в Риме, в Париже и Лондоне; из воскресенья в воскресенье он обращает мир в вещь, неистребимую и страшную: в местечко. В воскресный день мещанин прячется не от города и его гама; он бежит от «местечка» с его сплином и его ленивой сутолокой. Это «забитое» местечко, в будни укрытое в мастерских, в лавчонках и дома, оставляет для себя воскресенье и праздники, чтобы завладеть улицами и площадями, это не только прогулка, это — почти манифестация: мы тут. Мы, старые девы, папеньки и маменьки, дядюшки и тетушки. Мы — вне времени. Мы — вечные.

1927

СЕНОКОС

Позвольте мне выставить у позорного столба ту несправедливость, которую поэты позволяют себе по отношению к природе, замалчивая ее великие и прекрасные заслуги.

Да, разумеется, иногда они плетут венки из незабудок, воспевают розы и украшают свои вирши лилиями либо повиликой; однако нам не известны факты, чтобы они собирали роговик или веронику, прославляли луговой петушок либо нежным словцом помянули цветущий щавель. Не для них цветет купальница, лютик, камнеломка; не склонятся они над голубой будрой, не изумятся весеннему сочевичнику, и не поразит их ослепительный блеск калужниц; теперь я еще сделаю это за вас, барды: пусть лишь грубым языком неловкой, непоэтичной прозы; но впредь честно свидетельствуйте в пользу того, что просится быть увиденным и услышанным, ничего не утаивая о своих поэмах.

Прежде всего вот она — удалая, блестящая калужница, чей желтый цвет так красив и богат оттенками, как ни один другой желтый цветок в мире: цвет насыщенный, сочный и глубокий, столь густой и ядреный, как будто цветок калужницы трудился над своей окраской целые столетия. Когда же калужница сбросит свою блестящую корону, останется после нее щетинистый и твердый семенник: крошечная и гордо вскинутая булава. Говорю вам: калужница — это сила; сила, плечистая, здоровая и ветвистая, огонь-девка, рукастая, грудастая, крепышок среди всех других цветов. Маленькая, коренастая, плотно сбитая богатырша. Не спорьте, калужница — молодица на загляденье!

А вот — камнеломка, целые пригоршни цветов, букет молочно-белый, сияющее буйство на стебле, жестком, как ремень; луга полны ею, их словно снегом припорошило, и всякий цветок торчит и вытягивается, как тополек, из прибитой к земле розетки листьев. Никак не нацветешься ты, стойкий и неизбывный цветик; я знаю, каждый из нас делает, что может, но тот, кто нечто уже совершил, тот понимает, что значит исполнить долг.

А что за прелесть вероника — голубое облачко в траве, непонятно откуда взявшийся кусочек затуманившегося голубого неба, словно припорошенного пыльцой прекрасной погоды; мирная и трогательная лазурь бессчетных голубых очей; меж стеблей травы, словно дети меж планками забора, высматривают они — что же творится на улице? Да чему там твориться? Вот только пришел кто-то чужой, — ты чей, малышок с вытаращенными глазенками? А я Вероникин. Так, так, значит, ты из семьи

Вероники; ну, что ж, это славно, этого нечего стесняться.

А лютик? Лютик — это само изящество, тонкая упругость и яркая, серная, сопранная желтизна; высоко над травой сверкают блестящие и холодные чашечки на таких тоненьких стебелечках, словно они сами по себе парят в воздухе. Ты цветешь не на земле, мой золотой, а в свободном пространстве, как звезды небесные. Высока твоя дума, ядовитый цветок; а ведомо ли тебе, как жмется к земле почтенная и милая лапчатка?

А ты, благородная, рослая купальница; бледная, чуть поблекшая желть шарообразных цветков, слишком изысканных, чтобы раскрываться до конца. Разве так, полураскрыться слегка, чтоб выдохнуть тонкий аромат. II даже если бы купавок были полны луга, все равно каждая останется сама по себе: такие уж это аристократки.

Роговик, роговик: вот они — буйные белые цветики, у которых каждый лепесток вырезан сердечком. Роговик — он такой: коли цвести, так уж целыми коврами либо подушками. Отчего это цветы на низких стеблях цветут так купно, так богато и густо? Не оттого ли, что они так близко к земле и к ее силе? А может, потому, что нужно застелить и заполнить всю землю, в то время как парить можно и в воздухе? Нам никогда не заполнить мирового простора, но землю мы можем укрыть ковром своей работы.

А вот — петушок, трепещущий на ветру растрепанными лепестками; розовые флажки, ветерок, поднимающий рябь на лугах, белая пена роговика, а над ней — воздушные кораллы петушков, рыжие метелки щавеля и голубое облачко вероники; широко раскинувшаяся калужница степенно покачивает своими крохотными крепкими булавами, меж тем как огромными хлопьями падает снег цветков камнеломки; дети, соцветья, звезды, — наступает пора сенокоса.

1936

КАНИКУЛЫ

Взрослые давно уже успели забыть, что такое взаправдашние каникулы. Где им! Что бы они ни делали, они не могут уже так полно отдаться им, как дети. По-

пусту они разглагольствуют каждую весну о том, как в этом году заждались лета, как поедут и будут отдыхать на всю катушку; но, очутившись в желанном раю, они обнаруживают, что там либо слишком жарко, либо, напротив, непрерывно льет дождь; что без конца их жрут нахальные мухи, что еда не та, что всюду полно муравьев, что никуда не годится пиво, что купанье далеко, окружение противное, не с кем и словом перемолвиться и вообще — скучища; в прошлом году было куда лучше... и еще три тысячи семьсот сорок подобных «что». Напротив, если мне не изменяет память, ребенку ни мухи, ни муравьи — не помеха, нипочем ему жара, непогода или там плохая еда, ему абсолютно все равно, каких взглядов придерживаются ближние, не зависит он и от природных красот, на фоне которых разыгрываются его каникулы; ребенку достаточно сознания того, что наступили каникулы; его каникулы, я бы выразился, хороши сами по себе. Это Чистые Каникулы.

Чистые, настоящие, или просто детские, Каникулы, с этимологической точки зрения — никакие не праздные дни; нет в них никакой праздности, а, напротив, есть деятельная и сосредоточенная полнота. Главное, *не нужно идти в школу;* этим еще не доказано, что школа для ребенка — мучение и тяжкий изнурительный труд; это говорит скорее о том, что школа в глазах малыша — лишь чудовищная трата времени, которое можно было бы использовать куда лучше и интереснее. Насколько мне помнится, сам я в школе (кроме так называемой школы жизни) скорее изнывал от скуки, чем перенапрягался сверх меры. Самое глубокое наслаждение в каникулы — это как раз удовольствие необязательности дела; великое блаженство свободы.

Правда, и во время Чистых Каникул остается куча распоряжений насчет того, что можно, а чего нельзя; к примеру, нельзя есть зеленые груши или таскать за хвост кошек. Но зато заметно убыло распоряжений, предписывающих, что должно делать. Не нужно идти в школу. Не нужно сидеть тихо. Не нужно писать домашние задания. Не нужно почти ничего; а можно почти все, кроме того, что не позволено. Нежданно-негаданно вокруг образуется вольный простор для разных затей и бесчисленных интересов; в каникулярном мире больше места, больше пространства, больше увлекательных дел

и открывающихся возможностей. Попросту говоря, мир каникул не обужен приказами, что нужно и должно делать. Вольный простор — это тебе не пустой простор, напротив, он полон вещей и событий, изобилует содержанием и обширностью интересов. Вольный простор, простор Чистых Каникул — безграничен, хоть и простирается не дальше угла нашей улицы либо забора нашего сада.

Другая великая радость настоящих каникул — это использование Времени. Каникулярное время не раздроблено и не измельчено указаниями о том, что делать в эту и следующую секунды; в нем нет расписания занятий, есть лишь неделимый и нескончаемый бег времени с утра до самой ночи. Каникулярный день состоит не из часов, но из чистой протяженности и непрерывного течения. Он безбрежен и притом полон потаенных бухт, как все еще не разведанное озеро; его не проплывешь и за день, а завтра, ребята, глазу откроется новая гладь времени, и конца ему не видать. Это время более обширно и необозримо, чем любое другое; сколько бы мы ни прожили, нам никогда больше не придется жить во времени, столь же необъятном; сколько бы мы ни прожили — никогда уж не доведется нам проводить время так, само по себе, время в его величии и славе, как это бывало в дни детских каникул.

Взрослый давно уж не получает такого удовольствия от своих отпусков; тщетно будет он искать утраченные Чистые Каникулы на морских берегах или горных вершинах. Сдается, что взрослые уже не получают былого ни с чем не сравнимого удовольствия от ничегонеделания и свободы; и разве не видим мы, как повсюду на свете взрослые делают все возможное, чтобы мир состоял из одних обязанностей и распоряжений? По каким-то причинам с возрастом люди во многом утрачивают понимание того, какая прекрасная вещь свобода; она уж не доставляет им прежней радости, а что до наслаждения величием и славой Времени, — на это они больше не способны. Для них уже не существует таких Чистых Каникул, когда бы не ощущали они остро и мучительно: боже, как быстро бежит время!

1937

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ НА ГОРОДСКОЙ ОКРАИНЕ

Я бы хотел играть на гармонике или на шарманке, чтобы выразить мои чувства музыкой, ибо воскресенье на пражской окраине и впрямь звучит, как этакая полифоническая музыка, издали, с одной стороны, сопровождаемая корнет-а-пистоном и граммофонами, а с другой — вздыхающими, завывающими, тягучими, взвизгивающими, блеющими, воркующими, басящими и вторящими звуками, которые заключены в плебейских инструментах. Выглядело бы это до ужаса сентиментально и чудовищно банально; один голос исполнял бы затасканную песенку, а другой — любовную серенаду. Тут следует заметить, что я не учел еще открытых кафе и танцулек, иначе мне понадобился бы целый оркестр.

Воскресный день на окраине делится на четыре пояса. Первый — самый край города, неподшитая кромка со свалками и мусорными кучами, старыми домишками, пустырями и полем, вклинившимся меж только что построенных зданий, с оградами и ремонтными мастерскими, с колониями палисадников и вагонами, использованными под жилье, с железнодорожными насыпями, белыми козами — и кучей детей; в воскресный полдень здешний люд выбирается на свет божий, посиживает на порожке, почитывает газеты, пасет коз, греет на солнышке свои немощи, присматривает за детьми и слушает, как бранятся соседи. Люд этот не ходит ни на прогулки, ни на экскурсии — так же как деревенские жители не ходят в воскресенье в поле или в лес; их воскресенье — неторопливое, крестьянское, домоседское. Лишь любители-садоводы копошатся на своих крошечных наделах, вскапывают и утюжат газоны, размечают их шнуром и сажают рассаду в нежные ямки; всюду уже обнажили свои зеленые шпаги ирисы, как оглашенные цветут тюльпаны, кивают первыми кистями молодые кусты сирени. А с вечерней поливкой наступает серьезный момент, когда садовый люд усаживается на свои лавочки и радуется тому, что еще он посадит в будущее воскресенье.

Второй и третий пояс то и дело проникают друг в друга; не знаю, отчего на картах Большой Праги они не обозначены разными красками — это пошло бы на

пользу обеим группам их воскресных хозяев. Ибо второй пояс — заповедник для семейных людей, а третий — для влюбленных. Обычно это труднодоступные места, не отличающиеся красотами природы, скорее наоборот. Семьи, как правило, раскидываются табором в мирной полутени, в красивом местечке; мамаша, прежде чем опуститься наземь, подберет юбки, папаша снимет пиджак, после чего они поговорят немного о заботах насущных либо сделают замечание детям. «А хорошо здесь», — заметит папаша, любуясь видом смиховских труб либо карлинским Домом инвалидов. «Ах, какая прелесть!» — воскликнет девушка, отыскав со своим милым уютный уголок, откуда, кроме кустарника, ничего не видать. Но в следующий момент туда же направит стопы целое семейство — в поисках тени и красивых пейзажей.

«Добрым людям и притулиться негде», — бросает мамаша довольно громко, а возлюбленные провожают удаляющуюся семью ненавидящим взглядом. Но когда воскресенье переваливает за полдень — им уж не до того, чтобы оглядываться вокруг; прижавшись и замерев в каком-то бесконечном немом поцелуе, влюбленные, как выразился один поэт, «позволяют миру идти возле»; мир это и делает сплошь и рядом, рассуждая при том о жареной баранине либо о тетушке, которая приедет из Пардубиц.

Четвертый пояс — это необъятный мир путешествий поездом либо пароходом; этот мир уже не принадлежит воскресной окраине, разве что своими возвращениями. Стоит только загромыхать воскресному поезду, в окнах которого полно разнообразных лиц, на него воззрятся со всех откосов и изо всех закоулков.

«Ну, мне пора», — вздохнет девушка, и подберет волосы под шляпку. «Ну, по домам», — прикажет папаша; и садоводы, что полили свои нежные саженцы и теперь наслаждаются покоем на орошенном клочке земли, тоже устало, спокойно провожают взглядом убегающий состав, думая о своей резеде.

1926

ПОЕЗД

Собственно, садясь за письменный стол, я собирался писать о чем-то другом (не о судах, нет), но в тот момент, когда я брал в руки перо и бросил взгляд на окно, следя

за кружившейся мухой и улетающей мыслью одновременно, на глаза мне попался паровозик, далекий, громыхающий паровозик, обыкновенный, поездивший на своем веку пассажирский состав, одним словом, скорый поезд, из тех, что ходят «на Бенешов, Табор, Весели, Вену»; катил он откуда-то из-под Богдальца к Гостиваржу; не успел я оглянуться, как он свернул в поля и был таков. У меня осталось только перо в руках и поразительная, немая, невысказанная, особенная зависть человека, сидящего дома, к тем, кто уезжает в неведомые края.

И вот что интересно: если бы час назад ко мне пришел сам творец и сказал: «Карел, собирайся, через час на Бенешов и Весели пойдет скорый; подумай, ты ведь сможешь проехать через Богдалец в Гостиварж, и вся округа вблизи этого полотна будет тихо завидовать тебе, потому что поезд унесет тебя в широкий и вольный мир, между тем как они обречены торчать за двумя своими оконцами — ну, поезжай, господь с тобой», — тут я наверняка начал бы выкручиваться, лепетал бы, что по чистой случайности как раз сегодня мне это не слишком удобно, я как-то не в расположении, и потом мне надо написать статью, — в таком духе я придумал бы еще пятьдесят предлогов, лишь бы отвертеться от сделанного предложения, и с облегчением вздохнул бы, когда великий искуситель, закрыв за собою двери, оставил меня в покое. Да и вы, по-моему, поступили бы точно так же; но это вовсе не помешало бы нам в следующий раз с грустью провожать проходящий мимо поезд, завидуя пассажирам, алкая новых горизонтов и неведомых целей. «Да, — думаем мы про себя, — эти вот едут, а я, бедняга...»

У вагонного окна стоит господин и любуется, как проносится мимо и исчезает бескрайний и незнакомый мир; этому хорошо, он небось едет... А господин стоит у оконного стекла, любуется далекими оконцами и думает себе: «Славно, должно быть, живется за этими окошками; колышутся занавесочки, кругом тихо, воздух свежий — вот бы пойти и постучаться: «Разве вы меня не знаете? Я тот-то и тот-то, проезжал мимо, и захотелось мне вдруг заглянуть в ваше оконце, как хорошо, наверное, за ним жить, жизнью тихой и полной». А вот тропинка — мне никогда не пройти по ней; а что там дальше, в этой рав-

нине? Наверное, что-то прекрасное и удивительное, какие-нибудь рощи либо родники. Пройти бы до конца этим путем, поглядеть, каков мир там, за холмом, обогнуть угол этих домов, посмотреть, кто или что скрывается за ними, пожить тут и все разузнать, — какие это бесконечные, интригующие, таинственные возможности, мимо которых меня провозят, как зверя в клетке! Привет, привет вам, люди, которые остановились здесь, чтоб помахать рукой вслед поезду, хорошо вам живется, хотелось бы мне оказаться на вашем месте, да вот видите — я должен ехать, должен и не могу поступить, как мне хочется».

И неужели вы полагаете, что господин, стоящий у вагонного окна, доедет до неведомых земель? Даже если я исключу возможность того, что путь оп держит только до Бенешова, — никогда не добраться ему в неведомые края; и даже если бы ехал он в Италию либо на Яву, никогда не очутится он в неведомой земле, ибо неведомая земля не та, что лежит где-то далеко, а только та, где нас нет. Неведомая земля — та, куда мы никогда не доберемся, или та, которая осталась позади. Я никогда не мог попасть в неведомые страны; много дней и ночей путешествовал я поездами и пароходами, чтобы убедиться, что неведомые земли или лежат где-то в иной стороне, или же у нас дома. Так пусть господин у вагонного окна отправляется во все четыре стороны, нигде не ждут его приключения, ибо если только событие на самом деле произойдет и в самом деле будет пережито, оно тотчас перестанет быть увлекательным приключением; ото — проклятая реальность. Быть на Яве или на Луне для тех, кто уже там, — вовсе не авантюра; но это — немыслимая авантюра для того, кого там нет. Для человека, машущего шляпой вслед уходящему поезду, романтические дали находятся именно в тех краях, куда мчит этот поезд; для господина в вагоне романтическими представляются те места, мимо которых он следует без остановки. Не знаю, но вполне возможно, что кому-то представляется чем-то несбыточным и романтическим сидеть у окна и писать статью, в то время как меня манит таинственная возможность отправиться к Бенешову...

Да, что же, собственно, мне хотелось сказать? А-а, только лишь то, что именно поэтому всякий человек долго провожает взглядом уносящийся поезд и именно поэтому

самыми прекрасными и заманчивыми представляются ему как раз те края, которые мелькают за окнами громыхающего вагона.

1925

ЧЕМ ЗВУЧЕН АВГУСТ

О нем следовало бы говорить «звучный август». Хотя природа притихла и птицы уже давно отпели — разве что, готовясь к отлету, застряли в тростнике либо на опушках леса; тут полно птичьего гомона и щебетанья, но более других месяцев август звучен людской суетой и спешкой; еще скрипят подводы с урожаем, еще звенят косы, косящие отаву; но в этот скрип и звон уже вплетается сбивчивый перестук цепов; безостановочно жужжит молотилка, шуршит солома, тарахтит на полях трактор и, огибая ниву, кричит на ленивую упряжку пахарь: «Н-но, пошла!» Это — главный августовский клич, великая музыка позднего лета; но тем самым уже просеиваются голоса осени, ветер свищет иначе, громче, ветру теперь есть чем шелестеть, оп вкладывает меж губ тугую осоку и пробует на ней играть.

Но главное — как будто прибыло стад; всюду коровы, подбирающие остатки выкошенной отавы; стерня кишит гусиными стаями; отовсюду слышен крик детей, лихое гиканье мальчишек-пастушков и взвизги девчонок-гусопасок. Так перекликаются поле с полем, а ветер уже несет звуки дальше — до другой деревни; босоногий карапуз нагоняет страх на больших, грузных коров, ругается, как большой, да еще надувается, будто горлопан-петух. Август принадлежит детям больше, чем любой другой месяц года; никаких тебе школ, поле все нараспашку, бескрайний простор, и кричи сколько влезет! Дикое гоготанье гусей, шелестящий топот стад и восторженный детский визг — все это тоже истинный голос августа.

И пальба. В такое вот августовское воскресенье бухает то справа, то слева; крестьяне с ружьишком таскаются по высокому картофельному полю и ба-бах! — по стае куропаток, ба-бах! — по улепетывающему со всех ног зайцу; добыча невелика, но сколько грохоту и треску! У крестьян на лице какое-то очень задиристое выраже-

ние: и это картофельное поле, дескать, наше, и то кормовое, и стерня из-под овса — все это наши владения, где мы вольны в животе и смерти. И даже если мы не принесем домой зайчишку с обвисшими ушами — все равно мы уже доказали, кто хозяин. А потом вдруг из глубин сумерек прогремит еще один одинокий выстрел — это, наверное, перебежал самец косули из соседнего лесничества; скрылся, разбойник, но все-таки мы успели хотя бы выстрелить по нему из засады.

У леса тоже свой август. Всякую минуту хрустит где-то ветка, отовсюду из молодого подлеска слышен треск, как будто через него пробирается кабан. Это — грибники. Грибники-одиночки смахивают на нелюдимых меланхоликов; шастают по лесу, свесив голову, и всячески сторонятся людей — не дай бог откроют их места. Грибники-коллективисты двигаются по лесу цепью и время от времени перекликаются друг с дружкой.

— Нашел?

— Не-ет.

— А должны бы быть.

— Тут уж кто-то прошелся.

— Нашел!

— Хорош?

— Крепышок!

Ибо, — да будет вам известно, — о грибах здесь говорят как о существах живых. Хруст сухих ветвей и шорох в молодом подлеске — такая же слава звучного августа, как и звук цепов и оружейная пальба под августовским небом.

1934

ГРИБЫ И ГРИБНИКИ

Тех и других этим летом было несметное и благословленное множество. Что до грибов, те вели себя выше всяких похвал; они росли повсюду — и в плохих, и в хороших местах, росли даже на лугах и посреди дорог, поодиночке и тесной семьей, они делали все, что могли, чтобы как можно больше походить на школьные картинки и муляжи грибов съедобных и ядовитых. Тут были и белые «для маринада», боровички золотистые, будто под-

жаренная булочка, и темно-коричневые, всякие — вплоть до важных шляпаков, с головою красновато-черной, заиндевелой до синевы, стройные подосиновички на крепких ножках, роскошные мухоморы, семейства розовых и зеленых сыроежек, груды пепельных и черных опят, дружины маслят и всякие прочие грибочки.

Много хуже обстояло дело с грибниками. Не только потому, что их было чересчур много. Homo homini lupus, — или грибник люто ненавидит грибника, попавшего в лес раньше, чем он сам. «Здесь уже кто-то побывал», — ворчит грибник-мизантроп, стоит ему только забраться в чащу; в это мгновенье он от души желал бы, чтоб на свете рождалось как можно меньше людей. Но, как я уже заметил, сейчас даже не об этом речь. Хуже всего то, что большинство людей, грибы ищущих, вступают в лес с неким представлением, что мало искать грибы, их желательно было бы губить, — наверное, для того чтоб в этом месте никто больше ничего не нашел. Поэтому, раскопав во мху грибки, они в своем иродовом рвении отыскать еще не рожденных их собратьев, выдерут с корнем и весь мох вокруг; им в голову не придет, что тем самым они обнажат и изничтожат грибницу, лишат лес естественного влагохранилища, одинаково необходимого как деревьям, так и грибам. Встретив гриб незнакомый или, по их понятиям несъедобный, они, повинуясь неосознанному инстинкту разрушения, непременно растопчут либо вдребезги разобьют его палкой. Есть грибники, подозрительно относящиеся к красноголовому подосиновику; наткнувшись на него, они не могут хотя бы не пнуть его ногой; не оставят они в покое славную сыроежку, растопчут масленок, вывернут с корнем подберезовик и четвертуют рыжики и шампиньоны; их извилистый путь по лесу отмечен растоптанными и сшибленными грибами. Они не оставят в живых мухомор или гриб-зонтик — как бы ни были те красивы; они неутомимы и последовательны в своем стремлении разрушать. Прослышали, наверное, что кто-то собирает такие виды грибов, которые им неизвестны, и именно потому топчут все подряд.

Одна черта в грибниках хуже всего: они приходят в лес, который им не принадлежит, который существует не для них одних, и хозяйничают в нем с тупой ненавистью. Зрелище леса в нынешнем, благословенном для

грибов, году — ужасно... Было бы ничуть не удивительно, если бы в обозримом будущем доступ людям в лес был строго-настрого заказан. Что мы знаем о таинственном симбиозе лесных растений, что нам известно о том, как связаны жизнь грибов и жизнь деревьев? Но даже если бы они не были связаны — великий грех лишать лес его гномов-грибов, так же как грешно лишать луга и межи их эльфов-цветов; люди, которые не могут оставить после себя нетронутой поэзию природы, недопустимы в лесу и заслуживают того, чтобы лесники пламенными языками и суковатыми палками изгнали их вон. Видимо, могло бы принести пользу и назидание, прочитанное в школе; а главное, — и это, я бы сказал, вопрос демократического мироощущения, — нужна потребность как можно реже отказывать в праве на жизнь кому бы то ни было, будь это всего лишь добрые духи леса.

1934

ОСЕНЬ, ИЛИ ПОРА ПОСАДОК

Предположим, что где-то среди полей и лесов есть у вас свой шалаш, бунгало, дача или как там это еще называется; а возле него — клочок земли, который вы считаете своим; либо, скажем, ничего такого до сих пор у вас нет, но вы желали бы все это иметь. Тогда знайте, что осенние дни вовсе не та нора, когда хозяин готовится к зимней спячке, а совсем наоборот, это нора, когда в нем начинают яростно бродить садоводческие соки; вот тут-то и принимается он высаживать на своем крохотном участке саженцы всевозможных пород, деревья и деревца, кусты и пирамидки. Весна — пора цветов, в то время как осень — сезон, когда сам садовод становится здоровым дубом и закладывает будущие густые кроны, то есть копает в земле ямки и рассаживает корешки того, что когда-нибудь станет буйным кустом либо вековым деревом; потом он укроет их землей, утопчет ногами, как следует польет — и готово, а теперь дело за природой — пусть покажет, на что она способна.

Да, да, в тени у стены — весенний крыжовник, а у колонки с водой — бузину; спокон веков бузина живет возле деревенских колодцев. Здесь будет полоска сире-

невых кустов, и рядом с их голубыми и лиловыми кистями должен изливаться золотой дождь ракитника. Syringa laburnum; да разве уж сами эти названия не звучат перезвоном колоколов, утренним и вечерним? А здесь пусть цветет жасмин — ради того, чтоб насыщать ароматом весенний вечер, и послеполуденное солнце пусть играет на белоснежных цветах трилистника либо таволги; после пронесшейся весенней грозы нет ничего прекраснее красных чашечек диервиллы, и важно, и пышно кивающих из тяжкой, орошенной влагой листвы. Да, все это должно расти именно тут; а еще Rosa rugosa, румяная айва и глог, да, да, ну разве можно было бы жить на свете без глога? Словом, тут следовало бы расти хотя бы самому необходимому.

Но постойте, ведь существует же не только весна; разве нечем украсить дни позднего лета или осени? Так копай же дальше свои ямки, садовод; здесь должны вознести свои красные ягоды кизильник, а барбарис и рябина смогут развесить богатые кисти своих киноварных кораллов; тут загорится осенним багрянцем лаковое дерево, и татарский клен вспыхнет неопалимой купиной. Ну вот, теперь хорошо; правда, и для зимы хорошо бы оставить немножко красок; а раз так — копай дальше, садовод, рой ямки под желтые и коралловые прутики кизила, под зеленые ветви сакулы, а здесь, у ручья, — под пурпурные и золотистые веточки вербы... Вот теперь наконец делать больше нечего; год — короток, и в нем только четыре времени года.

Погоди, а это что за росток? Смотри-ка, это Prunis sachalinensis, сахалинская вишня, — для нее надо подыскать просторное место, ибо этот тоненький прутик станет кустом высотой в тридцать метров. А хилая метелочка — это сакура, которая в один прекрасный день поднимется так высоко, что чуть ли не по небу поплывет розовое облако ее цветов; а вот, смотрите-ка, еще один прутик, из него вырастет черемуха, могучая, словно купол, черемуха из сада нашего детства.

Ну вот, теперь уже все, не правда ли? Слава богу, засажен еще один кусочек земли. Вокруг гудят черные бездонные леса, где-то высоко блестят светлые стволы ясеней, в лучах осеннего солнца золотятся верхушки дубов, тяжелые и грузные, как скалы; но человек, утыкавший землю прутиками, ничего этого не видит; он

оглядывает отмеренный ему участок земли, где из мокрой травы торчат несколько тощих и голых, темных прутиков, и шепчет про себя с глубоким и почти благоговейным удовлетворением: «Ну вот, теперь тут уже не так голо!»

1926

ПАШНЯ

Это была бы великолепная карта, если бы на ней в соответствии с природой были верно нанесены краски нашей земли. Конечно, там следовало бы передать темную зелень сосновых боров, сочно-зеленый цвет ельников и светло-зеленую кудрявость рощ; но более всего тонов и оттенков придала бы этой карте самая почва, как мы видим ее теперь, перед наступлением осени, только что вспаханную, еще не обветревшую и не слинявшую от морозов и суши. Конечно, карта эта в какой-то мере совпадала бы с картой геологической, но не выглядела бы слишком по-ученому и больше радовала бы взор, ибо была бы яркой и богатой оттенками, как творение художника, который с любовью смешивает на своей палитре разные глинки и краски, стойкие и не блекнущие.

Это была бы широкая гамма красок — от белого цвета песков до маслянистой черни самых плодородных почв. Кое-где пашни получались бы белесыми, светло-серыми; земли, запорошенные пылью, пропыленной или выбеленной засухой, окрасились бы цветом очень бледного, с синеватым оттенком, какао либо молока, куда капнули капельку кофе. Дальше — глинистая желтизна с разнообразными оттенками от охры до ржавчины, полосы светло-желтой, ярко-желтой и рыжей земли, с различными оттенками неаполитанской или индийской желтой или жженой охры; самой многообразной была бы, разумеется, коричневая гамма — от соломенно-светлого до глубоких и насыщенных тонов сепии, от оттенков нестойких до ярко-коричневых, как шоколад; коричневый цвет с оттенком кофейным, каштановым, обожженной глины или теплой смуглоты хлебных караваев, сухой и блеклый коричневый цвет мелко вспаханной каменистой почвы либо пышные тона глубоко вспаханных наносных почв и заливных лугов. И, наконец, земли красные, багровые, от ржаво-опаленных до ярко-красных, отливающих фиолетовым, во

всей интенсивности сиенны, цветной глины и кирпичных тонов — красок, опаленных огнем; есть розовые земли или места, окрашенные словно запекшейся кровью, либо румяные, словно пылающие в лучах медленно заходящего солнца. Край подле края, почти у каждой деревни — иная цветовая доминанта и иная яркость почвы; теперь, когда урожай собран, перед нами в полную мощь предстает цветовая карта обработанной земли.

Чего только не попадает в нее: кучи извести и груды черного навоза, удобрений, шлака и разные мучицы; интересно, что сотни и сотни лет труда не смогли ни перекрасить, ни разбавить родные цвета земли. Столько столетий человек удобряет навозом и ворошит эту тонкую корку пашни, из года в год покрывает ее культурным слоем труда, но багровый край по-прежнему остается багровым, а желтый — желтым; землю невозможно перекрасить; даже векам не под силу переменить ее речь и окраску. Не могут их изменить ни трактор, ни мотыга; после русого жнивья либо после темного картофельного поля снова своим исконным тоном коричневеет или светло желтеет земля. Земля никогда не признает униформы; народы и культуры могут перемешиваться, сменяя друг друга, но то, что они будут попирать ногами, нельзя разнести на копытах коней или грубо перемешать. Наверное, поэтому мы так любим говорить о родной земле; нам хочется ухватиться за ее устойчивость и постоянство. Вы только полюбуйтесь, господа, на эту землю — какой крепкий и прочный по краскам материал; она переживет нас.

Говоря о красках осени, мы не можем забыть о прекрасных и теплых красках пашни, раскрытой плугом. И с этой стороны мы, слава богу, находим у нас землю, благословленно пеструю, облаченную в переменчивые покровы. Мы, как говорится, вылеплены из всевозможных образчиков почв, все геологические эпохи сложились, чтобы совместно произвести этот небольшой край. И только люди различных цветов и оттенков плохо переносят друг друга, наверное, потому, что, говоря в масштабах геологии, они появились здесь только со вчерашних пор. И так будет продолжаться еще долго, пока разноцветной картой народов и государств люди не станут любоваться с таким же наслаждением, как и разноцветной картой земли.

1933

ОСЕНЬ

Человек неразрывен с природой. «Вот уж листва опадает, и параду конец, — думает он про себя, — останутся лишь голые ветви». Но если с течением времени (для этого хватит нескольких десятков лет) мы попристальнее приглядимся к ним, то обнаружим, как много еще сохранилось в этих голых веточках, сколько в них характера и своеобразия. Начнем с коры; кроме багрово-красной, как у кизила, зеленой, как у ракитника, желтой, как у ивы, белой, как у березок, серебристо-серой, как у буков, бывает еще коричневая, каштановая, охровая либо черная, обтягивающая, гладкая до блеска, морщинистая, изборожденная, чешуйчатая, растрескавшаяся либо шелушащаяся, — по каждому прутику можно отгадать, где он вырос, каждый обладает характером всего дерева или куста. А что до ветвей и строения кроны — то всего нашего запаса слов не хватит, чтоб найти подходящее выражение для каждой разновидности разрастания и композиции ветвей. Есть ветви раскидистые, раскоряченные, однобокие, искривленные и угрюмые, посаженные на материнскую ветку жестко и причудливо; бывают другие, выносящиеся легко и плавно, как будто расчесанные; третьи — устремляющиеся прямо вверх, желтоватые, развесистые; бывают ветви поникшие, торчащие торчком, как прутики, или растрепанные, мускулистые либо иссохшие, словно кости, а то еще косматые, как шевелюра; гибкие и мясистые или же, как хворост, твердые и сухие. Всякий кустик и всякое дерево делает это как-нибудь по-своему, в соответствии с определенным родом и видом; только когда опадает листва, мы можем обстоятельно разглядеть это бесконечное разнообразие природы, но лучше всего это делать, когда ветви покроются инеем.

А если добраться до корней — сколько же там поразительных и своеобразных различий в цвете и строении, ворсистости, волокнистости, раскидистости и полноте; до конца человек не способен оценить все это по достоинству, и, может, только господь бог любуется этим с наслаждением, радуясь, какая у того вон дерева либо у того вот куста прекрасная корневая система. «Какое же это диво — подземный пейзаж», — думает он.

Вообще, когда им говорим, что осенью природа отрешенно ждет смерти, и тому подобные глупости, мы оцениваем это чисто по-людски, то есть несовершенно. Прежде всего природа имеет то преимущество, что в подавляющем большинстве случаев попросту не умирает; во-вторых — она не позволяет себе такой сентиментальной слабости, как отрешенность. Напротив, она встречает осень с твердой решимостью и собранностью, словно сказав себе: какие тут разговоры, мы должны подготовиться как следует; сосредоточимся и мобилизуем для самозащиты все свои силы. Без жертв тут никак не обойтись, отдадим все свои листья, затянем потуже пояс, сократив обмен веществ, упрячем свои сахара, крахмалы и прочие химические составы в корни. Поспешим, поспешим; скорбь и печаль тут не помощники; горевать и сетовать нечего; ведь зима может нагрянуть всякую минуту, — так пусть встретит ее крепкий ствол, способный выдержать испытание, способный зеленеть и цвести, как только минует эта треклятая зима. «Продержаться до весны, сохранив все запасы», — вот теперь нага лозунг.

Как видите, если осенняя природа и говорит о чем-нибудь, то вовсе не об «отрешенности», но о мужественном ободрении.

Но вот однажды ночью ударит внезапно и жестоко седой мороз. Голые ветви вдруг проступят с небывалой и яркой отчетливостью, которой до тех пор мы за ними не замечали; какое все вдруг сделалось строгое, оцепенелое, неприступное, чуть ли не звенящее, как проволока или стальные прутья. Все подготовлено; каждая голая, твердая веточка — опорный пункт, защищающий подступы к жизни. Мы называем это — голые ветви, а меж тем это — ростки жизни, одевшиеся в защитный панцирь.

1934

ОКТЯБРЬ, ИЛИ О ЖИВОТНЫХ

У каждой поры свой знак, и не только на небе, но и на земле. Весна приходит под знаком птицы, всей летающей твари вообще; даже весенний Эрос — и тот крылат, и все животные, что возвещают нам весну, —

крылаты; крылато все живое — будь то жаворонок, ласточка, мотылек или только что упомянутый Эрос. Лето — пора стихий, солнца, воздуха, воды и земли; поэтому оно совершается под знаком созданий стихийных — таких, как виллы, русалки, водяные, жар-птицы, полудницы и лесные нимфы, создания в большинстве своем лысые, нагие и эфирные, так что невозможно вообразить, чтобы они страдали от ненастья либо ветреной погоды. И, наконец, осень живет под знаком зверя шерстистого, укутанного шубой, рыжей либо коричневой, как каштаны, как осенняя листва, как всевозможные вызревшие по осени плоды; это — пора оленей, фавнов, кабанов и лисиц, пора, когда мужчины перестают пугать девушек и отправляются на охоту за косматым зверьем. После чего День поминовения оказывается той зарубкой, которая напоминает человеку, что год вступает под знак существ домашних, — таких, как души усопших — домовые, праздник убоя свиньи, треск огня и книжки.

За всю свою жизнь я не убил ни одного зверя; но когда в октябрьские дни случалось мне встретить лисицу, белку или самца-оленя с самками, я вдруг остро ощущал, что вступаю в совсем иной мир: в *их* мир; ибо октябрь по каким-то неведомым законам принадлежит им больше, чем любая другая пора вечности. Летом встретишь косулю, — как если бы встретил красавицу-девушку; благослови тебя бог, красотка, тебе нечего меня бояться. Но вот осенью встретишь оленя — словно бога либо нечто другое, столь же предвечное; затаишь дыханье и стоишь безмолвно, боясь совершить святотатство; стыдишься назвать свое восхищение его истинным именем, которое есть — благоговение.

Говорю вам, всякий олень — в какой-то мере олень святого Губерта; и когда он стоит, высоко подняв голову, увенчанную ветвистой дугой драгоценных рогов, широко расставив уши, окаменев в благородном недоверии, — в этот миг на его челе и впрямь как бы сияет нечто равноценное знамению креста. Да, если бы я был святым и христианином — это непременно был бы сверкающий крест, но поскольку человек я суетный и маловер — знак мой не крест, а что-то большое и неясное. И ты, охотник, не станешь целиться в олений лоб, ибо то был бы грех; целься, но целься

в предсердье, и пусть при спуске курка охватит тебя душевная мука и страдание. Ты не разрушишь короны на голове животного и не раздробишь знака на его челе; и когда ты украсишь оленьими рогами стену, то почувствуешь себя захватчиком, который прячет в тайник похищенную корону убиенного короля. Ибо даже похищенная корона — предмет, достойный особого благоговения.

* * *

Случилось это не со мной, хотя от людей моей профессии можно ожидать чего угодно, вплоть до ребячества либо шутовства; то был муж, облеченный высокой властью, твердый и гладкий, словно меч, и жесткий, будто камень; можете мне поверить, из людского теста редко когда выходит столь крутой замес. Так вот, на октябрьском лугу перед ним как-то явилось двадцать, пятьдесят, сто светозарных и величавых ланей, увенчанных королевскими рогами; и тут у этого мужа перехватило дыханье, и он, чуть ли не дрожа от восторга или благоговения, прошептал, что это какое-то доисторическое мифическое зрелище; долго-долго стоял он так, а потом удалился тихо, неслышно, как ни из одной часовни не отходил, ни от одного капища; и еще добрый час спустя, после того как было ему явление, говорил голосом куда более тихим, чем обычно. Я привожу этот случай как свидетельство того, что зверье в октябре несет на себе печать некоей великой и божественной тайны.

* * *

Наверное, поэтому охотники, возвращаясь из засады, разговаривают необычайно шумно и громко — им необходимо стряхнуть с себя страшные чары немоты. «Вот это да! — орут они во все горло. — Слышь, подошел олень ко мне шагов на сто пятьдесят; я, почитай, битый час глядел на него, да так и не выстрелил. Да, голубчики, вот это был красавец! А полчаса спустя — снова олень; едва я подоспел — а он уже несется через поляну. Взял его на мушку с расстояния шагов семидесяти; но этот похлипче был. Да, голубчики, угощусь сегодня! Господи, и чего это я со вчерашним оплошал!»

Причина проста, ибо самые великолепные олени всегда те, которые не попали под выстрел охотника. И святой Губерт наверняка видел своего дивного оленя, оленя с крестом, в ста пятидесяти шагах от себя; ибо знайте, в противном случае, он непременно уложил бы его на месте. Даже с сияющим знаком креста на челе. И угодил бы в предсердье.

1927

ОСЕННИЕ ДНИ

Такое под силу только осени: один день весь пронизан солнцем; чистый, словно только что вынутый из шкатулки, он сияет вплоть до пурпурного заката; а другой день родится темным, весь замызганный хлюпающим дождем; он — сплошной туман, сырость и сумрак с самого раннего утра. Такие золотые и черные дни бывают только поздней осенью. Еще немного — и солнце будет другим; каждый следующий день сильнее клонится в глубины ночи, с каждым днем ночь все шире раскидывается над бескрайней и стылой землей.

Но пока еще это наше старое солнце, зрелое зрелостью всего, что мы узнали и собрали; мы доживаем еще свой старый год.

* * *

Нет, в том, что предзимье так печально и тяжко, будто тяжелая крышка люка, — повинен лишь мрак; в том повинен мрак, который неумолимо катится на нас, словно прибывающая черная вода. Мы стоим на берегу ночи и делаем отметины: вот опять прибыла; поглотила еще один кружочек белого дня; еще немножко дальше переступила демаркационную линию вчерашнего дня. Так довольно, довольно; света осталось уже такая малость! Уже довольно тьмы, довольно отступлений, довольно печали, не нора ли начать черпать из иного сосуда? Нет, не пора, еще не пора, мы еще не погрузились на дно ночи, на дно мрака; мы еще должны довольствоваться ночником и ворошить страницы былого. Не будь нетер¬пелив; ведь уже намечена незримая черта солнцево-

рота. Ничего великого не случится, никакими пушечными залпами, никаким фейерверком не будет отмечен этот твердо определенный час; он будет таким же, как всякий иной, теперь уплывающий от нас, только прибавится чуточку света, — но время это вот-вот наступит, и задержать его больше ничто не сможет. Мы, слава богу, не сегодня родились и знаем, что у нас во вселенной все возвращается на круги своя.

А впереди еще одна отметина, как памятка в семейной книге: рождество. Собственно, рождеством замыкается коловращение года; рождество вершит зрелость осени. Возвращение домой. Празднество домашнего очага. Звезда дома. Долог и тяжек год, и бог знает, сколько нагромоздит он судеб, и потерь, и приключений, но в конце обязательно будет возвращение домой, освящение дома. Войди же под кров свой, ибо год завершается.

* * *

Пусть идет дождь, пусть; пускай намокнут пашни и развезет дороги, пусть пробирает до костей мороз и седой иней ляжет на траву: все это испытание и подготовка. Странствие ли это по году или путь по истории — все равно: нужно вынести и эти тяжкие и мрачные дни. Правда, мы тоскуем по свету; но у нас остается еще домашняя лампа; и при ее свете видно далеко вперед. Так засветим же все свои лампы, чтобы люди нашли дорогу из мрака домой. Настало время тьмы; так не гасите ни один огонек в нашем доме. Это был бы грех.

Долог и тяжек год, но он мудро устроен, пускай он завершается ночью и непогодой — и это для чего-то нужно. Для того, чтобы мы лучше и надежнее освоили свой собственный дом.

1938

НОЯБРЬ

Мы еще не можем утверждать, что год кончается; за городом, скажем, на межах и полях, еще царит оживление; любая козочка и коровенка стараются выскочить на пастбище, прежде чем их запрут в хлев, где им легче

представлять вифлеемские ясли; еще цветут богородицыны слезки, отливает золотом крестовник и надумала цвести ползучая лапчатка. Что до почвы, то она трудится во всю мочь: она взрыта, вспахана и проборонована и теперь только вбирает в себя влагу и воздух, благоухает и проветривается, дышит и мало-помалу рассыпается, превращаясь в рыхлую пашню. В лесу еще мокнет белый гриб, коченеют желтые лисички и очерчивают причудливые круги ведьмины кольца, которым никак не могут подыскать научное название; повсюду видны румяные дядьки, которые рубят, собирают и отвозят на телегах благоуханные ветви. И животных теперь как-то больше, чем летом; с каждой пашни то с шумом взлетает стая куропаток, то заяц, петляя, стреканет к лесу, тяжело хлопают крыльями тетерева, и на пасеке белеют светленькие спинки косуль. В общем, как я уже сказал, повсюду довольно оживленно, но вдруг, нежданно-негаданно — падет на землю мглистый сумрак, то там, то сям промелькнет огонек, и весь мир вдруг немыслимо осиротеет; лишь проскрипит, направляясь в деревню, неспешная подвода да одинокий путник, засунув руки в карманы, ринется куда-то решительно и угрюмо. Год еще не кончается, но дни подходят к концу.

* * *

Темна осень, что и говорить, но и тут славно все устроено. Иначе не блистали бы столь торжественно последние краски: багрянец шиповника и пышная алость ягод барбариса, шарлах вишневых крон, темная желть лиственниц и тяжелое золото опавших листьев каштана (вон погляди, как среди них блестит темно-коричневый глаз каштанового плода, приоткрывшийся в лопнувшей скорлупке). И не будь этой тьмы — не сиял бы для нас так ярко истинный и самый желанный цвет осени: свет родных окон.

Говорят, осенью природа отходит ко сну. Это лишь приблизительная правда; она готовится ко сну, как это делаем мы сами; медлит, раздевается, продлевая удовольствие, и хочется ей еще немножко поболтать о том, что было сегодня и будет завтра; и прежде чем она отойдет ко сну, перемешаются у нее воспоминания о прошлом с планами будущих дней. Еще не опала нынешняя листва,

а на ветвях и сучках уже видны твердые, налитые почки грядущей весны. Ну вот, а теперь можно и уснуть, ведь и выспаться должно впрок.

* * *

Вот я и скрасил для себя истинное и ежегодное явление осени. Тем, что открыл собственную берлогу. Ежегодным возвращением в свою постель. Никогда не потягиваешься в постели блаженнее, никогда не спится благодатнее, чем в ту пору, когда укорачиваются дни. Чего только не воспевали поэты, но я не слышал, чтобы кто-нибудь из них вместо грудей и небесных явлений воздал хвалу обычной теплой постели. О сновидениях тоже написано препорядочно, но кто описал несравненную приветливость подушки и доверчивую ладонь ямки, промявшейся под тяжестью нашего тела? Так прибавим же к вящей славе осени еще и восхваления человеческого гнезда: да будет оно ласково к спящим, нежным ко всем больным и освежающим для утомленных; да найдет и заяц тут добрый кусточек, и косуля — сухую ямку, и воробей — надежное укрытие под застрехой крыши, аминь.

1937

ЭТИ СЕРЫЕ ДНИ

Как быстро бежит время от утренней лампы до лампы вечерней; только-только присел человек поработать, как уж пора ужинать. И наступит ночь, и тебе некогда даже поймать перепутанные сны; и снова зажигаешь лампу, чтобы начать день, такой же краткий и серый, как вчера. Не успеешь оглянуться, как нужно привыкать писать новый год на своих письмах. Так быстро бежит время между новогодней утренней лампой и вечерней лампочкой святого Сильвестра, и наоборот.

Не знаю, как это получается, но когда я был помоложе, день был как-то длиннее. В этом нет сомнения. Во время войны нас обманывали всевозможными способами, тогда же, наверное, нас надули и со временем; наверное, земля с тех пор вертится поспешнее и часы тикают быстрее, но мы об этом не имеем и понятия, поскольку вече-

ром мы были так же утомлены, как когда-то. Я, во всяком случае, со всевозможной определенностью утверждаю, что тогда день был намного длиннее, а во времена моего детства — бог ты мой! — день был попросту бесконечен. Такой детский день был как беспредельное озеро с до сих пор не изученными берегами; утром ты выплывал по его глади под надутыми парусами, и невозможно было подсчитывать часы — столь велик и торжествен был каждый из них. Такой день был словно заморское плаванье, словно победное шествие, словно целая жизнь, полная впечатлений, приключений и дерзаний; такой день был обширен, как Илиада, длинен, как год, богат и неисчерпаем, как пещера Сорока Разбойников. Даже теперь я могу оценить все радости и горести тех дней, но уже не способен понять, откуда я брал на них время. Если бы я снова попробовал стрелять из лука, меня очень скоро настиг бы полдень, я не успел бы как следует натянуть тетивы; но в то время между завтраком и обедом я успевал разбить стрелой стекло в окне, объесться слив, пройти через несколько стычек с неприятельскими племенами, почитать, сидя в кроне дерева, «Таинственный остров», выкурить в сарае трубку мира, схлопотать заслуженную затрещину, наловить в спичечный коробок сверчков, искупаться в запрещенном месте, перелезть через забор, обойти соседей-ремесленников и поглазеть на их работу; сверх того предпринять не одну грабительскую вылазку или разведку и пережить кучу сильных ощущений. Да, нет сомнений: тогда время было примерно раз в десять длиннее, чем теперь.

И потом, когда с годами возрастали мои сумасбродства и сфера жизни моей расширялась, возможности одного дня были тоже беспредельны и неисчерпаемы. Сидеть у ног профессоров и высасывать из них мудрость, сновать под окнами предмета своей первой любви, писать стихи, мечтать, бродить, танцевать, разглядывать витрины антикваров, читать как помешанному и терять время всеми мыслимыми способами — да возможно ли, чтоб одного дня хватало на столько волнующих событий? Я пытаюсь разрешить эту загадку; думаю, что сам я не изменился, но как-то сморщилось и сжалось время... Ну вот, пожалуйста, снова смеркается; пора засветить вечернюю лампу. Опять день — поминай как звали, черт знает, куда он так скоро пропал. Не принес ничего

нового, ничего не дал и вообще — не длился; наверное, я мог бы предпринять что-нибудь, куда-то пойти, чем-то насладиться, что-то увидеть; но все как-то некогда.

Ну вот — минул еще один день, не оставив после себя ничего, кроме этого очерка на столе; снова минул год — и ничего не принес мне; впрочем, погодите; пусть день был короткий, но ведь что-то ты делаешь; год быстротечен, но ведь все-таки в него вложен какой-то труд. Ты меньше живешь, но создаешь больше, и даже если это не многого стоит — но была же работа, а она — самое захватывающее развлечение в жизни.

Ты думаешь, что зря расходуешь отпущенные тебе дни; ну хорошо, не надо брюзжать; ты, быть может, не тратишь их, а раздаешь даром.

1925

УТЕШЕНИЕ

Ничего не поделаешь, все твердят одно и то же: самое тяжкое еще впереди, мы едва-едва на пороге злых времен, нас ждут трудности, ненастье и всяческие разочарования, а в особенности: дожди и туманы, бесснежные морозы, темень, ураганы и слякоть, пронизывающие холода, сырость, метели, трескучие морозы, гололедица и прочие спутники зимы. Не поможет нам даже господь бог; нужно поднять воротники и переждать, когда все это кончится; продержаться до весны; дождаться новой конъюнктуры — прорастания, всходов и цветов.

Мы, люди, любим поговорить о раскрытой книге природы, по которой ты, сынок, должен учиться. Только помни, сын, в книге природы написано несколько иначе. Переждать и продержаться, да. Но не ждать. Браться за подготовку к весне уже на пороге зимы. Идти навстречу самому худшему с хорошо подготовленным ранцем — ранцем надежды. Теперь стоят серые декабрьские дни, но для природы — это вовсе не печальный конец уходящего года, но энергичное начало года будущего. В зимнее время природа не только являет нам решимость выдержать, но еще большую решимость дать всходы и цвет. С первыми, официально установленными морозами раскрылся первый розовый цветок волчьего лыка,

усеянного бутонами. Мороз не мороз, а он цветет себе — и все тут. Уже накануне нового года можно видеть лигуструм; пусть погибнет от морозов цветок-другой, но медлить с началом нельзя. Еще не установилась зима, а мы уже открываем дорогу первым приметам весны. Будь что будет, но в книге природы записано так: слагаемые лета грядут неудержимо.

Ну что ж, мой сын, учись по книге природы. Возможно, что мы еще не умеем верно разгадывать и читать знамения; скажем, из-за той самой уверенности, что впереди нас ждут трудные времена, мы не замечаем робких сигналов поворота к лучшему. И главное — слишком уж мы сосредоточиваем свое внимание на заботах о том, как пережить непогоду, вместо того чтобы готовить будущее вёдро. Осень в природе — не обреченное ожидание зимы, это налаживание будущей весны. Очевидно, в своем экономическом и политическом мышлении мы делаем ошибку, когда проблему плохих времен формулируем так: выстоять. Вероятно, нам следовало бы спросить самих себя: как подготовить времена лучшие, чем прежде? В книге природы начертано: даже самое суровое время — это время не только самообладания и обороны, по наступления и роста. Новый росток держится за жизнь не только старыми корнями, он держится за нее и бутонами будущего цветенья. Так-то, сынок.

Если бы и мы могли сказать: это что еще за разговоры! Да, мы вступаем в трудные времена, но у нас уже все готово, малыш, чтобы подрасти и окрепнуть; в нас уже много сил для грядущего рассвета; кое-что, наверное, померзнет и посохнет, но никакая утрата не может спутать нашу обширную и хорошо обдуманную программу: стать еще немножко сильнее и жизнеспособнее.

1931

О людях

РИСУНКИ ИОЗЕФА ЧАПЕКА


RŮŽE
CENÍK
PERENY

I

ЛЮДИ В ДОМЕ

«Люди в доме»... — так о жильцах дома не говорят, зато говорят о малярах, водопроводчиках и прочих мастерах, подмастерьях и учениках, которые время от времени вторгаются в наше жилище и переворачивают там все вверх дном под предлогом, что им якобы надо что-то исправить, починить или окрасить.

И тогда человек жалуется своим друзьям и знакомым, что у него «люди в доме».

Придерживаясь старого, так называемого релятивистского, принципа, я считаю, что люди бывают разные! И «люди в доме» тоже разные.

Самое большое впечатление на меня произвели

бетонщики,

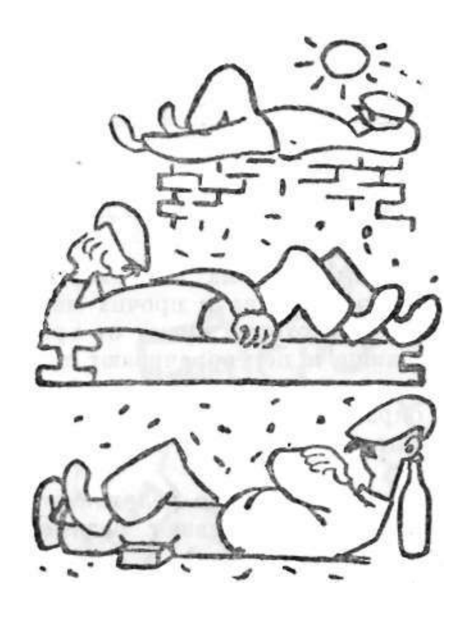
когда они появились однажды, чтобы соорудить в моем саду бетонную плевательницу, называемую бассейном. Точно в десять часов тридцать семь минут подкатила к моему дому грузовая машина, в которой восседали шестеро верзил в комбинезонах. Это было великолепное зрелище! Я был просто потрясен их американизированным размахом и стремительным, современным темпом.

Шестеро верзил немедленно задвигались около машины, сбросили с нее какие-то балки и доски, мешки с цементом, железные пруты и гору песку, грузовик загрохотал, великаны мгновенно вскочили в него, а на месте действия остались двое усатых, запорошенных белым дядек, похожих на старых мельников. Оказалось, что зовут оставшихся Пепиком и Фердой и они бетонщики.

В их обществе я провел много приятных минут, так как работали они без показной торопливости и все время твердили, что бетон должен застыть. Похожи на них

каменщики

главным образом по внешнему виду; пока они у меня работали, я проверял по ним часы, — когда каменщик



положил свою лопатку, мастерок или молоток, можете голову дать на отсечение, что во вселенной наступил, с точностью до одной тысячной секунды, полдень или уже пять часов дня. Просто поразительно, на чем только не способен лежать во время обеденного перерыва каменщик: на железной траверсе, на груде кирпичей, на оглобле телеги, с молотком или кирпичом под головой; иногда это больше похоже на трюк факира, чем на полуденную сиесту.

Каменщики чаще всего сельские жители; по субботам в одиннадцать часов утра они отряхивают руками пыль со своих брюк, чтобы выглядеть покрасивее, и едут к своим женам; в понедельник рано утром они опять наводняют город; зиму проводят в деревне.

Зато паркетчики, маляры и другие строители, подобно черным дроздам, происхождения и нрава городского.

Во время работы они поют, чего каменщики никогда не делают, потому что, поверьте мне, — хотя это против всех правил фольклора, — гораздо больше поют и насвистывают в городе, чем в деревне.

Маляры

любят петь больше всех, особенно когда красят потолки или верхние части стен; тогда они стоят наверху на стремянках и, видимо, воображают себя птицами, поэтому петь — сплошное удовольствие.

Так как маляры каждую минуту ходят за водой или варить столярный клей, то у них завязываются живые контакты с кухонным персоналом, и они заполняют собой весь дом: когда же спустя неделю маляры собирают свои стремянки, горшки, мешочки с красками, щетки

и утаскивают все это, чтобы оккупировать на этот раз уже другое жилище, дом становится словно вымершим. На головах они носят бумажные шапочки, которые мастерски изготовляют из куска газеты (преимущественно из «Чешского слова»).



Маляры-полировщики

самые нелюдимые, они выставят вам окна и двери и удалятся с ними на чердак или в подвал, наверное, потому что любят одиночество. Оттуда слышно, как они насвистывают, часто даже дуэтом. Знайте, что окна и двери прежде всего шпаклюют, потом зачищают и, наконец, покрывают эмалевой краской: на свежей эмали особенно четко видны отпечатки ваших пальцев. Когда маляры закончат свое дело и повесят окна и двери на прежние места, после них останется запах скипидара, и вскоре вы обнаружите, что часть окон и дверей вообще не закрывается, в то время как другую часть окон и дверей совсем нельзя открыть.



Монтеры,

слесари и водопроводчики отличаются от всех



других рабочих тем, что их повсюду сопровождают ученики. Ученик им несет кожаную сумку с инструментами и во время работы ко всему сосредоточенно приглядывается: иногда мастер бросает: «Славичек, подай мне тот французский». И Славичек подает тот французский. «Пепичек, подай мне паклю». И Пепичек подает паклю, после чего скучает дальше.

Такие ученики бывают большей частью у ремесленников-металлистов. Я еще никогда не видел ученика у каменщика или ученика у бетонщика; там встречаются поденщики и подсобники, но не бывает никаких учеников. Ученик изучает ремесло таким образом; он:

1) должен что-то подать,
2) должен что-то подержать,
3) должен за чем-то сбегать.

Кроме того, он посещает два раза в неделю ученическую школу, пытается говорить мужским голосом и твердит, что ему уже шестнадцать. Мастер или рабочий, сопровождаемый учеником, неразговорчив, не поет и не свистит и вообще сохраняет особое профессиональное достоинство.

«Люди в доме» обычно обедают на месте работы, едят чаще всего хлеб с салом, сидя на земле и опираясь спиной о стену. Потом, надвинув кепку на глаза, они проводят свой час отдыха, не жалуясь на невыносимые условия, мошенничество и прочие общественные порядки. Этим они существенно отличаются от представителей так называемых независимых классов.

1929

ТОТ, КТО ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Того, кто переезжает, вы сразу узнаете по ссадинам на руках, по синякам и шишкам и по какой-то явной усталости — словно человек только что совершил самую тяжелую в своей жизни работу.

Вчера он, взволнованный, то и дело выбегал из дома в ожидании машины со своей мебелью; но машины нигде не было... Тот, кто переезжает, мчится к телефону и звонит экспедитору:

— Алло, машина еще не пришла.

— Ну да, — отвечает телефон, — наши люди сейчас, должно быть, завтракают.

В двенадцать часов дня:

— Алло, машины все еще нет.

— Ну да, — говорит телефон, — наши люди теперь как раз обедают.

В три часа машина наконец прикатила. Тот, кто переезжает, из-за бесконечного ожидания сам еще не обедал: теперь он бежит со всех ног на улицу, чтобы приветствовать первую партию своей мебели, но около машины никого нет. Наши люди ушли полдничать.

Через некоторое время на месте действия появились шестеро сильных, как львы, и охочих до работы грузчиков.

— Так что, будем разгружать? — И первое, что они вытаскивают, — это сломанная ножка от стола.

— Здесь какая-то ножка, — спокойно сообщает специалист по разгрузке. Из соседних окон выглядывают люди, — надо же посмотреть на нового жильца. «Ох, — думает тот, кто переезжает, — вынесли бы сейчас мою прекрасную библиотеку, чтобы соседи видели, кто я». Но вместо этого грузчики вытаскивают из машины всякую ерунду и старый хлам, который валялся где-то на чердаке прежней квартиры. О существовании этого удивительного барахла хозяин даже не знал.

— Это на чердак! — торопливо говорит новосел, но грузчики, как назло, выволакивают из машины полосатые перины, старые коробки, разбитые ящики и прочую ветошь, которая словно нарочно пользуется таким исключительным стечением обстоятельств, чтобы поваляться на солнце, прежде чем исчезнуть опять на чердаке или в подвале.

Между тем соседи уже насытились видом этого цыганского табора и удалились от окон, очевидно, оценив по достоинству нового жильца.

Только теперь приходит очередь выгружать настоящую мебель. Грузчики пыхтят под тяжестью библиотечных шкафов, которые обычно бывают выше, чем двери, шире, чем лестницы, и длиннее, чем повороты на лестничных клетках или в коридорах. Каждый предмет мебели где-то застревает и не идет ни вверх, ни вниз; а новосел в двадцатый раз смущенно осведомляется: «Пройдет ли там шкаф?»

— Франта, поднимай!

— Подай на меня!

— Подожди! Я ослаблю ремни!

— Подымай! Выше!

— Это надо поставить!

— Это надо положить!

— Это надо разобрать!

— Надо отвернуть ту ножку!

И, наконец, каким-то образом все удается, и даже не пришлось рубить топором мебель, а дом разбирать и снова строить; все, абсолютно все каким-то чудом стоит на своих местах. Уф! — едва переводят дух грузчики, поставив наконец непокорный предмет на свое место, но тот, кто переезжает, толкает теперь этот неподдающийся шкаф, стараясь его еще хоть немножко подвинуть. Совсем разбитый от усталости и потный от возбуждения новосел чувствует себя так, словно он всю эту неподъемную махину притащил сюда на собственных плечах.

Это было вчера; сегодня мебель стоит уже у стен, и новосел, забравшись на стремянку, пытается вбить в стену костыль для картины. После трех звонких ударов молотка раздается один глухой. Новосел стукнул себя по пальцу. Затем отлетает кусок штукатурки и костыль со звоном падает на пол. Испробовав таким образом все стены, переехавший вызывает строителя и протестует против бесстыдной твердости кирпичей.

— Надо было взять американские костыли, — сухо говорит строитель; знает ведь, что заранее об этом не предупредил. Потом новосел пробует укрепить портьеры на бетонных траверсах или прибить зеркало, но проламывает дыру в стене. Когда же ему удается окончательно изуродовать свою квартиру, угодить себе молотком по

голове и сломать стремянку, он наконец решает, что надо пригласить специалистов.

Теперь у него работают электрики, водопроводчики, каменщики, слесари, столяры, обойщики, полировщики и представители всех остальных профессий; новосел всем мешает, пытается украдкой что-нибудь сделать сам, но, испортив все, виновато отходит в сторону.

Весь дом гудит от стука, грохота, приколачивания и окриков; думаю, что эти постукивающие духи не что иное, как призраки бывших переселений.

Наступают, наконец, тихие сумерки, и тот, кто переехал, бросается в изнеможении в кресло. «Так, — думает он, — теперь я включу электричество и посмотрю, как все это у меня выглядит», — и поворачивает штепсель, — света нет. Он бегает по всей квартире и щелкает выключателями, но все напрасно. Тогда новосел мчится к ближайшему монтеру и тащит его на место стихийного бедствия. Но монтер только взглянул на какую-то дощечку в прихожей и говорит:

— Ну конечно, как же может гореть свет, если у вас нет еще счетчика.

В темноте — свечей тоже нет — пробирается тот, кто переехал, к своей постели.

Помоги ему бог, завтра он будет вынимать из ящиков книги.

1925

НАСМОРК

Однажды утром ты просыпаешься, с тобой творится что-то неладное, немного болит голова, ломит поясницу, першит в горле и свербит глубоко в носу, — в общем, ничего страшного, но тем не менее ты целый день без причины раздражен и, сам не зная почему, ругаешь всех подряд. А к вечеру на тебя наваливается стопудовая тяжесть, суставы становятся мягкими, мышцы дряблыми, будто тряпочными, ты вдруг неистово чихаешь раз двадцать кряду — и пошло! Со слезящимися глазами, в шлепанцах, сидит этот комочек человеческого горя у печки, жалкий и мокроносый, кряхтит, пьет какой-то чай, чихает, кашляет, по комнате передвигается с опас-

кой, избегает людей; его знобит, голова раскалывается, и вообще это вовсе не голова, а тяжелый шар, руки-ноги словно перебитые, под носом платок, вид страшный. Всяк, кто увидит этого беднягу, удались незаметно на цыпочках, ибо буйная и здоровая твоя веселость для него невыносима, он жаждет одиночества, покоя и сухих носовых платков. Он хотел бы сорвать с себя голову и повесить ее сушить на печку, хотел бы разобрать на части свое поруганное тело и устроить каждую часть в отдельности, он хотел бы... хотел бы... Ах, если б он знал, чего он хочет! Если б хоть что-то было достойно его желания! Если б где-нибудь во всей вселенной нашлось что-нибудь теплое и ласковое, что принесло бы его несчастной, тяжелой голове и покой, и забвенье! Уснуть? Да, если б не эти нелепые, кошмарные сны! Раскладывать пасьянс? Да, но разве он выйдет! Читать? Да, но что? И тут это жалкое подобие человека поднимается и, пошатываясь, плетется к своей библиотеке.

О, библиотека, пестрая библиотека с тысячью корешков, хочу отыскать в тебе книгу, которая утешила бы меня, несчастного.

Э, нет, тебя, книга толстая и назидательная, мне сегодня не одолеть, ибо ум мой скуден и туп. Мне хотелось бы читать такое, что не станет напоминать о моей тупости и непонятливости, что-нибудь легкое, увлекательное, забавное... Фу, юморески, прочь с моих глаз, сегодня ваше вульгарное ехидство несносно, ведь вы превращаете и без того жалкого, обиженного судьбой человека в мишень для издевок, а я и сам обойден судьбой, и не мне наслаждаться сознанием того, как мы, несчастные люди, можем быть смешны и отданы на поругание.

Может быть, ты, героический роман, уведешь меня в те далекие века, в те эпические времена, когда не было насморка и здоровые, великолепные мужи пронзали жалкого соперника шпагой быстрее, чем я вытру нос? Нет, рука, протянутая к героической книге, бессильно опускается, сегодня я не поверю в блестящие и великие подвиги, человек — существо слабое и маленькое, униженное и миролюбивое... Нет, не лезьте ко мне сегодня с доблестью и честью, со страстями роковыми и ореолом славы! Идите прочь с любовными переживаниями и опьяняющим лобзаньем царственной красавицы; разве человек с мокрым платком под носом может думать о чем-либо подобном?

Прочь, прочь, все не то, подайте мне детектив, чтоб захватил меня, дайте кровавую драму, чтоб влекла меня, затаившего дух, по волнующим следам жуткой тайны. Нет, нет, опять не то, сегодня мне не до тайных ходов и злодеев, покажите мне лицо жизни приветливое, явите людей в их обыденной жизни. Но только, ради бога, без всякой психологии. Сегодня у меня не хватит терпенья возиться с эмоциями, — черт его знает почему, но чужая психология всегда мучительна. Как будто нам мало своих собственных переживаний. И для чего только пишут книги?

М-да, эта книга чересчур реалистична, а сегодня мне хочется забыть о жизни. Та слишком грустна и безнадежна, эта — жестока и требует, чтоб человек каялся и самоистязался. А та вон — легкомысленная и пустая — ну ее! Эта просто недоступна моему пониманию. А эта, желтая, — такая горькая и безнадежная. У каждой своя боль. И почему это пишут книги чаще всего люди злые и несчастные?

Стоить возле пестрой библиотеки в раздумье и дрожишь от озноба и жалости. Где взять что-то... что-то, ну просто что-то хорошее... и доброе к нам, сирым... и утешительное? Что не изранит... не изранит человека во всей его малости и ничтожности...

И тут он сует руку в угол шкафа и вытаскивает книгу, которую читал по меньшей мере сто раз, когда и дух и тело бывали особенно истомлены. Свернувшись на своем диванчике, он берет сухой носовой платок и, прежде чем углубиться в книгу, облегченно вздыхает...

Не знаю, но скорей всего это старик Диккенс.

1925

ИНСТРУКЦИЯ, КАК БОЛЕТЬ

Разумеется, у меня и в мыслях нет подбивать кого-либо болеть, но уж если кто-нибудь за это возьмется, то скорей всего он и без моей инструкции изберет для себя нормальное, так сказать, классическое течение болезни. Всякую болезнь, перенесенную добросовестно и надлежащим образом, можно сравнить с древней Галлией, разделенной на три части.



I. Первая, или предварительная, — когда человеку становится как-то не по себе, а если уж говорить прямо, то просто препаршиво, что-то где-то болит, — в общем, он не в своей тарелке, но заболеть пока еще окончательно не решил.

«Так, пустяки», — уговаривает себя субъект, подвергшийся напасти, трусливо избегая неприятного предположения, будто у него что-то не так. «Вот еще, — твердит он себе, — ничего у меня нет, само пройдет, лучше об этом не думать; можно чем-нибудь заняться; или пойти гулять; либо выпить рюмочку сливовицы».

«Нельзя ни в коем случае поддаваться, — храбрится он сам перед собой, — всему виной этот дурацкий холод; завтра снова буду как огурчик».

II. Однако ни завтра, ни послезавтра он как огурчик не становится. Тогда, собрав всю свою волю, человек отметает неопределенность и решает болеть. Собственно, болезнь не является физическим состоянием. Более или менее неприятное физическое состояние есть лишь предпосылка или повод для того, чтобы решительно взять на себя роль больного. Болеть — это еще не значит испытывать недомогание, это скорее значит, что человек принял решение посвятить себя этому занятию, то есть отнестись к себе как к больному. Тогда он переходит во вторую стадию: болезнь непрофессиональную, или любительскую, когда ты сам себе лекарь. Каждый рядовой больной-лю-



битель имеет свои собственные испытанные средства, избавляющие от всех недугов. Одни верят в потогонное, другие в золототысячник, некоторые признают только компрессы, в то время как для иных превыше всего горячее вино с корицей. Более изощренный и образованный больной действует и более методично: прежде всего он ставит себе диагноз. Обычно такие больные предпочитают аппендицит, менингит или гнойную ангину; правда, сбивает с толку отсутствие температуры, но тут можно предположить, что причиной тому является редкая и опасная форма упомянутой болезни. Чем образованней больной, тем более опасный недуг он себе выбирает. Простой смертный всего-навсего простужен, у больного интеллигента бывает исключительно бронхит, плеврит или еще что-нибудь латинское, но, чтобы там ни было, это, вне всякого сомнения, чрезвычайно серьезно, и тут уже дело чести, чтобы человек, решивший болеть, болел чем-нибудь всерьез и опасно; игра должна стоить свеч.

Взгляните-ка на него: не правда ли, свой недуг он несет с достоинством, усевшись в кресло в жарко натопленной комнате, окруженный чашками чая, отваром проскурника и ромашки, весь в компрессах, с градусником, носовым платком и легким чтеньем под рукой.



— Эге-ге, — говорите вы, — что это с вами стряслось?

— Воспаление желчного пузыря, не иначе, — отвечает он с олимпийским спокойствием.

— Не может быть, — участливо говорите вы, — где у вас болит?

— Тут и тут, — отвечает больной, и тогда вы пылко восклицаете:

— Что вы, друг мой, это не желчный пузырь, у меня это было, у вас всего-навсего почки.

— Значит, у вас были почки? — с живым интересом вопрошает больной. — И у вас болело и тут и тут?

— А как же, — продолжаете вы бодро, — не стоит обращать внимания, только ешьте все без соли и пейте одно лишь молоко.

Но вот является второй ближний и находит страдальца в кресле, в руках у того блюдце с кашей, кружечка молока, легкое чтение и носовой платок.

— Э, — молвит гость, — что это с вами?

— Почки, — мрачно отвечает больной, — плохи мои дела, дружище.

— Какие там почки, — щебечет гость, — это, голубчик, грипп — у меня тоже был грипп, вы не огорчайтесь; выпейте бутылочку коньяку, и будете как огурчик!

Однако третий ближний решительно пресекает мрачные мысли больного.

— Это не грипп. Нынче все называют гриппом. *У меня* проходило точно так же, как у вас, а оказался плеврит. Не переживайте, я провалялся месяц. Поставьте компресс, заберитесь в постель и хорошенько пропотейте.

Короче говоря, пока больной еще поддерживает связь с внешним миром, он вскоре выясняет, что:

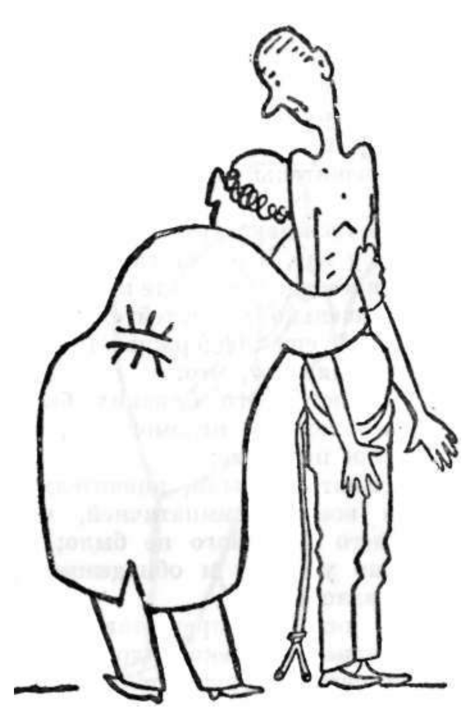
1) у значительного большинства его близких были когда-то точно такие же симптомы и недомогания, но болезнь носила всякий раз иное название;

2) те, у кого подобные симптомы были, значительно участливей, общительной и вообще симпатичней, чем те, у которых отродясь ничего подобного не было;

3) и еще — и это особенно утешает и обнадеживает больного: у других тоже бывало такое.

Но как только больной остается предоставленным самому себе, он предается занятию, рекомендованному некоторыми философами, а именно: погружается в самосозерцание и самоанализ. С беспокойством прислушиваясь к многообразным голосам своего тела, он обнаруживает, что сейчас у него кольнуло справа, а сейчас слева, теперь в горле, а потом в печени или еще где-то (возможно, это надпочечники или селезенка). Чем больше он сосредоточивается на своей болезни, тем его ощущения неопределенней и хаотичнее. Если звенит в ухе, он считает, что это воспаление среднего уха или чего-то еще. *Его болезнь,* за которой он наблюдает со столь пристальным вниманием, становится все более необузданной, она как будто разбухает, и тогда больной собирает всю волю, чтобы принять героическое решение. Идти к врачу, и — баста. Может статься, что врач действительно что-то обнаружит, но это уже не играет роли.

III. Итак, третья стадия. Болеть профессионально, или с помощью медицины. С той минуты, как человек обнажает перед врачом свое бренное тело, болезнь уже более не его личное дело, она становится как бы соб-



ственностью врача. Больной уже не субъект, носитель симптомов, он теперь объект прослушивания. Столь радикальная перемена действует на него, как легкий шок, но он, собрав все силы, чтоб не выдать себя, всячески старается создать впечатление, будто ничего серьезного у него нет, он много и добродушно говорит, но врач на это не реагирует: врач елозит холодным ухом по груди пациента, по его спине, буркает «вдохните», «выдохните», «повернитесь». Пациент покорно исполняет, но в нем все нарастает чувство горечи и обиды. Он более не хаотический, растревоженный дух, а нескладный кусок мяса, чужой и безобразный, который поворачивают, прощупывают и простукивают — «доктор, это не я, это просто-напросто мешок человеческой субстанции, ох, и дурацкий же у меня вид, куда девалось мое достоинство, какого черта я сюда полез».

Доктор выпрямляется:

— Можете одеваться.

Вместе с жилеткой и пиджаком к страдальцу возвращается необходимая толика нормального для человека самоутверждения, и его гражданское «я» опять соединяется с телом.

— Значит, так, — говорит доктор, — в общем, ничего страшного, будете делать то-то и то-то, лежать, не курить.

Пациент выслушивает его с явным разочарованием.

— А... что, собственно, со мной? — выдавливает он наконец.

Врач отвечает что-то по латыни.

— Ага, — облегченно вздыхает пациент. — Слава богу, теперь наконец у этого имеется название, и во всей истории не остается ничего непонятного, ибо болезнь наконец получила имя.

Больной несет свою болезнь домой, чтобы продолжать лелеять ее. Теперь, когда у нее есть имя и она стала своеобразной вещью в себе, чем-то, что имеет границы, что заключено в определенные рамки, теперь он уже не должен заниматься собой, он должен заниматься исключительно своей болезнью, имеющей латинское название.

И, по прошествии какого-то времени, встретив ближнего, который слегка занемог, он радостно и со знанием дела восклицает:

— Да-да, у вас то же самое, что было у меня.

1932

О ВОСПАЛЕНИИ НАДКОСТНИЦЫ

Итак, когда мне стало совсем невмоготу, когда в три часа ночи я вскочил с постели и, схватившись за голову, забегал кругами по комнате, пища, как перепуганная насмерть мышь, я сказал себе: «Нет, так этого оставить нельзя, нельзя молчать о муках человеческих; с ними надо бороться».

И вот, исполняя клятву, данную в ту страшную минуту, я пишу рассказ о воспалении надкостницы.

Нормальное течение болезни таково: поначалу страдалец с деланной легкостью сообщает своим ближним, что у него, кажется, побаливают зубы. На что ближние, желая его успокоить, отвечают, что это, мол, просто так, должно быть, продуло, и лучше всего прикладывать сливовицу, уксус, настойку йода, холодный компресс, нагретый шерстяной платок, перекись водорода, свинцовую примочку и прочее, то есть все, что в данный момент взбредет им в голову. Применение всех этих средств приводит к тому, что боль, до сих пор неопределенная, обостряется и начинает долбить, сверлить, драть, колоть, палить, разбухать, расти и подниматься. Значит, достигнута вторая стадия заболевания, когда несчастный решает, что больше терпеть нельзя, и начинает поглощать всевозможные порошки: аспирин, амидопирин, новомидон, родин, тригемин,



верамон и множество других. Порошки действительно помогают: сверлящая боль утихает, но человек вдруг начинает опухать.

Дрожащими пальцами ощупывает он свою припухлость, и ему кажется, что она больше всего, к чему он когда-либо в жизни прикасался. Ближние тем временем разбиваются на два лагеря; одни утверждают, будто необходимо делать холодные примочки, чтоб припухлость не увеличивалась и опала, на что другие возражают, заявляя, что опухоль необходимо распарить, чтоб она быстрее созрела. Страдалец предпринимает попеременно и то и другое, в результате чего опухоль, созрев, затвердевает, она чуть ли не лоснится от буйной силы, а боль, бодрая и посвежевшая, вырывается на свободу, предпринимая штыковые атаки направо и налево. Больной зуб при этом почему-то становится огромным, он вылезает из ряда прочих зубов и то и дело цепляется за них, что дает ему возможность испытывать ослепительную, как молния, боль. На этой стадии, буркнув что-то ужасное, страдалец нахлобучивает шляпу и мчится к своему дантисту. Бывают в жизни минуты, когда человек способен и на такие героические решения.

Вопреки всем ожиданиям, ваш врач не проявляет бурного сочувствия; он лишь бормочет себе под нос: — Нуте-ка, поглядим, что там у вас, — и, не обращая внимания на протесты, стучит каким-то инструментом по вашим зубам, после чего впадает в легкую задумчивость. — Дело в том, — произносит он мрачно, — что этот зуб надо вырвать.

И тут вдруг в вас просыпается какое-то исключительное благородство, и вы уподобляетесь родному отцу, проявляющему ангельское терпение к нерадивому потомку, прежде чем от него отречься.

— Лучше пока подождать, — с горячностью заявляете вы, — вдруг он образумится и нам удастся спасти его, как вы считаете?

Представьте себе — сейчас этот негодник действительно болит немного меньше.

— Ладно, — ворчит дантист, — денек подождем.

Он отпускает вас, прописав какие-то притирания, мази и примочки.

Но уже по дороге обратно зуб вдруг передумывает и снова ведет себя как обезумевший: вы мчитесь домой, набив карманы аптечными склянками и банками, горя нетерпением поскорее приняться за спасательные работы. С нечеловеческой самоотверженностью вы пытаетесь сберечь несчастный зуб (ибо делаете это в *его* интересах, а не для себя). Вы полощете рот, натираетесь едкими снадобьями, мажетесь зловонной йодной мазью, ставите компрессы из свинцовой примочки, и снова полощете, и снова ставите компрессы, а в перерывах между всем этим бьетесь головой об стенку, пытаетесь считать до ста, мечетесь взад-вперед по комнате, словом, любым способом пытаетесь убить время; ибо никакое чтение не в силах даже на пять минут заглушить воспаление надкостницы. Мне хотелось бы раз в жизни написать такую хорошую и увлекательную книгу, чтоб она смогла заинтересовать человека, страдающего воспалением надкостницы. Это еще никому не удавалось. Что касается меня, то я пробовал читать книги, проверенные во время других болезней, например, Библию, «Три мушкетера», Диккенса, детективы и садовые прейскуранты, но ни в одной я не нашел облегчения и забвенья.



Сейчас великомученик сосредоточен лишь на одном: на спасательных работах. Подобно матросу на тонущем корабле, без передышки откачивающему воду, человек, постигнутый воспалением надкостницы, так же без передышки ставит компрессы, полощет рот и мажет десны.

Если бы врач рекомендовал ему читать задом наперед «Отче наш», каждые семь минут по три раза плевать на север, обвязывать красной ниткой левую ногу, выкрасить кончик носа медным купоросом и каждые четверть часа глотать ложку отвара дикого каштана, то он, священнодействуя, неукоснительно проделывал бы все это со страстной аккуратностью. Кроме того, это помогло бы скоротать день.

И вот день, действительно, проходит и наступает ночь. Описать ее невозможно, как невозможно описать бесконечность, достаточно лишь сказать, что к первому проблеску зари все уже окончательно и бесповоротно решено. «Зуб надо рвать. Утром же иду и твердо заявляю: «Пан доктор, делайте со мной, что хотите; я готов на все». Странно, но это героическое решение доживает лишь до утра; утром оказывается, что сегодня воскресенье — врачи не принимают. Существует какая-то особая закономерность: воспаление надкостницы созревает обычно к воскресенью. Как правило, в ночь с субботы на воскресенье оказывается, что зуб надо рвать. Это вполне определенно находится в причинной связи с тем, что в воскресенье ни один врач не принимает.

Сей факт страдалец принимает с двойственным чувством: с одной стороны, он возмущен и клянет зубных врачей, бессмысленную привычку отмечать воскресенье и вообще праздники. Клянет весь свет, а главное, то обстоятельство, что зуб нельзя вырвать; хотя, с другой стороны, подавляет в себе чувство глубокого облегчения, потому что нельзя идти к врачу рвать зуб. По крайней мере, сегодня. Надо подождать.

Итак, последний день, день великого ожиданья. Больной уже не ставит компрессы, не полощет рот и не прикладывает вату, он лишь корчится, извивается и бегает взад-вперед, с ужасом взирая на часы: «О, черт, когда же это наконец прекратится?» Или сидит, раскачиваясь всем телом, чтобы хоть как-то одурманить себя. Каждые полчаса он глотает что-нибудь болеутоляющее, в результате чего ему становится по-настоящему плохо. В состоянии оцепенения он доживает до ночи и забирается в постель. Это последняя ночь перед казнью.

Боль, которая до сих пор терзала только один зуб, теперь растеклась; вот она уже наверху, внизу, в ухе, на виске, в горле. Горячая, раскаленная, пульсирующая. Страдалец дрожит, его трясет от озноба и ярост-

ного нетерпения, он скрипит зубами, и, о, боже, что он натворил! Визжа и завывая, он вскакивает с постели и мечется на дрожащих ногах по комнате. Когда же силы покидают его, он усаживается на постель и, скрипнув зубами, начинает раскачиваться всем телом в отчаянном нетерпении. И все повторяется сначала. В три часа ночи он решает, что так этого оставить нельзя, человечество более не может так страдать. После чего валится обратно на постель и погружается в мучительное забытье.



Что касается меня, мне мерещилось, будто больной зуб и его визави вовсе не зубы, а пасторы, один из которых, тот, что болит, побывал у римского папы и потому второй не смеет к нему прикасаться. Стоит же ему прикоснуться, как я тотчас же просыпаюсь от боли.

«Почему, — удивляюсь я, — никто не может до этого пастора дотронуться? Вот глупое правило!»

И получаю ясный и не терпящий возражения ответ: «Да, таково предписание со времен Роберта Гискара».

Я смиряюсь, ибо к традициям отношусь с почтением.

Потом мне мерещится, будто во рту у меня вовсе не зубы, а кактусы: больной зуб — это колючая опунция, а его визави — цереус с длинными шипами; стоит только им приблизиться друг к другу, как они сцепляются своими колючками и я просыпаюсь.

Со слезами на глазах я говорю себе: «Я так их пестовал, и вот благодарность!»

В подобных сновидениях больной доживает до рассвета.

Конец короток и ущербен. С трясущимися коленками добирается страдалец до своего дантиста.

— Пан доктор, — заикается он.

— Садитесь, — приказывает тот.

— А больно не будет?

— Не будет, — говорит врач, лязгая какими-то инструментами.

— А... его обязательно рвать?

— Обязательно, — ледяным тоном произносит врач в приближается к больному.

Великомученик вцепляется в ручки кресла.

— А... больно не будет?

— Откройте рот!

Несчастный наносит несколько ударов ногами и руками в живот и грудь дантиста; прижатый к спинке кресла, он пытается кричать, но в это мгновенье ему делают инъекцию.

— Было больно? — спрашивает врач.

— Н-н-нет, — мямлит страдалец неуверенно. — А до завтра подождать нельзя?

— Нет, — буркает доктор и задумчиво смотрит в окно. По улице ходят люди, как будто здесь, у этого окошка, не разыгрывается одна из величайших трагедий.

— Ну, теперь пора, — удовлетворенно сообщает доктор. — Откройте рот!

Пациент закрывает глаза, чтобы не видеть орудие пытки.

— Но...

— Шире!

Во рту что-то хрупает, видимо, это соскользнули щипцы.

— Больно не будет?

— Прополощите, — откуда-то издалека басит доктор и показывает что-то белое.

О, боже, разве этот зуб был такой маленький?

Через три дня бывший страдалец ходит от одного к другому и рассказывает, что у него было воспаление надкостницы.

Но люди так бесчувственны. В лучшем случае, они говорят:

— Это еще что! Вот когда у *меня* было воспаление надкостницы... — И начинают выкладывать, как врач долбил им долотом челюсть, или еще что-нибудь в этом роде.

А другие равнодушно замечают:

— Надкостница? Со мной такого в жизни не бывало.

И больше вашей историей не интересуются.

1929

II

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА

Стало уже общепринятым мнением, что кошка обладает преимущественно свойствами женского характера, тогда как у собаки скорее мужская натура. Я полагаю, что это мнение опирается на своеобразную закономерность природы: в самом деле, почти все домашние кошки принадлежат к слабому полу, между тем как подавляющее большинство собак, с которыми нам приходилось иметь дело, представители мужского начала. Кот, существо довольно редкостное, наделен мужественными чертами характера, как мало кто из знакомых мне мужчин. Если принято утверждать, что кошка ветрена, подобно всякой женщине, то кот неверен, как настоящий стопроцентный мужчина... Только на этот раз я собираюсь говорить о собаках.

Мужчина прежде всего ценит в собаке породу или, по крайней мере, делает вид, что знает в этом толк. «У этой псины недурно поставлены лапы, — скажет он, — но уши, по-моему, недостаточно хороши». — «Да что вы! — возразит другой. — У него самые прекрасные уши, какие я когда-нибудь видел, вы только обратите внимание, как стоит левое...» Короче говоря, мужчина питает к собаке своего рода кинологическое пристрастие, что, по всей вероятности, является атавизмом, полученным в наследство от далекого предка-охотника; в то время как женщина ценит в своей четвероногой собственности главным образом пажеские наклонности. «Он обожает меня!» — говорит она растроганно и невозможно балует пса, делая его изнеженным, вздорным и непослушным, как все, кого мы слишком любим. Пускай никто не пытается уверить меня, что женщины ни в чем не уступят нам, мужчинам, — они не способны создавать философские системы и воспитывать собак.

Но более всего мы готовы превозносить собачий интеллект. «Она только что не говорит!» — скажем мы, забывая, что на самом деле собака, конечно, говорит, но на языке,

отличном от нашего. Я сам часто слышал, как пес совершенно отчетливо ворчал: «Окаянные блохи!» Иной раз он явственно крикнет: «Спасайся, кто может!..» — или «Караул!» — а то — ругается, и притом довольно-таки крепко. Я считаю, что если бы пес умел говорить, как мы того нередко желаем, он выражал бы свои мысли в несколько грубоватой форме, отдавая предпочтение словам неприличным и вульгарным. Если бы пес умел говорить, он был бы совершенно несносен в избранном обществе. Характер у него простецкий и открытый, это добродушный малый, но уж никак не барич.

Когда мы обращаемся к собакам с речью, они смотрят нам в глаза, и минутами кажется, что хоть немного понимают нас, даже пасть приоткрывают от избытка внимания. Однажды в прошлом году я искал где-то на Шумаве грибы и заблудился; в конце концов мне посчастливилось найти тропку, которая вывела меня из лесу через болота к уединенному хутору. Подхожу я туда, и вдруг навстречу мне кидается огромный сенбернар, больше меня ростом, и принимается зловеще рявкать. В одной руке я держал большой гриб, в другой — два и потому был абсолютно беззащитен. Тогда я окликнул пса и сообщил ему о себе все, что мог: кто я такой, почему иду именно здесь, а не другой дорогой, но пес продолжал облаивать меня самыми последними словами. Я решил, что он не понимает чешского языка и попробовал усовестить его по-немецки. Признаюсь, я еще ни с кем не разговаривал так учтиво, как с этим сенбернаром. Я предлагал ему мир; я был полон добрых намерений и взывал к его разуму. Мой монолог продолжался до тех пор, пока я не заметил, что, столпившись за изгородью, меня серьезно слушает все население хутора и что пес тоже умолк, раскрыв пасть от изумления. Это был самый большой ораторский успех в моей жизни.

Есть люди, которые чувствуют себя оскорбленными, если их облает собака; они замахиваются на нее палкой или делают вид, что хотят бросить камень. Мало кто сохраняет достоинство, даже если на него нападает крошечная шавка. Мне кажется, что человеку гораздо более пристало вступить с вышеупомянутой шавкой в переговоры, — ведь могущество речи и разума действует магически, и даже самая взъерошенная собачонка через не-

которое время поймет, что человека все равно не перебрешешь. Если бы собаки владели даром речи, договориться с ними было бы, пожалуй, так же трудно, как с людьми.

1926

ПОХВАЛА РАСТЯПАМ

Некоторые люди отмечены какой-то злокозненностью судьбы; обычно этих людей называют неловкими, как будто они виноваты в том, что вещи в их руках непонятным образом оживают, проявляют своеволие и порой даже дьявольский темперамент. Скорее их можно считать волшебниками, ибо стоит им только прикоснуться к неодушевленным предметам и вещам, как те вдруг начинают проявлять невообразимое буйство. Если я забиваю гвоздь в стену, то молоток в моих руках сразу оживает и живет жизнью столь странной и неукротимой, что в конечном счете разбивается либо стена, либо мой палец, либо какое-нибудь из окон на противоположной стороне комнаты. Если я пытаюсь завязать сверток, то бечевка начинает проявлять пронырливость и коварство поистине змеиные; свивается в клубок, выскальзывает из рук и, наконец, проделывает свой излюбленный трюк — крепко-накрепко привязывает мой палец к свертку. А один мой товарищ, который столь рискованно влезает в дела высокой политики, что всем остается только удивляться, никогда не отваживается откупорить бутылку; он прекрасно знает, чем все это кончится: пробка останется у него в руке, в то время как бутылка с неожиданной ловкостью из рук вырвется и кинется на пол. Люди глупы; вместо того чтобы признать тут особую магию, они смеются над теми, кто проявляет эту удивительнейшую способность оживлять вещи, и считают их неловкими, неуклюжими, несуразными, нерасторопными, неповоротливыми, ни к чему не пригодными, растяпами, пентюхами, чурбанами и мямлями.

В действительности же все дело здесь в том, что эти неловкие люди так обращаются с неживыми предметами, как будто бы те были живыми, то есть — строптивыми и наделенными своей собственной неистребимой волей — в то время как ловкие люди обращаются с этими же пред-

метами и взаправду как с неживыми, считая, что с ними можно делать все, что угодно. Любой приказчик в магазине обращается с бечевкой не как с коварной и изворотливой змеей, а просто-напросто как с послушной и мертвой веревочкой: раз-два, и все готово. Молоток в руках каменщика — это не норовистый баран, упрямый и бесноватый, который тыкается, куда только ему взбредет в голову; это неживой и пассивный инструмент, который бьет лишь по тому месту, по какому ему бить положено. С точки зрения людей неуклюжих, такое укрощение предметов — не иначе, как настоящее волшебство. Но так же точно и ловкие люди должны были бы признать, что неловкость — дело таинственное и магическое.

Я, например, убежден, что сказки о вещах, которые умеют разговаривать, выдумали не умелые и мастеровитые люди, а наоборот, именно магики-растяпы. Я думаю, что Андерсен как-нибудь упал со стула или, может, вместе со стулом — и это внушило ему мысль, что стул-то порой может быть живым и способным разговаривать. Глупый Гонза, который поздоровался с мосточком и пожелал ему долго здравствовать, наверняка боялся, как бы этот самый мосточек не сбросил его ненароком в речку, но будь Гонза членом Клуба туристов, он не стал бы разговаривать с мостом, ибо пребывал бы в совершеннейшем убеждении, что ничего подобного с ним случиться не может. Умелые, ловкие приносят в наш мир героическое представление о неограниченных возможностях человека; но и неуклюжие люди — те тоже, в свою очередь, поддерживают эпическое, можно сказать, прямо сказочное, представление о безграничных трудностях, случайностях и препятствиях на пути человека. Образ стеклянной горы, возвышающейся за бездонными пропастями, мертвыми озерами и непроходимыми лесами, выражает живой опыт людей неловких: до чего же трудно куда бы то ни было добраться или что-либо предпринять и как легко при этом расшибить себе лоб.

Но я хвалю растяп не за их склонность к фантазиям; значение этих людей куда больше. Мне хочется сказать о том, что сделали они для развития человечества и прогресса. Ведь именно неуклюжие люди открыли путь для самого крупного изобретения в истории человечества. Ведь это они, презираемые вами пентюхи и мямли, привели человечество к разделению труда. Сначала должен

был родиться первый невозможный пентюх, чтобы более ловкий и умелый сопрачеловек отстранил растяпу от обработки кремня или от обделывания кожи и сказал: «Пусти-ка ты, балда, дай-ка лучше я за тебя это сделаю». Так нерасторопный человек создал специалиста. Если бы все люди были одинаково ловкими и расторопными, не возникло бы разделения труда, а в результате — не было бы прогресса. В то время как некоторые пралюди умели добывать огонь, а другие умели убивать мамонтов или северных оленей, существовали уже редкие прогрессивные индивидуумы, которые не умели ничего. Или, возможно, умели что-то, но это никому не было нужно. Один — никчемный человек от скуки считал звезды, другой — извлекал из собственного рта всякие звуки, которые смешили людей и которым те стали подражать; третий, скажем, развлекался цветной глиной и сажей и намалевал в Альтамире первые фрески. Это были, очевидно, совершенно беспомощные и чудные растяпы, которые, возможно, и мозговую кость толком не сумели бы разбить. Люди способные открыли, как можно из камня сделать нож; но неловкие — они тоже пришли со своим открытием, они доказали, что эту работу лучше предоставить другим; они создали общество, опирающееся на себя самое.

Сильные и ловкие люди поняли, что для того, чтоб выжить, надо быть охотником и воином. Но и растяпы доказали, что достаточно лишь нескольких охотников и воинов, чтоб и другие люди были живы. Человек переставал быть всего-навсего охотником, когда стали появляться очень плохие охотники. Так если бы все без исключения умели шить обувь, не было бы сапожников. И если бы не было нас, неловких растяп, не было бы ни Прометея, ни Эдисона.

1925

О РАБОТЕ

Существует мнение, что самым большим удовольствием в этой юдоли печали, именуемой жизнью, является работа. Однако известны два вида удовольствия, получаемые от работы; когда ты что-то делаешь сам и когда ты смотришь,

как работают другие. Причем этот второй вид удовольствия имеет к тому же два оттенка: либо это наслаждение лентяя, который охотно дает советы, как за что взяться, охотно критикует, но сам только наблюдает за стараниями других, либо это наслаждение работодателя и заказчика: он поручил что-то для себя сделать и теперь нетерпеливо и напряженно следит за тем, как осуществляется его воля. Иными словами, это наслаждение фараона, приказавшего построить себе пирамиду, или современного человека, решившегося обить себе кресло, покрасить переднюю или обновить штукатурку; короче говоря, удовольствие созидателя.

Но когда идет строительство, люди опять же ведут себя по-разному, в зависимости от их характера. Для одних — людей нетерпеливых, холерического темперамента, нервозных да еще со склонностью к пессимизму — вторжение в их быт мастерового равносильно несчастью и является чем-то таким, что можно сравнить только со стихийным бедствием или вражеским нашествием, которое они и пытаются переждать, дрожа в каком-нибудь закуточке. Вокруг них кипит работа, но они замечают только шум, только беспорядок и мусорную свалку, возникающую всегда около любого человеческого дела. Для них мука видеть, как вещи, которыми они будут пользоваться, рождаются хаотично, с грохотом и медленно. И если бы к ним пришел сам «РАЗ-ДВА-ТРИ — ГОТОВО БЕРИ» и предложил им в мгновение ока закончить строительство, одним взмахом своего дьявольского хвоста поставить все на свое место, — с условием, конечно, что они ему тут же отпишут свою душу, — я очень боюсь, что они не отказались бы от такого предложения и даже не раздумывали бы. Что угодно, только бы поскорей пришел конец всему этому бесчинству и беспорядку, который называется работой.

Совершенно иначе ведут себя натуры деятельные и оптимистичные, хотя и здесь наблюдаются глубокие различия. Они любят постоять над мастером и всегда вмешиваются в его дела, всецело отдаваясь приятному чувству преимущественного положения и господства; они прямо-таки излучают какую-то энергию, будто полководцы, посылающие свои войска в штыковую атаку. Работа доставляет им удовольствие только в том случае, если в ней чувствуется порыв, стремительность,

старательность и лихорадочные усилия, — и тогда они еще больше увеличивают рабочий беспорядок, беспрестанно что-то приказывая или подгоняя кого-то громкими криками и проклятиями. Они ревностно приглядывают за каждой заклепкой иль багетом, а также и за тем, чтобы все было сделано с надлежащей обстоятельностью. Хотя делу это и не помогает, но они получают максимум удовольствия уже и оттого, что могут приказывать другим и бранить их за ошибки; это — редкое наслаждение.

Наконец, встречаются и прирожденные строители, которые испытывают невыразимое удовольствие уже только оттого, что по их воле что-то делается. Они не слышат ни грохота молотков, ни скрипа напильников; для них все это — только радостное и бурное движение жизни. Как зачарованные, они пробираются среди строительных лесов и лестниц, бродят по колено в стружках, перелезают через кучи мусора и опилок — лишь бы быть там, где родится новая вещь. Они мешают мастеровым, как могут, но выгнать их никто не смеет, потому что это ведь они — строят. Они восхищаются ловкостью рабочих и все время допытываются, почему это делается так, а не иначе; допрашивают, сколько у них детей, — и вообще во время строительства узнают массу всяких подробностей о жизни людской и о человеческих профессиях. Скажите, ну где бы им приобрести столько опыта, не решись они, в своем порыве предпринимательства, покрасить себе переднюю или заново перетянуть кресло, доставшееся от покойного дедушки.

Но извините, бога ради, мне пора бежать, нужно посмотреть, как там у меня красят дверь. Маляры, конечно, справятся и без меня, но следует все-таки вовремя быть на месте и заранее представить себе, как великолепно будет выглядеть эта дверь, когда она *вся* будет выкрашена.

А завтра, завтра уже никто не будет колотить молотком и беспокоить тебя во время твоей тихой работы; во всем доме установится благодатная и какая-то обновленная тишина, всюду воцарится праздничный порядок.

И ты отложишь перо и начнешь раздумывать, а что бы все-таки еще велеть привести в порядок.

1937

УВЛЕЧЕНИЯ

Хотя и есть люди, у которых вообще нет никакого увлечения, но они — редкость — особая игра природы, наподобие левшей, святых, вегетарианцев и прочих исключительных явлений. Однако обыкновенный нормальный человек, как правило, отличается определенным более или менее тихим помешательством, которое носит скромное название «увлечение». Случается, он собирает марки, выращивает кактусы, страстно любит ходить по грибы, держит аквариумы с рыбками, играет в шахматы, ловит в эфире радиоволны и тому подобное. Я говорю о людях вообще, в то время как мне следовало бы признаться, что речь идет только о мужчинах. Женщины куда реже — даже крайне редко — поддаются страсти коллекционирования, выращивания редких цветов и вообще какому бы то ни было любительству. Вероятно, происходит это потому, что они гораздо меньше любят играть, чем мы, мужчины; или же потому, что их интересы носят скорее личный, чем деловой характер и являются скорее универсальными, чем узко специализированными; но это уже вопрос другой. Пока нам достаточно констатировать, что на одну женщину, имеющую какое-либо хобби, приходится девять страстно увлеченных мужчин. И когда господь бог приказал Ною, чтоб он поместил в ковчег «всякой твари чистой по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского... и всех зверей по роду их, и всякого скота по роду его, и всех гадов, пресмыкающихся по земле по роду их, и всех летающих по роду их, всех птиц, всех крылатых», — разумеется, он обращался к нему как мужчина к мужчине, то есть как коллекционер к коллекционеру. И только затем обратился он к жене Ноя и приказал: «Ты же возьми с собой всякого пропитания, чтоб было чем кормиться».

Каждое порядочное увлечение имеет две стороны. Первая — эмоциональная, это — просто пристрастие или какая-то любовь к предмету. Человек держит рыбок, потому что любит их. Или коллекционирует бабочек, потому что приохотился к их таинственной красоте. Но давайте не будем переоценивать этот эмоциональный фактор. Гораздо более существенным компонентом каждого любительства является другой, типично мужской фактор — а именно склонность к специализации. Чело-

век становится коллекционером и собирает марки не только потому, что они ему нравятся, а скорее потому, что таким образом он реализует свои определенные знания и осуществляет определенные правила коллекционирования. Мужчина становится коллекционером или начинает выращивать растения прежде всего потому, что он стремится к специализации, причем с намерением стать специалистом в той сфере, какую он сам для себя избрал. Ему совершенно недостаточно быть страстным охотником, он страстно хочет быть и знатоком охотничьего дела. Я бы сказал, что хобби — это мужская тяга к специализации, появляющаяся в области игр. Ведь увлечение только до тех пор остается увлечением, пока оно является игрой и той радостью, которую сам себе доставляет человек. Вы с кем-нибудь знакомы долгие годы. И вдруг с удивлением узнаете, что ваш знакомый коллекционирует фарфор или гоняет голубей. Как правило, люди о своих увлечениях не рассказывают, даже немного стесняются их и уж наверняка не терроризируют ими свое окружение.

Настоящее увлечение может быть только делом страсти и никак не делом принципа. Стоит нам что-нибудь начать делать из принципа, как это уже перестает быть увлечением и нашим частным делом. Принцип и проявляется как раз в том, что мы пытаемся навязать его своему окружению. Возьмем, скажем, филантропию. Можно предаться ей с большим увлечением, но только, если мы делаем это потихоньку и для своего удовольствия. Но если мы благотворительны из принципа, то здесь уже начинаются публичные проповеди и всяческие мероприятия; мы уже вменяем в обязанность всему свету принять нашу филантропическую программу. В этом, кстати, и состоит вся разница между увлечением и манией: увлечение остается игрой, в то время как мания — вещь страшно серьезная и принципиальная. Например, мы не умеем оставлять при себе наших политических взглядов и расценивать их как свой частный интерес. Нам никак не удается в тиши своего кабинета скромно коротать вечера над народнохозяйственными выкладками. Как только что-нибудь становится нашим принципом, тут уж нет спасения — мы должны обеспокоить этим все свое окружение, должны убедить его, поучить и привлечь на свою сторону.

Из вышеизложенного следует, как полезно и выгодно для всего человечества, что столько интересов и страстей остается у людей только увлечением.

1936

ПОЧТА

Человеческий характер полон противоречий; так, например, большинство людей очень любит получать письма и очень не любит письма писать, хотя то и другое находится в явной причинно-следственной связи. Правда, имеются люди, которые пишут письма охотно и даже с какой-то разнузданностью, как, например, влюбленные или лица, считающие своим долгом обругать редакцию за некую вчерашнюю статью и подписаться «Один из многих» или «Ваш читатель». Но это все люди из рода чудаков, такие же, как и те, что до смерти любят слушать доклады, что способны всю ночь напролет ловить хрипы и шумы в радиоприемнике, или такие, что даже любят рано вставать. Однако люди в большинстве своем не любят рано вставать, не любят, когда долго говорят другие, и, в особенности, не любят отвечать на письма. Что касается этого последнего качества, то здесь можно предположить, что обыкновенный человек берется за письмо, только когда сам хочет получить на него ответ, — и, таким образом, как только сам он получает какое-либо письмо, это главное побуждение исчезает. Нежелание писать письма проистекает, очевидно, из присущей человеку лености. Однако пристрастие получать письма, по всей видимости, имеет корни более глубокие и более таинственные.

Сколько раз, заслышав рано утром звонок, ты ликовал: «А, это почта!» — и сколько раз дрожа от нетерпения принимал какой-нибудь счет, газету или уведомление из налогового управления; и тем не менее назавтра ты будешь снова в определенный час с замирающим сердцем ждать, не раздастся ли звонок, а когда раздастся, ты радостно воскликнешь: «А, это почта!» Не то чтоб ты ждал чего-то определенного, чего-то такого, что очень важно для тебя, над чем ты думаешь или работаешь и должен почтой получить ответ. В глубине души

своей ты ждешь, что утренняя почта однажды принесет тебе нечто непредвиденное и неожиданное; ты и понятия не имеешь, что бы это могло быть; может, это будет письмо с неба, а может, твое назначение кавалерийским генералом в португальскую армию или вдруг сообщение, что ты удостоен премии за добродетель; но откуда-то по почте должно что-то прийти, что изменит твою судьбу, наградит тебя по заслугам, откроет перед тобой неожиданные возможности или исполнит твои непризнанные желания.

«Откуда-то что-то придет», — вот она, эта мистическая и безграничная возможность, которая, несмотря на весь твой опыт, открывается тебе в каждом звонке почтальона.

Когда прачеловек отправлялся, скажем, в лес за дровами, перед ним на каждом шагу открывались таинственные возможности: он мог найти клад гномов, мог встретить трех парок, увидеть золотой папоротник или танцующих вилл. Когда я направляюсь на Индржишскую улицу, я, честное слово, не жду, что на разбитой мостовой обнаружу клад гномов, встречу в трамвае трех парок, совещающихся как раз о моей дальнейшей судьбе, или увижу на Юнгмановой площади танцующих вилл. Круг неизвестных и неожиданных возможностей в обычной жизни современного человека чрезвычайно узок и несуществен. Никто, вставая поутру, не надеется ни с того ни с сего совершить нечто неожиданное и удивительное; и все-таки на дне человеческого сердца всегда теплится непрестанное ожидание, что сегодня как раз и случится что-то совершенно непредвиденное и великое — откуда-то что-то придет.

Но постойте-ка, кажется, зазвонил звонок. А, это почта! Человек, принимающий свою почту, держится вроде небрежно (дело чести: подавить свое тайное волнение) и хладнокровно (впрочем, я ко всему готов), он вертит каждое письмо в руках и не спешит — как не спешил бы, если бы открывал дверь в тринадцатую комнату заколдованного замка. Наконец после некоторого промедления, до краев исполненного важностью минуты, он открывает свою почту.

Совершенно необъяснимо, почему так плохо, с такой недостойной поспешностью вскрываются письма на театральных подмостках или в кино, — ведь там разорвут конверт, ты не успеешь и опомниться, даже не усядутся для этого поудобнее. Нет, так это не делается.

Человек, которому пришло письмо, прежде всего сядет. Затем только примется разрезать конверт и будет делать это медленно и стойко — будто недоверчиво поднимать крышку заколдованной шкатулки; сейчас все решится. — Как ни странно, и на этот раз, по какой-то случайности, не пришло ничего особенного; это всего лишь счет от книгопродавца и какое-то письмо, черт бы его побрал! (Снова на него отвечать.) Дверцы неограниченных возможностей на сегодня снова захлопываются. Только дни завтрашние таят в себе неизвестное великое событие.

И самое удивительное здесь то, что состояние вечного ожидания знакомо и людям, которым в общем-то совершенно нечего ждать; у них нет дяди в Америке, они совсем не мечтают о том, чтоб что-то неизвестное произвело переворот в их жизни, и даже испугались бы, если б им предстояло принять какое-нибудь новое назначение. И все-таки, когда звонит почтальон, отзывается и в них слабенькая тоска или надежда, что возможно... кто знает... что-нибудь да и придет из этого великого чужого мира... Слава тебе господи, это всего лишь журнал или предложение на поставку машины или нескольких мешков угля... Но вечное человеческое ожидание чего-то неожиданного и чудесного никогда не бывает окончательно и бесповоротно обмануто.

1925

III

У ПОРТНОГО

Бывали времена, когда всем одеянием человека была власяница. Бывали времена, когда человек наследовал от своего почтенного предка «также пару штанов суконных, также кафтан темного сукна», после чего всю жизнь носил это наследство и снова, послушный воле божьей, передавал в пользование следующему поколению. Ныне уже нет такого комфорта, хочешь не хочешь, а человеку приходится порой посещать «своего» портного (ибо у всякого уважающего себя гражданина есть *свой* портной, как и свой доктор, свой адвокат, свой владелец табачной лавки и вообще великое множество своих людей), чтобы обзавестись новым костюмом. («Новый костюмчик, пожалуйста», — как говорит его портной.)

Как правило, все происходит примерно следующим образом: человек садится и небрежно листает модные журналы. В них он видит множество энергичного вида молодых людей, поразительно долговязых, необычайно широкоплечих и с полным отсутствием живота. Они, облаченные в домашнее платье, выходные костюмы, брюки-гольфы, регланы, ульстеры или смокинги, курят сигареты, натягивают перчатки или стоят просто так, о чем-то разговаривая, или вообще ничего не делают, а изображают современных, предприимчивых молодцов. С тихой неприязнью человек разглядывает их, думая о них свое: и откуда у таких бездельников и мошенников, говорит он себе, берутся на все это деньги? Этак каждый сможет — стоять у зеленого автомобиля и натягивать перчатки, а вот если бы тебе пришлось зарабатывать...

— Ну так, какой же костюмчик? — спрашивает вдруг портной за спиной ожидающего.

Человек пугается и тычет в того самого бездельника у зеленого автомобиля: «Может, вот этот, а?»

Мастер с достоинством склоняет голову:

— Ну что ж, хорошо, слегка спортивный фасон. Сегодня, уважаемый, все больше носят в спортивном

стиле. А какой материальчик вы бы желали? У нас имеются новейшие образцы: Латекс, Вителло, Гемендекс.

— Ну хотя бы Латекс, — говорит человек робко.

— Превосходный материальчик, — соглашается портной и снимает с полки рулон чего-то серого. — Извольте взглянуть хотя бы этот. Или, может, вы желаете что-нибудь получше? — спрашивает он и кладет на прилавок что-то ядовито-зеленое.

— А нет у вас чего-нибудь... получше? — несмело спрашивает заказчик.

— Прошу, прошу. Есть у нас вот такой кусок, — щебечет пан портной и раскидывает на прилавке нечто синее. — Извольте взглянуть, — говорит он, набрасывая на себя это синее и с видом античного трагика заворачиваясь в него, как в тогу.

— Ну так можно синий, — говорит заказчик, чтобы как-то покончить с этим вопросом. «Все-таки не ядовитая зелень», — думает он с облегчением.

— Чудесный материальчик, — заверяет портной, — мы только что сшили из него костюмчик для пана советника.

— А... вы должны с меня снимать мерку? — с трудом выдавливает заказчик, словно спрашивает у своего зубного врача, надо ли рвать зуб.

Пан портной снисходительно склоняет голову.

— Нет нужды, — успокаивает он, — ваша мерка у нас записана. А какие карманы?

— Карманы?

— Да, какие вы предпочитаете карманы?

— Ну... поприличнее, — произносит заказчик. (И дались им эти карманы!) — И брюки тоже поприличнее.

— Внизу с отворотами? А какие пуговицы на пиджак?

— ...Поприличнее.

— Да нет... в один ряд или в два?

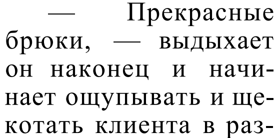
— С меня хватит и одного, — защищается клиент. — А когда приходить на примерку?

* * *

Примерка — это уже совсем иной обряд. Прежде всего заказчика заталкивают за занавесочку в цветочках; там только стул и зеркало, а в остальном слегка похоже на бар.



— Хорошо бы па-у примерить брюки, — деликатно уговаривает мастер; человек, чувствуя себя как у доктора, снимает одежду с мрачной и немного смиренной решимостью. Если уж надо, что поделаешь. И тут ему протягивают нечто бесформенное и обвисшее; заказчик влезает в это — а пан портной опускается перед ним на колени и в такой позе некоторое время смотрит на него с немым и восторженным обожанием.



— Прекрасные брюки, — выдыхает он наконец и начинает ощупывать и щекотать клиента в различных анатомических местах. — Вот тут мы слегка поднимем, — щебечет он, — а здесь кусочек выпустим. — Вот и хорошо. Теперь примерим пиджачок, и дело с концом.

Этот пиджачок состоит из одного рукава, воротника из мешковины, ваты и каких-то кусков материи, прошитых белой ниткой; все это мигом скрепляется булавками. «Сейчас, минуточку», — успокаивает мастер и, склонив голову, углубляется в безмолвное созерцание. А заказчик тем временем стоит, как столб, тщетно стараясь выглядеть хоть сколько-нибудь достойно; он выпячивает грудь, подбирает живот и пытается походить на решительных, стройных, плечистых молодцов из модного журнала; но в целом напоминает хорошо откормленное, неповоротливое пугало с капустного поля. Тут же, пользуясь его безвыходным положением, вокруг собирается вся мастерская.

— Отличный костюмчик, — говорит с одобрением пан портной и, бросаясь на заказчика, отрывает одной



рукой воротник, а другой рукав, после чего распарывает скрепленные куски материи и начинает перекалывать все заново.

— Вот здесь уберем, — говорит он, успокаивая заказчика, — а здесь слегка выпустим. Будет отличный костюм!

— Так уже все? — с облегчением спрашивает заказчик. Пан портной с легким сожалением склоняет голову.

— Еще разок вам придется прийти, уважаемый, — говорит он внушительно. — Совсем короткая примерочка.

* * *

Это и вправду короткая примерка; человека только ставят, надевают на него жилет и пиджак, потом отрывают воротник, карманы и распарывают остальные куски материи. Потом на нем все заново закалывают.

— Ну теперь отлично.

— А когда мне еще прийти? — робко спрашивает заказчик.

— Больше приходить не надо. Все готово.

* * *

Наконец в один прекрасный день человек выходит из дома в новом костюме и, увидев красивый зеленый

автомобиль, словно случайно останавливается возле него и начинает натягивать перчатки, оглядывая вселенную с видом решительного, стройного, плечистого молодца.

1936

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Обычно человек не так уж внимателен; пока это не затрагивает его собственных интересов, он смотрит на все рассеянно, не вникая в суть. Только когда, скажем, каменщик возводит твою собственную стену, ты начинаешь присматриваться, как он растирает раствор, как кладет кирпич, раза три постучав по нему мастерком, как он умело все это делает, точно и ловко. Или замечаешь садовника в своем саду; ни у кого другого так свободно не входит в землю заступ, земля не становится такой рыхлой, никто так по-хозяйски не чувствует почву, как настоящий садовник. Я бы сказал, что это уж — от господа бога. Конечно, можно стоять над душой у человека, делающего работу, и говорить ему под руку: «Ну-ка, приятель, поспеши!» — или советовать: «Знаешь, дружище, я бы сделал это иначе!» Но лучше открой глаза, чтобы увидеть, как красиво делает свою работу человек, находящийся на своем месте: как любовно берет он в руки свой инструмент, как все ему послушно, как он знает свое ремесло и как владеет им. «Владеть» — вот истинное слово, ибо оно означает, как независим человек, который умеет что-то делать, и как его работа дает ему возможность по-своему править и царить. Я знаю, очень приятно видеть у ручья незабудку или играющего ребенка, но не менее приятно, говорю вам, видеть человека, хорошо делающего свою работу. Насколько его движения красивее и изящнее, чем движения человека неумелого; я бы даже сказал, что они благороднее.

Да, это — от господа бога, и если такому человеку его умение досталось тяжело, то теперь оно для него как особый дар или милость. Вот почему нас не раздражает его превосходство над нами, людьми неловкими и неповоротливыми; мы признаем это превосходство без всякой неприязни, особенно, если сами не каменщики и

не садовники, и поэтому пока у нас есть время и мы можем тешить свой взор, наблюдая за работой человека на своем месте. Он прекрасен, словно прекрасная женщина или красота вообще. Просто удовольствие смотреть на него. Поэтому воздадим почет человеку, занимающемуся своим делом.

Но ведь и у всех нас есть свой большой дом и свой сад; там мы вечно что-то строим и что-то исправляем, и вокруг нас всегда полно людей, призванных привести все в порядок. У каждого из нас хватает работы, но взгляни хотя бы краешком глаза на тех, кто призван к работе наиважнейшей. Оставь на время свою работу и присмотрись к тем, кто делает свое дело искусно и точно, ловкими и красивыми движениями умелого человека. И если ты увидишь таких людей, то не потеряешь времени напрасно, любуясь ими с восхищением и признанием. Любой работник достоин своей мзды, но подлинный мастер достоин бóльшего: стать примером. Тебе так и не дано понять до конца, в чем же его секрет: чем дольше ты глядишь, тем удивительнее представляется тебе его труд и умение и тем таинственнее его искусство, с каким владеет он своим ремеслом. И ты понимаешь, что важно не только то, что человек делает, но и как он это делает, с каким умением и каким мастерством. Подлинное мастерство непостижимо, и познается оно по одной ему присущей красоте. Любая красота непостижима. И человек на своем месте непохож на человека, просто делающего свою работу, скорее он напоминает естественно растущее дерево, ибо все, чему он научился, он делает с абсолютной естественностью. Свой дар он не может никому передать в наследство. Научиться этому нельзя. Как нельзя заменить человека, который на своем месте; нет, тут должен только прийти другой человек, со своим даром, чтобы по праву занять свое место.

Так поэтому остановимся и воздадим почет человеку на своем месте.

1926

IV

КОГДА ЧЕЛОВЕК ВПЕРВЫЕ...

Впервые воткнув в землю росток, человек ходит на него смотреть но три раза в день: ну как, подрос уже или нет? Затаив дыхание, он склоняется над ним, приминает землю у его корешков, расправляет листочки и вообще всячески мешает ему расти, считая это полезной заботой. А когда растеньице, несмотря на все, принимается и растет, как на дрожжах, человек удивляется такому чуду природы, словно произошло нечто необычное, и считает это одной из самых своих больших личных удач.

Позже, да, позже все уже по-другому, позже человек засаживает свою грядку с небрежностью профессионала: вот так-то и так-то, а теперь докажи, на что ты сам способен. Если какой-нибудь росток не примется, он пожмет плечами: сам виноват. А что другие растут, так это естественно, — ведь я подготовил им прекрасную почву, и было бы просто неблагодарностью, если бы они не росли.

* * *

Впервые в жизни отправившись за пределы своего отечества, человек прежде всего чувствует страх перед той неизвестностью, в которую он ввергает себя, но не слишком подает вид. Во-вторых, он ощущает непреодолимую страсть к приключениям, гордость завоевателя и мужество первопроходца; душа его скромна, но преисполнена безмерной гордости и почти болезненной чувствительности. Так знайте же, меня ждут неведомые дальние края; я не просто такой-то, а великий искатель приключений.

Когда же человек в десятый или двадцатый раз отправляется за границу, то, надвинув дорожную кепку на глаза и заложив руки за спину, предается самосожалению. Боже, какое бремя, какая скука. Опять скитаться

черт знает где, иметь неприятности с таможней, менять деньги, искать ночлег в незнакомом отеле. Черт меня дернул опять ехать и т. д. и т. п.

* * *

Когда человека в зрелом возрасте впервые выбирают членом какого-нибудь комитета или секретарем общества, он прежде всего чувствует себя глубоко польщенным, и для его скромной особы — это целительный бальзам, льющийся на его обостренный комплекс неполноценности; вместе с тем его так и распирает от гордости, и он говорит себе, смотрите-ка, мир во мне нуждается. И я покажу, на что способен; это новая эпоха в истории; с этой минуты все переменится, все будет реорганизовано, начнется разработка новых задач. — Боже мой, надо только иметь вкус к работе, и тогда произойдут чудеса. Наконец-то появилась возможность глубоко и действенно вмешаться в происходящее...

Когда же человека в десятый раз выбирают куда-то, его одолевают совсем иные чувства. Прежде всего, он принимает это как должное: я в этом разбираюсь, у меня есть опыт... Для меня дело привычное, не требующее большого труда; но если опять какой-нибудь придира начнет приставать ко мне... Нет, господа, благодарю за честь, которую вы мне оказываете, но простите, для меня это в тягость... Впрочем, если вы настаиваете на моем избрании, я обещаю вам, что буду проводить прежнюю линию, а не только исполнять свои функции. (Боже мой, какая трата времени! И почему я, идиот, надрываюсь ради других?)

* * *

Впервые в жизни видя свою статью, напечатанную в газете или журнале, человек чувствует сильное сердцебиение, девичий испуг и вместе с тем торжественное парение души. Ну вот, теперь тысячи людей держат в руках мою статью; боже, что они о ней думают! К примеру, вот этот господин, так внимательно читающий газету... Прочел он мою статью или нет? Что, если ему сказать: «Уважаемый, прочитайте лучше вот эту статью...» Все-таки удивительная вещь — воздействовать

на общественное мнение, высказывать миру новые мысли и тому подобные вещи. Боже мой, у меня столько новых идей, я мог бы писать о многом и все равно никогда не смогу написать до конца обо всем, что во мне сокрыто! Предоставьте мне побольше места и тогда увидите.

Годы спустя идет человек по улице и вдруг прячется в подворотню. Черт возьми, снова мне навстречу этот тип... опять будет приставать ко мне с какой-нибудь статьей для его журнала... я тебе покажу статью! И о чем только человек может писать все время? Что я, солитер какой, состоящий из одних статей? Вот если бы не писать никаких статей, была бы жизнь...

* * *

И так во всем, кроме рождения и смерти; их человек, слава богу, переживает только один раз и впервые.

В этом и заключается жизненная гармония и уравновешенность: то, что одни делают впервые с вдохновением и восторгом первопроходцев, другие совершают в сотый раз, неохотно, молча, по заведенной привычке. Мир, в котором все бы происходило впервые, был бы прекрасен и безумен; мир, состоящий лишь из вещей, проделанных в сотый раз, был бы отвратителен, вечно одинаков и почти разумен. Только у поэзии есть привилегия — все виденное видеть впервые и говорить обо всем впервые с тех самых пор, как стоит мир.

1935

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Каждый раз, когда я читаю о молодом поколении в литературе, в искусстве и бог знает в чем, я на мгновение становлюсь в тупик. Мне начинает казаться, будто пишущие особо хотят подчеркнуть, что речь идет о поколении каких-то двуногих или покрытых кожей. Люди всех поколений, известных мне, ходят на двух ногах, и все они покрыты кожей; все поколения, которые сегодня можно встретить, в сущности — молодые. Если же действительно встречаются старики в буквальном смысле этого слова, то они пережиток прошлых эпох; но они

чрезвычайно редки, и их следовало бы хранить, как реликвии. Мы же, все прочие, — от десяти до восьмидесяти лет, — молодежь; вопрос о возрасте был снят как бы по молчаливому уговору, перестал быть целью жизни.

В мои детские годы еще существовали старые люди; это были мужчины лет сорока и выше, в большинстве своем усатые, с длинною трубкою, мрачным взглядом и, главное, с глубоким презрением к зеленой молодежи. В сорок лет эти мужчины назывались зрелыми, а в пятьдесят, как говорится, видели Авраама, с чего и начинался преклонный возраст. Борода и меланхолическая серьезность были идеалом двадцатилетних; молодые люди стыдились своей молодости, считая ее слабостью и недостатком. Едва человек достигал совершеннолетия, как старался показать, что ему, мол, знаком горький жизненный опыт, и рассуждал о многом с разочарованностью мужа, давно уже не питающего никаких иллюзий. Внешне свое отношение к жизни они выражали богатой растительностью, егерскими рубашками и установившимися привычками, такими, например, как постоянное место в трактире или своя пивная кружка.

Посмотрите, каким парнем, каким молодцом выглядит современный пятидесятилетний мужчина по сравнению с солидным и угрюмым тридцатилетним мужчиною прошлого; посмотрите, как он скачет, как пляшет, как ездит, — лицо при этом румяное и гладкое, точно детская попка, — на всем, на чем только можно ездить. Если вы хотите ему польстить, назовите его «молодой человек» и перепутайте «молодого человека» с его же внуком. Ни одному Воронову не удастся произвести такого омоложения; это результат иного взгляда на жизнь; люди помолодели, потому что перестали становиться старыми. Пока мы еще не придумали, как называть двадцатый век, — то ли веком автомобилей, то ли веком радио. Его следовало бы назвать веком молодых людей; ибо тут-то и произошли наиболее глубокие перемены по сравнению с минувшим столетием. Люди — если только они не рассуждают о политике и не пишут передовиц — стали веселее, чем прежде; мне кажется даже, что и здоровее. Бывают, конечно, умрет такой шестидесятилетний юноша; все мы удивимся и покачаем головой над такой преждевременной кончиной. Уже не видно

ныне долгожителей, нет мужей, поседевших в тяжелой борьбе, почти не осталось величественных старцев; зато сколько великолепных парней, которые еще в семьдесят пять лет сажают деревья и прыгают через овраги. В отличие от тех, чья молодость довольно коротка, эти юноши преклонных лет несут свою молодость гораздо скромнее; они не кричат о себе «мы молодые», не называют себя «молодым поколением» и явно не показывают, что хотят перевернуть мир. В конце концов человек привыкает к своей молодости и перестает ею громко похваляться; только те, кому молодость далась с трудом, держат себя вызывающе, как нувориши. Но постойте, у вас это тоже пройдет, если будете молодыми слишком долго.

Если бы суждено было появиться поколению, которое захотело бы принести в современный мир нечто новое, это было бы поколение двадцати- или тридцатилетних старцев с длинными ниспадающими бородами, установившимися привычками. Они с укоризной смотрели бы на современных поседевших юношей и презирали их, как стадо, неопытное и легкомысленное. Они говорили бы о своих болезнях и чаще вспоминали о смерти, о своих разочарованиях и о всяких жизненных мытарствах. Однако, пока я наблюдаю жизнь, родятся, наоборот, совсем молодые люди и даже просто дети. Еще никто такого не знал, чтобы мир хотел состариться. Дурная привычка стареть пережила самое себя.

1928

ТАЙНА

К числу типичных и древних анекдотов относятся те, где с различными вариациями говорится, что женщины будто бы не способны сохранить ни одной тайны; расскажи им что-нибудь, заклиная молчать, и завтра же об этом будет знать вся улица. Не знаю, сколько подлинной правды в этом извечном поклепе; возможно, его придумали доисторические мужья как предлог, чтобы не рассказывать дома своим женам, о чем, сугубо мужском, говорилось на их амфиктиониях или на других весьма представительных советах и совещаниях. Ну ладно, пусть будет

так; однако тот, кто считает эти почтенные анекдоты выражением древнего человеческого опыта, неизбежно придет к выводу, что в нашем мире мы, мужчины, полны тайн, о которых молчим как могила, в то время как женщины с какой-то удивительной, даже страстной общительностью готовы раскрыть все, что без них осталось бы тайной; короче, женщина и тайна — понятия как бы взаимно исключающие. Однако мудрец, который придет к такому умозаключению, роковым образом ошибается, как могут ошибаться одни лишь серьезные мудрецы; дело обстоит скорей всего наоборот. У женщин не только особая склонность к таинственности, но и поразительная способность множить и плодить эту таинственность. Я утверждаю, что, не будь на свете женщин, тайн было бы куда меньше. Женщина и тайна — неотделимы друг от друга.

Громогласно и прилюдно разглагольствовать с трибуны или на углу улицы — дело мужское; половина человечества, та, что шепчет, — женщины.

Правда, мужчины, — я имею в виду порядочных и нормальных мужчин, — как правило, не раскрывают своих секретов; происходит это, однако, потому, что у них их просто нет. Между собой они редко секретничают, не собираются в коридорах по углам, чтобы пошептаться о чем-нибудь. Природа наделила их голосом, который звучит излишне громко; они, сказал бы я, от природы животные общественные. Годами я жил и работал только среди мужчин; ни одна дверь тогда у нас толком не закрывалась; все обсуждалось так громко, будто шла перебранка. И вообще там, где скопище мужчин, например, в казарме или трактире, единственным средством общения является оглушительный крик, слышный за версту. Существо, которое так громогласно выражает себя, не может быть другом тайны.

И наоборот, там, где собираются женщины, — шушуканье и шепот; не знаю, о чем они там шепчутся, но это наверняка какая-нибудь тайна. Обратите внимание, как они носятся со своими сумками — будто что-то в них скрывается. Хотя в сумке лежит всего-навсего кулек с конфетами, они торопятся ее прикрыть, как нечто таинственное. Если женщина хочет вам что-нибудь сказать, она предпочтет сделать это с глазу на глаз, даже если ей надо посоветоваться с вами всего лишь о том,

где найти дешевого стекольщика. Вообще, понятие «с глазу на глаз», без сомнения, — женское изобретение; мужчины водят дружбу чаще втроем или вчетвером; женщины — парами. Трое мужчин — это уже общество; две женщины — это уже некая тайна. Тайна мужчин — коллективная тайна; это тайна заговорщиков, тайна масонов или совета министров. Тайна женщины — глубоко интимна; это тайна пана X или пани Y. Тайна мужчин — все то, о чем они молчат, пока не выболтают в трактире. Тайна женщин — все то, о чем они шепчутся, склоняясь друг к другу. Женщины способны сделать тайну из чего угодно, даже из шелковых чулок. Они готовы таинственно шушукаться о прислуге или о новом платье. Они спросят у вас, что вы скажете о последнем сочинении того или иного автора, и непременно наедине. Они деликатно прикроют двери, собираясь говорить о вещах, которые никого на свете не интересуют. Неизвестно, что страшнее — гласность или любовь к тайне, но факт остается фактом: без тайн, вероятно, мы не могли бы жить.

Поэтому старый анекдот, толкующий о том, что женщины не могут удержать тайны, их оскорбляет. Более того, женщины одни понимают толк в тайне; они не выкрикивают ее, как мы, а сообщают шепотом, серьезно и таинственно; никогда не открывают ее на людях, а только доверительно. Неправда, что они разрушают тайну, напротив, они передают ее нетронутой дальше, храня ее дыхание и всю красоту ее таинственности. А случись тайная дипломатия или тайные заговоры, женщины тут как тут, они не позволяют умереть тайнам, ибо в этом и состоит их истинное предназначение.

1926

КТО ВЕСЕЛЕЕ?

Кто веселее, мужчина или женщина? Мы привыкли считать, будто мужчина — это нечто ужасно серьезное, а женщина — существо улыбчивое, шаловливое. На самом же деле женщина чаще всего создание удивительно серьезное, в то время как мужчина — сосуд шалости и шуток. Недоразумение это, вероятно, возникло оттого, что в боль-

шинстве случаев мужчина занимается в жизни делами серьезными и мрачными, такими как политика, чтение лекций в университете, писание передовиц, высшая бухгалтерия, вождение машин и проч. Конечно, все это так, однако серьезность занятий вовсе не означает серьезности натуры.

И еще. Кажется, что женщина охотнее развлекается, то есть охотнее позволяет себя забавлять, чем мужчина. Что правда, то правда; однако указывает ли эта потребность развлечения на отсутствие свойственной натуре веселости? Я мог бы буквально засыпать вас примерами того, как мало среди женщин юмористов и комиков; можно сказать, что юмор, в той же мере как философия, военное дело и проч., — исключительно мужская привилегия. Пусть себе психологи углубляются в проблемы пола, но факт остается фактом — мужчины по натуре гораздо больше расположены к шутке, балагурству и необузданному веселью, чем женщины.

Стоит сойтись двум мужчинам, как уже начинается потеха. Больше всего на свете мужчина любит над кем-нибудь подшутить, чаще всего над пиететом к собственному папаше, к отцу-юнцу, по его собственному выражению. Я никогда не был министром, и, надеюсь, никогда не стану; но я глубоко убежден, что господа министры на заседании кабинета привязывают к стулу фалды соседа, посылают через стол друг другу записочки, а когда кто-нибудь на минутку отлучится, запихивают ему в портфель любовные послания, бумагу от ветчины либо трефовую десятку, а если и не совершают ничего подобного, то ценою невероятных усилий. Поддразнить кого-нибудь, разыграть, совершить какую-нибудь проделку — подлинно мужская страсть.

И наоборот, женщина вероятнее всего — благодарнейший зритель во всяких таких проделках, но сохрани боже, чтобы она стала их зачинщиком и виновником! Прежде всего потому, что ужасно не любит сама оказаться жертвой какого-нибудь розыгрыша; широкая и доброжелательная улыбка, с какой она встречает удачную шутку, тут же меркнет, как только шутка достигает цели. И еще — черт знает, что из этого получится? Если она сама возьмется кого-нибудь разыгрывать, то носит это неприятный и личный характер, тут уж ничего не поделаешь. А в-третьих, это вообще для нее чуждо, не

свойственно, как-то у нее не получается, нет в ее шутке добродушного наскока, сердечности, короче говоря, переполняющей и заразительной веселости.

Она любит смеяться, но не доверяет смеху других, она старается не проявлять инициативы и не вызывать смеха, боится, очевидно, поставить под сомнение собственное достоинство, вечно являющееся ее слабой стороной. Человек, боящийся оказаться смешным, никогда не может быть до конца веселым. Что женщина действительно может, так это смеяться, но шутка как таковая, клоунада сама по себе, эксцентричность, полная отдача богам смеха — это все не для нее.

И еще — это, надо полагать, солидарность или недоверие друг к другу; если женщины одни, они не подстраивают подругам розыгрышей. Если женщина и совершит какую-нибудь проделку, то, как правило, в ней всегда будет виной мужчина; поздравит ли она кого с первым апреля, в этом тоже будет виноват мужчина. (Из чего видно, что женщины больше боятся женщин, чем мужчин.) Но и это она делает только тогда, когда подражает нам, мужчинам. Хранители смеха в жизни — мужчины.

Нет, женщина — отнюдь не весела; и если сквозь жизнь она проходит «с улыбкой на устах», то это притворство: она существо серьезное, как смерть. Мы, именно мы, те, иные, бородатые и патлатые, упрямые и гадкие, — олицетворяем смех жизни; мы дорожим этим и во время наших серьезных занятий — машинами и философией, на кафедре и за плугом — мы помним, что под кожей у нас зашиты кости Вечного Шута, которого создал бог, чтобы на свете было легко и весело. Видно, и в этом сказалась его мудрая воля.

1923

ЧТО-НИБУДЬ НОВОЕ

Говорят, что, в отличие от взрослого человека, ребенок непоседлив и непостоянен, что ему всегда хочется чего-нибудь новенького и т. д. и т. п. Это сущая правда, но правда и то, что взрослый человек тоже непоседлив и непостоянен, как ребенок, что он тоже всегда хочет чего-нибудь новенького и т. д. и т. п. Пусть дети непоседливы,

точно блохи; но если ребенок обратится к вам с просьбой рассказать ему сказку, он хочет, чтобы вы рассказали именно ту, которую вы рассказывали уже вчера, позавчера и двадцать раз до этого; хотя бы ту, о зайцах, которые делали гоп-гоп-гоп-ца-ца, или ту о песике, который на прогулке встретил котенка, и что из этого получилось. Остерегайтесь нарушить эти классические сюжеты какими-нибудь дополнениями или изменениями; ребенок желает услышать только то, что понравилось ему вчера, позавчера, и он почувствовал бы себя обманутым, если бы песик не встретил котенка и все получилось бы не так, как должно получиться. Потом, прослушав полюбившуюся ему сказку, он бежит искать что-нибудь новенькое в песке или в ящике для угля.

Итак, именно взрослый человек, а не ребенок требует, чтоб ему постоянно рассказывали что-нибудь новое или о чем-нибудь новом. Как было бы хорошо, если бы каждую неделю я мог слово в слово повторять какую-нибудь свою статью, которая вам пришлась по вкусу (только не знаю какую), если бы, скажем, каждую пятницу я садился и, довольно потирая руки, начинал снова писать статейку, которая уже появилась до того, по крайней мере, раз двадцать и каждый раз находила у вас одобрение; наверно, я что-нибудь в ней улучшил бы, скажем, заменил одно слово другим, чуточку переделал фразу, но так, чтобы вы даже не заметили. А вы с пятницы уже ждали бы мой опус и прочли бы его затем с полным удовлетворением, ибо он все такой же и такой же прекрасный, как и раньше, а потом, ну, потом взяли бы и пошли искать чего-нибудь новенького у себя под боком среди личных своих дел.

Взрослый человек неприятно непостоянен, ежедневно ему подавай новую заметку, новую передовицу, новую судебную хронику, новый роман, он почувствовал бы себя обманутым, если бы каждый день ему не сообщали чего-нибудь новенького. Либо все время рассказывай ему одно и то же разными словами, либо все время разное, но одними и теми же словами. Ежедневно он с интересом читает, что у кого-то украли пальто, но вчера пальто украли в «Славии», а сегодня в «Унионке». Ребенок гораздо постоянней и последовательней; если ему бы тридцать раз рассказывали историю об украденном пальто, то произойти это должно все тридцать раз только в «Славии»

и нигде в другом месте. Мы, взрослые, предпочитаем ежедневно читать о новых результатах новых состязаний, но ребенок с его твердой верой в неизменный порядок вещей раз и навсегда принял исход борьбы Гонзы с драконом и с полным основанием требует, чтобы этот исход был неизменен; если каждый раз будет получаться по-иному или каждый раз Гонза будет бороться с кем-нибудь другим, то сказке конец. Ибо, в отличие от реальной действительности, царство сказок вовсе не безответственно и произвольно, а наоборот, весьма последовательно, незыблемо и чудодейственно размеренно. Поэтому сказка может без конца повторяться; это — область неизменных реальностей. Подлинная сказка должна начинаться всегда одинаково, так же как покойный Гомер всегда вынужден был начинать словами: «Гнев, о богиня, воспой...»; начни он в один прекрасный день по-другому, он потерял бы весь свой авторитет. Вам кажется, что вы только повторяете ребенку сказку; но для ребенка она не повторяется, а просто продолжается, поэтому-то она и не должна изменяться. Существуют вещи, которым положено неизменно быть одинаковыми, как, например, молитва; ее таинственная сила заключается в том, что человек с помощью одних и тех же слов возвращается к одному и тому же состоянию мысли, это скорее всего какое-то особое ощущение уверенности. Нельзя петь песню, как кому заблагорассудится, тот, кто ее поет, принимает ее мелодический строй и словесный порядок, если же он затянет ее на свой лад, ручаюсь, получится нечто невообразимо фальшивое. Поэтому мы не правы, упрекая одного прославленного политика в том, что он тянет одну и ту же песенку; если бы он каждый раз ее менял, она вообще перестала быть таковой и для него самого, и для слушателей. Если мы действительно хотим петь песенки или рассказывать сказки, мы должны пойти на твердую их неизменность; если бы каждый день мы говорили что-нибудь новенькое, мы бы говорили плохо.

Классическая литература — это литература, от которой мы уже не ждем, что она расскажет нам что-нибудь новое. Поэтому-то мы так высоко ее и ценим; по этой же причине мы ее и не читаем. И напротив, современную литературу мы читаем, как читают газеты; мы ждем, чтобы она раскрыла нам, что же нового в мире, а как только она нам раскроет, мы отбрасываем ее, словно

вчерашнюю газету. Если бы мы прочитали ее трижды, по всей вероятности мы и в ней нашли бы что-нибудь неповторимое, но это уже удовольствие, которое мы уступаем детям.

1925

РАДОСТИ ЖИЗНИ

Я мог бы привести целый ряд больших и сладостных радостей жизни, например, любовь, добрые деяния, любимые кушанья, майский день, успех, главный выигрыш и массу прочих прекрасных вещей. Но, размахнись я еще шире, я наверняка не забыл бы про одну согревающую нас радость, доступную каждому человеку, — удовольствие давать советы своему ближнему.

Каждый из нас (поскольку я могу судить и о себе) ужасно любит советовать, недаром слово «любить» («rád») и «советовать» («raditi») имеют общий корень, из чего следует, что уже наши предки любили давать советы своим ближним, скажем, тем, у которых промокли ботинки (если только тогда были ботинки). Это просто в характере человека — в каждом случае охотно показывать свое превосходство над другим, советовать ему, как тот должен поступать. Вероятно, дело тут, я бы сказал, в сублимированном и чистом злорадстве, которое испытывает любой нормальный человек при виде затруднений своего ближнего. Не совсем ясно, потому ли человек дает советы, чтоб показать, насколько он выше того, кому советует, или же потому, что его толкает на это чувство общительности и любопытства. Ясно только то, что, попадись, допустим, увязшая на дороге машина, возле которой лихорадочно возится шофер, — лежит в пыли или засунул голову куда-то под капот, — каждый уважающий себя человек на минуту остановится, посмотрит с особым удовлетворением на эту возню и потом сочувственно скажет: «Придется вам, дружище, дотянуть свою колымагу до города на паре коров!» — или: «Мне такая пакость и даром не нужна!» Потерпевший пи за что не примет вашего совета, а только заворчит в ответ и грубо от вас отмахнется; вероятно, его разгневало ваше интеллектуальное превосходство.

Если рассудительный человек дает совет, он, как правило, не скажет: «Сделайте вот так, дружище», — или «Сделайте то-то», — а скажет иначе: «Я бы на вашем месте поступил вот так». Я бы на вашем месте подыскал себе выгодную работенку, чтоб не терпеть нужды. Я бы на вашем месте подал жалобу на этого фрукта, и пришлось бы ему платить как миленькому. Я бы на вашем месте поехал в Аргентину и завел бы там кукурузную плантацию, сам черт не помешал бы мне разбогатеть! Человек обычно знает с удивительной уверенностью, что бы он сделал на месте другого; пока он дает совет своему ближнему, вся жизнь да и весь мир представляются ему сказочно простыми, легкими, многообещающими, стройными. Порой человек сгибается под тяжестью проблемы, какого цвета материю выбрать себе на костюм: то ли эту коричневую, то ли ту синюю. И тут появляется твой ближний и без малейших колебаний изрекает: «Я бы выбрал вон ту коричневую». Такой твердой уверенностью человек обладает лишь тогда, когда речь идет об интересах другого. Дающий советы полон энергии, решительности, рассудительности, уверенности и предусмотрительности; но возникни необходимость дать совет самому себе, как тут же все эти достоинства исчезают!

Если вы не хотите, чтобы ваш совет пропал зря, советуйте по возможности в самой общей форме. Вот, например, приходит к вам человечек — ему не на что купить еды, а работы у него нет. Обычно вы ему не говорите да и не можете сказать: «Идите туда-то, там о вас позаботятся». А скажете примерно так: «Выше голову, дружище, не отчаивайтесь. Подыщите себе какую-нибудь постоянную работу, а найдете, держитесь за нее. Бог мой, человек в любой области может пригодиться! Стоит только открыть глаза!» — и так далее и тому подобное. Советуя так, мы с особым удовлетворением ощущаем, сколько в нас мудрости и как хорошо мы знаем жизнь. Подавая совет, мы меньше всего думаем о помощи ближнему, мы думаем о той чистой и благоразумной радости, какую приносит нам совет как таковой. Существуют конфузливые люди, которые вместо общих советов охотнее дают нуждающемуся пару крон. Они, так сказать, лишаются приятного сознания, что оказали моральное воздействие на жизнь и будущее своего ближнего. Такие люди всегда в проигрыше.

К иному сорту удовольствий относятся советы кузнецу, как надо ковать, или министру, как надо действовать. Если до этого дойдет, каждый из нас с готовностью посоветует всем на свете специалистам, как они должны поступать. Но оттого, что мир в наших советах не нуждается, мы, по крайней мере, чувствуем удовлетворение, что все в этом мире идет как попало, что мир получает по заслугам, поскольку не руководствуется нашим мнением, и мы вправе сказать: так ему и надо! Последствия пусть сам расхлебывает, как говорят люди, советы подающие.

Из всего сказанного очевидно, что подача советов — неисчерпаемый источник радостей и удовольствий.

1927

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ЛЮБОПЫТСТВЕ

Человеческое любопытство имеет свои удивительные законы. Так, например, некая фирма в своей витрине с помощью обычного волшебного фонаря показывает вечером изображение самоходного плуга. Сотни две прохожих стоят на тротуаре и глазеют. Каждый останавливается, несколько минут удивленно смотрит на неясное изображение и, удовлетворенный, шествует дальше. И если бы в этот момент рядом с ним на мостовой появился настоящий самоходный плуг, он лишь глянул бы в его сторону, — что там еще за дребезжащее чудище ползет? — но наверняка не остановился бы. Показывали как-то на городских экранах кинопортреты популярных кандидатов последних выборов. Тысячи людей толпились на улицах и не спускали глаз с портретов доктора Гербена, доктора Ванека, депутата Вотрубы и еще не знаю кого. Но если бы в этой толпе вдруг появился живой доктор Гербен, либо Ванек, либо Вотруба и захотел пробраться вперед, никто на него и внимания не обратил бы, даже не посторонился бы; еще и локтем поддал бы, что его обеспокоили. Можете прозакладывать что угодно, но стоит только выставить на Вацлавской площади большую фотографию Национального музея, как через минуту там остановится всякое движение — толпа тысяч в тридцать заполонит всю площадь и будет самозабвенно созерцать фотографию Музея, который находится в двух шагах и в который

никто никогда не заходит и просто не замечает. А то покажите на экране шагающего мужчину, и можете быть уверены, что тысячи шагающих мужчин остановятся и преградят путь еще нескольким тысячам шагающих мужчин, чтобы только взглянуть на изображение шагающего мужчины, к которому они не проявили бы ни малейшего интереса, шагай он рядом с ними.

Тут вы сразу же можете усмотреть один из законов человеческого любопытства: оно вызывается не реальностью, а воображением; оно вытекает не из интереса к вещи, к данной ситуации, а из потребности воображения. Образ вещи, представление ее воздействует на любопытство гораздо сильнее, чем сама вещь. Поместите на витрине раздавленную сливу и снабдите ее надписью, что на этой сливе сломала ногу пани Голоубкова с Высочан, и вы вызовете стечение народа; при этом сама бедная пани Голоубкова никого не заинтересует. Если в доме № 77 по Длоугой улице отравился портной с пятью детьми, несколько тысяч горожан совершит паломничество на Длоугую улицу посмотреть на этот дом № 77. Сам этот дом № 77 не представляет ничего особенного, но в связи со случившимся он уже наделен чем-то любопытным. Двадцать тысяч народу сбежалось на Браник посмотреть похороны убитой семьи часовщика; из-за столпотворения гробы нельзя было даже пронести к могилам. А были это обычные похороны, какие бывают, когда кто-нибудь умирает от чахотки или от болезни почек; никто ведь и не ожидал, что покойники вдруг сбросят крышку гроба и укажут пальцем на присутствующего убийцу. По существу, эти похороны не отличались от тысячи других; интерес к ним был порожден исключительно силой воображения.

Обычно говорят, что любопытство связано с чем-нибудь новым, необычайным или по какой-либо причине исключительным. Да, трамвай, нормально идущий мимо нас, никого не интересует; но стоит соскочить дуге, как тут же появится повод для любопытства. Однако часто повод является только предлогом. Нормальный механизм действительности не нарушен — нарушается только механизм нашей души. Вон, видите, человека там, на противоположном тротуаре? Предположим, что этот человек кузнец. Если хотите, в этом нет ровно ничего особенного, и все же вы на него взглянули не без любопытства; потому

что я вывел вас из состояния безразличия и присоединил к вашему видению некий образ, элемент воображения, который разрушает обычное бездумье.

Теперь вы сами видите, что любопытство проистекает вовсе не из потребности что-то узнать, а скорее что-то себе представить, и что оно развивается не из-за отсутствия интересных событий, а из-за отсутствия интересных представлений. Толпа потому так и любопытна, что она не мыслит.

1922

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДУХИ?

Пока есть возможность, человек должен осуществить и испытать буквально все, даже (вопреки противоположному мнению Бернарда Шоу) и умереть, чтобы проверить, есть ли хоть какая-нибудь загробная жизнь. Вот только существуют на свете нетерпеливые и немножко бестолковые люди, которые, хоть лопни, желают узнать это еще при жизни; к такому сорту людей принадлежу и я, поэтому в свое время я предпринял серьезные попытки побеседовать с душами умерших. Берется столик или доска, которую можно вращать, двое или трое людей кладут на нее руки и морщат лбы, при этом никто ни о чем абсолютно не думает, как говорится, сосредоточиваются. Потом этот столик или доска и вправду начинают вращаться, отвечают на глупые вопросы и даже пишут. Все это нам отлично удалось, успех эксперимента был бесспорным и огромным; результат, однако, был таков: мы спрятали вращающуюся доску за шкаф и заявили, что отныне ни с одним духом разговаривать не намерены.

Прежде всего нам кажется, что в мир духов затесались какие-то проходимцы; это сам гохштаплер (к сожалению, здесь у нас нет соответствующего чешского слова). Почти каждый дух, стучащий по столику, если не объявляет себя вашей тетушкой или приятельницей вашей тетушки, вероятно, желая этими родственными связями вызвать ваше доверие, то называется какой-нибудь всемирно известной или исторической личностью — Наполеоном, покойным Яном Жижкой, Толстым или королевой Викторией, на меньшее он не согласен. Никогда он не пред-

ставится Яном Трчкой, бывшим пекарем из Пухова, или Вацлавом Седлачеком, при жизни бывшим дорожным мастером в Печках. Дух, который вещал нам, был неким персидским философом, но таков уж я, что гораздо больше поверил бы, если бы он представился Антонинон Миллером, известным в свое время почтмейстером, или Анной, бывшей уборщицей из больницы, ныне избавившейся от тягот земных. Меня просто оскорбило, что дух из загробного мира приходит ко мне в таком экзотическом обличье. Я поверил ему так же, как мог поверить какому-нибудь потертому джентльмену, который вдруг на углу представился бы мне индийским раджей. И не удивился бы, объяви он мне астральное предписание положить для него ровно в полночь сто крон на третьей ступеньке кладбищенской часовни. Я чувствовал, что меня считают земным простаком и недотепой. Я просто не мог ему доверять, поэтому не мог в него и поверить, хоть он и обращался ко мне, вернее сказать, именно потому и не поверил, что он обратился именно ко мне.

Другая удручающая особенность, проявляющаяся в выступлении духов, состоит в том, что они вообще не умнее и не серьезнее нас, жителей земли, скорее наоборот. Занимаются всякими глупостями, например, передают привет от вашего покойного прадядюшки, о котором при жизни вы совершенно не заботились. Если дух вещает нечто «сверхинтеллектуальное», то уж не как Сократ или инвалид-папиросник с Малой Страны, а только как госпожа Елена Блаватская. Один персидский философ засыпал нас такой чудовищной теософической болтовней, что волосы стали дыбом. Взгляды у него были мистика-коммивояжера, который дальше третьего класса не пошел, а затем весьма слабо уразумел весьма посредственную брошюрку о монизме. Пытался писать на санскрите, — это было чудовищно. Думаю, он был немного не в себе, увлекался иностранными словами и ультрафиолетовыми лучами, атомами и гармонией сфер. В жизни я не встречал более бестолкового и самонадеянного существа, чем этот дух персидского философа. Пусть будет ему Вселенная пухом.

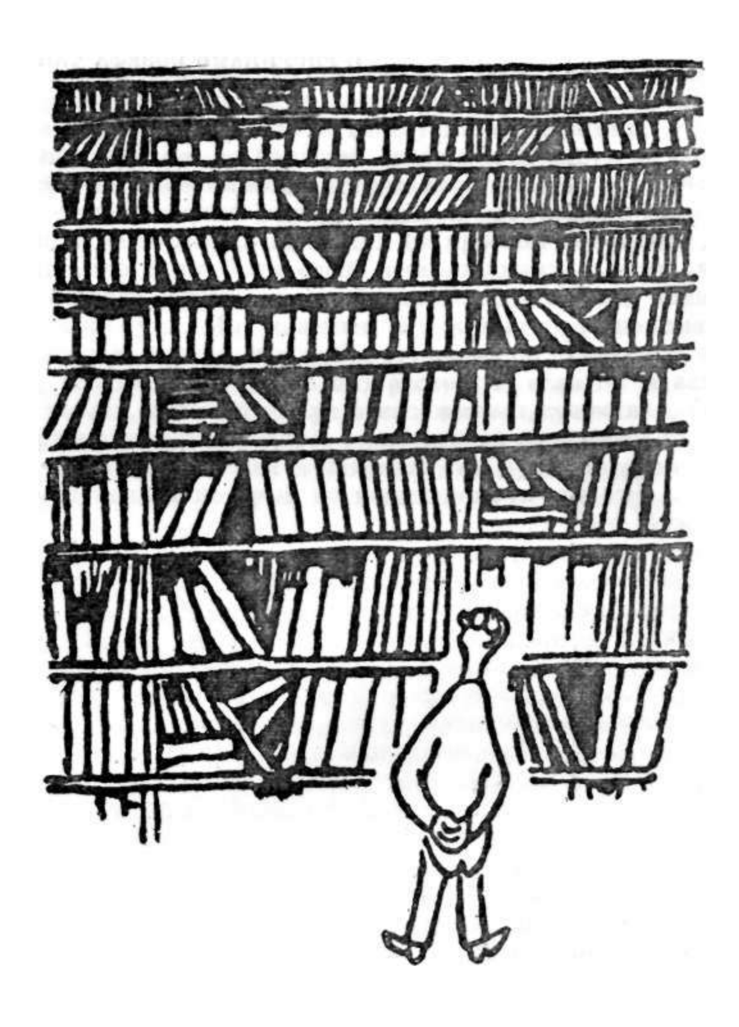
С тех пор я бесчисленное количество раз встречался с духами; хотя они и не стучали по столику и не оставляли следов своих рук на парафине, однако совершали гораздо более мудрые и достославные поступки. Я имею в виду

дух живущих людей. Когда я читаю сочинения Бернарда Шоу, добрейшего Честертона или других умных людей, меня наполняет весьма твердое убеждение, что духи существуют и даже пишут. Когда я слушаю Отокара Бржезину, я убежден, что общаюсь с духом, даже если и не уношу с собой оттиска его руки на парафине. Это настоящий дух, который не выдает себя за персидского мудреца. Одна почтенная старая пани напоминает мне королеву Викторию, хотя и не стучит по столику, — она шумно хлопочет за большим столом, и хлопоты ее доказывают не существование астрального мира, но удивительное существование нашего мира и его особых связей. Я могу не обращать внимания на просьбы покойного дедушки, но могу быть очень внимательным к тому, что мне говорят окружающие и близкие люди; в конце концов они тоже духи. Мне кажется, что живые люди понимают все гораздо лучше, чем духи, стучащие по столику; и что они, собственно, гораздо интересней. И если бы я захотел узнать, существуют ли в нас, земных существах, бессмертные ангелы, я скорее стану искать их в своем соседе или в самом себе, чем в каком-то там духе, которому не могу помочь и который не может помочь мне.

1926

Вещи вокруг нас

С ФОТОГРАФИЯМИ КАРЕЛА ЧАПЕКА
И РИСУНКАМИ ИОЗЕФА ЧАПЕКА



О вещах

МАЛОЕ И БОЛЬШОЕ

Не знаю, объяснил ли кто уже, почему это и как это получается, но ведь истинная правда, что людям особенно милы вещи маленькие, миниатюрные или как-то уменьшенные. Например, увидит человек совсем крохотную комнатушку, такую беленькую, уютную норку, в которой взрослый мужчина с трудом вытянет ноги, — и начинает умиленно улыбаться, и говорит восторженно: что за прелесть эта комнатка! В Испанском зале Пражского кремля или в главном нефе Сватовитского храма такой умильной улыбки ни у кого не бывает: каждый там серьезнеет и почтительно оценивает взглядом гигантские масштабы. А увидит человек малую хибарку — и улыбается ей, и мнится ему, что жить там легко и счастливо; но никто не улыбается с нежностью, глядя на Национальный музей или Вршовицкие казармы, — вероятно, потому, что они большие. Мы смотрим с милой улыбкой на спящего котенка, но с глубокомысленным почтением взираем на спящего льва. Маленькое содержит в себе что-то игриво-интимное и пробуждает в нас неукротимую нежность, а большое, мощное принадлежит к области серьезного и даже несколько пугающего. Вряд ли кому-нибудь захочется спать в Испанском зале или жить под куполом храма святого Петра. Человек предпочтет спать в будке ночного сторожа или поселиться в пряничном домике. Я не верю, что можно полюбить слона и класть его с собой в постель, чтобы тискать его и гладить. Не думаю, чтобы кто-нибудь пожелал устроить большой аквариум и разводить в нем китов. Если кто держит золотых рыбок, то делает это не только потому, что они золотые, но и потому, что они маленькие. Точно так же никто не стал бы держать в клетке поющих херувимов, потому что они скорее всего существа довольно крупные, но их, конечно, разводили бы, если бы херувимы были размером с канарейку. Пока люди строили улицы для того, чтобы жить на них и переговариваться, они делали их узкими. Если бы

какой-нибудь король или директор банка велел возвести себе опочивальню размером с вокзальный зал ожидания, мы сказали бы, что он сумасшедший, и, по-видимому, так бы оно и было. Малые вещи взывают к нашей нежности; большие вещи требуют от нас лишь уважения.

Но почему миниатюрные вещи исполняют нас какой-то особой радостью и блаженством — не знаю, не пойму как следует; может, это пережиток детства, когда все маленькое мы считали детским и своим. Когда я маленьким мальчишкой хотел ощутить себя в своем собственном мире, я залезал под стол или в какой-нибудь ящик. Сарай мне не подходил, он был слишком велик; поэтому я внутри сарая построил себе палатку из старого паруса. Пони казался мне ребенком коня; собачья будка представлялась вполне подходящим домиком для детей. Быть может, наше умиление при виде маленьких вещей — последний кусочек детства; но может быть и так, что это последний клочок живущего в нас прачеловека. Старик Адам явно должен был испытывать страх перед всем, что было больше, нежели он сам; он чувствовал себя в безопасности лишь перед тем, что не угрожало ему своими размерами. Можно себе представить, что при виде дикого кролика он испытывал бóльшую веселость, чем при виде дикого медведя. Ему вольготнее жилось в маленькой пещере, чем в большом мире. Малые вещи, как правило, вещи неопасные. Лишь в малых масштабах безопасности и уюта в человеке смог раскрыться достойный удивления цветок нежности. Вероятно, человек питает неясность к малым вещам потому, что только по отношению к ним он может позволить себе эту нежность. Большие вещи — это вроде бы вещи без юмора; если бы слоны резвились, как котята, я думаю, это исполнило бы нас ужаса. Если бы колоссы Мемнона вдруг поднялись со своих мест и начали играть в футбол, это было бы зрелище почти апокалиптическое. Большие вещи осуждены на ужасающую серьезность.

В целом же мне представляется, что если человеку милы малые вещи, то это не потому, что сам он больше и умнее их, а потому что, соприкоснувшись с ними, он сам становится маленьким. Человек, играющий с котенком, не осознает, что сам он огромен, как гора, скорее наоборот, он чувствует, будто и сам стал доверчивым, игривым котенком. Человек, наклоняющийся над нежным цветком, сам внутренне уменьшается до предела,

чтоб стать к нему ближе. Когда мы порой бежим от шумного света, нам приятно ощутить себя маленькими; потому мы и обращаемся к малым вещам. Мы отдыхаем душой на малых вещах; мы забавляемся мелочами. Океан не может служить развлечением — аквариум же вполне. Мы защищаемся от жизни, умаляя ее вес посредством малых вещей; существование становится для нас более сносным в те минуты, когда оно проходит в занятии чем-то малым. Жизнь теряет свой трагизм и обременительность. Освобождающая красота малых вещей заключается в том, что они, в сущности, непреодолимо комичны.

1926

КАРТА

Есть люди, что собирают почтовые марки; а иные хранят все открытки, когда-либо ими полученные; и время от времени они начинают их перебирать: смотри-ка, бульвар Де-ля-Пуассоньер, а это колонна Траяна в Риме, а вот открытка из Вацлавиц — как она сюда попала? А вот Тараскон — и перед стеной замка все стоит этот человечек, уставившись в аппарат; кто б это был? Съездить бы туда: я бы посмотрел, стоит он там еще? Брно, Нюрнберг, Табор, а вот даже вид Александрии, надо же...

А есть и такие, что хранят старые расписания поездов; и в минуты тяжелой хандры, когда человек уж и не знает, за что взяться, начинают они искать по расписанию, как доехать до Полице или, скажем, до Лиссабона; почему именно Полице или Лиссабон, не знаю, но только им становится легче, когда они узнают, что есть или был такой поезд, которым можно или можно было уехать, бросив тут все как есть, далеко-далеко — в Полице или в Лиссабон.

Но самое лучшее — лучше открыток с видами и лучше расписаний поездов — это географические карты. Конечно, я имею в виду не те, пестро-пятнистые, с красными, желтыми и зелеными государствами да черными железными дорогами, но те, где низменности помечены зеленым цветом, как нежнейшие луга, в зелень которых можно погрузиться взором, а возвышенности белесо-желтые, как иссохшая глина или спелые хлеба; горы повыше — корич-

невые, бурые, как скалы, ржавые, как мхи, еще более высокие горы — мрачного темного цвета; это уже голый камень, а надо всем — белые точки и бляшки: вечные снега. А еще тут есть голубые жилки — это реки, и извивы их так и тянут тебя за собой, и лазурные озера, сплошь закрашенные небесно-голубым, — зеркальца, не отражающие ни единого облачка; голубые в полоску болота и вечносиние моря, и пустыня с россыпью точек, подобная горке песку, в котором ты играл, когда был малышом.

И ты глазами прощупываешь карту, будто оглаживаешь ладонью весь земной шар. Вот тут зеленый язычок низменности проник в каштаново-коричневую область гор. О душа моя, как прекрасна эта прогулка по зеленому лугу среди скал! Там растет наперстянка и вербена, и полевые гвоздички, и темный чобор; внизу же, в лугах, — незабудки и ольшаник, и трепещут крылышками голубые мотыльки, пьяные от влажного воздуха. Но перейди сюда, на эти русые волнистые холмы, вклинившиеся в зеленые долины потоком злаков; здесь бредешь ты по выбеленным тропкам, солнце светит тебе в макушку, и желтый махаон скользит, как парусник, над светлой и пушистой от колосьев нивой. И ты видишь красные крыши деревушек, потому что города все сбежали вниз, в долины, и лепятся, как вытаращенные глазки, к голубым жилкам рек. Ты двигаешься от города к городу; обнаруживаешь городки столь потаенные, будто их, как реликвию, запрятали в самый дальний угол в ящике письменного стола, читаешь названия, которые никогда не появляются в газетах, ибо жизнь под ними течет тихо и безмятежно; ты найдешь среди них и такие, которые манят и притягивают к себе, будто там ждет тебя нечто прекрасное и удивительное. Ты останавливаешься перед хмурым бастионом гор; погружаешься в лощину и обращаешь взор наверх, туда, куда, точно дикие козы, вскарабкались верхушки гор; ты открываешь долины, полные уединения, где уже нет дорог и в которые ты жаждешь проникнуть, ибо, кто знает, может, именно там и скрыто прекраснейшее место на земле? Ты ищешь *свой* путь среди гор и людей; ты ищешь пустынь, покинутую людьми, но не богом, или дальние скоростные трассы, которые умчали бы тебя к повой жизни, захлестнув гомоном разноязычных голосов: ах, если б можно было начать жизнь сначала!

Да, прекрасны географические карты и полны таинственных знаков. Так хочется быть всюду; так хочется прожить все жизни, какие ни на есть на земле; так хочется все познать и всюду остановиться, насытившись усталостью и этим своим знанием. Но тебя не хватает и на то, чтобы прожить и прочувствовать даже карту мира, прочитать все ее знаки. Лишь изредка предпринимаешь ты по ней молчаливое путешествие глазами — и видишь многое, как видит странник, который хоть и не ставит перед собой цели, но все же странствует не напрасно.

1924

ВОСТОК

Выиграли ли вы круглую сумму в лотерею, нашли ли мешок червонцев или уступили тайной жажде окружить свои домашние грезы восточной роскошью, — но только вы решили купить себе красивый персидский ковер. Такого рода операция с персидскими коврами уже сама по себе — целое событие: прежде всего во время покупки вы должны курить, так как это создает какую-то восточную атмосферу; во-вторых, должны шагать по грудам драгоценных ковров с таким видом, будто вам в жизни ни по чему другому шагать не приходилось; должны держаться специалистом, который каждый ковер потрогает, пощупает с лица, с изнанки, что-то невнятно бормоча себе под нос; дальше следует ряд особых церемоний, от специального персидского жаргона до ожесточенного турецкого торга о цене, когда вы доводите продавца буквально до слез, причем он уверяет, что вынужден только из личной симпатии к вам отдать так дешево, себе в убыток, ну просто даром. Говорю вам, тут целый ряд острых ощущений. Но пока вы ступили только на порог Востока. Наконец вы остановили свой выбор на самом дешевом «казачке» и мчитесь домой, полный розовых мечтаний о том, как он будет выглядеть перед вашей постелью. Первый ковер... Это чем-то похоже на первую любовь.

На другой день у вашей двери раздается звонок. Появляется очень вежливый юркий человечек; он под-

талкивает перед собой молчаливого господина и уже в дверях сообщает, что пришел к вам, как к замечательному, изумительному знатоку персидских ковров; что привел с собой своего друга, разъезжающего по торговым делам и вчера только вернувшегося из этого... как его... из Константинополя — с коврами, которые, сударь мой, только для понимающих; что он привел его прямо к вам, чтоб вы взглянули — о, ничего больше, только взглянули на его товар, только испытали это наслаждение. Тут он отворяет дверь и кричит:

— Иди сюда, Вацлав!

Входит слуга с гигантским рулоном ковров на спине. У господина из Константинополя в самом деле эдакая персидская физиономия, но он молчит. А юркий человечек с Вацлавом развертывают первый ковер.

— Славная штучка, а? Вот бы вам такой...

Вы притворяетесь, будто «штучка» вам что-то не по вкусу.

— Я так и знал! — заявляет человечек торжествующе. — Вы, сударь, исключительный знаток. Так вот вам ширазский. Прямо для вас. Это может оценить только специалист.

Вам кажется, что этот ширазский дороговат. Тогда юркий человечек о чем-то шепчется с молчаливым спутником восточного вида не то по-персидски, не то по-турецки.

— Also meinetwegen [1], — буркает перс.

И юркий человечек объявляет, что его друг отдает вам этот ковер просто так, совсем даром, только ради вас: всего за четыре тысячи. Вы устояли против всех соблазнов: не приняли в подарок ни ширванского, ни генчского, ни бухарского, ни белуджистанского, не говоря уже о керманах, циновках и всяких молитвенных; сумели уклониться на этот раз от всего, ради чего услужливый коротыш уверял вас, что вы — поразительный знаток и что настоящий товар лежит еще на таможне; увидите — заплачете от восторга. После чего он уводит перса с Вацлавом, пообещав опять прийти завтра. Ладно.

Через три часа к вам звонит господин в цилиндре. Подает визитную карточку и представляется: такой-то

---

[1] Ну, ладно (*нем.*).

и такой-то, фабрикант, находится временно в стесненном положении, должен платить по векселям, решил продать свою собственную коллекцию ковров и... Вот он уже кричит на лестницу:

— Вацлав, komm her! [1]

И Вацлав несет на спине новую груду ковров. Господин в цилиндре конфиденциально сообщает, что у него семейное несчастье; он готов отдать эти ковры за любую цену, сколько дадут, словом, ниже стоимости, но только знатоку, специалисту, понимающему в коврах; например, вот этот древний хаммадинский, вздыхает господин в цилиндре, или вот этот сказочный моссульский. Как ни удивительно, но на всех коврах, составляющих семейную собственность, оказываются инвентарные номера и свежие таможенные пломбы.

Вы отклоняете домогательства опечаленного посетителя. На другой день к вам является какой-то тощий субъект и просит разрешения переговорить с вами наедине; потом смущенно объясняет, что у него... у него есть персидские ковры... прямо музейные экспонаты... приобретены при особых обстоятельствах; конкретно, он выкрал их из царьградского сераля и доставил контрабандой в Прагу, — но, прошу вас, никому ни слова об этом; в общем, для знатока — вещи уникальные и по небывало низкой цене. И вот уже опять появляется Вацлав с грузом ковров; опять на них пломбы и инвентарные номера; и если вы опять упустили такой исключительно выгодный случай... так особенно не огорчайтесь: завтра к вам придет русская супружеская пара благородного происхождения, при побеге не захватившая с собой ничего, кроме дорогих персидских ковров, с которыми теперь под давлением нужды вынуждена расстаться; Вацлав уже ждет в коридоре, и на его коврах опять инвентарные номера. Потом является роскошный левантский еврей; он торгует коврами там-то и там-то, а здесь у него несколько штук, которых он никому не показывает: они — только для знатоков. За ним — какой-то молодой проныра; Вацлава с ним нет, но он знает один изумительный персидский ковер, который продали бы, если бы нашелся понимающий покупатель. Затем вас посещают один за другим венский адвокат, вдова в стесненном положении, грек, который не может

[1] Поди сюда! (*нем.*)

уплатить пошлины и поэтому продает по дешевке роскошные ковры, но непременно специалисту.

Словом, если у вас только есть глаза и уши, вы за неделю научитесь различать переплетение, материал, возраст, свежесть тонов и чистоту рисунка; познакомитесь с мошенниками, знатоками, оригиналами, гениальными дельцами и мелкими жуликами; совершите своего рода путешествие на Восток; и, кроме того, сведете знакомство с удивительным, в одно и то же время старинным и современным ловким способом торговли, какого, пожалуй, ни в одной другой отрасли уже не встретишь. А это стоит того!

1923

О СТАРЫХ ПИСЬМАХ

Письма хранят из разных соображений. Прежде всего по мотивам чисто личным; это относится в первую очередь к письмам любовным. Затем — вследствие важности предмета, о котором в них идет речь. В-третьих, из уважения к писавшему. Далее — из-за того, что на них собираешься ответить. А иной раз — просто потому, что как-то жаль бросать в корзину написанное человеком, который не поленился дать вам наставление, выбранить вас, возразить вам, согласиться с вами, высказать свое мнение и т. п. Словом, у каждого есть много поводов беречь прочитанное письмо; и есть много писем, по тем или иным причинам отложенных в сторону и не попавших на дно корзины; и много есть выдвижных ящиков, куда можно складывать предметы, предъявляющие хотя бы робкую претензию не быть выброшенными на ту огромную вечную свалку, где бесконечность, «где Ничто».

Незаметно за несколько лет в разных ящиках нарастает толстый культурный пласт, состоящий из старых писем, счетов, жировок, вырезок и других благоговейно сохраняемых бумаг, превратившихся от времени и наслоившейся пыли в какую-то однородную массу. При благоприятных обстоятельствах масса эта будет лежать в ящике до того дня, когда сделается посмертным наследием. Через какое-то время кто-нибудь растроганно покачает над ней головой, промолвит нечто вроде: «Береж-

ливый был старик!» — перевернет несколько верхних листов, вытрет пальцы носовым платком и велит всю эту кучу сжечь. При неблагоприятных обстоятельствах, — как, например, переезд, генеральная уборка и другие подобные катастрофы, — этот культурный слой приходится иной раз вынуть из ящиков и что-то с ним сделать, чтоб он стал поменьше. «Ладно, разберем это», — мужественно говорит себе человек и начинает перебирать пропылившуюся массу лист за листом, вспоминая примечательные события своего прошлого.

Вот расписка: «За ремонт шкафа 45 чешских крон получил Ян Комарек». Какой же это шкаф? — удивляешься ты. И кто такой Ян Комарек? Безуспешно стараешься вспомнить, какие у тебя в жизни были шкафы... Ну, все равно. Дальше. Письмо приятеля: «Последнее Ваше письмо озадачило меня и возмутило...» Господи, какое письмо? О чем там шла речь?.. Ничего не поделаешь, разве вспомнишь теперь? «На Ваше уважаемое письмо сообщаю, что метр каменного карниза в данном оформлении обойдется...» Какого карниза? Ну, посудите сами: на что мне вдруг могли понадобиться какие-то каменные карнизы? Хоть убей, знать не знаю никаких каменных карнизов.

Но дальше, дальше! Что ни письмо, то загадка: в чем дело? Почему мне так писали? За что меня благодарят? Кто это такой? Разве я с ним переписывался? Кто эта Грета? Почему я это сохранил? А это? О чем тут, собственно, идет речь? Ничего не понимаю. И все это — мое прошлое? Удивительно. Испытываешь что-то вроде чувства неловкости, как будто читаешь чужие письма. Страшно неприятное ощущение, ей-богу. Да, надо все сжечь. А оставить только письма симпатичных, близких людей...

Да, ну, а в них о чем? Чем вызван этот упрек? К чему относится это выражение сочувствия? Смотришь на все это — такое интимное! — с недоумением, не представляя себе, в чем тут подлинный смысл, для чего все это было сказано. Если бы тебе пришлось по этим письмам составлять свою автобиографию, господи, вот была бы задача! Не поймешь, что к чему, просто чепуха какая-то! А будь пять таких ящиков, полных старыми бумагами, было бы еще больше путаницы и бессмыслицы... Ничего не поделаешь, придется все сжечь! Письмо за письмом падает в корзину, и ты похож на дерево осенью, роняющее

желтые листья. Должно быть, ты — довольно старое дерево, если листьев в конце концов попадало много. Осталась только тоненькая пачка писем, в которых нам удалось прочесть хоть что-то живое; совсем незаметная пачка, которую мы укладываем на дно какого-нибудь ящика: сжечь и эту горстку, право, было бы жаль. Когда-нибудь она опять станет толстым культурным пластом, превратившимся от времени и насевшей на него пыли в неразличимую массу. И мы опять когда-нибудь начнем перебирать лист за листом, отчужденно, растерянно, с удивлением качая головой.

И — будьте здоровы — еще как расчихаемся от этой пыли!

1936

КОРОБКА СПИЧЕК

Есть люди, у которых нет денег; есть иные, которые не верят, что у человека есть душа, случаются и такие, что всю жизнь могут прожить без политических убеждений. Но что гораздо удивительней, бывают люди, у которых в кармане нет коробки спичек. Я знаю даже курильщиков, которые никогда не носят с собой спичек. Есть мужчины, которые как-то обходятся без поднимающего дух морального присутствия спичек.

Я вовсе не собираюсь превозносить практическую полезность спичек; но есть такие вещи, — как, например, перочинный ножик, спички, огрызок карандаша, блокнот, без которых я вообще не могу представить себе человека мужского рода. Есть вещи, без которых человеку просто не обойтись, и не потому, что они абсолютно практически необходимы, а потому что они в высшей степени поэтичны и авантюристичны. С того момента, как мальчишка начинает сознавать эпичность жизни, он вдруг обнаруживает, что не может обойтись без некоторых существенных, жизненно важных мужских предметов. Это спички, нож, огрызок карандаша и блокнот. И обрывок веревочки. У нас, взрослых, вместо веревочки — носовой платок, глубинная миссия которого состоит не в сморкании носа, а в связывании вещей. У настоящего мальчишки одежда — просто вместилище для этих совершенно необходимых

пяти предметов. Одежда — просто набор карманов, служащий для хранения четырех или пяти главных элементов жизни.

Мне ли вам говорить, что такое перочинный нож: оружие, резец, пила, отвертка, долото, ланцет, сверло, бурав — короче, все, что делает из человека ремесленника, скульптора, воителя и техника, инструмент-оркестр, полный арсенал, мастерская о трех лезвиях. Карандаш служит для деятельности художественной и научной; он вполне пригоден для покрывания свежепокрашенных стен надписями и фресками; он являет собой свидетельство того, что изобретение письменности и ее прогресс сопровождают человека повсюду. В самом деле, огрызок карандаша в кармане у мальчишки определяет человека как существо пишущее. Соблазнительность блокнота связана не столько с его действительным содержанием, — у ребят блокноты обычно несут следы неэпической грязи и не поддающиеся химическому анализу отпечатки событий их личной жизни, — сколько с удивительной и беспредельно открытой возможностью того, что в нем могло бы быть написано, набросано и нарисовано. Блокнот — это лучшая книга на земле, ибо это летопись, которая никогда не была и не будет написана; это складн*а*я стена, которую мальчишка носит в кармане, но по рассеянности так никогда и не соберется размалевать. Тем не менее уже сама вероятность того, что когда-то, в будущем, в нем появится ужасно важная, уникально-историческая запись, придает блокноту таинственную и неоспоримую ценность. Значение веревки ясно каждому; ею можно связать врага или подвязать парус на тонущем корабле; при надобности также сделать кнут, инструмент музыкальный и практичный в то же время. Что касается музыки, то настоящий мальчишка умеет свистеть, сложив губы дудочкой или в два пальца (обратите внимание, что мужчины, вообще не умеющие свистеть, и во всех прочих отношениях никчемны, в них чувствуется какая-то извращенность), поэтому носить в кармане среди главных предметов жизни горн ему совершенно нет необходимости.

И, наконец, спички, предмет, принадлежащий к прекраснейшим и наиважнейшим. Я мог бы сослаться на Прометея, на огонь весталок, вечные светильники и религиозный культ огня; полагаю, что эти культово-ритуаль-

ные мотивы тоже внесли свою лепту в дело наполнения мужских и мальчишечьих карманов. Но вспомните, что было величайшей драгоценностью Сира Смита и Гедеона Спиллета, когда они со своим воздушным шаром пристали на Таинственном острове? Коробок спичек. Коробок спичек по сей день является сокровищем на том Таинственном острове, где обитает подросток. Коробок спичек означает возможность зажарить на вертеле дикого пекари, закурить трубку мира, отпугнуть диких зверей, разжечь костер на пустынном атолле и тысячу других романтических возможностей. Если у меня нет в кармане коробки спичек, я чувствую себя страшно неуверенно, я не могу огнем и светом дать отпор грозным опасностям, затаившимся во тьме. На чужбине полная коробка спичек была для меня такой же моральной опорой, как тикающие часы. Я думаю, многие люди курят только из-за того, что им доставляют радость и подбадривают спички.

Нет, что-то неладно с теми, кто ходит без спичек; они предали идеалы своей юности; это люди без охотничьих и флибустьерских инстинктов. Женскому полу такое еще можно простить; но мужчина, у которого нет при себе спичек, явно страдает отсутствием воображения и традиций. Это в тысячу раз нечистоплотнее, чем не иметь при себе носового платка. И когда у меня на улице снова кто-нибудь попросит прикурить, я уж ему такое скажу — пусть меня потом посадят.

1924

ДЫМ

Наверное, вам попадались картинки, рассчитанные на то, чтобы заставить зрителя показать свою наблюдательность. На них — масса домов, людей, экипажей и всякого добра, под картинкой вопрос: что тут не так? И вот, оказывается, один человечек дробит щебень не правой, а левой рукой, два трамвая едут по одной колее навстречу друг другу, стрелки часов показывают шесть, а тень говорит о том, что полдень, а тут — хе-хе! — из нескольких труб идет дым, но в разные стороны, и т. д.

Вот уж полчаса, как я от нечего делать смотрю из окна наружу. На дворе — серый зимний день, ничем не

примечательный; такой день, что невольно думаешь: «Поскорей бы уж март!» — или: «Хоть бы метель поднялась, что ли». Метель могла бы подняться, если бы ветер был западный; но вчера он дул все время с востока. А сегодня откуда дует? Посмотрим, в какую сторону тянется дым из труб. Ага, вон у Ф. дымный столб наклонен к востоку. А у Н. — к западу. Ей-богу, прямо в сторону запада. А теперь оба поднимаются параллельно — прямо вверх, к небу. А теперь опять одна труба дымит в восточную сторону, а другая — в западную. Мало-помалу уясняешь себе всю странность этого факта: не может же у каждого дома быть свой особый ветер? Ведь дует либо только западный, либо только восточный, и обе трубы — этого требует логика! — должны дымить в одну сторону: какой может быть спор? Тут что-то не так.

Да нет, все в порядке. Ветер веет с юга и слегка колеблется на лету, как это часто бывает с ветром. А я смотрю на обе эти трубы под несколько разными углами зрения. В действительности — ничего подобного: мне только кажется, что один столб дыма тянется на восток, а другой — на запад. Оба абсолютно честно тянутся прямо на север. Вот и все.

Нет, не все. Если бы мне теперь показали картинку, на которой одна труба дымит в сторону востока, а другая — в сторону запада, я сказал бы, что все — в полном порядке. Но меня подняли бы на смех: разуй, мол, глаза, — ведь тут трубы дымят в разные стороны. А я бы ответил: почему бы им не дымить в разные стороны? Пускай себе дымят: значит, ветер веет откуда-то с третьей стороны, понимаете? Тут они стали бы доказывать, что я мелю вздор; что, откуда бы ни дул ветер, дым из всех труб должен идти параллельно. А я все твердил бы, что все зависит от ветра. Тут они (те, другие) потеряли бы терпение и стали бы кричать, что я жалкий эмпирик, отрицаю самоочевидные, общепризнанные истины и вообще со мной нечего разговаривать; что дым должен идти либо на запад, либо на восток, а ни в коем случае не туда и сюда одновременно, а кто допускает такую возможность, тот — человек бесхарактерный, беспринципный, без определенного мировоззрения и отчетливой ориентации. Я попробовал бы объяснить им, что видел собственными глазами, как дым тянулся и на запад и на восток, и что в реальном пространстве довольно места для того, чтобы дыму

порезвиться с четырьмя сторонами света, но они (те, другие) не дали бы мне говорить. И я ушел бы посрамленный.

Вот то-то и оно: как часто смотрим мы, куда тянется дым, вместо того чтобы поинтересоваться, откуда дует ветер.

1933

ПЫЛАЮЩЕЕ СЕРДЦЕ ДОМА

Пылающее сердце дома, светящее ночь и день, день и ночь за слюдяными дверцами; мирное, горячее, тихонько потрескивающее сердце, выдыхающее приветную теплоту из своего жаркого пузатого чрева, когда на дворе первый ноябрьский снег сменяется первым декабрьским дождем; радость домашнего очага, теплое пристанище, вечное поклонение огню и так далее. Как вы понимаете, я говорю о железной печке, именуемой «американкой».

Итак, два мастера установили ее в моей комнате, раз-два — разожгли огонь, и я, усевшись перед ней на корточки, стал придумывать все те благодарственные слова, с которых я начал. Теперь, сказал я себе, она будет гореть и светить до самой весны, как вечный светильник, как огонь весталок, как некий кумир на домашнем алтаре. Утром и вечером в него нужно засыпать кое-чего, — это уж дело Тонички, — и я буду сидеть около него, писать и время от времени ему поклоняться. И вся недолга.

И вот на следующее утро подбегаю к пылающему сердцу дома — а оно стоит черное и остылое. Я чувствую себя глубоко обманутым, в гневе призываю мастера и горько ему жалуюсь: мое пылающее сердце погасло. Мастер слушает меланхолически, потом бросает взгляд на «американку» и говорит: «Само собой, раз вы не закрыли трубу и вытяжку».

Ну, теперь будем знать. Я приношу свои извинения печке и мастеру и уже предвкушаю, как закрою на ночь трубу и вытяжку, что я и выполнил блестяще, испытывая гордость машиниста, ведущего скоростной состав. А наутро я прежде всего бросаюсь к пылающему сердцу дома. Оно в самом деле светит и греет; оно верно светило

всю ночь, пока я спал. Теперь только насыпать коксу, и оно разгорится живым и ярким пламенем. Итак, мы насыпали коксу; а пылающее сердце спокойно погасло.

Снова я в гневе призываю мастера и возношу обвинения на него и на печку! Мастер внимает с равнодушием, которое мне представляется циничным; потом он издали бросает взгляд на печь и цедит сквозь зубы: «Само собой, раз вы оставили закрытой трубу и вытяжку...»

Боже, ну как все просто: вечером это надо закрыть, утром снова открыть, и все. И печурка действительно горит вовсю. Сердце дома пылает за слюдяными оконцами и пышет выгнутой грудью. Теперь будем знать. Но на четвертый день опять оно никак не хочет разгореться. Мигает сонно, чуть дыша под запотевшим железом, вид его вселяет тревогу, как больной. Я гневно зову мастера и осыпаю его бурными упреками. Мастер молчит, посасывая мокрую сигарету, и потом говорит: «Само собой, иногда надо выгрести прогоревшие угли: у вас решетка вся забилась».

Вот и сейчас, когда мы пишем эти строки, что-то в ней опять не так. Сидя за письменным столом, я кошусь на свою печку, которая сегодня, увы, никак не хочет бросить на меня свой огненный взгляд. Я уже не зову мастера: я хочу, чтоб она привыкла ко мне, а не к чужому человеку. Не знаю, какой мелочи не хватает ей сейчас; поверьте, труднее всего на свете открывать то, что само собой разумеется. А может быть, пылающее сердце дома разгорится по собственному побуждению и не стоит вмешиваться в материи столь деликатные.

Это как с сердцем человеческим. Мы чаще всего раним его тем, что забываем о какой-то малости. Утром или вечером что-то нужно было сделать, а мы забыли, и вот уже сердце человека потемнело и гаснет, как больное. Что-то нужно было приоткрыть или закрыть, чего-то добавить или что-то убрать, — черт его знает, разве все упомнишь? — а сердце уже не может справиться, преодолеть эту забытую мелочь, невыполненный элемент каждодневного ритуала.

Смотри-ка, в гаснущей печке что-то вдруг стало само собой потрескивать. Я ждал этого от нее: я знал, что это ее расстройство пройдет само по себе, как у всех хороших

людей. Еще потребуется немножко времени, чтобы она забыла о том, что я ей сегодня недодал, а потом она разгорится, как домашний алтарь, и все будет в наилучшем порядке: я и моя печурка.

1922

ПОХВАЛА МАТЕРИИ

Вторую половину прошлого столетия часто называют в философском плане — эпохой материализма; и в самом деле, бытовали взгляды, что все, что существует, есть некий материальный процесс. Подобно же и критики нравов той поры жалуются на массовые проявления этического материализма и на упадок идеализма.

Человек со стороны (например, Человек с Луны), читая слово «материализм», мог бы подумать, что люди той эпохи как-то особенно любили Материю, почитали ее и получали от нее радость или, по крайней мере, управляли ею с необычайной ловкостью и мастерством. Самое удивительное в этом деле то, что все было как раз наоборот. Материальные памятники той поры ни о чем не говорят столь отчетливо, как о полном отсутствии какого-либо уважения к материи. Никто отродясь не окружал себя более убогими материями, нежели люди из этой самой эпохи материализма; никогда столь небрежно и с таким равнодушием не обращались с материалом те, кто что-то из него делал. Эпоха материализма — это эпоха, открывшая подделку материалов: это характеризует ее отношение к материи куда глубже, чем все ее материалистические философии.

Окруженный товарным ширпотребом из эрзац-материалов, живя среди гипсовых и бумажных имитаций, плюшей, печатной резьбы и подделок всех видов, этот чудовищный материалист осмеливался весь мир конструировать в терминах материи. Но материя, из которой он строил Вселенную, была тоже товарной, эрзацной, искусственной и мертвой, как папье-маше, как гипс, как плохой столярный клей, как чугун; это была имитация материи — плохо сработанная, дешевая и очень уродливая; соответственно этому выглядела и Вселенная.

Что касается меня, то я тоже в некотором роде

матерьялист; я бы не возражал против утверждения, что Вселенная, скажем, срублена из дерева — но срублена добротно и на совесть, с печатью творческого горения Вселенского Плотника, из дерева гладкого и неподдельного. Но поскольку она устроена куда сложней и таинственней, я изумляюсь ей тем больше; и, читая сейчас о том, как она слагается из альфа- и бета-частиц, я прихожу в трепет при мысли — до чего же это прекрасная, безукоризненная по мастерству и благородству работа. И я становлюсь пылким адептом материи; я хотел бы, чтобы мы все научились функционировать так же совершенно и безупречно, как атом; истинно говорю вам, в едином атоме вещества больше порядка и красоты, нежели в шитой золотом диванной подушке.

Итак, я полагаю, что с точки зрения ремесла материя — это цель, а никак не сырой материал. И из дерева, например, следует изготавливать не великолепную резьбу — а великолепное дерево. И медь должна быть для нас не жалкой статуэткой, но прекрасной медью. И бумага имеет ценность, когда она в полной мере и с полной отдачей выполняет свою роль бумаги, а не, допустим, бумажной веревки. Все материи прекрасны, когда они чисто и звонко играют предназначенную им природой партию.

Шкаф должен быть в первую очередь шкафом; но если ему хочется иметь еще какой-то зовущий ввысь идеал, то пусть он будет лучше прекрасным деревом, нежели прекрасным архитектурным сооружением. Быть деревом — высокая и драгоценная миссия, ибо это означает быть гладким, теплым по цвету, приятным на ощупь, прорезанным вдоль и поперек разными прожилками, украшать комнату и почти что обладать даром речи, причем половину слов поставляет природа, а вторую — человеческий труд. Мебель, ничего не говорящая ни о природе, ни о столяре, — плохая мебель. Быть деревом, далее, означает сохранять свою смиренность и простоту, не высовывать чересчур свои острые углы, служить верой-правдой и не гоняться за тем, что выставляется напоказ, и прочими украшениями; ибо все это, с древесной точки зрения, неуместно. Дерево от природы тяготеет к внутренним достоинствам: лишь дурной человек может заставить его вести себя нескромно и фальшиво.

Есть материалы простые и удивительно красивые, как лоза и солома, медь, лыко, обожженная и необожженная

глина, но дутая импозантность полустолетия безвкусицы лишила нас радости пользоваться ими бесхитростно и прекрасно. Попробуйте раздобыть медный подсвечник, глиняный глечик, обливной горшок для цветов или грубую рогожку — не думаю, чтобы вы очень в этом преуспели. Если вы ищете обыкновенную дубовую доску, то вам она, пожалуй, обойдется дороже, чем доска под мрамор: и просто потому, что она стала раритетом в этом мире эрзацев и фальшивок. Я удивляюсь, как это до сих пор не изобрели искусственное дерево из старой газетной бумаги, искусственный чугун из зольных отходов, искусственный воздух — из дыма? Кажется, будто вся техника брошена у нас на фабрикацию фальшивых материй, вместо того чтобы облагораживать материалы естественные.

Убожество материала и качества труда прикрывается обычно разного рода отделками. Если на вашей суповой тарелке тиснут вид на Градчаны или веночек из роз, знайте, что это очень плохой фарфор и было бы честнее есть свой суп из глиняной миски. Если вам предлагают приобрести «спальный гарнитур великолепной резьбы», будьте уверены, что это брак. Чем неустойчивее валюта, тем роскошней банкноты — то же самое и с товарами: чем больше украшений, тем меньше их подлинная ценность. «Богатая резная рама» — вовсе не резная, а печатная или лепная из гипса; настоящая резная рама, как правило, очень проста.

Отдайте предпочтение простым и порядочным материалам перед порочной вычурностью заменителей и отделок; черт побери, сделайте это хотя бы по соображениям морали! Фабричный ковер, притворяющийся персидским ковром ручной работы, — это ханжество, у вас под ногами — обман, вы ходите по фальсифицированной действительности, вы стоите не на твердой земле, а на неумеренных притязаниях, и лучше было бы для вашей души на том и на этом свете, если б вы посыпали свои полы песком смиренья. Это вопрос нравственной чистоты и искренности, чтобы все вокруг вас было честным и без обмана. Оригинальность вещей зависит не столько от их формы, сколько от качества природного материала: любой чистый, совершенный материал бесконечно оригинален — просто потому, что он не имитация. Фальшивая вещь так же ужасна, как и фальшивая улыбка.

Культура жилища, если это вообще культура, должна быть прежде всего элементом жизненной этики; и на вещах и в них самих живут правда и ложь, добродетель и порок, искренность и лицемерие, простота и чванство; если вы привыкнете мерить вещи, в кругу которых живете, этими понятиями, вам всегда будет легко сделать выбор; вы обнаружите волшебную закономерность: на стороне нравственно-положительной сосредоточена вся красота, весь хороший вкус и ясный стиль и, к тому же, все выгоды практического использования, на другой же стороне царят уродство, дискомфорт, непрочность и скрежет зубовный, аминь.

1924

Об изобретениях

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Я очень люблю всякие технические новинки — не потому, что я их принимаю как должное, а потому что они вызывают у меня неумеренный восторг. Я не люблю их в том смысле, в каком любит практик, американец или покойный Индржих Флейшнер; я люблю их как первобытный человек; я люблю их за то, что это удивительные, загадочные и не поддающиеся пониманию вещи. Я люблю телефон, потому что он таит в себе бездну неожиданностей, ну, например, когда АТС соединяет вас по ошибке не с тем номером и вы по-дружески обращаетесь к человеку: «Послушай, ты, балда», — или еще как-нибудь в том же роде; я люблю трамвай, потому что пути его неисповедимы, в то время как путь домой пешком — совершенно «исповедим» и потому неувлекателен. Я завел себе американскую печку, потому что она требует к себе столько внимания и постоянного личного контакта, будто держишь дома индийского слона или австралийского кенгуру. А теперь я завел себе шведский пылесос. Правда, может быть, следовало бы сказать, что шведский пылесос завел себе меня.

Господин, принесший и всучивший его мне, говорил, что внутри цилиндра находится мотор; по-видимому, так оно и есть, потому что, когда его включишь, пылесос производит шум, как небольшая фабрика. Далее, к нему полагается шнур и всевозможные трубочки и насадки, штук десять; во все это можно играть, как в детский конструктор. Шнур втыкается в штепсель, а другим концом вы возите по полу или по чему хотите; цилиндр при этом завывает, как паровой каток, и уже от одного этого воя страшно разогревается. Как видите, все очень просто. Ах да, чуть было не забыл о самом главном: внутри цилиндра есть такой мешочек, его нужно вынуть и вытряхнуть на газетку; и вот тогда-то и начинается: «Это просто невероятно!», «С ума сойти!» — и вы созываете весь дом, чтобы все лично удостоверились, сколько

в этом мешочке пыли. Уверяю вас, восторги присутствующих и составляют главную выгоду от содержания пылесоса, ежедневно поставляющего вам массу ни с чем не сравнимых удовольствий.

До сей поры я верил в целый ряд вещей: в господа бога, в нравственные законы света, в атомную теорию и другие вещи, более или менее недоступные человеческому разуму. Ныне я вынужден также веровать в шведский пылесос. Мало того — я вынужден веровать в некое метафизическое, вездесущее и необыкновенное бытие пыли. Я верую ныне, что прах есмь аз и во прах обращуся, и даже, что я неустанно обращаюсь в прах. Я думаю, что из меня постоянно сыплется пыль, иду я или сижу. Я думаю, что, в то время как я это пишу, подо мной на кресле образуется кучка пыли. Мои мысли слетают на пол в образе жирной серой пыли. И когда я говорю, с моих губ слетает пыль, даже если я говорю истинную правду. Все обращается в пыль и прах. Иначе никак не объяснить наличие, количество и превосходную консистенцию пыли в моем пылесосе. То есть в его волшебном мешочке.

Любая вера и любой идол требуют соблюдения определенного ритуала. С той поры, что я служу Пылесосу, я каждое утро совершаю обряд ритуального Вытряхивания Мешочка. Выглядит это примерно так же, как когда салонный фокусник вытряхивает из рукава дюжину рюмок или из цилиндра — кролика, толстый пук бумаги и живую девочку; словом, это волшебство. Вы встряхиваете мешочек строго определенным движением руки и с трепетом душевным поднимаете вверх: перед вами лежит кучка пыли; говорю вам, это чистейшая магия. Пыль из Пылесоса — это не обычная грязная пыль: она густая, однородная, тяжелая и загадочная; это пыль, полученная колдовством, потому что вам ни за что не понять, откуда здесь набралось столько пыли.

Но если вдруг случится так, что кучка пыли как-то не особенно велика, вы сразу начинаете беспокоиться: так, должно быть, беспокоились язычники, когда их идол не хотел жрать их жертвы. Это дело вашей веры и какого-то честолюбия, чтобы кучка пыли была достаточно велика. Вы ищете какой-нибудь забытый уголок, где наверняка еще сохранились неиспользованные тайные залежи праха. Если б вы не стеснялись, вы бы пошли попылесосить улицу, дабы почтить своего молоха. В гостях

вы всегда завидуете хозяевам — столько у них еще прекрасной, невсосанной пыли. Боюсь, что скоро я начну тайно таскать пыль домой, после того как выжму здесь последнюю щепотку.

Да, как видите, я просто преклоняюсь перед техническими новшествами. Если бы у меня было много денег, я бы купил еще трехфазовый мотор и паровую молотилку, а может, и машину для прокатки стекла. Или машину, делающую спичечные коробки. Пока что у меня есть только американская печка и шведский пылесос; но и этим двум идолам я служу с неизменным восхищением. Как-то раз моя американская печка горела у меня целых четырнадцать дней; а вчера — вы бы посмотрели, — сколько было пыли в мешочке. Это было восхитительно.

1924

САМОЛЕТ

Прошло уже добрых полтора десятка лет, с тех пор как мы бегали на Хухле — смотреть первый самолет. Нас было там тьма, и ждали мы страшно долго. Вот огромная машина разбежалась и в самом деле оторвалась от земли, в самом деле пролетела целых пятьдесят, а то и сотню метров, и мы громко — победоносным, ликующим криком — с изумлением приветствовали это летучее чудо.

Теперь над моей кровлей каждый день ворчат и рокочут два-три, а иной раз и целая дюжина самолетов. Они тянутся под голубым или серым небом от Кбел либо к ним, уже издали оповещая о себе страстным рокотом, несутся так стремительно, что прямо диву даешься, откуда у них столько прыти: не успели вылететь, а уж вон где — за фабрикой «Орион» и — готово! — исчезли из глаз. А теперь жужжит, купаясь в океане синевы, один светлый, озаренный и легкий, как мечта; но прохожий на улице, рабочий в огороде даже головы не поднимет посмотреть; он уж видел это вчера или в позапрошлом году, а потому не оглядывается, не приходит в восторг, не кидает шапку в воздух, приветствуя летучее чудо. Видимо, полет был чудом, пока люди летали из. рук вон плохо, и перестает быть им, с тех пор как они начали летать с грехом пополам. Когда я сделал первые два

шага, мама тоже сочла это необычайным событием, чудом, но позже она не увидела ничего особенного в том, что я протанцевал всю ночь. Когда господь создал Адама, он мог брать деньги с ангелов, сбежавшихся посмотреть на чудесное творение, которое ходит на двух ногах и говорит. А я теперь могу ходить и говорить целый день, ни в ком не вызывая удивления. Что касается меня, я, как только заслышу ворчанье и рокот самолета, так готов каждый раз шею себе свернуть, чтобы только еще раз увидеть то, что летит: вот создал человек металлическую птицу, — орла или Феникса, — и она возносится в небо, раскинув крылья, и...

Только присмотревшись внимательно, я начинаю думать, что, в сущности, самолет не так уж похож на птицу, даже вовсе не похож, хоть и летает. Он так же мало похож на них, как воробей, скачущий вон там по заснеженной ветке, похож на мотор «Испано-Суиза». Конечно, у самолета есть крылья, но крыльями обладает и Пражский Град, который, однако, от этого нисколько не становится похожим на курицу или чайку. Самолет так же мало похож на птицу, как торпеда на форель. Если бы человеку в самом деле вздумалось соорудить металлическую птицу, ручаюсь, что она у него не полетела бы. Человек, несомненно, хотел летать, как птица; но для этого ему пришлось делать совсем другое: изготовлять пропеллеры. Для того чтобы плавать под водой, как рыба, ему вместо плавников пришлось создать двигатель внутреннего сгорания и винт Рессела. Для того чтобы осуществить то, что делает природа, он всегда вынужден был подходить к делу совершенно иначе. В этом состоит невероятность и парадоксальность изобретений.

Так, прежде человек жил всегда в пещерах. Но когда их стало не хватать, он не занялся рытьем искусственных пещер в земле, а поступил совсем иначе: начал устраивать искусственные пещеры на земной поверхности, то есть строить дома. Решив вооружиться клыками, как лев, или рогами, как буйвол, он не стал брать клыки в рот или прикреплять рога к голове, а взял все это в руку. Человеку удавалось догнать природу только в тех случаях, когда он приступал к делу иначе, чем она. До тех пор, пока человек старался махать крыльями, как птица или бабочка, все его попытки полететь кончались неудачей. Задавшись целью передвигаться по земле быстрей,

он не стал пристраивать себе четыре ноги, как у оленя ила лошади, а сделал колеса. Не удовлетворяясь своими собственными зубами, он сделал себе летающие зубы, которые держал в колчане. Веревочник, свивая веревку, пятится, то есть движется способом, как раз обратным тому, которым движется паук, ткущий свою паутину. Если б человек вздумал подражать пауку, он никогда не изобрел бы ткацкого станка. Вся техническая фантазия человека состоит в том, чтоб взяться за дело не с того конца, с которого берется природа; я сказал бы, с прямо противоположного.

Но вместо того, чтобы оценить по достоинству эту удивительную необычайность всех удачных изобретений, люди все время стараются включить их в круг явлений природы: самолет называют птицей, паровоз — стальным конем, пароход — левиафаном и т. п. Это доказывает, что, умея изобретать, они не умеют понять свои изобретения.

Когда я смотрю на гудящий самолет, уже исчезающий в небе, он кажется мне похожим не на летящую птицу, а на нечто гораздо более изумительное: на летающую машину. Ведь летящая птица — это вовсе не такое удивительное, неожиданное зрелище, как летающий человек.

1926

КНИГГЕ У ТЕЛЕФОНА

Старый Книгге, воспитывавший наших бабушек и матушек, по-видимому, не приходил в сколько-нибудь значительное соприкосновение с телефоном; поэтому телефон остался предметом невоспитанным и невежливым, и правила хорошего тона для него до сих пор не разработаны. Особенно неукротимо ведет себя телефон с тех пор, как появилась автоматика, сделавшая его столь удобным; раньше, когда нужно было обращаться к барышне на АТС, звонок по телефону был сопряжен с такими трудностями и препятствиями, что кому не нужно было позарез, тот и не звонил, и все было в порядке.

Мне не хотелось бы учить людей, потому что это по большей части бесполезно; но вот самому телефону я бы посоветовал усвоить несколько хороших правил, а именно:

1. Не следует звонить нам без дела. Сейчас телефон звонит обычно, когда мы сидим в ванне, бреемся, едим суп или как-нибудь иначе, как говорится, «в данный момент» заняты. Золотое телефонное правило гласит: звонить только тогда, когда есть хорошая новость, — все прочее можно оставить при себе.

2. Если уж звонить, то следует иметь хоть каплю терпения. Вот, например, стоите вы на стремянке, забиваете в стенку гвоздь, вдруг звонок. Молоток летит на пол, вы скатываетесь с лестницы и мчитесь к аппарату; но пока вы бежали, телефону надоело ждать, и на ваше задыхающееся «алло, я слушаю» отвечают лишь иронические гудки уже повешенной трубки. Вот этого телефону делать бы не следовало: есть жизненные ситуации, в которых человек никак не может за пять секунд достигнуть аппарата, хоть ты разорвись; а когда он наконец хватает трубку и обнаруживает, что, несмотря на всю эту гонку, никто уже не отзывается, тут и самый добродушный человек скажет «черт» или что-нибудь еще, чего говорить не стоит, и несколько минут будет ужасно зол на весь свет.

3. Телефон не забава, а средство экономии времени; разговор должен быть кратким, как телеграмма. А ведь иной раз по часу вещает телефонная трубка, так что даже ухо взмокнет. Телефонный стиль — брахилогия, или краткословие, это диктуется его механической природой. Кроме того, ничто не может лучше отравить вам жизнь, чем когда вы двадцать раз подряд набираете один и тот же номер, а там все занято и занято из-за какого-то нескончаемого разговора. В этом случае вы начинаете выражаться словами, отнюдь не украшающими человечество. Величайшая добродетель телефона — краткость. Я знаю одного человека, который, договариваясь по телефону, всегда назначает встречу на пять часов; когда его спросили, почему именно на пять, а не на четыре, он сказал: «По телефону пять короче, чем четыре».

4. Несколько более деликатным является следующее правило: если у вас зазвонил телефон, он должен сначала сообщить, кто вас вызывает, а не набрасываться на вас так: «Алё, это кто?» Правила хорошего тона требуют от каждого приличного телефона начинать разговор примерно так: «Алло, говорит советник Нечасек; это фирма Новак и Новотный?»

Я так ожесточился сердцем, что, если мне звонят и спрашивают: «Алло, это кто?» — я отвечаю, не теряя присутствия духа: «А вам какое дело?» Случалось, позвонит телефон и говорит так:

— Алло, это кто?

— Это Чапек.

— Кто-о?

— Ча-пек!

— Какой Чапек?

— Я не знаю, какой вам нужен. Самый обыкновенный Чапек.

— Как-как?

— Ну Чапек. «Ч» — как Челябинск, «А» — как аспидистра, «П» — как полигамия...

— Алло, это роддом?

— Нет. Это всего лишь доктор Чапек.

— Из роддома?

— Нет, из своей квартиры.

— Черт, я звоню в роддом, — возмущается телефон.

— По-видимому, это ошибка, — утешаю я его и слышу яростный щелчок трубки об рычаг.

Так что, если уж телефон служит не только для вызывания ярости, ему следует прежде всего назвать имя того, кто звонит; и если уж случится ошибка, ему не помешало бы сказать «извините» — это за те же деньги, а тому, кто зря подошел к телефону, все-таки приятно.

1931

СЛАВНАЯ МАШИНА

— Это славная машина, — сказал шофер, когда я сел к нему.

— Поехали, — отозвался я.

Человек в кожаном шлеме взялся за торчавшую впереди ручку и повернул ее. Славная машина слегка откашлялась и, распространяя вокруг какое-то зловоние, осталась спокойно стоять на месте. Человек в шлеме что-то пробурчал себе под нос и стал грубо вертеть упомянутую ручку. Автомобиль оказался действительно славный;

продолжал стоять смирно. Лошадь, например, не стала бы стоять смирно, если бы кучер схватил ее за ногу и начал, скажем, эту ногу выворачивать. Все-таки это большой прогресс — такая славная машина.

Испытав этим способом ее терпение, шофер снял куртку, поднял жестяной капот, под которым — главные внутренности машины, и всунул туда голову и плечи. Я не без волнения ждал, что он залезет туда весь, с ногами, а потом высунется наружу из выхлопного отверстия и предложит мне проделать этот же номер по его примеру. Но минут через пятнадцать он вынырнул из-под капота и промолвил:

— Готово.

Потом он опять стал вертеть ручку, и на самом деле все оказалось в порядке: славная машина стояла так же спокойно, как и раньше. Зато шофер потерял равновесие.

— Давайте я запущу, — великодушно предложил я, вылез из автомобиля и взялся за ручку.

И — удивительное дело! — не мог ее сдвинуть. Я прямо повис на ней — не поддается; навалился на нее грудью — не тут-то было; напер плечом — ни с места.

— Раскачка нужна, — заметил шофер и, в то время как я отирал пот с лица, одной рукой крутанул ручку.

Это был молодецкий рывок; тем не менее мотор не заработал.

— Всегда заводился, — промолвил шофер. — Отчего нынче — не пойму...

Засунув руки в карманы, он устремил на славную машину презрительный взгляд. Потом еще раз взялся за ручку, дернул. И вдруг ни с того ни с сего в машине зашумело.

— Видите, — сказал шофер, вскочил внутрь и стал передвигать какие-то рычаги.

Машина тронулась. Чудный миг!

Но надо уметь ездить. Когда едешь на автомобиле, не надо смотреть по сторонам, как будто тебе интересно, что о тебе говорят, а нужно глядеть прямо перед собой, слегка откинувшись, и молчать; разве только за полчаса процедить сквозь зубы, что, дескать, у машины легкий ход или что, мол, она хорошо взяла этот подъем. Кроме подъема, автомобиль берет еще повороты; километры он не берет, а делает. Можно также говорить о том, что дорога плохая. Но нельзя подавать шоферу советы. Пода-

вая советы шоферу, ты только доказываешь, что первый раз едешь на автомобиле.

Шоферы — все народ молодой. Много еще воды утечет, прежде чем мы прочтем в каком-нибудь рассказе: «Верный старик шофер взялся дрожащей рукой за руль...» — или: «Преданный шофер Петр, еще крепкий для своих лет, обвязал себе шею ярким праздничным шарфом, чтобы везти молодую пару под венец». Когда-нибудь будут писать о «просторном дедовском авто», как прежде писали о старинных каретах, и о старых, видавших виды шоферах, подобно тому как теперь попадаются иной раз старые, видавшие виды извозчики. Мы всегда представляем себе будущее полным новизны; между тем в нем тоже будет много старого, устарелого. Хотите заглянуть в будущее? Вот, например: «Старенький шарманщик играл детям на стареньком охрипшем радиоорганчике, оснащенном еще электронными лампами...»

Так где мы остановились с нашей славной машиной? Да, да; сперва на одном холме, оттого что «в моторе задребезжало», потом на другом, оттого что мотор что-то закапризничал; потом где-то на деревенской площади, оттого что лопнула камера. На это зрелище сбежалось все село. Когда лопается шина, шофер чувствует себя как рыба в воде. «Подержи-ка вот это, Франтишек», — говорит он какому-нибудь юному обитателю деревни. И Франтишек, вспыхнув от гордости, берет и держит. «Подай-ка мне вон то, Франтишек», — говорит шофер другому. «А ты, Франтишек, сбегай, принеси пачку сигарет...», «Пойди сюда, Франтишек, накачивай». Дюжины юных Франтишков трудятся вокруг шофера; один, воспользовавшись моментом, гуднул в гудок — и сейчас же убежал. И через какие-нибудь четверть часа славная машина покидает деревню с ее услужливыми Франтишками.

Хуже, если славная машина остановится на площади какого-нибудь городка. Тут она привлекает массу зрителей и, радуясь их вниманию, просто отказывается ехать дальше. Ее обступает все мужское население «нашего старинного, но передового города»; женщины в таких делах не участвуют: покататься они не прочь, но более глубокого интереса к машине лишены. Зато налицо — восемь старцев, пользующихся случаем выбранить «дураков, разъезжающих на автомобилях». Затем — большинство молодых людей, которые подают шоферу советы

и утверждают, что машина — плохая, прибегая при этом к разным техническим терминам. Затем — целая туча школьников, то есть Францишков, застывших в молчаливом изумлении. Наконец, местный учитель и полицейский, удерживающие Францишков на почтительном расстоянии от машины, которая может ведь вдруг поехать. Но машина славная: она не поедет. Шофера не видно: из-под капота торчат одни ноги. Изнутри машины доносятся какие-то звуки, но это не шум мотора, а ругань шофера по адресу магнето или чего-то еще. В конце концов пятьдесят Францишеков с победным кличем катят славную машину через всю площадь в тень. Толпа все растет. Настроение приподнятое, торжественное. Не понимаю, отчего шофер так сердится, что мотор заглох.

К сожалению, через час толпа расходится: старики отправляются брюзжать в трактир, молодые люди — раз уж собрались! — идут играть в кегли, а Францишки разлетаются во все стороны, как воробьи. Только две женщины стоят и болтают у колодца, как стояли час тому назад, а может, и сотни лет...

И вот славная машина, сделав все от нее зависящее, чтобы развлечь городишко, начинает погромыхивать, обнаруживая готовность ехать дальше. Последний Францишек, с выбившейся сзади рубашкой, бежит за ней, крича:

— Щислив-о-о-о-о!

Но чудесней всего, когда славная машина остановится ночью где-нибудь в поле или в лесу и — ни с места, и вы по очереди то толкаете ее, то любуетесь на дивные звезды: это мгновение, когда вам становится доступна вся красота мироздания.

Уверяю, вас: никогда ни одно путешествие верхом или в наемном экипаже, пешком или в паланкине не могло и не может сравниться в смысле романтичности и обилия приключений с автомобильной поездкой. Надо только, чтоб была славная машина.

1925

МУЖЧИНА И ОРУЖИЕ

Допустим, вы по каким-то серьезным соображениям — то ли из героизма, то ли из страха — решили купить себе оружие: автоматический пистолет или еще какой-нибудь

пугач калибра «менее 18 мм», как предписывает закон. Уже входя в магазин, вы ступаете твердо и бодро, чтобы продавец не подумал, будто вы хотите застрелиться из-за несчастной любви или убрать с дороги соперника; потом вы выбираете с видом знатока, прикидываете на ладони вес пистолетов разных типов, примеряетесь, хороши ли они в руке; вы говорите о калибре и пробивной способности столь решительно, как если бы прямо из лавки шли убивать сорок разбойников. Все эти действия как-то напрашиваются сами собой.

Когда же выходите вы из магазина с револьвером в кармане — вы стали новым человеком: вы превратились в человека вооруженного. Чувства ваши сходны с теми, которые вы испытали тогда, когда вам впервые позволили надеть брюки. До этой минуты вы были беззащитным существом, находящимся под охраной общества; теперь же вы полноценный мужчина, который сам сумеет защитить себя. Вы идете по Вацлавской площади энергичней и увереннней, чем раньше: если б было можно, вы бы звонили, как заряженное орудие. Миниатюрная вещица у вас в кармане не просто оружие; это и рыцарский конь, проносящий вас сквозь пеший строй. Орлиным оком окидываете вы площадь: не нуждаются ли где в вашей помощи? Вы смотрите на прохожих, прищуривая левый глаз, будто целитесь. Вам хотелось бы угадать среди встречных тех, у кого в кармане тоже арсенал, чтобы кивнуть им по-мушкетерски. Вы шествуете, я бы сказал, с развевающимся плюмажем.

Когда же придете вы в знакомый дом, как-то само собой получится, что вы начнете перекладывать оружие из одного кармана в другой. «Ах, что это у вас?» — воскликнут ваши знакомые. — «Да так, — ответите вы небрежно, засовывая стальную штучку в карман, — так, пистолетишко». — «Покажите его нам!» — тотчас же откликнутся они, и тут вы неохотно вынимаете револьвер и показываете — сначала издали. Но в каждом из присутствующих мужчин в ту минуту вспыхивает древний инстинкт Ахиллеса: они протягивают к оружию руки, им так сладко подержать его на ладони и прицелиться. «Прекрасная вещь», — говорят они со знанием дела. «Ничего револьвер», — отвечаете вы с таким видом, будто уже ухлопали им дюжину индейцев. Что же касается женщин, то они, верные традициям дщерей Ликомедовых,

начинают визжать от страха и ни за что на свете не хотят даже пальцем притронуться к этому грозному оружию; это переполняет вас особой, рыцарской гордостью и позволяет вам некоторое время повоображать. Разумеется, серьезный и рассудительный мужчина не позволит себе, осматривая заведомо незаряженный револьвер, взять на мушку своего ближнего и воскликнуть: «Я тебя застрелю!» — ибо в эту минуту, как известно, даже заведомо незаряженный револьвер стреляет, и вот вам и беда. Но почти каждый человек, рассматривая револьвер, обязательно приложит его к своему виску, будто примериваясь, что странным образом свидетельствует о дремлющем в нем сладострастном инстинкте самоуничтожения. Вообще оказывается, что оружие возбуждает в нас, мужчинах, самые нездоровые чувства: увы, мы никогда не будем пацифистами.

Ну ладно, эффект на публику произведен в полной мере; однако воздействие вашего пугача на вас самого гораздо глубже. Прежде всего вы обнаруживаете, что становитесь великодушным; ведь вы же запросто могли бы отправить на тот свет вагоновожатого трамвая, на котором вы вечером едете домой, но вы этого не делаете; его жизнь в ваших руках, по вы его пощадите. Вы сохраните жизнь и вон тому знакомому, что шагает по улице, размахивая руками. Но ведь могут случиться и другие происшествия: например, банда грабителей в масках может напасть на этот трамвай — вот тогда бы, почтенные, и выяснилось, для чего нужна такая штучка. Или вон в той машине вдруг позовет на помощь умыкаемая девица; а еще вот бывает, что кто-нибудь ни с того ни с сего спятит и начинает палить во все стороны. Словом, бывают такие обстоятельства, когда есть шанс загреметь: «Стой, стрелять буду!» Жизнь полна драматизма. И вот вы посматриваете туда и сюда решительным оком, чтобы вовремя подоспеть на помощь, выхватив из кармана свое доблестное оружие и делая рукой вот так и вот так: «Руки вверх, мерзавец!» Но как нарочно: не объявляется банда грабителей в масках и ни один прохожий на улице не угрожает жизни другого. Ладно, думаете вы, сейчас я заверну за тот темный угол, и выйдет на меня здоровенный детина; а я сделаю рукой вот так и вот так и скажу спокойно: «Ни с места, Кровавый Петер!» Сжимая ствол в кулаке, вы энергично вступаете в зону подозрительного

мрака; но никто не выходит вам навстречу, лишь пара любовников жмут друг на друга с такой силой, что странно, как это они еще держатся на ногах. Вы подарите им жизнь и проследуете дальше, во тьму предместья. Но чу! Вот кто-то идет навстречу; да, здоровенный детина. Молниеносно прикидываете, что делать: то ли прострелить ему ногу при первом его поползновении, то ли просто пальнуть в воздух; а пока вы вытягиваете револьвер из кармана, парень... парень... между тем проходит мимо, втянув голову в плечи. А тут вы, мужчина с оружием, уже подходите к своему дому, вы несколько обескуражены: мир остался прежним, несмотря на героический потенциал, сосредоточенный в вашем кармане; он не стал темным лесом, где рыщут дикие звери и бандиты; он по-прежнему дружелюбен к вам, как был дружелюбен к мужчине без оружия.

И тут вы замечаете, что забыли купить патроны.

1925

Об увлечениях и страстишках

О ЛЮБИТЕЛЯХ КАКТУСОВ

Пан Смрж расскажет вам массу интересного о кактусах; но держу пари, что здесь вы не найдете описания одной прелюбопытной ботанической семейки, а именно семейства кактусятников, иначе — любителей кактусов. И толстая «Monographia Cactacearum» Карла Шумана ни словом о них не обмолвилась; по-видимому, это область, слабо разработанная наукой. Насколько я мог заметить, ведя наблюдения в наших климатических условиях, любители кактусов в большинстве мужчины; они составляют свои собрания кактусов так, как другие мужчины собирают оружие — мечи, стрелы, копья, аркебузы, алебарды, дротики и тесаки. Страсть к кактусам, я бы сказал, это страсть воинственная и потому по преимуществу мужская. Потому и говорят, что кактус «вооружен» колючками и крючочками, и чем больше их у него, тем он прекраснее. Коллекция кактусов — это что-то вроде собрания воинских трофеев. Это дело для мужчины.

Второй почти всеобщей чертой истинных любителей кактусов является то, что в подавляющем большинстве они вербуются из среды людей не очень обеспеченных. Публика побогаче больше любит всякие там пальмы и кливии, азалии, филиреи, орхидеи и ананасы — во-первых, по той простой причине, что у них есть где их ставить, а во-вторых, надо сказать, что кактус раскрывает свою красоту лишь перед тем, кто находится с ним в тесном и трогательном контакте. Истинный любитель кактусов располагает всего одним подоконником или столиком; это и есть его сад. Но именно ограниченность места позволяет ему буквально совать нос в колючки и бородавки своих щетинистых подопечных, чинно сидящих на миниатюрных горшочках. На одном квадратном метре любитель кактусов может вырастить райские кущи. Нынешняя страсть к кактусам — показатель социального климата: это великая любовь к природе, втиснутая в минимальное пространство.

Третий характерный признак истинных любителей кактусов — анахоретство. До сих пор не выяснено, правда ли, что выращиванию кактусов отдаются люди от природы замкнутые, или же эта черта возникает в силу своеобразной акклиматизации; короче, истинный любитель кактусов выглядит таким колючим, что об него можно уколоться; его не волнует ни политика, ни футбол, ни прочие светские суетности; но стоит ему встретиться с другим таким же любителем — и вы только послушайте, сколько он всего знает и на каком профессиональном уровне ведет разговор!

Истинный любитель кактусов обожает латинские термины, он не просто любитель, он посвященный. Выращивать кактусы хотя и легче, чем возделывать цветную капусту, но это дело со своими учеными названиями и лабораторной чистотой больше напоминает науку. Истинное кактусоводство относится не только к области садоводства, но и к области коллекционирования: подоконник любителя кактусов — готовая коллекция. Я знаю собрание одного скромного любителя; кактусочки у него небольшие, с трудом выпестованные из дешевых деток, но налитые соком, ощетинившиеся колючками, блестящие от полноты сил. У него есть и мителла, называемая кое-где епископской камилавкой, и белоголовый гномик De Laetii, и маммиллярия с тугими сосочками, и царица ночи, и цереусы, голубые, как только что сорванные сливы, и эхиноцереусы, с колючками, толстыми, как когти, и острыми, как меланезийские стрелы, — редчайшие экземпляры, радость поглядеть. Чудо, где все это смог раздобыть скромный собиратель, и еще большее чудо, как он сумел это на своем подоконнике столь совершенно вырастить. Это чудо любви, ибо почти все чудеса в сей юдоли слез рождаются и творятся из любви. Маленькое собраньице расскажет вам о радостях выращивания кактусов больше, чем все оранжереи импортеров.

1929

ОБ ОСОБЫХ ВИНАХ

Когда-то я мечтал перепробовать в течение своей жизни все вина, какие у нас здесь есть, так же как мечтал увидеть все страны, сколько их ни на есть на земле.

Ни то, ни другое желание у меня, конечно, полностью до сих пор не сбылось; но с тех пор, как я познакомился со специальной терминологией характеристик вина, я испытываю искушение даже придумывать новые сорта вин.

Дело в том, что специалисты в области виноделия говорят о винах как о живых существах, даже прямо как о людях, так что маленько забираются в мою епархию: ведь человеческие свойства и достоинства и есть предмет писательского интереса. Так, крупные светила могут говорить о винах своеобразных и винах элегантных; им знакомы вина высокие и энергичные или вина мягкие, полные, богатые. Это вино послабей, зато оно элегантно и мило, другое простое, но с живинкой и приятное; третье же теплое и мягкое, четвертое — гармоничное, это в теле, то бархатистое, а есть еще круглые и резкие; бывают вина в лучшем возрасте и молодые, и такие, что уже перешагнули свою вершину, и т. д.

Я собирал всю эту терминологию винных качеств, пока меня вдруг не осенило, что из таких метких словечек можно составлять, придумывать и изобретать абсолютно новые, небывалые вина. Если вино может быть в теле, то почему бы не быть вину стройному, грациозному, даже немножко тощему? (Конечно, это белое.) Или я могу представить себе вино крепкое, атлетического сложения; вино низенькое, но коренастое и упругое; винцо сухое и жилистое, но отважное, как д'Артаньян, и прочное, как ремень. Есть вина сангвинические и вина меланхолические; но я бы желал попробовать, например, вина темперамента флегматического или вина с натурой нежной, мечтательной и созерцательной. Если есть вина элегантные и благородные, то почему бы не встретиться мне с вином потрепанным, но мудрым, как Сократ? Я хотел бы, чтобы одно из вин имело философские основы, а другое было не только своеобразным и энергичным, но чтобы из него била трезвая деловитость и практическая предприимчивость. Мне доставило бы удовольствие продегустировать вино с характером уравновешенным и отрешенным.

И зашел бы я в винный погребок и сказал так:

— Почтеннейший, я бы хотел выпить вина, — как бы это вам объяснить? — вина серьезного, отнюдь не легкомысленного юного фанфарона, но зрелого и испытанного и в то же время, понимаете, полного веры, оптимизма и бодрости; вина, разбирающегося в искусстве, начи-

танного и повидавшего мир; в нем должна быть и некоторая трагичность, как в бетховенском «Adagio», но при этом чуточка снисходительности и самая малость улыбки...

— Сию минуту, сударь.

1930

ТАБАК

Все это вовсе не так, как можно было бы подумать: отломи сухой табачный лист, покроши его, насыпь в трубку, раскури и дыми на здоровье, вознося благодарения творцу. Мальчишками мы это проделывали с сухими земляничными листьями, но это не вполне правильная технология. Ведь табак — предмет священный и требует массы обрядов, чтобы стать тем, чем он должен быть.

Сначала это крохотные светлые ростки в парнике; они выглядят очень мило, но вы бы ни за что не угадали, что из них получится. Эту мелочь пикируют и переводят из теплого рассадника в холодный; потом ее высаживают в хорошо увлажненные ямки на поле и до известной степени поручают господу богу, однако львиную долю забот человек мудро оставляет себе: рыхлить, полоть, прореживать, снова окучивать, обрывать цветы, выламывать негодные листья, петь за работой и вообще хороводиться с ними с весны и до осени. А между тем вырастают из саженцев райские растения почти в человеческий рост, с большими прекрасными листьями, составляющими, по-видимому, предмет особой гордости матери-природы; на ощупь они мягкие и бархатистые, как теплая кожица персика, и жарятся на солнце с огромным и явным удовольствием. Пейзаж с табачным полем выглядит экзотически, даже если посреди этого поля торчит нитрауский Зобор. А потом эти прекрасные большие листья обрывают, и для табака открывается глава вторая.

В этой главе табак нанизывается на шнуры и сушится в огромных гирляндах, проветривается, проглаживается лист за листом, приобретая свой прославленный табачный цвет — чем светлей, тем лучше; потом его сшивают в пучки по десять—двенадцать листьев, пахнущих остро и пряно, и отправляют на склад для брожения. И вот теперь приходится табачному листу потрудиться, чтобы стать ароматным табаком.

Не очень ясно, что с ним такое происходит. Его увлажняют, чтобы он слегка подопрел, и охлаждают, чтобы он не перегрелся. Несколько раз его обрабатывают ферментами — соусируют, от чего он разогревается и в нем начинает бурно расти какой-то гриб, который и сообщает ему его подлинный вкус и аромат. И опять его переворачивают лист за листом, чтобы он проветрился, и вытирают на нем каждое пятнышко плесени. В этот период он пахнет странно, отдает столярным клеем и немножко вроде бы кислым. А потом его кладут под пресс, пока в нем снова не разовьется тепло, в котором он снова будет дозревать. И при этом листья еще сортируют, лист за листом — всего на каких-то тридцать шесть сортов. Так табачный лист трудится не менее года, прежде чем попадет в трубку и выдаст из себя голубое облачко жертвенного дыма. Говорят, что прежде чем обратиться в прах и пепел, каждый лист проходит через человеческие руки минимум сто раз. Посему уважайте его как подобает.

Да, это так: есть хорошие вещи, которые нужно потреблять, пока они свежие; и есть благородные вещи, как вино, табак и идеи, которые хороши лишь тогда, когда им дают время, чтобы идеально созреть. Есть редкостные свойства, есть особый огонь и крепость, что достигаются лишь с возрастом и терпеливым трудом. Есть вещи свежие, сезонные, как салат, и вещи старые, стократно перевернутые, как табачный лист. Благородные вещи — это те, что создаются долго и медленно, пока они перебродят и созреют. Глубокий запах табака — не только дар природы, но и дар времени и работы; впрочем, это в нем ощущается. Из этого вытекает урок касательно многих вещей человеческих, о коих стоит поразмыслить — сосредоточенно и в окружении голубых облачков табачного листа, который превращается в пепел.

1935

ЧЕЛОВЕК И ФОТОАППАРАТ

I

Кажется, большинство имеющих фотоаппарат получают его в подарок — на рождество или именины. Фотографический аппарат относится к предметам, о которых нормальный человек мечтает с детства, в то же время

считая их излишними. Но к подаркам у человека никогда нет правильного профессионального подхода: подаренным фотоаппаратом владелец его стреляет направо и налево, как буйный помешанный, которому попал в руки браунинг, — сам изумляясь, что иногда получается снимок. При этом он никогда не пытается постичь великие тайны, — например, что же, собственно, делается там внутри: он явно избегает касаться таких технических подробностей, как шторка, резкость или, скажем, экспозиция. У него к аппарату отношение отчасти суеверное: бог пошлет — выйдет; не пошлет — не выйдет. Говорю вам: с дареным фотоаппаратом профессионально работать невозможно.

Если вы хотите заниматься фотографией профессионально, то купите себе аппарат сами. Но предварительно надо примерно в течение года объявлять при встрече всем знакомым, что вы собираетесь приобрести фотоаппарат.

— Покупайте «Альфу», — авторитетно посоветует один. — У меня «Альфочка». Снимает изумительно.

— Я бы «Альфу» даром не взял, — с возмущением заявит другой. — Если хотите иметь хороший аппарат, покупайте только «Дюрреншмидта». У меня «Дюрреншмидт». Вот это снимки!

— С «Дюрреишмидтом» пропадете, — предупреждает третий. — Купите себе лучше зеркальную камеру. Зеркалка надежней всех.

— Зачем зеркалка? — возражает четвертый. — Я двадцать лет старой «Коппелкой» снимаю — таких снимков больше нигде не найдешь.

— Да ну ее! — протестует пятый. — Что можно сделать с этим старым ящиком. Покупайте только «Элку». У меня «Элочка», и я вам говорю...

— Не слушайте никого, — ворчит шестой. — Ни один аппарат не даст вам таких снимков, как «Арцо». У меня, по крайней мере, «Арцо».

И так далее. Вооружившись этими сведениями (весьма противоречивыми, как полагается настоящим профессиональным сведениям), вы входите в магазин фотографических аппаратов и пробуете произвести внушительное впечатление на продавца, произнеся несколько ученых слов, вроде «линзы», «матового стекла» или «бленды». Но продавец не поддается: он обрушивает на вас всякие «светосилы», «фокусные расстояния», «шейнеры», «компуры»,

«преломления света», «углы изображения» и другие магические слова, с их помощью ясно доказывая вам, что вы обязательно должны купить аппарат «Нидермейер» и никакой другой. С этого момента вы говорите при встрече всем своим знакомым:

— Покупайте «Нидермейер». Я с другим аппаратом и возиться нипочем бы не стал. Вы не представляете себе, какая у «Нидермейера» изумительная глубина резкости.

Но путь к созданию фотоснимков долог. Прежде всего вам, может быть, и удастся открыть аппарат, но закрыть вы его все равно не закроете: где-то что-то держит; видимо, в конструкции какая-то ошибка. Вы бежите с ним к продавцу: дескать, аппарат не закрывается.

— Да как же ему закрыться, — ворчит продавец, — когда вы не утопили объектив.

На другой день вы опять у того же продавца: в общем, этот объектив не завинчивается.

— Да как же он может завинчиваться, — говорит продавец, — когда вы не отвели защелку.

Так вы узнаете, что самое сложное в искусстве фотографирования — открывать и закрывать фотоаппарат. Точно так же штатив, прежде чем привыкнет к вам, устроит целый ряд подвохов: например, как ни удивительно, одна нога у него окажется длинней других; либо он подставит вам ножку; либо окажет энергичное сопротивление вашим попыткам сложить его. Установка и складывание штатива — тоже один из самых трудных элементов искусства фотографирования.

Если вам удалось овладеть этими техническими хитростями, можете приступать к самому фотографированию. Вы устанавливаете штатив, открываете аппарат и начинаете показывать всем любителям, как надо это делать.

II

Первый снимок — один из самых напряженных моментов в жизни человека. Прежде всего вы уверены, что доставите своим родственникам огромное удовольствие, снимая их; и вы предлагаете им это как доказательство своего доброго отношения.

— Обязательно сегодня? — спрашивает родственник без всякого энтузиазма.

Такая неблагодарность вызывает досаду, но вы, подавив это чувство, объясняете, что сейчас как раз подходящее освещение и что это займет только одну минутку.

— Ну, тогда поскорей, — недовольно отвечает родственник и садится куда-то в тень, тогда как вы заранее очень удобно приладили фотоаппарат в другом месте.

И вам приходится долго упрашивать родственника, прежде чем он согласится пересесть ближе.

Но вот наконец он сидит, хмурый, сердитый. Скорей за дело! Прежде всего определить экспонометром продолжительность выдержки. Ага, диафрагма 6, при выдержке 1/25. Для верности — еще раз. Господи, теперь при той же выдержке получается диафрагма 18.

— Ну как? Готово? — ворчит родственник.

— Сейчас, сейчас.

А теперь выходит — диафрагма 9 при выдержке 1/5. Ах, это из-за той тучки. Теперь скорей! Сперва навести на резкость по матовому стеклу. Нет, сперва открыть объектив, потом навести на резкость. Нет, сперва отвести защелку на объективе. А теперь наводить. Так. Вот на матовом стекле появилось изображение.

— Отлично, — с облегчением вздыхает фотолюбитель.

— Есть? — радостно произносит родственник, встает и хочет идти.

Вы вынуждены, преодолевая бурный протест, снова усадить его на место и еще раз навести на резкость.

— Сейчас! — восклицает любитель, устанавливает диафрагму на 9, выдержку на 1/25 (господи, надо было на одну пятую, кажется! Ну уж ладно), нажимает спуск и...

— Слава богу, — произносит родственник, вскакивая.

— Погоди, погоди! — кричит любитель. — Я забыл завести затвор!

Опять наводка. Диафрагма, выдержка в порядке (если не считать того, что как раз в этот момент появилось солнце; да уж ладно!).

Только не забыть завести затвор!

С бьющимся сердцем нажимаем спуск. Чик — готово! Великий миг создания первого снимка прожит. Любитель отирает пот со лба: «Уф!»

— Долгонько, — ядовито бормочет родственник, удаляясь.

Но вы прощаете его грубость. Пускай идет себе, противный! Вот увидит свой снимок...

Вдруг любитель бледнеет, увидев, что оставил кассету в кармане и фотографировал просто на матовое стекло.

«Спасибо, хоть пластинки ни одной не испортил», — радуется любитель спустя некоторое время и начинает искать себе новую, более терпеливую жертву.

Теперь уж все пойдет как по маслу: усадить, навести, *не забыть завести затвор,* вытащить матовое стекло, *вставить кассету,* нажать спуск, чик! — и готово. Ха-ха, сущие пустяки! Теперь только удалить бумагу с фильмпака — вот он, снимок!.. «Черт побери, — вдруг вспоминает любитель, — я же забыл вынуть задвижку кассеты!»

Теперь пойдет веселей. Сперва расставить штатив, потом навинтить на него аппарат... Нет, сперва навинтить, потом расставить. Открыть аппарат. (Да что с ним такое, с проклятым? Не хочет открываться! Только не нервничать! Открывать понемногу и... Ах ты черт! Где-то держит! Чтоб ему пусто было...)

Ну теперь уж пойдет. Открыть аппарат — ура! Вставить матовое стекло, открыть объектив, навести, установить диафрагму и выдержку, *завести затвор,* вынуть матовое стекло, *вставить кассету, поднять задвижку,* нажать спуск, чик — все!

Да, но мы, кажется, забыли вытащить бумажную упаковку?

Одиннадцать кадров из первой дюжины отснято. Все члены семьи, включая собаку и кошку, отбыли свою повинность перед аппаратом. Теперь еще двенадцатая, и, милые вы мои, отдаю проявить и отпечатать всю дюжину!

— *Страшно* хочется знать, — бормочет себе под нос любитель, — как-то мои снимки вышли.

И вот — можете себе представить! — в этот момент во всей вселенной не находится двенадцатого объекта, который согласился бы фотографироваться. Ни гость не зайдет, ни нищий не позвонит; собака не выходит из конуры, кошка — в бегах. Любитель шарит взглядом вокруг, ища, во что бы прицелиться. Вон то дерево? Гм, оно совсем голое. Общий вид из окна? Ерунда. Тогда может быть, внутренность своей комнаты? Брр!.. Господи, хоть бы что-нибудь подходящее! Только бы закончить

дюжину и отдать проявить. И уже завтра смотреть на первые свои снимки. Ах, только завтра!.. Да, но где же взять двенадцатый?

Наконец двенадцатый тоже сделан, и любитель мчится в мастерскую при магазине проявлять свои первые достижения. Первая дюжина. Постойте, кто же у нас там? Любитель перебирает в памяти все сделанные им снимки и обнаруживает, что у него на двенадцати кадрах тринадцать снимков!

На другой день он бежит смотреть на них, проявленные и отпечатанные.

— Ну, как вышло? — кричит он уже с порога.

— Прекрасно, — отвечает продавец, озаряясь покровительственно-ободряющей улыбкой. — Почти все удачно; только восемь или девять чуть-чуть не того, туманно.

Счастливый создатель снимков перебирает их один за другим дрожащими руками.

— А... на этом вот ничего не видно!

— Пустяки. Вы забыли поднять задвижку, — говорит продавец.

— Ага. А этот... этот удачный, только... только чуть-чуть перекошен.

— Немножко на резкость не навели, — успокаивает продавец.

— Ага... А у этого верхняя половина черная. Отчего это?

— Плохо подняли задвижку.

— А вот совсем черный!

— Это ничего. Видимо, оставили открытым объектив.

— Ага. А это что такое, скажите, пожалуйста?

— Это? Это вы на одну пленку два снимка сделали.

— Ага. А почему вот здесь Иозеф Мах так страшно оскалился?

— Это улыбка, — отвечает продавец тоном знатока. — Но для первых снимков, сударь, изумительно удачно!

III

Один из неисследованных законов оптики гласит, что обычно первые снимки выходят изумительно, но затем дело идет все хуже и хуже. Чем ты становишься опытней и твоя работа профессиональней, тем более хитрые ло-

вушки расставляют тебе наводка на резкость и выдержка, смещение перспективы, фон, блеск очков и прочие оптические явления. Имейте в виду: фотография — настоящий спорт; с нею связаны, во-первых, известное честолюбие и, во-вторых, отчаянный азарт.

Это — спорт такой же волнующий, как охота на тигров или лотерея: то промах, то небывалое везение, то несчастные дни, то целые фильмпаки, осененные благодатью; никогда не знаешь заранее, что будет. Я сильно подозреваю, что тут все дело в каком-то колдовстве или чуде, которое не зависит от нас и совершенно не в нашей власти.

Может быть, оттого, что удачный снимок представляет собой нечто дарованное свыше, нечто сверхъестественное, автор его вправе без всякого стеснения им хвастаться. Я, например, никогда не бегаю и не кричу о том, какую изумительную книгу я написал или как мне удалась какая-нибудь статья; но в то же время без малейших колебаний вытаскиваю из кармана сделанную мной фотографию и громко требую от каждого, чтоб он подтвердил, что она у меня замечательно удачна и что он в жизни не видел такого снимка.

Тут исчезает всякая скромность и благородная сдержанность самооценки: тут, милый, хвали, хвали меня, восхищайся моим талантом! Гордость фотографа по поводу удачного снимка — чувство довольно сложное: человек с фотоаппаратом, с одной стороны, хвастает своим искусством и личным своим достижением, а с другой — добивается похвал своему фотоаппарату и выслушивает их с довольной физиономией, как будто фотоаппарат — составная часть его личного достоинства, чем доказывает, что авторское тщеславие — составная часть тщеславия собственника.

Но бойтесь другой гордости, которая человеку с фотоаппаратом не к лицу: гордости художника. Хороший фотолюбитель — собиратель явлений действительности; подлинная прелесть его снимков заключается в неисчерпаемой красоте реальных предметов, воспроизведенных светом. Или очарование личного контакта. Портреты милых нам людей. Интимность воспоминаний. Все это — гораздо более ценно, чем фабрикация картинок, похожих на нарисованные, имитирование литографии или офорта, погоня за настроением, светотенью и прочими живописными трюками.

Если вы не дорожите и не способны любоваться простой, голой действительностью, лучше не устремляйте на нее своего объектива, которому самим господом богом положено правильно и отчетливо ее отражать (при условии, что вы не забыли сделать надлежащую наводку на резкость).

Не менее своеобразно и отношение фотографируемого к сделанному с него снимку. Самый безропотный чувствует себя болезненно задетым, если лицо его вышло на фотографии недостаточно выразительным или на нем застыла какая-то глуповатая улыбка. И самый отъявленный скептик радуется, видя, что лицо его приобрело на фотографии серьезное, глубокомысленное выражение, отмечено печатью мужественной красоты. Я думаю, дьявол — и тот очень огорчился бы, если бы его фотокарточка выдала все его безобразие и ту низкую роль, которую он играет во вселенной. Отсюда ясно следует, что каждый человек относится к самому себе с нежностью и даже с уважением; что он хочет быть красивым, ярким, способным вызвать любовь с первого взгляда.

Есть люди, которых прямо терзает страх, что они никогда не выйдут на фотографии так, *как им хотелось бы.* И вдруг иной раз получилось, что лицо их глядит со снимка — милое, живое, интересное. Они долго с удовлетворением созерцают это свое лучшее «я», — потом вдруг разражаются:

— Послушайте, да у вас просто чудесный аппарат!

1930

О КАРТИНАХ

Как раз в день торжественного открытия недели изобразительных искусств в газетах появилось одно из тех сообщений, с которыми мы встречаемся все чаще и чаще. Некий коллекционер приобрел старинную картину, чья подлинность была установлена опытными экспертами; тем не менее картина оказалась подделкой, и коллекционер потерпел убыток в сумме двадцати семи тысяч чешских крон.

По природе я не злораден. Но, читая сообщения об обманутых собирателях полотен знаменитых старых масте-

ров, я не в силах отделаться от чувства, которое можно выразить словами: так им и надо. Они пострадали из-за того, что задались целью покупать картины старые и знаменитые. А пойди они в мастерскую какого-нибудь художника, еще не успевшего стать знаменитым покойником, и унеси оттуда под мышкой какую-нибудь его картину, у них была бы хоть уверенность, что картина и подпись на ней — подлинные. Покупать непосредственно у художников или, во всяком случае, при их жизни, — вот самый простой способ оградить себя от подделок. Кроме того, это самый простой способ поддерживать изобразительные искусства, чтобы художники могли жить и творить. Кто покупает только старые картины, тот кормит одних торговцев, агентов и спекулянтов старыми картинами. Спору нет: они тоже хотят жить, но искусству, подлинному искусству от этого ни тепло, ни холодно.

Читая биографии тех старых мастеров, чьи произведения нынче благодаря их стоимости имеет смысл подделывать, мы убеждаемся, что обычно при жизни этих художников на их картины не было такого спроса и что им даже не снились те суммы, которые платят за эти картины теперь. Миколаш Алеш получил за свои классические рисунки по гульдену либо оплачивал ими свои счета в трактире. Если бы тогда нашелся коллекционер, который давал Алешу хоть пятую часть того, что платят за его картины теперь, покойный Алеш мог бы жить иначе и творить свободней, а не выполнять заказы, часто совершенно нелепые.

Все дело в том, что большинство так называемых коллекционеров, по существу, не понимают искусства и не имеют к нему серьезного, чуткого подхода; они не решаются судить о художественной ценности произведений живого автора и боятся сделать неудачную покупку. При жизни Навратила никто не ценил его картины на вес золота, так как в них не видели ничего выдающегося. А теперь Навратил котируется, как акции Смиховского пивоваренного завода, и покупается примерно с той же целью: поместить капитал да, быть может, еще и нажиться в случае повышения в цене. Покупая Навратила, ничем не рискуешь — разве только наткнуться на подделку; а выбирать среди современных картин — тут, друзья мои, требуется немного художественного чутья и способность угадывать талант, еще не получивший официально

установленной музейной оценки. Может быть, вот этот молодой мастер, у которого в данный момент ни гроша за душой, лет через пятьдесят после своей смерти станет знаменитым старым мастером, за поддельные картины которого коллекционеры будут платить десятки тысяч крон; а пока что — картины его идут по нескольку сотенных, и это уже дает ему возможность жить и писать.

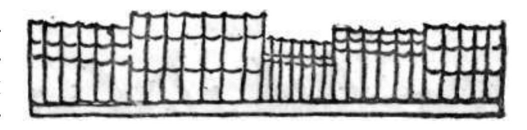
Но, понятное дело, гораздо эффектней указывать на стену: дескать, вот тут у меня Пипенгаген, а тут ранний рисунок Чермака, — нежели говорить: это один ныне здравствующий художник, и голову даю на отсечение — картина хорошая.

У нас до сих пор не нашлось ни Третьякова, ни Щукина, ни Немеса, ни Камондо, ни как еще там эти великие коллекционеры зовутся — которые, обладая вкусом и уменьем ориентироваться в развитии современного изобразительного искусства, собирали бы воедино выдающиеся художественные ценности и в то же время несли бы по отношению к создающим эти ценности художникам функцию мецената — или нет, нечто еще более нужное: функцию сочувственной культурной среды, избавляющей художника от необходимости творить в атмосфере безразличия и непонимания. Для развития искусства, создаваемого ныне здравствующими художниками, необходимо наличие людей, им интересующихся, а не коллекционеров, гоняющихся за ценностями, созданными рукой давно умерших, за аттестациями и экспертизами, вместо того чтобы подходить к картине с мерилом, которого не может заменить никакой эксперт, — с непосредственной оценкой ее художественных достоинств.

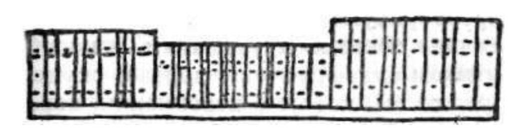
1934

ЧЕРТ БЫ ИХ ПОБРАЛ!

Даже самый аккуратный человек (как, например, я) иногда, хоть раз в жизни, бывает вынужден, — как правило, внешними обстоятельствами, — проникнуть в заросли дремучего девственного леса, полного бурелома, поваленных великанов, гниющей древесины и опавших листьев; я имею в виду — в свою собственную библиотеку. Ему приходится извлечь оттуда все свои фолианты, тома,

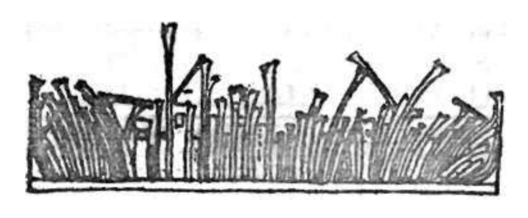


брошюрки и тетрадки, патентованным пылесосом собственных легких очистить их от пыли и в фанатическом порыве страсти к систематизации худо-бедно их рассортировать. С какими приключениями он при этом встретится и что переживет — составило бы предмет особого разговора; наша задача — рассказать подробно об отчаянных попытках нашего аккуратного человека снова водрузить книги на полки и упорядочить их хоть немножко с учетом содержания. Прежде всего, как само собой разумеется, он поставит рядами большие книги в переплетах: энциклопедический «Научный словарь» Отто, и «Жизнь животных» Брема, и «Историю» Палацкого, и прочие солидные тома, — работа приятная и благодарная, все равно что ставить рядами солдатиков. Потом очень хорошо уставляется французская литература: зеленые книжицы издания Алькана и Фламмариона, желтые «Меркюр де Франс», белые «Нувель ревю», оранжевые Кальмана Леви, будто армии в разной униформе, но одного размера; ну просто радость ставить их на полки. А потом идут книги английские, почти все в переплетах с золотыми корешками, ростом невеликие, но удобные. А затем следует главное войско — ядро, центр, видавшие виды ветераны домашних битв: чешские книги.



И черт бы их побрал всех скопом: писателей, чешских издателей, чешских бумажников, и я не знаю кого еще. Черт бы их побрал за то, что они думают о чем угодно, только не о том, что книжка в конечном счете должна попасть в книжный шкаф; она должна стоять там в ряду других; и она должна туда влезать и не должна там теряться, и вообще должна как-то осознавать свой статус, обеспеченный ей до конца дней в систематизированной и доступной для граждан библиотеке.

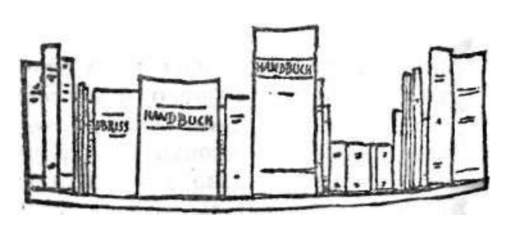
А тут один поэт выжал из себя дюжину стишат и спешит их тиснуть на формате 30х25 см — получилась тетрадочка



тощая, как блин, и широкая, как альбом; всунь ее между больших книг, и она исчезнет с глаз твоих навеки; поставь ее среди книг поменьше, и у нее сразу же загнутся углы и макушка. Она никуда не помещается и всюду мешает, всюду выставляет свое тощее убожество, ломается, короче, черт бы ее побрал. А другой поэт, очевидно, полагая, что его книжицу ты будешь до смерти носить с собой в жилетном кармане, вместил плоды своего труда в томик 6 х 4 см; и вот ищи теперь для него место в шкафу. А иной литератор испытывает пристрастие к высокому и узкому формату, другой же — к низенькому и широкому, у третьего что ни книжка, то новый издатель, у четвертого что ни томик, то новый — символически! — формат. Я бы назначил специальную премию тому, кто сумеет изящно составить в ряд все старые сочинения Виктора Дыка или вышедшие до сего дня творения Отокара Фишера. Целый божий день ты можешь пытаться разместить в шкафу чешскую литературу, а потом в отчаянии сядешь на пол и видишь, что перед тобой скорее груда соломы, куча бумаги, чем упорядоченная библиотека.

В самом деле, чешскую литературу, по-видимому, почти повсеместно характеризуют две черты:

1) любовь к ужасающе тонким тетрадочкам — подобным сморщенным ломтикам сухофруктов с дерева, скудно плодоносящего; к тетрадочкам, которые невозможно переплести с чем-нибудь еще и которые поэтому обречены на медленное превращение в сухую листву;



2) пристрастие к слишком большим или малым форматам, коротким и широким, высоким и чахоточно-узким, но неизменно, насколько только возможно, неудобным и несопоставимым. В отличие от этого, французов, напри-

мер, характеризует тенденция не издавать книгу до тех пор, пока она не наберет приличный, ну хотя бы стопятидесятистраничный, объем, а затем ее издают в определенном унифицированном или хотя бы практически удобном формате, который позволяет при чтении спокойно держать книгу в руках, а после чтения так же спокойно поставить ее на полку, где она не будет торчать выше всех, но и не затеряется среди других. Ну что ж, по-видимому, это и есть тот самый французский рационализм, противный западный практицизм, в то время как у нас...

...Но когда вам придется приводить в порядок свою библиотеку, у вас невольно вырвется это «черт бы их побрал», и вы вздохнете — ну когда же наконец наши авторы и издатели вспомнят о читателе и его любви к порядку; когда уразумеют, что нормальное место книги — на книжной полке, а там ей никак не повредит некая разумная толщина и определенный, не превышающий разумных пределов рост, при котором меньше страдают и книги и читатели. По-моему, тут не так уж трудно договориться.

1922

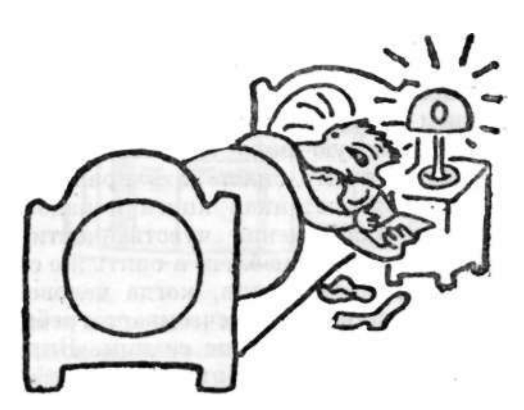
ЧТО КОГДА ЧИТАЕТСЯ

Нередко мы пристаем к своим ближним с трафаретным вопросом — назовите вашу любимую книгу. Как и большинство трафаретных вопросов, этот отличается удивительной неточностью. Правильнее было бы спросить; какую книгу вы любите читать в той или иной жизненной ситуации? Не подлежит сомнению, что один и тот же человек в разные периоды жизни отдает предпочтение разным книгам: так, одна книга привлечет его в счастливую эпическую пору мальчишества, когда он раздумывает, то ли ему смастерить пращу, то ли приняться за роман Кервуда; иная книга понадобится в годы отроческого пробуждения чувственности; но уже другая — если он по уши влюблен; и опять же совсем не та в течение всей остальной жизни, когда человек постепенно становится солидным и расчесывает гребнем сначала первые, а затем и последующие седины. Впрочем, все это старо, как мир, и остается лишь удивляться, почему, раз уж



издаются книги для детей и подростков, никто до сих пор не додумался издавать книги с таким же точным указанием, что они адресованы молодым ослам или старым хрычам, разведенным дамам или брюзгливым холостякам. Но даже если не учитывать возрастной градации, все равно любая книга, пускай хоть самая лучшая, не универсальна. Например, Библия никак не подойдет для дорожного чтения. В приемной зубного врача едва ли кто-нибудь разложит томики стихов в расчете на то, что они помогут пациентам скоротать томительные минуты. К утреннему кофе берут не «Отверженных» Гюго, а скорее газету.

Вообще я бы сказал, что утро как-то не подходит для чтения. По утрам это занятие кажется пустой тратой времени. И только по мере того, как день клонится к вечеру, у людей начинает проявляться и постепенно возрастает тяга к чтению, чаще всего достигая апогея к ночи. Словом, читатель принадлежит к разряду ночных животных, и потому его эмблемой должна быть сова, а ни в коем случае не какая-нибудь там курица или утка (последние скорее подходили бы как символ читательской ненасытности). Только газеты предназначены для утреннего читателя, жующе-



го сдобную булочку или висящего на поручне в битном набитом трамвае; можно сказать, что газета — это парус, под которым человек вплывает в божий день. В отличие от газеты, журнал принято читать после обеда, тогда как книга, подобно любви или кутежу, обычно откладывается на ночь.

Но все это станет значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд, если принять во внимание различные жизненные обстоятельства. Возьмем конкретный пример: ты порядком вымотался за день, и чтение для тебя вроде доброго куска мяса, — тут уж не до деликатесов, просто хочется по-богатырски набить утробу, как дровосеку после работы, и ты начинаешь поглощать какой-нибудь объемистый роман с основательно закрученным сюжетом, лучше всего — уголовный, а нет уголовного — так приключенческий, предпочтительно с морской тематикой. В случае умеренной хандры, переутомления, равно как и под бременем забот, можно читать роман экзотический, исторический или же утопический, главным образом по той причине, что самому-то тебе нет никакого дела до всех этих далеких стран и эпох. Неожиданно заболев, мы жаждем чтения в высшей степени возбуждающего и увлекательного, без сентиментальности, но непременно с благополучным концом; короче, здесь будет как нельзя более к месту детективный роман. Если же болезнь хроническая, откладываешь даже детектив. Хочется чего-нибудь благодушного и положительного. Скорее всего нас удовлетворит Диккенс. Внимательный читатель, видимо, уже заметил, что Диккенс или Гоголь вообще способствуют улучшению аппетита. Мне еще не довелось испытать, какой книге отдаешь предпочтение на смертном одре; но меня заверяли, что в тюрьме, особенно когда твоя жизнь висит на волоске, невозможно по-настоящему переварить Достоевского и даже Ирасека, говорят, будто in carcere et catenis [1] самое большое удовольствие могут доставить «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера» или, к примеру, «Красное и черное» Стендаля.

По воскресным дням охотнее всего читают эссе, хотя бы потому, что они способствуют погружению в умеренную праздничную скуку; далее произведения классические, знание которых обязательно для всякого образованного

---

[1] в темницах и оковах (*лат.*).



человека; вообще, читая в воскресенье, вы совершаете подвиг добродетели, тогда как в будни это представляется чем-то безнравственным, вроде обжорства. Самое подходящее чтение для дачи — старые календари или журналы «Наша охота» и «Гостеприимный хозяин», если вы найдете их в местном трактире; а если их не окажется, то, на худой конец, вы будете в состоянии взяться даже за «Деревню». Осенью лучше всего читается Анатоль Франс, очевидно, в силу своей особой зрелости; зимой согреваешься любым чтивом, вплоть до пухлых психологических романов, от которых летом бежал как от чумы. Толстые романы вообще хороши в непогоду и метель: чем сильней ненастье — тем толще роман. В постели как-то плохо идут стихи, постель — царство прозы; стихи же обычно читают, примостившись на самом краешке стула, словно птичка на ветке. На ходу можно проглядывать путеводитель, газету или последние главы увлекательного романа, а также памфлеты на злобу дня. У кого болит зуб, тот берется за романтику, которой пренебрег бы при насморке. Если же вы чего-то с нетерпением ожидаете (письма или визита), тут придутся кстати короткие рассказы. Например, Чехов.

Есть еще, кроме того, превеликое множество книжек, по поводу которых затрудняешься сказать, когда и при каких особых обстоятельствах их вообще можно осилить; до сих пор не могу в этом разобраться.

1927

КАК ЧИТАЮТ КНИГИ

Как известно, человек, читающий книгу, уносится мыслью в иные края и переживает судьбы иных людей, ну, например, судьбу Горнозаводчика или Человека, который смеется; в результате он стремится избавиться от собственной телесности, которая приковывает его физически к его месту и его личной судьбе.

Это означает, что человек, который читает, усаживается или укладывается как можно удобней, чтобы его телесность ему не мешала и не отвлекала его. Потому случается, что внимательный читатель кладет ноги на стол, или подпирает подбородок ладонью, или позволяет себе неосознанно еще какое-нибудь недозволенно-комфортабельное положение; короче говоря, он укладывает свое грешное и обременительное тело так, чтобы оно оставило его в покое и не заявляло о своих правах. Потому-то большинство людей и читает, например, в постели. И это не потому, что чтение — любимое занятие лежебок, а потому, что положение лежа — излюбленная поза читателей. Читатель в трамвае висит, держась за поручень, как спелая и сочная груша. Читатель в поезде проявляет тенденцию класть ноги на противоположное сиденье или на колени своим спутникам. У некоторых людей диван, кушетка, софа или шезлонг вызывают любовные ассоциации; во мне же эти предметы благосостояния рождают ассоциации читательские. Нация, потребляющая максимум чтива, —





англичане; поэтому они создали самые удобные кресла на земле. Английское производство романов находится в прямом отношении с промышленностью, производящей мягкую мебель. Я еще не встречал человека, который читал бы, держа в руке гантель или прыгая на одной ножке. Лишь при исключительно неблагоприятных условиях люди читают стоя. Человек в процессе чтения потребляет уйму равновесия и стабильности, поэтому его центр тяжести должен иметь весьма солидную точку опоры.

Конечно, есть разные взгляды на удобство. Мальчишкой я обожал читать, лежа на животе под кроватью, когда дело касалось трудной и запретной литературы; а книжки приключенческие и про путешествия я лучше всего воспринимал, качаясь на суку прекрасного ясеня, с кроной, подобной джунглям. «Хижину дяди Тома» я читал под стропилами чердака, а «Трех мушкетеров» — верхом на заборе. Самое сильное читательское переживание связано у меня с сидением, согнувшись в три погибели, на верхней перекладине стремянки, но что это была за книга, уже не припомню. Сегодня я бы вряд ли отважился на такие воль-





ные упражнения; да и круг чтения у меня с тех пор несколько усложнился, и я уж не знаю, в какой позе следовало бы мне читать, ну, скажем, «Историю жирондистов» Ламартина или сочинения Фрейда.

Человек, который читает, ищет уединения; прежде всего, наверное, потому, что в эту минуту он безоружен перед лицом любого из своих ближних, а во-вторых, потому, что чтение есть действие в высшей мере антиобщественное. Если кто-нибудь рядом с вами погрузился в чтение книжки, то считайте, что его нет подле вас — он где-то в другом месте; он никак не связан с вами — он общается с другими людьми. Читающий человек всегда как-то раздражает того, кто в данный момент не читает; тот, который читает, усмехается или хмурит брови, а вы не знаете почему; он так страшно чужд вам, что вы уже начинаете размышлять на тему, что бы такое сделать *ему* нехорошее за его оскорбительную недружелюбность. А посему ты, желающий предаться чтению, останься в строгом одиночестве; так будет безопаснее. Именно в силу этого люди с сильно развитым семейным инстинктом любят читать вслух: они смутно ощущают, что, читая про себя и только для себя, они выпали бы из круга семьи.

При всем уважении к литературе следует признать: книга, которую мы только что дочитали, вызывает в нас легкое чувство отвращения — как тарелка, с которой мы кончили есть. Мы убираем ее, чтобы она не мозолила нам глаза. Лишь очень безалаберные люди, вроде меня, бросают прочитанные книги там, где их захлопнули. Но ничем мы не дорожим меньше, чем прочитанными

газетами. Нет страшнее оскорбления, чем сказать кому-нибудь, что он для нас все равно что прочитанная газета.

Исправный читатель разрезает книгу не спеша, ибо при этом он наслаждается; там прочтет два словечка, тут целую фразу и глотает слюнки, как гурман, предварительно оценивающий блюдо, которое ему подают. Когда же он разрезал книгу до конца, он совершает обряд усаживания; он располагается поудобней, вертится во все стороны, пробует положить голову так, а ноги эдак, пока, наконец, не обнаружит... да, вот так хорошо... Просто невероятно, до чего же некоторые люди перекручены, когда читают книжки.

1925

КУДА ДЕВАЮТСЯ КНИГИ

Иной человек, как говорится, ни к чему не может себя пристроить. Такие никчемные создания обычно поступают на службу куда-нибудь в библиотеку или редакцию. Тот факт, что они ищут себе заработок именно там, а не в правлении Живностенского банка или Областном комитете, говорит о неком тяготеющем над ними проклятии. Я тоже одно время принадлежал к таким никчемным созданиям и тоже поступил в одну библиотеку. Правда, карьера моя была весьма непродолжительна и мало успешна: я выдержал там всего две недели. Однако могу все же засвидетельствовать,



что обычное представление о жизни библиотекаря не соответствует действительности. По мнению публики, он весь день лазает вверх и вниз по лесенке, как ангелы в сновидении Иакова, доставая с полок таинственные, чуть не колдовские фолианты, переплетенные в свиную кожу и полные знаний о добре и зле. На деле бывает немного иначе: библиотекарю с книгами вообще не приходится возиться, — разве что измерит формат, проставит на каждой номер и как можно красивей перепишет на карточку титул. Например, на одной карточке:

«Заоралек, Феликс Ян. О травяных вшах, а также о способе борьбы с ними, истреблении их и защите наших плодовых деревьев от всех вредителей, особенно в Младоболеславском округе. Стр. 17. Изд. автора, Млада Болеслав, 1872».

На другой:

«Травяная вошь» — см. *«О тр. в., а также о способе борьбы с ними»* и т. д.

На третьей:

«Плодовые деревья» — см. *«О травяных вшах»* и т. д.

На четвертой:

«Млада Болеслав» — см. *«О травяных вшах и т. д., особенно в Младоболеславском округе».*

Затем все это вписывается в толстенные каталоги, после чего служитель унесет книгу и засунет ее на полку, где ее никогда никто не тронет. Все это необходимо для того, чтобы книга стояла на своем месте.

Так обстоит дело с книгами библиотечными. Книга, принадлежащая частному лицу, наоборот, отличается той особенностью, что никогда не стоит на своем месте. Раз в три года меня охватывает неистовое желание привести свою библиотеку в порядок. Это делается так: нужно снять все книги с полок и навалить их на полу, чтобы рассортировать. Затем берешь из кучи какую-нибудь книгу, садишься куда попало и начинаешь ее читать. На другой день решаешь действовать методически: сперва разложить по кучкам: здесь естествознание, тут философия, там история и не знаю уж, что еще; причем в сотый раз обнаруживаешь, что большая часть книг не относится ни к одной из этих куч; как бы то ни было, оказывается, что к вечеру ты все перемешал. На третий день пробуешь рассортировать как-нибудь по формату. А кончается тем, что берешь в охапку все подряд, как



лежит, и впихиваешь на полки, после чего опять успокаиваешься на три года.

Что касается способа пополнения библиотеки, то он обычно таков. Увидев в книжном магазине какую-нибудь книжку и воскликнув: «Вот эту надо взять!» — торжественно несешь ее домой; там месяц оставляешь ее валяться на столе, чтобы была под руками, потом чаще всего даешь кому-нибудь почитать или в этом роде — и книжка бесследно исчезает. Где-то она, конечно, есть; у меня целая огромная библиотека, которая где-то есть. Книга относится к тем удивительным предметам, которые обычно ведут какое-то полупризрачное существование: они «где-то есть». К этому же разряду вещей принадлежат: одна из двух перчаток, ключи, домашний молоток, воинский билет и вообще все нужные документы. Все это — вещи, которые невозможно найти, но которые, однако, «где-то есть». Если человек недосчитается сотенной бумажки, он не говорит, что она «где-то есть», а говорит, что потерял ее или что ее украли. Но, недосчитываясь, скажем, *«Похождений Антонина Вондрейца»,* я с истинным фатализмом говорю, что они «где-то есть». Понятия не имею, где находится это книжное «где-то», представить себе не могу, куда деваются книги. Думаю, что, когда я попаду на небо (как предсказал мне г-н Гётц), первой райской неожиданностью будут для меня все мои книги, которые теперь «где-то есть» и которые я найду там аккуратно расставленными по содержанию и по формату. Господи, какая это будет огромная библиотека! Представьте же

себе, что было бы, если бы книжки не имели удивительного свойства мало-помалу затериваться! Сколько бы их развелось на белом свете! Держу пари, что они не поместились бы в наших квартирах, даже если использовать чердаки и подвалы. К счастью, книги наделены замечательной способностью постепенно исчезать и «быть где-то», вне опасности, что мы их обнаружим.

Книг не выбрасывают и не сжигают в печке. Их исчезновение окружено тайной. Они «где-то есть».

1926

Комментарии



В настоящий том включены произведения Чапека, связанные с повседневным окружением человека, с его увлечениями и пристрастиями. Считая, что «нужно необыкновенно много обыденного, чтобы люди сблизились и поняли друг друга» [1], он любил писать «о мелочах, о вещах повседневных и незаметных». Он был убежден, что «мир неизвестного начинается на подошвах наших сапог», что большое можно открыть и в малом, необыкновенное — в обыкновенном. Имея в виду эту особенность таланта писателя, Юлиус Фучик говорил, что он обладает даром двойного зрения.

Многое в этом томе подсказано собственными хобби Чапека — его увлечениями садоводством, фотографией, кинологией, коллекционированием кактусов, ковров, картин и книг.

Чапеку было свойственно внимание не только к малым вещам, но и к маленькому человеку, ребенку. Само наше нежное чувство ко всему малому он был склонен считать пережитком детства («Малое и большое»). Детская способность удивляться обыденному, одухотворять, как в сказке, природу и вещи, строить самые фантастические и часто наивно-комические предположения — характерные черты мировосприятия и художественной манеры Чапека-очеркиста. А в его сказках традиционные принцессы и разбойники, водяные и драконы живут рядом с самыми обыкновенными людьми: почтальонами, докторами, полицейскими — и в самом что ни на есть реальном и современном мире. Иронизируя над теми, кто упрекал его в том, что он тратит талант на повествование о кошках, щенках или цветах, Чапек писал, что «такая недостойная деятельность порою становится литературой мирового уровня». [2] Особое же значение он придавал ей, думая о детском читателе, которому адресованы «Девять сказок» и «Дашенька, или История щенячьей жизни». «Я... серьезно считаю, — утверждал он, — что не является чем-то недостойным писать для детей, но весьма недостойно писать для них плохо». [3]

---

[1] K. Čapek. Boží muka. Trapné povídky. Praha, 1958, s. 72.
[2] K. Čapek. Poznámky o tvorbě. Praha, 1959, s. 98.
[3] Там же, s. 100.

Год садовода

Чапек в шутку говорил, что начал заниматься садоводством, точно так же, как и фотолюбительством, дабы доказать родным и друзьям, что он не такой уж неловкий и неприспособленный к физическому труду человек. Однако он придавал этому и более серьезное значение: «Садик у вашего дома — это такое же свидетельство вашей культуры, как ваша квартира или ваша библиотека...» [1] Вскоре он стал настолько знающим садоводом и коллекционером растений, что даже рецензировал специальные ботанические труды.

С весны 1925 года Чапек печатает в газете «Лидове новины» юморески «Как разбивать сады» (19 мая 1925 г.), «Благодатный дождь» (31 мая 1925 г.), «О красотах осени» (10 ноября 1925 г.), «Почки» (2 апреля 1926 г.), «Об искусстве садовода» (25 апреля 1926 г.), «Семена» (23 июля 1926 г.), «Почва» (6 февраля 1927 г.), «Праздник» (1 мая 1927 г.), «Глава ботаническая» (7 августа 1927 г.), «Приготовления» (6 ноября 1927 г.), а 27 ноября 1927 года в той же газете публикует фельетон «Декабрь садовода», и затем каждый месяц, до 18 ноября 1928 года, Чапек помещает на ее страницах «месячный отчет» о жизни садовода, построенный на автобиографическом материале. Для первого книжного издания «Года садовода», которое вышло в 1929 году в пражском издательстве «Авентинум», были специально написаны главы «Как получается садовод», «Об огородниках», «О любителях кактусов», «О жизни садовода». Глава «О любителях кактусов» была опубликована 1 декабря 1928 года в журнале «Пестры тыден».

Стр. 27. ... *дождь на Медарда.* — По примете, если в день святого Медарда (8 июля) идет дождь, то дождливая погода продлится еще сорок дней.

Стр. 43. *Летна* — плоская возвышенность на левом берегу реки Влтавы в черте Праги, где находится плац для проведения парадов, стадионы и сады.

Стр. 55. *Энглиш* Карел (1880—1961) — чешский экономист и политик, министр финансов в ряде правительств буржуазной Чехословакии.

Стр. 58. *Лидова партия* — чешская католическая партия.

Стр. 80. *Новак* Арне (1880—1939) — чешский критик и историк

---

[1] K. Čapek. Věci kolem nás. Praha, 1970, s. 105.

литературы, профессор Брненского университета; с консервативных позиций выступал в защиту «национальных корней» в литературе.

Неедлы Зденек (1878—1962) — выдающийся чешский ученый (историк, музыколог, литературовед) и общественно-государственный деятель.

Сказки

К жанру сказки Карел Чапек впервые обратился в 1918 году, когда в изданной по его инициативе книге «Короб сказок» приняли участие многие видные чешские писатели, а сам он сочинил «Большую кошачью сказку». Остальные сказки были написаны им для детских страничек и рождественских приложений газет, в которых он сотрудничал. Местом действия большинства сказок писатель выбрал родной подкрконошский край, топографию которого он воспроизводит очень точно. Среди действующих лиц мы находим людей, близких Чапеку.

Включенные в настоящее издание сказки Чапека публиковались в такой хронологической последовательности: «Собачья сказка» — «Народни листы детям», 25 ноября 1919 г.; «Разбойничья сказка» (первоначальное название — «Сказка о вежливом разбойнике») — «Лидове новины», 24 декабря 1921 г.; «Сказка про водяных» — «Лидове новины», 25 декабря 1923 г.; «Бродяжья сказка» (первоначальное название — «Король Франтишек») — «Лидове новины», 25 декабря 1924 г.; «Птичья сказка» — «Лидове новины», 8 июня 1930 г.; «Большая полицейская сказка» — «Лидове новины», 14 сентября 1930 г.; «Почтальонская сказка» — «Лидове новины», 4октября 1931 г.; «Большая докторская сказка» — «Лидове новины», 15 ноября 1931 г.

Все эти сказки вошли в книгу: Карел Чапек. Девять сказок и еще одна, написанная Иозефом Чапеком, в придачу. Прага, Франтишек Боровы, «Авентинум», 1932.

Перевод выполнен по тексту издания: K. Čapek. Devatero pohádek, 1954.

Большая кошачья сказка

Стр. 104. *Винограды* — район Праги.

Стр. 105. *Страшнице* — предместье Праги.

Собачья сказка

Стр. 132. *Шулитка.* — Так действительно звали кучера Карела Новотного (1837—1900), торговца хлебом, пекаря и мельника в городе Гронове, деда Карела Чапека по материнской линии.

Стр. 134. *Элена* (Хелена) Новотна (1841—1912) — бабушка писателя по материнской линии.

Птичья сказка

Стр. 141. *Дейвице* — район Праги.

Стр. 142. *Кардашова Ржечице* — село в южной Чехии.

Стр. 143. *«Словакия», «Спарта»* — популярные пражские спортивные клубы, известные своими футбольными командами.

Стр. 145. *Карлштейнский ворон* — старый ворон, который якобы жил в замке Карлштейн (XIV в.); чешский писатель Вацлав Бенеш-Тршебизский (1849—1884) издал сборник исторических новелл «Рассказы карлштейнского ворона» (1884); чешский художник Микулаш Алеш (1852—1913) изобразил этого ворона на обложках и переплетах «Собрания сочинений Вацлава Бенеша-Тршебизского», выходившего в издательстве Ф. Топича.

Сказка про водяных

Стр. 147. *Упа.* — В долине реки Упы проходило детство К. Чапека.

Стр. 148. *Градец Кралове* — город в северо-восточной Чехии, где К. Чапек в 1901—1905 гг. учился в гимназии.

Разбойничья сказка

Стр. 160. *Бабинский* Вацлав (1796—1879) — легендарный чешский разбойник, герои многих романов «для народа» и ярмарочных песен.

Стр. 161. *Ринальдо Ринальдини* — герой романа немецкого писателя Христиана Августа Вульпиуса (1762—1827) «Ринальдо Ринальдини, предводитель разбойников» (1797).

Бродяжья сказка

Стр. 165. *Хиже.* — Весной и летом 1917 г. К. Чапек был домашним воспитателем у графа Лажанского в замке Хише в западной Чехии, название которого он здесь несколько изменил.

...к моему дедушке в Жернове... — Дед К. Чапека по отцовской линии Иозеф Антонин Чапек (1824 — 1907) был крестьянином в село Жернов близ города Ческа Скалице.

Стр. 166. *...к старому пану Проузе...* — Проуза — владелец бакалейной лавочки в Упице, на той же улице, где стоял дом родителей К. Чапека.

Стр. 169. *Сыхров* — промышленная окраина города Упице.

Большая полицейская сказка

Стр. 177. *Стромовка* — парк в Праге.

Стршешовице — пражское предместье.

Мала Страна — пражский район.

Стр. 178. *Жижков* — рабочий район Праги.

Еврейские печи — пустошь на окраине Праги, место отдыха жижковской бедноты.

Стр. 182. *Забеглице* — предместье Праги.

Стр. 186. *Боско* Бартоломео (1793—1862) — итальянский фокусник.

Были у меня собака и кошка

Книга «Были у меня собака и кошка», объединившая «документальные» юморески Чапека о Минде, Ирис, Дашеньке, коте Вашеке, кошке Скромнице и других кошках и собаках, вышла в 1939 году в издательстве Ф. Борового.

Вошедшие в настоящее издание юморески первоначально печатались в периодике: «С точки зрения кошки» — в журнале «Небойса», 3 июля 1919 г.; все остальные произведения этого раздела публиковались в газете «Лидове новины»: «Кошка» — 18 января 1925 г.; «Кошачья весна» — 29 марта 1925 г.; «Минда, или О собаководстве» — 21 ноября 1926 г., 27 февраля и 24 апреля 1927 г.; «Материнство» — 3 апреля 1928 г.; «О бессмертной кошке» — 18 августа 1929 г.; «Ирис» — 28 августа 1929 г. и 4 мая 1930 г.; «Собака и кошка» — 24 апреля 1932 г.; «Дашенька, или История щенячьей жизни» — с 11 сентября по 16 октября 1932 г. «Минда, или О собаководстве» была также издана с рисунками Иозефа Чапека отдельной книгой «Обществом чешских библиофилов» (Прага, 1930).

В рецензии на книгу «Дашенька, или История щенячьей жизни» (Прага, издательство Ф. Борового, 1933) известная чешская писательница Мария Майерова отмечала: «Пристрастие Карела Чапека к народной речи, к народным присловьям и его стремление реабилитировать многие слишком общеупотребительные слова, вернуть им

прежний выразительный, сочный и полновесный смысл привило современного драматурга и романиста прямой дорогой к детям. Ибо прежде всего и особенно с детьми и именно с детьми нужно говорить ясно, просто и все же словами несколько иными, чем те, какие они слышат в тысячах вариантов будничного обихода... эта детская книга написана с такой же художественной серьезностью и ответственностью, как и каждая книга Чапека. В ней нет слова лишнего...»[1]

Минда, или О собаководстве

Иллюстрации к очерку сделаны И. Чапеком.

Стр. 234. *Гаскова* Здена (1878—1946) — чешская журналистка и писательница, театральный критик газет «Пражске новины» и «Чехословенска республика».

Гилар Карел Гуго (1884—1935) — чешский писатель, театровед, выдающийся режиссер; постановщик пьес братьев Чапеков «Из жизни насекомых» (1922) и «Адам-творец» (1927) в пражском Национальном театре.

Стр. 237. *Отакар Бржезина* (1868—1929) — видный чешский поэт-символист; Чапек высоко ценил его творчество.

Стр. 239. *Школа Далькроза* — система ритмического воспитания, основанная на соединении пластического движения и музыки; создана швейцарским композитором и музыкальным педагогом Эмилем Жак-Далькрозом (1865—1950).

Дашенька, или История щенячьей жизни

Иллюстрации к очерку сделаны К. Чапеком.

Стр. 249. *Копта* Иозеф (1894—1962) — чешский прозаик; был в дружеских отношениях с братьями Чапеками.

О бессмертной кошке

Иллюстрации к очерку сделаны автором.

Календарь

Книга Карела Чапека «Календарь» впервые вышла в издательство Франтишека Borового в 1940 году. Название ее и замысел принадлежат самому Чапеку, который собрал и выправил газетные

[1] M. M. Karel Čapek. Dášeňka čili život štěněte. «Čin», 1932—1933, s. 371.

вырезки с заметками и юморесками, посвященными временам года. Вырезки эти охватывают период с 1919 по 1938 год. Издатель книги д-р Мирослав Галик лишь дополнил ее еще несколькими очерками с соответствующей тематикой и в соответствии с авторским намерением включил в нее двенадцать очерков из книги «О самых близких вещах» (1925).

Переводы выполнены по тексту книги: K. Čapek. Kalendář. Zahradníkův rok. Praha, Československy spisovatel, 1959.

Очерк «Об исследовании зимы» из этого цикла переведен О. Малевичем, остальные — В. Мартемьяновой.

За городом

Стр. 311. *Арктур* — звезда в созвездии Волопаса, одна из самых ярких звезд северного полушария неба. *Альтаир* — самая яркая звезда созвездия Орла. *Альбирео* — двойная звезда в созвездии Лебедя.

Збраслав — городок близ Праги.

Лионское заведение — крупнейший пражский магазин, торговавший шелковыми тканями.

Воскресенье

Стр. 313. *...на Сватоянских порогах...* — Имеются в виду бывшие пороги на реке Влтаве к югу от Праги у городка Штеховице.

Дивока Шарка — природный парк на северо-западной окраине Праги.

Воскресный день на городской окраине

Стр. 320. *Смихов, Карлин* — промышленные районы Праги.

...предоставить миру идти... возле... — Намек на поэтический сборник чешского поэта Ярослава Врхлицкого (1853—1912) «Я предоставил миру идти возле» (1902).

Пардубице — город в восточной Чехии.

Поезд

Стр. 321. *Весели* — здесь: Весели-над-Лужницей, небольшой город в южной Чехии.

Богдалец, Гостиварж. — Богдалец — холм в юго-восточной части Праги. Гостиварж — в 20-е годы поселок к юго-востоку от Праги, ныне — ее предместье.

Осенние дни

Впервые опубликовано 11 декабря 1938 года, после Мюнхенского сговора великих держав (29 сентября 1938 г.), когда от Чехословакии были отторгнуты пограничные районы, а внутри страны установился профашистский реакционный режим.

О людях

Книга Карела Чапека «О людях» с иллюстрациями Иозефа Чапека и Цирила Боуды (род. в 1901 г.) впервые вышла в пражском издательстве Франтишека Борового в 1940 году. Материалом для нее послужили газетные вырезки, которые автор хранил в конверте с надписью «О людях». Издатель книги д-р Мирослав Галик дополнил ее другими очерками Чапека со сходной тематикой. Все они, кроме очерка «Домашняя жизнь», опубликованного 31 декабря 1927 года в журнале «Пестры тыден», первоначально печатались на страницах газеты «Лидове новины».

Переводы выполнены по тексту книги: K. Čapek. Jak se co dělá. O lidech. Čs. spisovatel. Praha, 1960.

Люди в доме

Стр. 345. *«Ческе слово»* — центральный орган мелкобуржуазной чехословацкой национально-социалистической партии; газета выходила с 1907 по 1945 г.

Инструкция, как болеть

Стр. 351. *...с древней Галлией... разделенной на три части...* — «Галлия делится на три части» — начало «Записок о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря (102 или 100 — 44 гг. до н. э.).

О воспалении надкостницы

Стр. 361. *Гискар* Роберт (1015—1085) — предводитель норманнов, осуществивших захват части южной Италии; герой одноименной трагедии немецкого драматурга Генриха фон Клейста (1777—1811).

Похвала растяпам

Стр. 366. *Глупый Гонза* — чешский сказочный герой, соответствующий русскому Иванушке-дурачку.

Почта

Стр. 373. ... *я направляюсь на Индржиишскую улицу...* — На Индржишской улице в Праге находится главный почтамт.

Молодое поколение

Стр. 384. *Егерские рубашки...* — Рубашки из чистой шерсти, производились по предложению немецкого естествоиспытателя и врача Густава Егера (1832—1916).

Воронов Сергей Александрович (1866—1951) — русский врач, с восемнадцати лет живший во Франции; разработал метод омоложения с помощью пересадки половых желез обезьян, который оказался малоэффективным.

Тайна

Стр. 385. *Амфиктиония* — религиозно-политический союз в Древней Греции.

Что-нибудь новое

Стр. 390. *«Славия», «Унионка»* («Унион») — пражские кафе.

Стр. 391. *«Гнев, о богиня, воспой...»* — начало первой песни «Илиады».

О человеческом любопытстве

Стр. 394. *...последних выборов...* — то есть выборов в апреле 1920 г.

Гербен Ян (1857—1936) — чешский писатель и журналист, в 1920 г. был избран в сенат от национально-демократической партии.

Ванек Иозеф — депутат нижней палаты чехословацкого парламента от национально-социалистической партии.

Вотруба Вилем (1870—1939) — депутат нижней палаты чехословацкого парламента (позднее сенатор) от национально-демократической партии.

Стр. 395. *Высочаны* — окраинный район Праги.

Существуют ли духи?

Стр. 396. *...даже* (*вопреки противоположному мнению Шоу*) *и умереть...* — Намек на драматическую пенталогию Шоу «Назад к Мафусаилу» (1918—1920), где недостатки общественного миро-

устройства объясняются краткостью человеческой жизни и ставится задача продлить человеческий век до трехсот лет.

Жижка Ян (1378—1424) — великий чешский полководец, военный предводитель гуситов.

Стр. 397. *Блаватская* Елена Петровна (1831—1891) — русская путешественница и писательница, пропагандистка восточного мистицизма и оккультных наук, в 1875 г. основала в Лондоне Теософическое общество.

Вещи вокруг нас

Очерки о вещах, окружающих человека, Карел Чапек собрал впервые в книге «О самых близких вещах» (Прага, «Авентинум», 1925). Позднее писатель намеревался разбить изданные в этой книге очерки на отдельные тематические циклы и, дополнив их, выпустить отдельными книгами. Вырезки для одной из таких книг хранились в конверте с надписью «Вещи». Издатель посмертного собрания сочинений братьев Чапеков д-р Мирослав Галик на основе этих материалов подготовил книгу «Вещи вокруг нас» (Прага, «Чехословацкий писатель», 1954), куда включил и девять очерков из сборника «О самых близких вещах», в том числе вошедшие в данный раздел очерки «Карта», «Восток», «Коробка спичек», «Пылающее сердце дома», «Изобретение». Юмореска «Куда деваются книги» вышла отдельным изданием для библиофилов (Брно, Алоис Фосек, 1928). Для подобного же издания д-р М. Галик отобрал очерки о читателях и книгах (Карел Чапек. О книгах и читателях. С рисунками Иозефа Чапека. Прага, Ф. Боровы, 1941). Впервые почти все очерки К. Чапека «о самых близких вещах» печатались на страницах газеты «Лидове новины», исключения будут оговорены особо.

Переводы выполнены по тексту издания 1954 года.

Малое и большое

Стр. 401. *Испанский зал* — парадный зал пражского Града (Кремля), построен в конце XVI в.

Сватовитский храм — пражский кафедральный собор святого Вита, находящийся в Граде (построен в XIV—XV вв., достроен в конце XIX в. — начале XX в.).

Карта

Стр. 403. *Вацлавице* — деревня близ города Бенешова к юго-востоку от Праги.

Полице — Полице-над-Метуей, город в северо-восточной Чехии.

О старых письмах

Стр. 408. *...«где Ничто»...* — Слова из поэмы «Май» (1836) чешского поэта-романтика К.- Г. Махи (1810—1836).

Похвала материи

Впервые опубликовано в журнале «Бытова культура», 1924, № 10.

Стр. 418. *Градчаны* — пражский район, примыкающий к Граду (Кремлю).

Изобретение

Стр. 420. *Флейшнер* Индржих (1879—1922) — чешский инженер и публицист, автор книг «Храм труда» (1920), «Техническая культура» (1922) и др.; К. Чапек полемизирует с этим «философствующим техником», верящим, что «технический прогресс спасет мир», в рецензии на его книгу «Храм труда» («Народни листы», 7 мая 1920 г.).

Самолет

Стр. 422. *Хухле* — дачный поселок под Прагой, сегодня ее часть.

Кбелы — поселок близ Праги, где находился в те времена военный аэродром.

Стр. 423. *«Испана-Суиза»*— испанско-швейцарско-французская фирма по производству фешенебельных лимузинов и авиамоторов.

Винт Рессела — конструкция гребного винта, разработанная и испытанная в 1825 г. чешским изобретателем Иозефом Ресселем (1793—1857).

Книгге у телефона

Стр. 424. *Книгге* Адольф Франц Фридрих фон (1752—1796) — веймарский придворный и писатель, автор книги «Об общении с людьми» (1788), получившей широкую популярность в качестве руководства для приобретения светских манер.

О любителях кактусов

Предисловие к книге Оскара Смржа «Книга о кактусах и других суккулентах» (Хрудим, «Издательство литературы для садовников» Иозефа Ванека, 1929). Впервые опубликовано в журнале «Пестры тыдев» 30 ноября 1929 года.

Стр. 433. *Шуман* Карл (1851—1904) — немецкий ботаник, автор книги «Общее описание кактусов. Монография о кактусах» (1899). В 1927 г. вышло ее новое издание, которому К. Чапек посвятил обширную рецензию в пражской немецкой газете «Пратер прессе» (24 августа 1928 г.).

Об особых винах

Впервые опубликовано в сборнике «Вино» (Прага, Иозеф Оппельт и племянник, 1930).

Табак

Стр. 436. *Нитранский Зобор* — холм у города Нитра в Словакии.

Человек и фотоаппарат

Впервые опубликовано в журнале «Светозор» 9 и 23 октября 1930 года.

Стр. 442. *Мах* Иозеф (1883—1951) — чешский поэт, журналист и переводчик.

О картинах

Стр. 445. *Алеш* Миколаш (1852—1913) — выдающийся чешский живописец и график, автор исторических полотен и рисунков на фольклорные мотивы. К. Чапек преклонялся перед его талантом и посвятил ему несколько статей.

Навратил Иозеф (1798—1865) — видный чешский художник, автор пейзажей, натюрмортов, портретов, фресок и декораций; братья Чапеки высоко ценили его творчество.

Стр. 446. *Пипенгаген* Август Бедржих (1791—1868) — чешский художник-пейзажист.

Чермак Ярослав (1830 — 1878) — чешский живописец и график; автор картин на сюжеты из национальной истории, а также полотен, посвященных борьбе южных славян за свое освобождение; мастер реалистического портрета.

Третьяков Павел Михайлович (1832—1898) — русский коллекционер, основатель Третьяковской галереи в Москве.

Щукин Сергей Иванович (1854—1936) — русский коллекционер; его собрание новейшей западноевропейской живописи легло в основу фондов московского Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Немес Марсель (1895—1930) — венгерский художник и собиратель картин.

Камондо Исаак де (1851—1911) — видный французский коллекционер.

Черт бы их побрал!

Стр. 447. *«Научный словарь» Отто* — многотомная энциклопедия, выпускавшаяся в конце XIX — начале XX в. пражским издателем Яном Отто (1841—1916).

«История» Палацкого — многотомная «История народа чешского в Чехии и Моравии» (1836—1876) крупнейшего чешского историка XIX в. Франтишека Палацкого (1798—1876).

Алькан, Фламмарион — парижские издатели.

«Меркюр де Франс» — журнал французских символистов, основан в 1890 г.

«Нувель ревю» — «Ля Нувель ревю Франсез» — парижский литературный журнал, основанный в 1909 г.; на его страницах печатались А. Жид, П. Клодель, М. Пруст, Ж. Ромен, П. Валери В другие видные писатели.

Леви Кальман — парижский издатель, выпускавший собрание сочинений А. Франса и других крупных писателей.

Стр. 448. *Дык* Виктор (1877—1931) — чешский поэт, драматург и прозаик; на страницах журнала «Люмир», который он редактировал, братья Чапеки публиковали свои ранние рассказы.

Фишер Отакар (1883—1938) — чешский поэт, драматург и критик, друг К. Чапека.

Что когда читается

Стр. 449. *Кервуд* Джеймс Оливер (1879—1927) — американский писатель, автор приключенческих романов и рассказов о животных.

Стр. 451. *Ирасек* Алоис (1851—1930) — выдающийся чешский писатель, мастер исторической прозы и драмы; см. статью К. Чапека «Алоис Ирасек. Старинные чешские предания» в т. VII наст. изд.

Стр. 452. *«Наша охота»* («Наше мысливост») — журнал для охотников, выходивший в г. Пельгржимове в качестве приложения к «Еженедельнику Чешско-Моравской возвышенности» («Тыденик з Ческоморавске высочины»).

«Гостеприимный хозяин» («Гостимил») — журнал для владельцев гостиниц и трактиров.

«Деревня» («Венков») — газета реакционной аграрной партии, выходила с 1906 по 1945 г.

Как читают книги

Стр. 453. *«Горнозаводчик»* (1882) — роман французского писателя Жоржа Онэ (1848—1918), популярного в мещанской среде.

Стр. 455. *«История жирондистов»* (1847) — исторический труд французского поэта-романтика, публициста и политического деятеля Альфонса-Мари-Луи де Ламартина (1790—1869), представлявший собой защиту умеренного реформизма.

Фрейд Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач и психолог, создатель теории психоанализа; К. Чапек неоднократно иронизировал над стремлением Фрейда объяснять все стороны человеческой жизнедеятельности половым влечением.

Куда деваются книги

Стр. 456. *Живностенский банк* («Ремесленный банк») — крупнейший чешский банк, основанный в 1868 г.

Я тоже... поступил в одну библиотеку. — В октябре 1917 г. К. Чапек был принят на неоплачиваемую должность практиканта в библиотеку Музея Королевства Чешского.

Hálek — Имеется в виду Галек Витезслав (1835—1874) — видный чешский поэт, прозаик и драматург.

Стр. 458. *«Похождения Антонина Вондрейца»* — «Антонин Вондрейц» (1917—1918) — роман чешского писателя Карела Матея Чапека-Хода (1860—1927).

Гётц Франтишек (1894—1974) — чешский литературный и театральный критик, автор рецензий на произведения братьев Чапеков.

Стр. 400. Рисунок И. Чапека к очерку К. Чапека «Куда деваются книги».

Стр. 462. Фрагмент рисунка И. Чапека к очеркам К. Чапека «Как ставится пьеса» (1938).

Содержание

Переводы, отмеченные *, печатаются впервые.

Чапек Карел

Ч 19 Собрание сочинений. В 7-ми томах. С илл. Карела и Иозефа Чапеков. Ред. коллегия: Н. А. Аросева и др. Т. 6. Рассказы, очерки, сказки. Пер. с чешского. М., «Худож. лит.», 1977.

478 с.

Шестой том собрания сочинений Карела Чапека составили очерки, рассказы и сказки. Многие очерки переводятся впервые. Том иллюстрирован рисунками Иозефа и Карела Чапеков.

Ч $\frac{70304\text{-}128}{028(01)\text{-}77}$ подписное **И(Чехосл)**

Карел Чапек

Собрание сочинений
том 6

Редакторы
В. Мартемьянова
И. Иванова
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректоры
Н. Шкарбанова
О. Эткина

ИВ № 575

Сдано в набор 28/VIII 1976 г. Подписано к печати 16/III 1977 г. Бумага типогр. № 1. 84x108 $^{1}/_{32}$. 15 печ. л. 25,2 усл. печ. л. 22,543 + + 1 вкл. + 1 нак.=22,8 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 822. Цена 1 р. 62 к.

Издательство «Художественная литература». Москва, Е-78, Ново-Басманная, 19

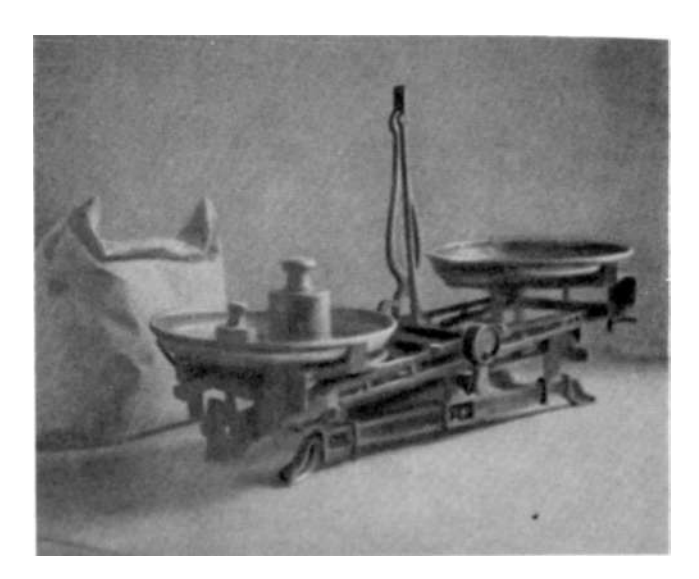
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.



На пороге



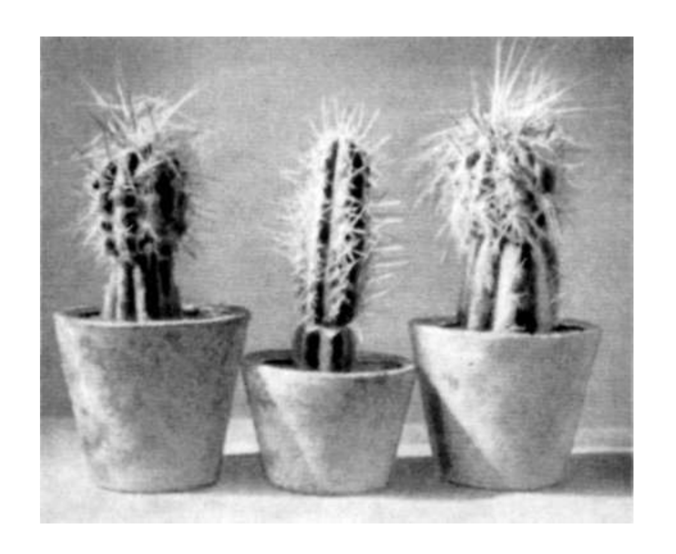
Грибы



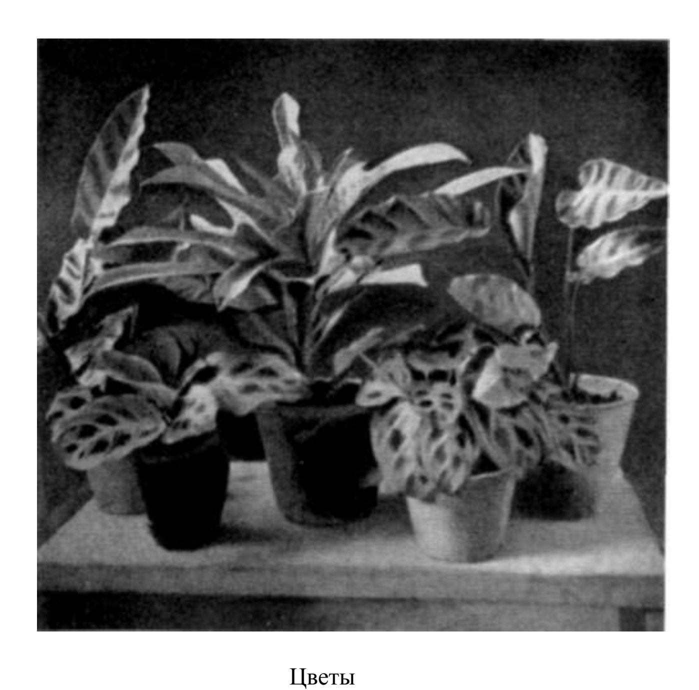
Весы



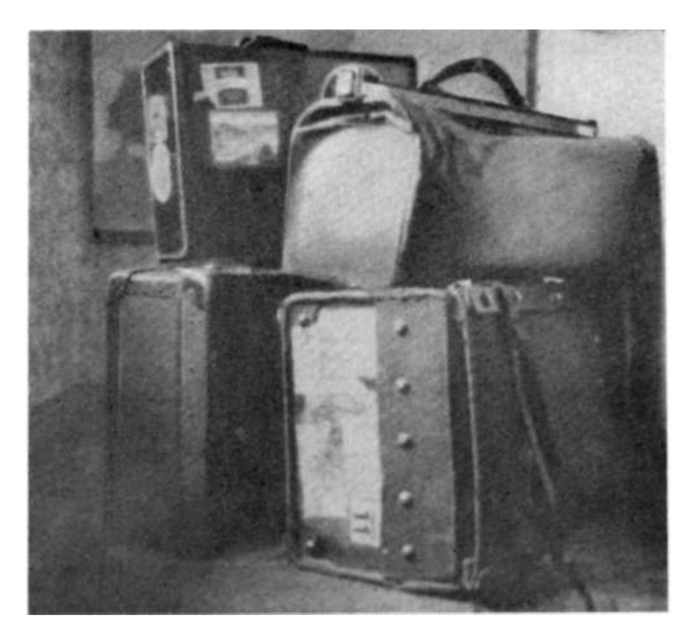
На столе



Кактусы



Цветы



Чемоданы



Домашние туфли